АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

XVIII ВЕК

СБОРНИК 16

ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века



ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1989

Редколлегия:
Н. Д. КОЧЕТКОВА, Г. Н. МОИСЕЕВА,
А. М. ПАНЧЕНКО (ответственный редактор), Ю. В. СТЕННИК

Рецензенты:
В. Э. ВАЦУРО, В. А. ЗАПАДОВ

Серия основана в 1935 г.

И $\frac{4603010000\text{-}560}{042(02)\text{-}89}$ 441-89

© Издательство «Наука», 1989 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

Подготовке настоящего сборника сопутствовали важные события в жизни Группы по изучению русской литературы XVIII в. Это, во-первых, 50-летние юбилеи и Группы (она была создана в январе 1934 г.), и серийного ее издания (первый сборник «XVIII век», еще без нумерации, вышел в 1935 г.). Это, во-вторых, повышение статуса Группы: с 1986 г. она стала Сектором Пушкинского Дома.

В момент создания руководителем (по-тогдашнему председателем) Группы был А. С. Орлов, секретарем — Г. А. Гуковскии, которому вскоре были переданы бразды правления. Первоочередной и долгосрочной своей задачей, которая была сформулирована на дискуссии 6 апреля 1934 г., Группа считала «решение проблемы классовой борьбы в литературе XVIII в.» (так значилось в приглашении на дискуссию). Естественно, что центральной фигурой в предвоенных работах стал А. Н. Радищев: в 1936 г. выходят в свет посвященные ему «Материалы и исследования», в 1938 г. — первый том академического собрания его сочинений. Классовый принцип был положен в основу концепции, представленной в 10-томной «Истории русской литературы» (ее третий том, начинающийся Петровской эпохой и оканчивающийся А. П. Сумароковым, опубликован в 1941 г.).

При очевидных ныне вульгарно-социологических увлечениях, приведших к упрощенной трактовке литературного процесса, к иерархическому выдвижению одних авторов в ущерб другим (например, Радищев был произвольно противопоставлен Н. М. Карамзину), — при всем том в предвоенные годы было сделано очень много. Пушкинский Дом стал признанным центром по изучению XVIII в. Группа была преобразована в Комиссию, которая, как предполагалось, станет самостоятельным и наделенным широкими правами подразделением. Однако война помешала осуществлению этих планов.

С 1946 г. работа возобновилась. Были доработаны (что неизбежно после длительного вынужденного перерыва) и изданы в составе части 2-й IV тома «Истории русской литературы» (1947) главы, посвященные второй половине XVIII в. Готовились новые монографии и сборники. Но кампания 1949 г. стала для Комиссии роковой. Трагически уходит из жизни Г. А. Гуковский. Комиссия

ликвидируется Хотя занятия XVIII в. продолжаются (в 1951—1952 гг. П Н. Берков публикует сатирические журналы Н. И Новикова и очерк истории журналистики XVIII в , Д. С. Бабкин — книгу «Процесс А. Н. Радищева»), в них отсутствуют система и план.

Они вновь появляются с 1955 г., когда под руководством П. Н. Беркова Группа возрождается. С той поры и доныне в Пушкинском Доме ведутся широкомасштабные и многоаспектные исследования литературного процесса XVIII в Их успехи связаны прежде всего с именами покойных П. Н. Беркова и Г. П. Макогоненко (последний возглавлял Группу в 1969—1978 гг.). Заслуги этих выдающихся ученых были с благодарностью отмечены на приуроченной к 50-летию Группы конференции «Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII в.», состоявшейся в феврале 1985 г. Авторы сборника не претендуют на подведение «итогов» и довольствуются постановкой и разработкой «проблем».

Настоящий сборник сохраняет научные и композиционные принципы, сложившиеся в серии за многие годы и вполне себя оправдавшие. Но это последний сборник с тематическим подзаголовком. Его не будет со сборника 17-го: это не новация, а возвращение к традиции. «XVIII век» — сама по себе тема. Это не произвольно выбранный хронологический отрезок, это историософское понятие. Столетие как культурный цикл появилось в русском общественном сознании именно с 1 января 1700 г., с календарной реформы Петра. Ощущение неповторимости и особности своего культурного цикла свойственно всем авторам XVIII в , вплоть до Радищева и Карамзина.

СТАТЬИ

А. М. ПАНЧЕНКО

НАЧАЛО ПЕТРОВСКОЙ РЕФОРМЫ: ИДЕЙНАЯ ПОДОПЛЕКА

Резкая поляризация оценок Петровских реформ произошла при жизни преобразователя, сохраняется до сей поры и, вне всякого сомнения, будет иметь место и впредь.[1] Если искать некую равнодействующую, которая могла бы объединить и апологетов, и отрицателей, то ее позволительно усмотреть в признании за деятельностью Петра I качества революционности, толкуемой как прогресс и скачок либо как насилие над ходом вещей, неорганичность, зародыш культурного «двойничества» и соответственно непримиримого социального противоборства верхов и низов.

Показателен в этом смысле разговор А. С. Пушкина с великим князем Михаилом Павловичем, занесенный в дневник поэта 22 декабря 1834 г.: «Vous êtes bien de votre famille, сказал я ему: tous les Romanof sont révolutionnaires et niveleurs».[2] Пушкин метил прежде всего в Петра — и конкретно в Табель о рангах: «Если в дворянство можно будет поступать из других сословий, как из чина в чин, не по исключительной воле государя, а по порядку службы, то вскоре дворянство не будет существовать или (что все равно) все будет дворянством». Табель о рангах тоже можно оценивать двояко: по-пушкински (уничтожая замкнутость дворянского сословия, она уничтожает, так сказать, его совещательную функцию, узаконивает деспотизм) [3] и по-петровски (она пролагает

---

[1] Суммарную характеристику отечественных и зарубежных трудов середины XIX—70-х гг. XX в. см. в кн.: *Баггер Ханс.* Реформы Петра Великого: Обзор исследований. М., 1985. Идеи оппозиции и логику ее размышлений можно представить по кн.: *Голикова Н. Б.* Политические процессы при Петре I по материалам Преображенского приказа. М., 1957; *Чистов К. В.* Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967. С. 100 и след. См. также статью: *Успенский Б. А.* Historia sub specie semioticae // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976. С. 286—292.

[2] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 12. С. 335 («Вы подлинный член вашей семьи <. .> все Романовы революционеры и уравнители»).

[3] Ср. там же: «Говоря о старом дворянстве, я сказал: Nous, qui sommes aussi bons gentilshommes que l'empereur et vous. . .» («Мы, такие же хорошие дворяне, как император и вы. . .»). Пушкин рассуждал как европеец: на Западе знатность отождествляется с древностью рода. Пушкины, которые

путь таланту, личной заслуге и, следовательно, делает проницаемыми социальные перегородки, пробуждает новые силы нации, побуждает ее к социальной мобильности). Как бы то ни было, коллизия Петра-реформатора и Петра-революционера (разумеется, «революционера сверху») остается доныне неразрешенной.[4]

Принято, впрочем, оговариваться, что преобразования (обнимаемые слишком общим и расплывчатым понятием «европеизация») начались задолго до самодержавного правления и даже рождения Петра. Но обаяние (положительное или отрицательное) этой личности столь сильно, что Петр считается как бы ответственным за сделанное при его отце, старшем единокровном брате Федоре и старшей единокровной же сестре Софье. Это несправедливо, несостоятельно исторически и в научном отношении неплодотворно.

Упрекая Петра за поощрение социальной мобильности,[5] его противники прежде всего имели в виду фаворитизм, кивали и на А. Д. Меншикова, и на П. П. Шафирова, и на Екатерину I (с ее заурядными родственниками, «графами» Скавронскими и Гендриковыми, которых, правда, императрица взяла ко двору лишь по смерти мужа). Но разве фаворитизм начался при Петре? Екатерину I «прообразовала» Наталья Кирилловна Нарышкина (впрочем, к венцу она шла девицей, а не вдовой и наложницей, как ее сноха). Нарышкиных гедиминович князь Борис Куракин, свояк Петра, называл «господами самого низкого и убогого шляхетства».[6] Меншикову предшествовал Ф. Л. Шакловитый, курский, потом столичный подьячий, ставший по благосклонности Софьи окольничим и начальником Стрелецкого приказа и кончивший жизнь на плахе (с таким концом надлежит считаться всякому фавориту). Если искать истоки фаворитизма, незачем проводить «типологические параллели» с эпохой Ивана Грозного, незачем вспоминать Малюту и Васюка Грязного. Отмена местничества в начале

пошли от героя Невской битвы 1240 г. Гаврилы Алексича, по родословцам считающегося правнуком Ратши, действительно «не хуже» Романовых (они — из рода Андрея Кобылы, от пятого его сына Федора Кошки). Но по московским понятиям знатность — нечто иное: «В Московской Руси место человека на лестнице служилых чинов <. . .> определялось не только происхождением, но и сочетанием служебной годности и служб человека с учетом его родовитости, т. е. служебного уровня его „родителей", родичей вообще, а в первую очередь его прямых предков» (*Веселовский С. Б.* Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 103). По «служебному уровню» Романовы превосходили Пушкиных. Но Пушкин был прав, обвиняя Петра в унижении дворянства. Так думали и современники преобразователя, ставя ему в вину «отменение в определениях и приговорах изречения „Государь указал и бояре приговорили"» (*Голиков И.* Деяния Петра Великого. М., 1788. Ч. 1. С. 3) и характеризуя это как деспотизм.

[4] См., например: *Raeff M.* Peter the Great. Reformer or Revulutionary? Boston, 1963.

[5] «Возводил на высокие степени без всякого различия с дворянами из низкого звания людей <. . .> Определял к себе молодых людей без разбору же, благородных и неблагородных <. . .> Тем молодым людям дозволял осмеивать бояр, наблюдающих старинные обычаи» (*Голиков И.* Деяния Петра Великого. Ч. 1. С. 1—2).

[6] Архив князя Ф. А. Куракина. СПб., 1890. Кн. 1. С. 63.

1682 г., эта последняя государственная акция царя Федора Алексеевича, есть итог, симптом и катализатор социального брожения и неустройства, чьим уродливым порождением стал русский фаворитизм.

В наследство от предшественников Петр получил и «европеизацию», притом это было неоднородное и пестрое наследство. Оно создавалось усилиями двух поколений и «грекофилов» (Епифаний Славинецкий, Евфимий Чудовский), и «латинствующих» (Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев), и людей, которых трудно причислить к той или иной группировке. Кое-что в этом наследстве Петр сохранил и умножил. Таково, например, профессиональное секуляризованное искусство: элоквенция, силлабическая поэзия, музыка партесного стиля, театр (его Петру пришлось возрождать, ибо он был упразднен при воцарении Федора, видимо в связи с удалением от власти и ссылкой боярина А. С. Матвеева, правительственного театрального мецената). Таков феномен профессиональной интеллигенции: к 1690-м гг. в Москве трудились десятки поэтов, живописцев, композиторов (среди последних — замечательно одаренный и плодовитый Василий Титов, положивший на ноты «Псалтырь рифмотворную» Симеона Полоцкого). Такова регулярная школа — Славяно-греко-латинская академия, которой предназначалась роль питомника литераторов и богословов. Такова (это крайне важно) идея разрыва с прошлым.

Действительно, распри «грекофилов» и «латинствующих» не должны заслонять их духовного родства — прежде всего поразительной легкости, с которой они презрели московскую традицию. Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий ощущали себя соперниками (и передали соперничество ученикам). Это была не просто борьба за то, кому возглавлять новую интеллигенцию и «просвещение», это было состязание двух ориентаций (греко- и латиноязычной) и двух интеллектуальных типов: Епифаний был келейным тружеником, а Симеон — общественным деятелем. Первый довольствовался филологическими занятиями, переводами, вообще «приращением знания», второй стремился контролировать культуру. Достаточно прочесть составленную им академическую «Привилегию» (хотя она опубликована в позднейшей и смягченной редакции), чтобы представить, насколько жестким и жестоким предусматривался этот контроль. Любое уклонение от православия, всякая хула на него «от чуждоземцов и русских людей при пирнестве или во ином каковом ни буди месте, при достодолжных свидетелях» влекла за собой суд «блюстителя училищ с учительми»,[7] — не суд, а инквизиционный трибунал, который мог послать за костер. Епифаний смел заступаться за павших (как он заступился за поверженного Никона), Симеон был всегда с теми, кто пребывал у кормила власти.

---

[7] Древняя Российская вивлиофика <. . .> изданная Николаем Новиковым. 2-е изд. М., 1788. Ч. 6. С. 417.

Но для людей, не принадлежавших к новой интеллигенции, это состязание не было принципиальным. «Блюдитеся, правоверии, злых делателей: овчеобразные волки Симеон и Епифаний. Знаю я Епифана римлянина до мору, егда он приехал из Рима <. . .> А Семенка чернец оттоле же выехал, от римского папежа, в одну весну со мною, как я из Сибири выехал».[8] Ошибется тот, кто рещит, будто протопоп Аввакум не знал, что Епифаний прибыл из Киева, а Симеон из Полоцка. Для Аввакума оба они — «папежники», хотя в Риме не бывали. Нельзя отказать такому взгляду в резонности, так как «грекофильство» XVII в. — это лишь умеренная вариация западничества.

Должно быть, и Петру разница между двумя группировками не казалась существенной (порука тому — его церковная реформа и его протестантская ориентация). Какое впечатление, например, могла произвести на него схватка между Евфимием Чудовским и Сильвестром Медведевым по поводу пресуществления святых даров, схватка прямо-таки смертельная (она стоила последнему головы), в которую были втянуты разные люди, от патриарха Иоакима до гетмана Мазепы, и которую прекратило лишь свержение царевны Софьи? Петр, бесспорно, был на стороне Евфимия, но лишь из-за близости Сильвестра к ненавистной сестре. Что до «правоты» спорящих, о ней для человека здравого смысла не могло быть и речи. Рассуждать о том, в какой именно момент на литургии совершается преложение хлеба и вина в тело и кровь Христовы, значило рассуждать о букве, традиции, логике текста — о чем угодно, только не о реальном духовном бытии. Современники из тогдашней элиты уподобляли спор о времени евхаристии «сикилийскому огню». Это уподобление лучше всего говорит о том, что мысли и слова элиты были бесконечно далеки от горького опыта расколотой Руси, озаренной не призрачными, а реальными кострами.

Церковный раскол — это, быть может, самая трагическая часть наследия, доставшегося Петру, и за раскол он во всяком случае не несет ответственности. Положение до крайности обострилось именно в правление Софьи. В великом посту 1685 г. были приняты пресловутые 12 статей против старообрядцев.[9] Смертная казнь, кнут, в лучщем варианте ссылка и «поток и разграбление» — вот смысл этого неслыханного по жестокости указа. Притом он не принадлежал к столь характерному для России разряду узаконений, рассчитанных на устрашение, а не на педантичное и неукоснительное исполнение: по достоверным данным, до пасхи в Москве было сожжено около ста человек (по обычаю в срубах). И тотчас в стране вспыхнула религиозная война.

Кое-где она шла по тем же правилам, что и войны католической Лиги и евангелической Унии: друг другу противостояли воору-

[8] Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1960. С. 331.

[9] Акты, собранные <. . .> Археографическою экспедициею. . . СПб., 1836. Ч. 4, № 284. С. 419 и след.

женные отряды, строились крепости (например, на реке Медведице), одни их защищали, другие брали приступом и т. п. Так было на Дону, на Куме и в других казачьих областях.[10] Но для Руси — это чужие правила. Их надлежит считать исключением. Многие бунты XVII—XVIII вв. (стрелецкое восстание 1682 г., движения Булавина, Пугачева и др.) имеют некий религиозно-старообрядческий оттенок, но он явно вторичен. Бунтовали все-таки не за веру, а за волю, за справедливость. В этой связи показательно, что в июле 1682 г. фактически владевшие Москвой стрельцы позволили царевне Софье казнить священника Никиту Добрынина-Пустосвята, только что «перепревшего» в Грановитой палате патриарха Иоакима. Так окончилась последняя попытка реставрировать дониконовский обряд.

Как же реагировали старообрядцы на 12 статей 1685 г.? Часть из них ответила на угрозу и практику насильственных смертей смертью добровольной.[11] Особенно поразили современников олонецкие гари. В 1687 г. соловецкий дьякон Игнатий с толпами чающих «огненного крещения» берет приступом Палеостровский монастырь (он считался вожделенным местом «самоизвольного» мученичества, ибо в нем, по преданию, окончил свои дни первый страдалец за старую веру епископ Павел Коломенский) и устраивает там грандиозное самосожжение. Полагают, что тогда погибло до двух с половиной тысяч староверов. Спустя полтора года — новое взятие Палеостровской обители и новое самосожжение, на сей раз с полутора тысячами жертв. В эти же годы под Каргополем сжигается около пятисот ревнителей древлего благочестия, сто человек — близ Тюмени. Много, очень много было больших гарей, но еще больше одиночных, семейных, соседских, деревенских. За все семь веков, протекших со времени христианизации, Русь не знала столько пострадавших за веру, включая признанных церковью и святыми, и еретиками, сколько их появилось за первые десятилетия раскола. Он дал материал для первого русского мартиролога, «Винограда Российского».

Легче всего списать это на мрачный фанатизм, тем более что консервативное старообрядчество осуждало своих радикальных единоверцев. Пусть дело касалось меньшинства — не только в рамках нации, но и в рамках не принявшего никонианства населения (оно составляло от четверти до трети великороссов). Но каково было Петру, которому предстояло управлять самоистребляющейся страной?

Что до старообрядческого большинства, то оно было вынуждено покинуть города, прежде всего столицу. Старообрядцы ударились в бега. Они бегут на Север и в Сибирь, в русские «пустыни», которые всегда отождествлялись с лесами, «пустыми» от людей. Они бегут и за рубеж — на Кубань и Северный Кавказ, «под руку»

---

[10] См.: *Зеньковский С. А.* Русское старообрядчество: Духовные движения семнадцатого века. München, 1970. С. 415—424.

[11] См.: *Сапожников Д. И.* Самосожжение в русском расколе. М., 1891.

крымского хана и кабардинских князьков, но прежде всего в пределы Речи Посполитой, в Невель и на Ветку. На тульской и калужской дорогах заставы перенимают «многих людей», в частности стрельцов, которые надевали «для тайного проходу кафтаны сермяжные, и иное такое платье, чтобы их не познали».[12]

Впрочем, заставы плохо помогают. Дело в том, что тяга к перемене мест охватила и лояльных в конфессиональном отношении подданных. Социальное неустройство породило во второй половине XVII в. ряд географических утопий — о Мангазее, «серебряных и золотых островах», о Даурии, о богатом острове на «Восточном океане», потом о Беловодье.[13] Целые сибирские села и остроги исчезали неведомо куда. Петр получил не только самоистребляющуюся, но и разбегающуюся страну.

Скитальчество и «шатание меж двор» становятся и бытовым, и литературным стереотипом. Это касается самых разных слоев общества: европеизированной элиты (Симеон Полоцкий, получивший прозвание по месту рождения, учился в Киеве и Вильне, потом учительствовал опять же в Полоцке, а последних шестнадцать лет жизни провел в Москве), старообрядцев (неуловимый игумен Досифей бывал в Поморье и на Дону, появлялся в Москве, а умер на Куме, на землях тарковского владетеля), «среднего человека» (Савва Грудцын и молодец из «Горя-Злочастия» — персонажи-скитальцы). Даже старообрядческая оседлость (Выго-Лексинское общежительство, Керженец) — особого рода. Она исходит из ощущения отверженности и особности, из стремления создать «государство в государстве», некую новую Фиваиду в чуждом и враждебном отечестве, поправшем заветы отцов.

Не случайно ментальность сочинений 1680—1690-х гг. можно означить словами мятеж и вражда. «Волны и твердь, волны и ладья, пучина воли и корабль, яростное море и „самодержавство“, буря и нечто, противостоящее ей, — так о России, о ее внутриполитическом (а не внешнеполитическом) состоянии <. . .> раньше не писали. Придворные авторы конца XVII в. испытывали ощущение глубокой разделенности русского общества <. . .> С конца 1680-х годов представления авторов о раздробленности общества усугубились; в России, судя по авторским высказываниям, ссорились все со всеми: „. . .начаша люди зело ради неправд и нестерпимых обид себе стужати и друг на друга глаголати, яко той неправду деет, иный на того, наипаче же на временников и великих судей и на началных людей“ <. . .> „словесы ласкаем, но делы снедаем всех люте“ <. . .> „паче день дне и час часа <. . .> между духовными и мирскими людми то умножают“».[14]

Ментальность литературная есть лишь выражение ментальности эпохальной и национальной. Если когда-нибудь напишут

---

[12] Цит. по: *Зеньковский С. А.* Русское старообрядчество. С. 430.

[13] См.: *Чистов К. В.* Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. С. 11.

[14] *Демин А. С.* Писатель и общество в России XVI—XVII веков: (Общественные настроения). М., 1985. С. 229—232.

историю русского пессимизма, канун Петровских реформ составит в ней одну из самых весомых глав. Петру досталась держава, пребывавшая в состоянии духовного кризиса и даже надрыва. Надлежало искать выход — и прежде всего в сфере идей. Полагаться на церковь не приходилось: у нее, в отличие от католицизма, не было опыта борьбы с мощной религиозной оппозицией. Русские еретические движения (стригольничество, «жидовствующие» и т. д.) — это всего лишь эпизоды, не идущие ни в какое сравнение с Реформацией.

Нельзя было полагаться и на практику «латинствующих». Они ориентировались на контрреформацию, и 12 статей 1685 г. совпали по времени с допущением иезуитов в Россию. (Напомним, что как раз в 1685 г. и тоже под влиянием иезуитов Людовик XIV отменил Нантский эдикт, следствием чего была эмиграция сотен тысяч гугенотов; если это и совпадение, то совпадение симптоматичное). Конечно, контрреформация прибегала не к одним карательным мерам. Ее оружием было и убеждение, и «латинствующие» этим оружием пользовались. Начиная со «Скрижали», составленной Симеоном Полоцким, все они пишут трактаты, в которых доказывается вероучительная и культурная несостоятельность старообрядчества. Изгнание иезуитов в 1690 г. нимало не повлияло на количество и качество таких трактатов. При Петре на этой ниве усердно подвизались Стефан Яворский и особенно Димитрий Ростовский, чей «Розыск о раскольнической брынской вере» заслужил репутацию классического пособия по теме.

Вряд ли эта репутация справедлива. Может быть, кто-то из читателей «Розыска» и вернулся в официальную церковь, убежденный доводами Димитрия Ростовского, но таких читателей не могло быть много. Самый стиль богословствования, которому учили в Киево-Могилянской академии, глубоко чужд великорусской традиции. «Школьно-богословская эрудиция русских латинских школ XVIII века изнутри церковной жизни и быта воспринимается (и не без достаточного основания) как нечто внешнее и ненужное, не вызванное органическими потребностями самой церковной жизни <. . .> Заодно с эрудицией перенималась и психология, «реформировался» и самый душевный склад. В этом чуть ли не самая мощная причина <. . .> недоверия и <. . .> упрямого равнодушия к богословской культуре <. . .> В этом причина и <. . .> отношения к богословской науке как к иностранному и западному изобретению, навсегда чуждому для православного Востока».[15]

Древняя Русь не знала схоластики и не произвела спекулятивных (в строго логическом смысле) «сумм», подобных «сумме» Фомы Аквинского. Россия петербургского периода, напротив, создала бесчисленное множество профессиональных теологических сочинений. Но это скорее диссертации, нежели труды. Не случайно в XIX в. из русских духовных школ вышло многое множество вольнодумцев, атеистов и революционеров: семинарская премудрость,

[15] *Флоровский Г. В.* Пути русского богословия. 3-е изд. Париж, 1983. С. 101—102.

как и столетие назад, повергала учеников в «скуку» и даже в «скорбь», т. е. повреждение рассудка.[16] Не случайно имевшие успех русские богословы — не профессионалы (А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, В. С. Соловьев): Россия привыкла богословствовать и философствовать в формах художественных.

Европейская ориентация Петра была иной, нежели у «латинствующих». Они были гуманитариями, он — практиком; они культивировали Слово, Петр культивировал Вещь.[17] В практицизме Петр также имел предшественника — упомянутого выше А. С. Матвеева, воспитателя царицы Натальи Кирилловны. О его интересах можно судить по библиотеке,[18] которая разительно отличается от частных библиотек той поры — кн. В. В. Голицына, Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева. «Бросается в глаза <. . .> большой процент книг по естественнонаучной тематике и технике. Здесь имелись книги по архитектуре, садово-парковому делу, включая и чертежи <. . .> географии, космографии, минералогии, медицине, военному делу».[19] Преемственность налицо. Она, кстати, была как бы закреплена символически: во время бунта 1682 г. десятилетний Петр держал Матвеева за руку, стрельцы растащили их и бросили только что вернувшегося из ссылки боярина на копья. Возможно, к Матвееву восходит в той или иной мере идея «труженика на троне».

Практицизм — это мировоззрение, нуждающееся, как и всякое мировоззрение, в идеологическом обосновании. На практике отношение к старообрядцам смягчается тотчас после свержения Софьи.[20] Правительство ведет компромиссную политику, отказывается от «проведывания» раскольников. Хотя 12 статей не отменены (их оставила в силе и комиссия, работавшая в 1700—1703 гг. над дополнениями к «Уложению», тогдашнему своду законов), но это лишь форма. Число самосожжений резко падает. Некоторые беглецы возвращаются из-за рубежа. Расцветает Выго-Лексинское общежительство. Когда в 1702 г. царь по дороге из Архангельска оказывается на Выгу, там было приготовились к бегству и к «огненной смерти», но Петр пообещал выговцам своего рода конфессиональную автономию — и сдержал слово. Этот компромисс длился четверть века, если считать с 1690 г.

Какие европейские идеи питали компромисс? Мы видели, что их не могли дать ни «грекофилы», ни «латинствующие». Они избрали путь репрессий — путь Якова II Стюарта в Англии и Людовика XIV во Франции. Русские «проведывания» вполне сопоставимы с французскими драгонадами 1680-х гг.

---

[16] Там же. С. 102.

[17] См.: *Панченко А. М.* Русская культура в канун Петровских реформ. Л., 1984. С. 183—191.

[18] Опись ее см.: *Белокуров С. А.* О библиотеке московских государей в XVI столетии. М., 1898. С. 69—74.

[19] *Луппов С. П.* Книга в России в XVII веке. Л., 1970. С. 105.

[20] См.: *Nolte Hans-Heinrich.* Religiöse Toleranz in Russland. 1600—1725. Göttingen etc., 1969. S. 143—147.

Но реакция всегда вызывает сопротивление, и в эти годы на Западе разворачивается борьба за веротерпимость.[21] Очагом этой борьбы становится Голландия, в ту пору самая свободная (при всех оговорках) страна Европы. Два замечательных мыслителя, евангелисты француз Пьер Бейль и англичанин Джон Локк, оба эмигрировавшие в Голландию, издавали здесь сочинения по проблемам толеранции. Исходные их посылки общи: это, во-первых, признание примата государства по отношению к любой действующей на его территории церкви как сообщества верующих; это, во-вторых, признание примата морали над доктриной в оценке всякой религиозной деятельности. Обратимся к Локку (его взгляды, как мы вскоре увидим, нашли в России живой отклик), к знаменитой его «Эпистоле о толеранции», которая, кстати, была написана в приснопамятном для французских гугенотов и русских старообрядцев 1685 г., а опубликована четырьмя годами позднее.[22]

Локк провозглашает, что у церкви и государства разные цели и соответственно разные обязанности. Церковь заботится о спасении душ верующих, т. е. о вечности, государство же — о земном бытии своих сочленов и подданных, т. е. о их процветании и безопасном общежитии. Если некое культовое сообщество становится помехой этому, государство вправе (и даже обязано) вмешаться. Но каковы пределы этого вмешательства?

Согласно Локку, оно недопустимо по отношению к религиозной «спекуляции», к догматическим умозрениям, а также к ритуалу, ибо все это внеположно человеческому общежитию. В самом деле, кому может помешать признание или непризнание католического чистилища, а для русских условий — служба на семи или пяти просфорах либо хождение «посолонь»? Локк выделяет еще один мировоззренческий раздел — «ни хорошие, ни дурные» убеждения, так сказать, нравственно нейтральные, касающиеся, например, брака и развода, воспитания и обучения детей. Они так или иначе влияют на поведенческие структуры, и если государство находит это влияние вредным, оно обязано прибегнуть к принуждению. Есть также взгляды, которые светская власть вправе оценивать отрицательно. Таковы проповедь нелояльности, призывы не подчиняться закону и проч. Здесь насилие неизбежно.

Какими средствами располагает государство (речь не идет о карательных мерах, а о мировоззренческом принуждении)? В его силах запретить распространение признаваемых пагубными взглядов — или же заставить отречься от них. Локк высказывается за первое и безусловно исключает второе. Отречение от убеждений — всегда вынужденный шаг, всегда притворство. В результате общество будет поражено своего рода нравственной шизофренией, станет обществом лицемеров, ханжей, циников, чьи слова не соответствуют убеждениям и делам.

---

[21] См.: *Ogonowski Zbigniew.* Problem tolerancji w Europie w drugiej połowie XVII wieku: Arianie polscy—Bayle—Locke // Wiek XVII—Kontrreformacja—Barok / Red. Janusz Pelc. Wrocław etc., 1970. S. 255—274.

[22] О изданиях и интерпретациях «Эпистолы» см.: Там же. С. 268—272.

Провозглашая терпимость по отношению к различным догматам и культам, Локк делает исключение для атеистов (с его точки зрения, вера и нравственность тождественны, как тождественны безверие и безнравственность) и католиков, «папистов»: они исходят из постулата об истинности только собственной конфессии, они нетолерантны к инославным и иноверным исповеданиям, они подчиняются папе, который не признает зависимости католиков от государств, где они пребывают.

Была ли известна концепция Локка в России? Справедливо ли общепринятое мнение, что Петр и его окружение находились под влиянием более ранних идей «естественного права», под исключительным влиянием Г. Гроция и С. Пуффендорфа? Обратимся к переводной рукописи начала 1720-х гг. из библиотеки кн. Д. М. Голицына: «Всяк человек должен знать, как ему надобно жить в собрании гражданском, житием мирным, покойным и безмятежным, по законом натуралным; потому что в том состоит все нравоучение <. . .> Многия о сей материи писали в древних временах, писали и в нынешних, и нынешния писатели древних превзошли и нравоучение изьяснили и утвердили. Таков был Гуго Гроциус, который оставил по себе „Право мира и войны“. Господин Пуфендорф написал две книги: первая „Право людское и натуралное“, вторая „Должности человека и гражданина“. Оныя два писателя почитаются как основатели нравоучения и гражданства. Потом писали и многия, но между собою несогласно. Никто не спорит, что нравоучение и житие гражданское в двоякой должности состоит: первая — должность человека самого к себе; вторая — должность ко всякому человеку. Первой должности основание — „Знай себе“, другой — „Чего себе не хочеш, того никому не делай“ <. . .> Здесь господин Лок (которой родился в Англии, в городе в Ринктоне (*так!*), неведомо которого году, толко ведомо, что крещен 29-го августа 1632 года; умер 28-го октября 1704 году) объявил на свет сию книгу 1690 году, и предлагает о гражданстве свое разсуждение, соединя оная разная мнения во одно, и показует начало и основание гражданства кратко и порядочно, но все по резону».[23]

Дальше, после оглавления, следует трактат «Правление гражданское. О его истинном начале и о его власти, и ради чего».[24] Это — вторая часть знаменитого трактата Локка «О государственном правлении», изданного анонимно в Англии в феврале 1690 г.[25] Как видим, в сознании образованных людей Петровской эпохи

---

[23] ГПБ, F.II.41, с. 1—2 (в рукописи — постраничная пагинация XVIII в., арабскими цифрами).

[24] О других списках (один из них принадлежал А. Ф. Хрущеву, сподвижнику А. П. Волынского) см.: *Николаев С. И.* Ранний Тредиаковский: (Первый перевод «Аргениды» Д. Барклая) // Русская литература. 1987. № 2. С. 98.

[25] «Трактат Д. Локка „О гражданском правлении“ на русском языке печатается впервые» (*Локк Д.* Избранные философские произведения: В 2 т. М., 1960. Т. 2. С. 493). Как видим, «птенцы гнезда Петрова» были с трактатом знакомы, хотя и в рукописи.

выстраивалась триада Гроций—Пуффендорф—Локк, притом последнего не только читали, но и почитали. Но это — 1720-е гг., а как обстояло дело на рубеже столетий?

Петр был первым русским царем, который покинул Россию и отправился в западную школу. «Посылка сия и намерение, восприятое монархом, отлучиться из России в иностранные земли, принята была подданными с величайшим негодованием, яко дело не только никогда не бывалое, но и яко противное закону прежних государей и закону божию; а духовенство не оставило то объяснить и из Священного Писания, в коем возбранялось израильскому народу иметь сообщение с иноплеменниками, и что странствование людям Нового Израиля в еретические земли, яко противное закону божию, нанесет повреждение вере и православному закону».[26] «Намерение» так потрясло старозаветных современников, что иные из них «положили убить государя» [27] (имеется в виду заговор И. Цыклера). Цели Петра были не ясны современникам. Цели эти были забыты потомками, создавшими миф о «царе-плотнике», — миф, остающийся действенным до сей поры.

Между тем Петр не только работал топором на Саардамской верфи, он знакомился с культурной ситуацией, он ездил «за идеями». Выбор Голландии, вне всякого сомнения, был сделан под влиянием «великого посла» Франца Лефорта, выходца из семьи женевских патрициев, кальвиниста, женатого на католичке. Напомним, что в Голландии Петр основал русскую типографию. Иначе говоря, царь поступил в соответствии с эмигрантским стереотипом поведения: для идеологов всех толков Голландия была притягательна прежде всего как страна свободного книгопечатания. Пусть книги, выпущенные в этой типографии, по содержанию мелки.[28] Но у них есть важная и общая черта: это книги светские (следовательно, амстердамская типография противопоставляется московскому Печатному двору, находившемуся в ведении патриарха Адриана); это книги многоязычные, утверждающие равноправие латыни, сакрального языка католиков, и национальных языков евангелистов. «Вмешательство» в традицию московского книгопечатания сам Петр считал первой своей реформой.[29] Напомним также, что в Роттердаме Петр обратил внимание на статую Эразма, которого в Европе считали «отцом» терпимости и свободомыслия.

---

[26] *Голиков И.* Деяния Петра Великого. Ч. 1. С. 282—283.

[27] Там же.

[28] См.: *Пекарский П.* Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 1. С. 10—26, 521—529.

[29] Вот запись, касающаяся первых шагов по возвращении в Россию (1699 г.): «Того же году исправлена друкарня в чистоте печати, и начали многия книги переводить и печатать (в воинских делах), инженерския, (фортификации), артилериские, механические и протчих художеств, также и исторические и календари» (*Воскресенский Н. А.* Законодательные акты Петра I. М.; Л., 1945. Т. 1. С. 115). В скобках — слова, собственноручно зачеркнутые Петром.

Кстати, незадолго до этого именно в Роттердаме подвизался и Локк. Именно здесь он сблизился со штатгальтером Вильгельмом III Оранским, который в 1688 г. изгнал из Англии Якова II, врага Локка. Девизом этой инвазии были слова «за религию и свободу», а первым декретом нового британского монарха — декрет о веротерпимости (опять-таки исключая католиков). 11 февраля 1689 г. Локк ступил на родную землю. Он прибыл сюда на одном корабле с королевой-соправительницей Марией II. С 1696 г. Локк был комиссаром по делам торговли и колоний (он ушел на покой в 1700 г.). Быть может, Петр и Локк были лично знакомы. Во всяком случае царь не мог не слышать о философе, друге короля. 10 марта 1702 г. один иезуит (скрывавший, естественно, свою принадлежность к ордену) писал из Москвы: «Некоторые пришельцы из Англии и Голландии пытались ввести здесь преподавание философии Декарта и какого-то Локка, и некоторые из здешних, хотя не понимали дела, но были увлечены и тем, что им расхваливали их, и как новинкой; однако бог послал нам счастливый случай сойтись с ними, к чему подстрекал и один вельможа. Прежде всего они восстали против схоластических терминов и аргументации <. . .> Что касается Локка, то я в нем вижу скорее атеиста, чем философа. Милосердный боже! Каких чудовищ сюда часто привозят! Другой сочинитель привезен из Голландии; он кроме других вещей упорно защищает физическую истину о стоянии Солнца и подвижности Земли».[30]

Значит, Локком и его идеями живо интересовались в Москве. Любопытно, что иезуит вообще его не читал: в латинском оригинале письма имя философа передано как Locque [31] (нужно Locke). Видимо, иезуит считал его французом, поскольку Локк представал как последователь француза Декарта. Книги проповедника веротерпимости (как и его коллеги Бейля) представлены в библиотеках сподвижников Петра.[32]

Идеи не всегда совпадают с государственной практикой. Более того, она часто деформирует их до неузнаваемости. В этом смысле Петровская эпоха — не исключение. Никто не отважится назвать ее эпохой терпимости. Многозначительно, однако, что первое непосредственное соприкосновение Петра с Западом было и соприкосновением с самыми передовыми и самыми благородными идеями. Их влияние (пусть искаженное) ощущается в церковной реформе Петра. О ней пойдет речь в специальной работе.

---

[30] Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII века. СПб., 1904. С. 100—101.

[31] Там же. С. 291.

[32] Библиотека А. А. Матвеева: Каталог. М., 1985. № 580. С. 136. («Опыт о человеческом разумении» Локка, изданный во французском переводе в Амстердаме в 1700 г.; книга куплена А. А. Матвеевым в Лондоне в 1708 г.); № 210. С. 61 (трехтомный «Исторический и критический словарь» Бейля в амстердамском издании 1702 г.).

Ю. В. СТЕННИК

ПРОБЛЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Литературоведческие проблемы, независимо от того, носят ли они частный или общий характер, обладают различным статусом гносеологической исчерпываемости. Есть проблемы, которые на каком-то этапе научного поиска оказываются окончательно решенными и таким образом снимаются. Это касается прежде всего вопросов атрибуции произведений, вопросов текстологии, комментирования, наконец, вопросов биографии писателя или творческой истории его сочинений.

Но есть круг проблем, решение которых никогда не может считаться окончательным и, следовательно, исчерпывающим. По мере углубления познавательных возможностей и расширения задач науки перспективы подхода к их решению также постоянно расширяются. Это может быть связано с интерпретацией литературных произведений в аспекте анализа их идейной направленности или с уяснением факторов, определяющих формирование историко-литературного контекста. В каждом случае с изменением взглядов на функции литературы, углублением наших представлений о законах историко-литературного развития возникают предпосылки для новой постановки, казалось бы, «старых» вопросов. Применительно к такого рода проблемам можно говорить об их принципиальной «открытости». К ним относится и проблема периодизации литературы.

Вопрос о периодизации русской литературы XVIII в. не вызывал особых споров, хотя было предложено несколько схем, упорядочивавших общее представление об основных этапах развития литературы этого столетия. Предпосылки их были заложены еще В. Г. Белинским. Великий критик в целом ряде статей высказал свое понимание стадиальности развития русской литературы XVIII в. Белинский рассматривал этот период как время постепенного набирания сил в поступательном движении к достижению литературой того уровня гармонического совершенства поэтической формы, какого она достигла в творчестве Пушкина.[1] Вехи этого пути он связывал с творчеством таких крупнейших авторов своего времени, как Ломоносов, Кантемир, Карамзин. Если твор-

[1] Наиболее полно такое понимание Белинским литературы XVIII в. выражено им в цикле статей «Сочинения Александра Пушкина» (1843—1846).

чество двух первых поэтов приходилось на время господства «риторических» правил (иначе определявшееся как «Ломоносовский период»), то «Карамзинский период», введший «русскую литературу в сферу новых идей» и, как следствие, качественно обновивший нормы литературного языка, заявил себя с наибольшей полнотой в завоеваниях Крылова-баснописца, Жуковского и Батюшкова, т. е. распространялся не только на конец XVIII в., но и на начало XIX в. Белинский не указывал точных хронологических границ выделяемых им периодов. Но примечательно, что начало новой эпохи в развитии национальной литературы он связывал с результатами реформаторской деятельности Петра. Не случайно, характеризуя роль Ломоносова в русской литературе, Белинский прямо сравнивал его с Петром Великим.[2]

Точка зрения Белинского так или иначе сохраняла свое значение почти на всем протяжении XIX в., хотя разыскания ученых академической и историко-культурной школы (А. Н. Пыпина, Н. С. Тихонравова, А. А. Куника, А. Н. Веселовского и др.) неизмеримо расширили круг материалов, доступных изучающим литературу этого столетия. Это отразилось на осмыслении закономерностей литературного развития литературы XVIII в. В частности, именно благодаря исследованиям Н. С. Тихонравова, А. Н. Веселовского и В. Н. Перетца на рубеже XIX—XX вв. в филологической науке утверждается понятие «Петровского периода», «Петровского времени» как особого этапа русской литературы первого тридцатилетия XVIII в., отмеченного своей спецификой художественного выражения и имевшего важное значение для последующего историко-литературного развития.

Вопрос периодизации имел естественную актуальность для всех, кто обращался к освещению путей исторического развития отечественной словесности. В учебных пособиях дореволюционного времени установление периодов развития литературы XVIII в. чаще всего механически приурочивалось ко времени царствования отдельных монархов с выделением соответственно литературы «Елизаветинской эпохи» или «века Екатерины».[3] Устарелость, а главное, ненаучность подобных принципов периодизации очевидна.

В советское время изучение литературы XVIII в. обрело качественно новую методологическую базу. Благодаря диалектическому, основанному на принципах историзма пониманию общест-

---

[2] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 10. С. 8—9.

[3] В качестве наиболее показательного примера подобных схем периодизации укажем на ту, которая дана в популярном для своего времени «Семинарии по новой русской литературе» Н. К. Пиксанова (СПб., 1912; 2-е изд. СПб., 1913). Подзаголовок издания недвусмысленно обнажает его методологические принципы: «Три эпохи. Екатерининская, Александровская, Николаевская». В пределах XVIII в. недостает только Елизаветинской и Петровской эпох, чтобы схема приобрела свою логическую завершенность. Кстати, применение термина «Елизаветинское время» в определении этапов развития литературы XVIII в. также имело место в дореволюционном литературоведении, например в пособии А. Д. Галахова.

венной природы художественного сознания, а также благодаря самоотверженной работе нескольких поколений ученых, введших в научный оборот огромное количество нового историко-литературного материала, относящегося к XVIII в., были созданы предпосылки для обобщающих исследований литературы данной эпохи, позволяющих воссоздать реальную картину ее развития. На новой, более объективной основе стала решаться и проблема периодизации литературы этого столетия. Было предложено несколько вариантов периодизации.

Наиболее известный, можно сказать традиционный подход к периодизации историко-литературного процесса XVIII в., по сей день доминирующий в системе вузовского преподавания литературы этого периода, дает учебник Д. Д. Благого «История русской литературы XVIII века».[4] Автор распределяет весь подлежащий изучению материал по трем основным периодам: *1-й период* — «Литература первых десятилетий XVIII в. На путях к классицизму» — охватывает 1700—1720-е гг. и характеризуется решением подготовительных задач. *2-й период* — от конца 1730-х до 1770-х гг. На протяжении этого периода в обстановке установления и господства в литературе художественного направления классицизма реформируется система русского стихосложения, закладываются основы нового русского литературного языка. Наконец, *3-й период* охватывает литературу последней трети XVIII в. и отмечен движением к сентиментализму и формированием элементов реализма на просветительской основе.

Такова схема периодизации, предложенная в учебнике Д. Д. Благого. Верно фиксируя наиболее очевидные внешние признаки историко-литературного движения, эта схема не дает в то же время ответа на вопрос о конечном критерии выделения обозначенных периодов. Это, по-видимому, и дало основание Г. П. Макогоненко заметить, что в учебнике по существу сохраняется старая схема периодизации.[5]

Сам Г. П. Макогоненко в своей хрестоматии «Русская литература XVIII века» (Л., 1970) предлагал деление литературного процесса по стадиям распространения в России XVIII в. просветительской идеологии. Он располагал материал по двум основным этапам: первый — «*Канун Просвещения*», охватывающий литературу от начала столетия до конца 1760-х гг., отмеченный формированием идеологии Просвещения в ее русском изводе. Художественное оформление этого этапа знаменуется установлением в литературе классицизма как ведущего направления этого времени. Второй этап — «*Эпоха Просвещения*» — охватывает последние три десятилетия и характеризуется сближением литературы с действительностью. Именно к этому этапу относятся вершинные достиже-

---

[4] Учебник выдержал 7 изданий и продолжает оставаться стабильным пособием для изучения литературы этого столетия в вузах.

[5] *Макогоненко Г. П.* От Фонвизина до Пушкина: Из истории русского реализма. М., 1969. С. 483.

ния русской просветительской мысли XVIII в., и художественное выражение его представляет собой сложное сосуществование отмирающего классицизма с набиравшими силу литературными направлениями просветительского реализма и сентиментализма.

Правда, во вступительной статье той же хрестоматии Г. П. Макогоненко дополняет выделенные два этапа еще одним периодом — «*Начало века*», — приходящимся на время реформаторской деятельности Петра I и отмеченным своеобразием свойственных ему форм литературы. В распределении отдельных авторов по всем трем периодам данная схема также не гарантирована от известной чересполосицы. Но главное даже не в этом. Хотя хронологически предложенное Г. П. Макогоненко деление литературного процесса в чем-то сближается с делением, принятым в учебнике Д. Д. Благого, критерий его периодизации носит чисто идеологический характер, что и отражено в названии периодов. А для раскрытия закономерности смены форм литературного сознания применение чисто идеологического критерия при периодизации недостаточно, ибо в рамках просветительской идеологии могут сосуществовать разные эстетические системы. Вот почему установление периодизации литературного процесса на основе исключительно идеологического принципа «требует дальнейшей проверки и методологического обоснования», как уже отмечалось в литературоведении.[6]

В 1973 г. была предложена еще одна система периодизации литературы XVIII в., в которой критерии деления связывались с поэтапным решением проблемы создания «единой общенациональной литературы», как своего рода «сверхзадачи», поставленной перед русской культурой эпохи в целом.[7] При таком подходе вся эпоха делится на два периода: *первая половина XVIII в.*, когда литература завоевывает себе право на самостоятельное существование среди других видов культуры, и *вторая половина XVIII в.*, когда из подвижнического дела одиночек литература обретает статус выразителя общественного мнения в рамках разветвленного литературного движения, о чем свидетельствует появление поэтических школ, группировок, журналов и т. д. Внутри этих двух основных этапов выделяются в свою очередь четыре периода, охватывающие примерно равные отрезки времени и отражающие разные ступени решения обозначенной «сверхзадачи». Предложенная система периодизации не лишена последовательности и верно подмечает отдельные характерные для XVIII в. черты литературного развития. Но ей свойственна известная имманентность подхода к оценке историко-литературного процесса. Отказывая в правомочности периодизации Д. Д. Благого, автор вышеуказанной схемы оставляет по существу в стороне эстетические показатели, отличающие разные этапы литературного развития, и тем самым выделенные им периоды лишены содержательной определенности свойственных им черт художественного миросозерцания.

[6] *Серман И. З.* Нерешенные вопросы истории русской литературы XVIII века // Русская литература. 1973. № 1. С. 20.

[7] См.: Там же. С. 11—28.

В чем же представляется нам актуальность данной проблемы на современном уровне задач литературоведческой науки?

Прежде всего обозначившееся за последнее время необычайное расширение внелитературного материала, вовлекаемого в круг анализа литературных явлений, смещало наши представления о границах задач литературоведческой науки. Это связано отчасти со своеобразной экспансией в литературоведение методов культурологии. Новейшие культурологические разыскания строятся порой на вполне очевидной, хотя и не всегда заметной подмене литературоведческой проблематики решением совершенно особых задач, уводящих исследователя от понимания эстетической природы литературы и ее связи с идеологией. В результате этого утрачивается ясность понимания самого предмета литературоведения.

С другой стороны, возникшие в последние десятилетия представления о некоей ущербности традиционных методов литературоведческого анализа создали ситуацию своеобразного теоретического вакуума и, как следствие, методологической аморфности. Анализ литературных явлений в их социальной обусловленности перестал удовлетворять некоторых литературоведов. Выход из положения пытаются найти в актуализации методов герменевтического анализа текстов или в конструировании культурных топосов. Если первому отводится приоритет в объяснении анализа отдельных произведений, то второе призвано обозначить контуры опорных звеньев культурной преемственности. При этом отдельным атрибутам культурного сознания придается значение чуть ли не основополагающих элементов в формировании историко-культурного контекста эпохи, хотя критерии выделения таких атрибутов носят чаще всего субъективный, если не сказать случайный, характер. Неудивительно поэтому, что обращение к исследованию исторических закономерностей литературного развития приравнивается к занятиям «плоским эволюционизмом».

К чему приводит подобный отказ от так называемых «традиционных» методов? Объективно эти новации приводят к размыванию наших представлений о специфике предмета литературы XVIII в., а вместе с этим утрачивается понимание действительных границ литературы данной эпохи и факторов, определявших ее развитие. Наглядный пример методологической аморфности в установлении периодов развития литературы XVIII в. дает нам первый том 4-томного академического издания «Истории русской литературы» (Л., 1980), в котором литература 1-й четверти XVIII в. почему-то оказалась отнесена к древнерусскому периоду, а отсчет развития литературы нового времени предлагается вести от 1730-х гг., т. е. от А. Д. Кантемира и В. К. Тредиаковского. Это, конечно, досадное недоразумение, вызывавшее, кстати, критические отклики при обсуждении данного издания в вузах страны. Но отмеченный факт по-своему симптоматичен. Он свидетельствует об известном методологическом застое в нашей науке, ибо вольно или невольно сложившееся положение возвращает наше литературоведение к концепции историко-литературного

процесса, предложенной А. Д. Галаховым в его «Истории русской словесности» (СПб., 1863), где древний период простирается тоже от начала письменности до конца 1730-х гг., т. е. до поэтического дебюта Ломоносова.

В пределах статьи было бы, конечно, нереально пытаться разрешить все вопросы, возникающие в связи с проблемой периодизации литературы XVIII в. Свою задачу мы хотели бы видеть лишь в том, чтобы очертить возможные контуры ее решения. В целом предпосылки такого решения имеются в вышеупомянутом учебнике Д. Д. Благого, и выдвигать еще какую-то новую схему с целью обязательно сказать что-то необычное, оригинальное не входит в наши замыслы. Важно, на наш взгляд, на основе учета реальных фактов истории литературы XVIII столетия взглянуть еще раз на нее как на сложный, многоступенчатый этап в общем процессе эволюции всей русской культуры нового времени.

Объективность любой устанавливаемой системы периодизации зависит от правильности выбора критериев. Вот почему важно избрать методологически верные принципы подхода к решению проблемы. В нашем случае гарантией верности методологии будет историзм подхода: периодизация любого большого этапа литературного развития должна основываться на факторах, отражающих сущность движения свойственных ему форм литературного сознания. При этом следует обязательно учитывать роль и место данного этапа в общем процессе исторического развития национальной литературы в целом. Иначе она может быть сведена к периодизации либо общеисторических, либо идеологических процессов.

Если говорить о том месте, которое литература XVIII в. занимает в общем процессе развития национальной культуры, то уяснение данного вопроса неотрывно от понимания общей роли этого столетия в истории России. XVIII в. — время динамичных свершений, коренным образом изменивших облик прежней феодальной Московской Руси. Расширение базы крепостничества и ограничение прав церкви, начатые реформами Петра I, создали основу для последующего расцвета дворянской монархической государственности в формах абсолютизма, обеспечившего утверждение политической роли России в системе европейских государств. Это столетие было отмечено переходностью. Будучи связующим звеном между длительным древним периодом истории Руси и XIX в., оно явилось в то же время своеобразным диалектическим отрицанием предшествующего периода. В XVIII в. (пользуясь терминологией Гегеля) Россия из объекта всемирно-исторического процесса становится его равноправным действенным субъектом, призванным внести свой вклад в формирование духовных ценностей общечеловеческого значения. Эпохой, когда Россия вполне созреет для этого, станет XIX в., отмеченный вершинными достижениями русского классического реализма в творчестве Толстого и Достоевского.

Решение политических задач, которые поставил перед собой Петр, требовало коренного переустройства всего уклада, каким жила Московская Русь. Обретение Россией статуса европейской

державы, закрепленное ее победами в Северной войне, требовало скорейшего безотлагательного подключения всех институтов ее общественной жизни к ритму жизни развитых европейских стран как в материальной сфере, так и в культурно-идеологической. Реорганизация армии и строительство флота, как гарантов политической мощи страны, диктовали в свою очередь необходимость создания промышленности и подготовки хорошо обученных кадров, что влекло за собой коренное изменение системы образования, невиданное ранее расширение сети светских учебных заведений, зарождение отечественной науки. Параллельно протекало обновление системы административного управления страной, изменение бытового уклада жизни правящего дворянского сословия. Менялась и культура, за сравнительно короткие сроки усвоившая многое из отсутствовавших ранее в России форм и идеологических концепций.

Отмеченная переходность данной эпохи определяет динамизм общего тонуса культурной жизни столетия, что в свою очередь объясняет ускоренный характер развития литературы этого времени. Русская литература на протяжении столетия вынуждена была проходить те стадии развития, которые в Европе переживались на протяжении двух-трех веков. Этим объясняется сравнительно быстрая смена литературных направлений в XVIII в., возникающее порой напластование одних направлений на другие и, как следствие, совмещение в творчестве отдельных авторов разных систем художественного мировосприятия, что создает сложности при периодизации литературного процесса XVIII в. Без учета этой естественной соотнесенности процессов развития русской литературы столетия с усвоением опыта других европейских литератур удовлетворительного решения проблемы периодизации достигнуть невозможно. Здесь нужно сделать одно пояснение.

Еще сравнительно недавно было принято определять сущность протекавших в России XVIII в. процессов культурного обновления термином «европеизация». В последнее время это положение иногда оспаривалось. Однако серьезных аргументов, которые бы подтверждали полную независимость новых форм русской литературы XVIII в. от европейских традиций и тем самым автохтонность топосов культуры данного столетия, приведено не было. Да это было бы и трудно сделать. Логика исторического развития русской литературы XVIII в. действительно отражает процесс активного усвоения ею опыта литератур опередивших Россию в своем духовном развитии европейских стран. Так, эстетические постулаты, определявшие, например, структурное своеобразие новых жанровых форм, ставших достоянием русской литературы XVIII в., в большинстве своем не были органично порождены собственными культурными традициями предшествующего древнего периода. И барокко, и классицизм, и сентиментализм сформировались как художественные системы не на русской почве, однако национальные модификации этих общеевропейских стилей отме-

чены чертами, делающими их качественно новыми явлениями, на основании чего мы имеем полное право говорить о «русском барокко», «русском классицизме», «русском сентиментализме» и т. д.[8]

Вот почему сводить все происходившее в литературном развитии XVIII в. в России только к понятию «европеизации» было бы не совсем правильно. Следует, по-видимому, говорить о постепенном и неуклонном обретении русской литературой таких структурно-содержательных свойств, которые превращали ее в носительницу ценностей общечеловеческого значения. XVIII в. как раз и представлял собой такой период, когда шаг за шагом содержание духовной жизни нации постепенно включалось в процесс общеевропейского культурного развития, чтобы в XIX в. в творчестве таких писателей, как Достоевский и Толстой, обозначить в известном смысле рубеж развития всей мировой литературы.

Вехи этого включения русской литературы в общеевропейский процесс развития и должны, по нашему мнению, служить основными показателями границ отдельных периодов, из которых складывается общая картина периодизации. Если же говорить непосредственно о принципе, регулирующем ее содержательные параметры, то он видится в смене художественных систем эстетического освоения мира в той же последовательности, в которой они переживались в Европе на протяжении XVI—XVIII вв. Эстетические критерии периодизации исходят из тех изменений характера и способов художественного постижения духовной природы человека, какие переживает литература. Смена литературных направлений и фиксирует эти изменения.

Все вышесказанное позволяет выделить в развитии русской литературы XVIII в. 3 основных периода, различающихся вполне определенной спецификой художественного сознания и обусловливаемых ею стилевых и жанровых форм.

I период, охватывающий 1700-е—начало 1730-х гг., по традиции принято называть «Петровским временем». Хотя в подобном определении не раскрывается своеобразие его художественного лица, но приуроченность данного периода ко времени царствования Петра I помогает по-своему понять особую неповторимую роль проводившихся в 1-й трети столетия преобразований для всего последующего развития национальной культуры.

В этот переломный период завершается начавшаяся еще в XVII в. переоценка средневековых канонов мышления и создаются предпосылки новой, чисто светской культуры, ориентированной на восприятие идеологических постулатов раннего европейского Просвещения.

Идейный пафос литературы этого периода составляет защита и пропаганда политики Петра I, его реформаторских начинаний. Отсюда проистекает публицистичность, пронизывающая все наи-

[8] О своеобразии художественной природы русского классицизма XVIII в. нам уже приходилось говорить. См.: История русской литературы: В 4 т. Л., 1980. Т. 1. С. 513—522.

более значительные сочинения этого времени: публицистической установкой отмечены и репертуар «школьного театра» (пьесы, разыгрывавшиеся в Московской славяно-греко-латинской академии или в «гошпитальном» театре Н. Бидлоо, такие как, например, «Торжество мира православного» (1703) или «Слава российская» (1724) Ф. Журовского и др.), и известный трактат П. Шафирова «Рассуждение, какие законные причины Петр Первый к начатию войны против короля Карла XII шведского в 1700 году имел» (1717), и оставшееся без последствий «Доношение о исправлении всех неисправ в нашем государстве» (1704) экономиста-самоучки И. Т. Посошкова, и даже анонимная повествовательная беллетристика тех лет, кардинально переосмыслившая содержательные коллизии демократической повести 2-й половины XVII в. Очень своеобразно эта черта проявилась в бурном расцвете так называемой «любовной лирики» Петровского времени. И, конечно же, публицистичность является отличительной чертой содержания творчества Ф. Прокоповича и А. Д. Кантемира, крупнейших представителей данного этапа.

Специфика художественных задач, решавшихся на протяжении 1-й трети XVIII в., помогает понять своеобразный прагматизм эстетического сознания этого времени, также непосредственно отразившийся в литературе. Вспомним популярность таких книг, как «Приклады како пишутся комплименты разные. . .» (1708) — прообраз последующих «письмовников», «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» (1717), компилятивное пособие по правилам бытового этикета. На основании этих фактов нельзя, конечно, делать выводы об уровне художественных потребностей времени в целом. Но показательно, что пробудившийся в России именно в этот период широкий интерес к античной культуре выразил себя на первых порах в своеобразной актуализации наследия баснописца Эзопа, воспринимавшегося, конечно же, сквозь призму схоластической дидактики как источник нравоучительных иносказаний.[9]

Это сочетание жажды новизны с сохранявшимся еще тяготением к освященным вековыми традициями нормам и понятиям объясняет типичный для данного периода эклектизм художественного сознания как доминирующую черту искусства времени. Для создания какой-то единой эстетической платформы, которая могла бы обеспечивать формирование литературных направлений или школ, условия еще не созрели. Правда, в отдельных сферах культуры, особенно там, где решение пропагандистских задач сочеталось с установкой на зрелищность массового восприятия, например при устройстве карнавальных шествий, в оформлении фейерверков, ощущается сильное влияние черт барокко, искусство

[9] Первые сборники басен Эзопа появились на русском языке еще в XVII в. Но особенную популярность они приобрели в 1-й четверти XVIII в. Изданные Копиевским в Амстердаме в 1700 г. «Эсоповы притчи» были там же перепечатаны по личному распоряжению Петра I в 1712 г. и потом вновь изданы в 1717 г. в Петербурге.

которого отличалось особым пристрастием к пышности и эмблематичности. В литературе данного периода наряду с тенденциями барокко встречаются и элементы использования традиций европейской повествовательной прозы, основанной на переработке рыцарских авантюрных романов, а в творчестве А. Д. Кантемира можно наблюдать первые, в чем-то опережавшие свое время попытки перенесения на русскую почву эстетических норм европейского классицизма, правда в пределах одного жанра — стихотворной сатиры. Собственно появлением первых сатир Кантемира, его переводом трактата Б. Фонтенеля «Разговоры о множестве миров» (1730), а также публикацией в России в том же году романа П. Тальмана «Езда в остров любви» в переводе В. К. Тредиаковского и следует обозначать, по нашему мнению, верхний рубеж этого периода. Если перевод Тредиаковского фиксировал качественные сдвиги в литературном сознании, порожденные обстановкой, возникшей в результате петровских преобразований, то в сочинениях Кантемира уже прозорливо намечен выбор классицизма в качестве такой художественной системы, которая наиболее органична духовным потребностям утвердившегося в своей силе абсолютизма.

II период, охватывающий промежуток времени с конца 1730-х до конца 1770-х гг., естественно рассматривать как период классицизма. Именно в эти годы протекает последовательное формирование литературы, основанной на восприятии эстетической доктрины классицизма. Появление в 1747 г. двух эпистол А. П. Сумарокова («О русском языке» и «О стихотворстве»), ставших, подобно известному трактату Н. Буало «Поэтическое искусство» (1674), своеобразным кодексом классицизма, наглядно подтверждало достижение русской литературой нового уровня художественных возможностей. Завершение М. М. Херасковым восьмилетнего труда по созданию героической поэмы «Россияда», вышедшей в Москве в 1779 г., знаменовало обретение национальной поэзией жанра, признававшегося венцом литературы классицизма.

В отличие от скоропреходящности культурных новаций Петровского времени, в этот период преобладает не тенденция к текучести, к одномоментности в распространении литературных вкусов, а известная тяга к стабильности, что выразилось наглядно в формировании строгой жанровой системы, в своеобразном регламентировании творческого процесса. В течение указанных трех с небольшим десятилетий в русской литературе постепенно создаются национальные образцы почти всех ведущих жанров системы классицизма. Выдающимися представителями классицизма в русской литературе XVIII в. явились А. П. Сумароков и М. В. Ломоносов. Если принадлежность первого к классицизму не оспаривалась в науке, то в оценке художественного метода поэзии Ломоносова мнения расходились. А. А. Морозов считал его представителем барокко.[10] Г. А. Гуковский предлагал оценивать поэтиче-

[10] *Морозов А. А.* Ломоносов и барокко: (О поэтическом стиле М. В. Ломоносова) // Русская литература, 1965. № 2. С. 70—96.

скую систему Ломоносова в контексте художественных принципов эпохи Возрождения.[11] Нам представляется наиболее обоснованной точка зрения П. Н. Беркова, который относит его творчество в конечном итоге к классицизму.[12]

Усилиями Ломоносова, Сумарокова и их последователей формируется канон русской торжественной оды, русской стихотворной трагедии, комедии, героической эпопеи, стихотворной басни, многочисленных лирических жанров, таких как элегия, идиллия, дружеское послание, медитативные стансы. Еще ранее Кантемир, следуя традициям Буало, познакомил русских читателей с жанром сатиры, так что Сумарокову оставалось лишь сделать дальнейший шаг по пути русификации этого жанра, так же как он сделал это в жанре поэтической басни.

Классицизм в России появился веком позже, нежели во Франции, где, как известно, самые блестящие достижения его приходятся на XVII в. Это наложило свою печать на специфику жанровых форм русского классицизма. Достаточно представить путь, пройденный Сумароковым-драматургом, чтобы увидеть, что в его трагедиях следование урокам Расина сливается с усвоением традиций Вольтера; и наряду с этим Сумароков дважды обращался к драматургическому наследию Шекспира. Итогом было создание довольно специфической, не имевшей аналогов в других европейских литературах трагедийной структуры — с минимальным числом персонажей, с наличием счастливых развязок, резонеров и т.д.

Указанное обстоятельство не только помогает понять специфику осмысления традиционных жанровых форм в русском классицизме XVIII в. Особая роль при этом отводилась идеям европейского Просвещения, которые, будучи трансформированы на русской почве, стали объективно идеологической базой русского классицизма. То, что носителями этого демократического по своей внутренней сущности мировоззрения выступали в России в основном представители правящего дворянского сословия, объясняет повышенную популярность в русском классицизме концепции просвещенного абсолютизма. Это наиболее отчетливо проявилось в одическом жанре и в трагедии. Когда на сцене демонстрация сословных добродетелей сочетается с утверждением нравственной ответственности монархов в выполнении ими своего долга перед подданными, когда в одах достоинства монархов измеряются ревностностью их в служении интересам отечества, то становится

---

[11] *Гуковский Г. А.* Русская литература XVIII века. Л., 1939. С. 108.

[12] «. . .как ни отличалась литературно-общественная позиция Ломоносова от позиции Сумарокова, все же оба автора могли действовать и действовали в пределах того литературного течения, которое господствовало тогда в европейских литературах, в пределах классицизма. Разные подходы, разные исходные общественно-политические, классовые позиции могли только повлиять на внешнее проявление усвоения классицизма, но отменить самого процесса вхождения русской литературы в общеевропейское литературное развитие не могли». — *Берков П. Н.* Проблема литературного направления Ломоносова // XVIII век. М.; Л., 1962. Сб. 5. С. 32.

объяснимой специфическая публицистическая окраска этих ведущих жанров классицизма в России. В русской драматургии классицизма XVIII в. вообще возникла парадоксальная ситуация: трагедии Сумарокова и его учеников имели в большинстве своем счастливые развязки, зато коллизии комедий, например у Фонвизина и Капниста, приобретали гротесково-трагедийные черты. В названных жанрах классицизма просветительский пафос в осмыслении природы драматических конфликтов помогает понять такое положение.

Таким образом, утверждение идеалов обновленной государственности в ее сословном (как это было у Сумарокова) или общенациональном (как у Ломоносова) истолковании и составляло идейно-содержательную основу литературы русского классицизма XVIII в., традиции которого будут сохраняться вплоть до первых десятилетий XIX в. Но уже к концу 1780-х гг. начинает обнаруживаться исчерпанность эстетических возможностей этой художественной системы, неадекватность постулируемых ею принципов новым историческим потребностям. Классицизм уступает свое ведущее положение другой художественной системе; смена вкусов обозначила наступление нового периода в развитии историко-литературного процесса XVIII в.

III период, приходящийся на 1780—1800-е гг., отмечен утверждением в русской литературе сентиментализма и распространением сопутствующих ему преромантических веяний. Тенденции, определявшие художественные искания этого периода, останутся актуальными в течение первого полуторадесятилетия XIX в.

Крупнейшими представителями сентименталистского направления в русской литературе XVIII в. были М. Н. Муравьев и Н. М. Карамзин. Именно в их творчестве с наибольшей отчетливостью запечатлено изменение представлений о функции литературы и ценностной основе иерархии жанров. Свойственное классицизму утверждение идеальности государственно-политических интересов, отстаивание сословных добродетелей сменяется теперь осознанием ценности человеческой личности самой по себе. Этим объясняется абсолютизация у сентименталистов нравственного чувства как главного мерила человеческих поступков. Соответственно свойственная высоким жанрам классицизма масштабность мировосприятия уступает в новой системе место доверительной интимности сердечного излияния чувства. Для поэзии этого направления типично воспевание дружбы и тихих радостей любви на лоне природы, где царствуют гармония и естественность, давно утраченные в человеческом общежитии. Путь к достижению общественной гармонии видится при этом в совершенствовании внутреннего мира человека. Отсюда становится понятной та роль, какая в эстетике сентиментализма отводится исследованию тайников человеческой души. Не случайно в жанровой системе нового направления наибольшую художественную ценность приобретают формы субъективно-исповедального плана, дававшие простор для анализа внутреннего мира личности, — интимная лирика, где

центральное место заняли дружеское послание и элегия, а также эпистолярная и повествовательная проза. Лирику М. Н. Муравьева, повести Н. М. Карамзина, опубликованные в «Московском журнале» и позднейших альманахах, а также его «Письма русского путешественника» наряду с «Путешествием из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева можно считать наиболее яркими явлениями данного периода.

Как литературное направление сентиментализм в России получил свою организационную оформленность в периодических изданиях Карамзина 1790-х гг. и в его альманахах «Аглая» (1794—1795) и «Аониды» (1796—1799). В них же печатались программные теоретические статьи Карамзина, раскрывавшие специфику основополагающих установок эстетики нового направления.

То, что сентиментализм в России зарождается в канун Великой французской буржуазной революции, а оформляется как направление в период развертывания событий, всколыхнувших всю политическую жизнь Европы на исходе столетия, наложило свой отпечаток на решение центральной эстетической проблемы времени, а именно проблемы истолкования предназначения человека. Художественная практика русского сентиментализма 1790-х гг. демонстрирует два пути решения этой проблемы.[13] Один путь, пронизанный пафосом социального индифферентизма и признания обреченности людей на страдания, фиксирует уход во внутренний мир души, воспевание верности дружбе, любви, уединения. Наиболее отчетливо подобная позиция заявлена в известном стихотворении Карамзина «Послание к Дмитриеву» (1794).

Другой, противоположный путь во главу угла ставит отстаивание прав человеческой личности с демократических позиций. Представителем этого крыла в русском сентиментализме следует считать А. Н. Радищева.[14] Его «Путешествие из Петербурга в Москву» демонстрирует бескомпромиссное, воинствующее отрицание института крепостного рабства как противоречащего человеческой природе явления. Содержание произведения исполнено социальной активности, ибо утверждает объективно политические идеалы, подсказанные учениями наиболее радикального крыла французских просветителей XVIII в.[15]

Таковы, на наш взгляд, основные этапы исторического развития русской литературы XVIII столетия. Данная система перио-

[13] В свое время эти две линии русского сентиментализма проанализировал Ю. М. Лотман в диссертации «А. Н. Радищев в борьбе с общественно-политическими воззрениями и дворянской эстетикой Н. М. Карамзина» (Тарту, 1951). О двух линиях в прозе русского сентиментализма пишет и П. А. Орлов в своей монографии «Русский сентиментализм» (М., 1977).

[14] Вопрос о творческом методе А. Н. Радищева также остается в науке открытым. Большинство исследователей (П. Н. Берков, Г. П. Макогоненко, Л. И. Кулакова, А. В. Западов и др.) считают Радищева реалистом. Свою позицию по данному вопросу я высказал в статье «Проблема реализма в русской литературе XVIII века» (Русская литература. 1982. № 4. С. 55—76).

[15] См.: *Макогоненко Г. П.* Учение Радищева об активном человеке и Пушкин // XVIII век. М.; Л., 1966. Сб. 7. С. 345—352; *Лотман Ю. М.* Радищев и Мабли // Там же. 1958. Сб. 3. С. 276—308.

дизации, основанная на чисто эстетических критериях, не содержит внешне ничего нового. Мало того, можно привести факты, не укладывающиеся, казалось бы, в предложенную схему. Но проблема периодизации литературы не может решаться чисто статистическим путем и не сводится к регистрации смены вкусовых норм. Важное значение имеет и социальный фактор. Не отдельный спорадический факт, сколь бы он ни был значительным, а лишь наличие комплекса явлений, охватывающих все уровни общественно-литературной жизни эпохи, может служить достаточным основанием для установления границ того или иного периода. И здесь следует различать разные ступени формирования художественных систем, не смешивая развитую стадию того или иного периода с этапом зарождения его предпосылок. Приведем показательный пример такого положения.

Первые сатиры Кантемира, выдержанные в духе следования сатирам Буало, т. е. канонам французского классицизма, появляются в конце 1720-х гг. Первая классицистическая ода на русском языке, написанная В. К. Тредиаковским также в подражание Буало, — «Ода на сдачу Гданьска» — приходится на 1734 г. Но значат ли эти факты, что нижнюю границу II периода и утверждение в России классицизма следует относить на конец 1720-х гг. и считать Тредиаковского основоположником канона одического жанра, утвердившегося в XVIII в.? На наш взгляд, подобные мнения были бы ошибочными.

Становление классицизма в русской литературе XVIII в. произошло не в одно мгновенье, но сопровождалось подготовительным периодом, отмеченным своего рода пробными, спорадическими прорывами его эстетических принципов в творчестве отдельных авторов. Существенно, что и оды Ломоносова, и трагедии Сумарокова, не говоря уже о теоретических «эпистолах» последнего, прямой, преемственной связи с опытами Кантемира и Тредиаковского не имели. Мало того, утверждавшаяся Ломоносовым и Сумароковым поэтическая система призвана была подчас служить опровержением стиховой практики их предшественников. Образцами, на которые они ориентировались, были либо французские (для Сумарокова), либо немецкие (в жанре оды для Ломоносова) авторитеты. Оформление же классицизма в художественную систему как определенного этапа историко-литературного процесса в целом происходит именно в творчестве этих авторов. И оно стало возможным именно в конце 1740-х гг., когда для этого созрели необходимые условия как культурно-идеологического порядка, так и социальные. С одной стороны, процесс был обеспечен реформой русского стихосложения и известной стабилизацией норм литературного языка. С другой стороны, именно к 1740-м гг. было покончено с временным состоянием относительной внутриполитической нестабильности и позитивная роль абсолютизма как гаранта подъема национального самосознания в продолжении дела Петра I вновь обрела свою незыблемость. Все это обеспечило условия для органичного развертывания художественной системы классицизма

и наступления соответствующего периода в развитии русской литературы.

При таком подходе 1730-е гг., на протяжении которых совершалась реформа русского стихосложения и протекало упорядочение норм литературного языка, следует оценивать как своеобразный промежуточный рубеж, отмеченный динамичным процессом перестройки литературного сознания. В ходе его были созданы условия для органичного и полного усвоения литературой системы классицизма.

Аналогичным образом обстояло дело и с созреванием предпосылок сентиментализма, первые признаки которого принято видеть в поэтических новациях, которыми увлекались члены кружка М. М. Хераскова в периодических изданиях начала 1760-х гг. («Полезное увеселение», «Доброе намерение» и др.). Отдельные прорывы к сентименталистскому истолкованию задач поэтического искусства можно наблюдать и в творчестве И. Ф. Богдановича, и в ранних поэтических опытах М. Н. Муравьева или Ф. И. Дмитриева-Мамонова. Но только к концу 1780-х гг. созревают условия для естественного оформления сентиментализма в целостную художественную систему, занявшую определяющее место в литературе конца XVIII в. И здесь качественное переосмысление трактовки задач литературы вытекало из полного изменения духовных потребностей общества. Основу этой новой социально-исторической ситуации составляла в сущности исчерпанность просветительской миссии русского абсолютизма, что наглядно проявилось в последние годы царствования Екатерины II и в короткий промежуток пребывания на троне Павла I.

Таким образом, выработка критериев периодизации должна органично соотноситься с установлением факторов, определявших эпохальные сдвиги в эволюции культурного сознания. Хотя внешним показателем этих сдвигов служат изменения вкусовых норм, вне учета воздействия на развитие культуры процессов социальной жизни объективного представления о закономерностях этого развития мы не получим.

Н. Д. КОЧЕТКОВА

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО СЕНТИМЕНТАЛИЗМА

За последние десятилетия в литературоведении (как советском, так и зарубежном) усилился интерес к изучению литературных направлений XVIII в., причем явственно обнаружилась тенденция к пересмотру многих традиционных представлений.

Работы Е. Н. Купреяновой, Ф. З. Кануновой, Л. И. Кулаковой, П. А. Орлова, Х. Грасхофа, М. Тетени и других исследователей во многом уже показали общественную и художественную значимость сентиментализма как направления. Ряд методологически важных проблем поставлен в содержательной статье В. И. Каминского, аргументированно обосновывающего эстетическую самостоятельность сентиментализма как художественного метода.[1] Особое внимание здесь, в частности, уделено вопросу соотношения этого направления с другими — не только соседствующими, но и сосуществующими — классицизмом и романтизмом.

Дальнейшее изучение сентиментализма в более широком историко-литературном и историко-культурном контексте — вот одна из самых главных задач.

Любое новое направление, как бы полемически ни относилось оно к предшествовавшему, неизбежно опирается на наследие прошлого, использует его. В первую очередь следует иметь в виду, конечно, взаимодействие граничащих и частично совпадающих во времени направлений. Но нельзя забывать и то важное обстоятельство, что сентиментализм по-своему воспринимает и оценивает и другие, более ранние художественные явления, отделенные от него несколькими веками: античную, средневековую литературу и т.д.

Русские писатели конца XVIII—начала XIX в. интенсивно осваивали опыт мировой культуры, накопленный на протяжении столетий, и по-своему продолжали отечественные традиции. В подходе к произведениям прошлого и в их интерпретации писатели проявляли не только свои личные вкусы и пристрастия, но и эстетические принципы, присущие направлению в целом. Обращение к названной проблеме во многом поможет уточнить эстетические критерии русского сентиментализма, проследить процесс выра-

[1] *Каминский В. И.* К вопросу о сентименталистском художественном методе в литературе // Русская литература. 1984. № 2. С. 124—137.

ботки индивидуального стиля, предполагающий по существу овладение «многостилевой системой литературы».[2]

Как много интересного, например, могла бы дать разработка темы «античность в интерпретации русских сентименталистов». По-своему эти писатели продолжали спор о «древних» и «новых», причем их позиция в этом споре была далеко не однозначной. Так, у М. Н. Муравьева проявилась известная двойственность в подходе к античной литературе. Отчасти следуя традиции, писатель говорил о преимуществах «древних»: «Дух более возвышается с древними, и величественная простота их удобнее применяется ко всем временам и народам, нежели изысканные тонкости новых, которые владычествуют некоторое время и исчезают с модою. . .» [3] Античная культура оказывается своеобразным критерием при оценке достоинств французских классиков. Так, характеризуя творчество Расина, Муравьев писал: «Поражен с младенчества красотами древних, он сообщил языку своему все их величие и приятность».[4] Однако принципиально иной оказывается самая трактовка античности. Древние писатели ценятся не потому, что незыблемость их авторитета освещена многовековой историей культуры. Их истинное величие противостоит «надутости», высокопарности, а среди достоинств выделяется нечто новое — «приятность». Обращение к античности оказывается, таким образом, средством и в борьбе сентименталистов с предшествовавшим направлением, и в утверждении собственных эстетических принципов. Одно из важнейших требований нового направления: естественность, «натуральность». Замечательно в связи с этим стремление Муравьева, предпринявшего попытку написать трагедию «Дидона», подражать Вергилию, а не новейшим драматургам, разработавшим тот же сюжет.[5]

Подобное отношение к античности соответствовало настроениям, связанным с руссоистским призывом возвращения к природе. Поиски утраченной гармонии, якобы существовавшей среди людей, не испорченных современной цивилизацией, вели к миру «древних». Так возникала еще одна концепция античности, получившая отражение в творчестве Муравьева 1770-х гг.

В программном стихотворении «Поэзия» (1787) Н. М. Карамзин также помимо Гомера, Софокла и Эврипида выделил среди древнегреческих авторов идилликов: Биона, Теокрита (Феокрита), Мосха: «. . .слушатели их / Пленялись красотой Природы без

---

[2] См.: *Лихачев Д. С.* Система стилевых взаимоотношений в истории европейского искусства и место в ней русского XVIII века // XVIII век. Л., 1975. Сб. 10. С. 10.

[3] *Муравьев М. Н.* Полн. собр. соч. СПб., 1819. Ч. 1. С. 196.

[4] Там же. Ч. 2. С. 26—27.

[5] См.: *Кулакова Л. И.* Поэзия М. Н. Муравьева // *Муравьев М. Н.* Стихотворения. Л., 1967. С. 17. (Библиотека поэта, большая серия). Такое отношение к античности непосредственно предваряло эстетические принципы романтиков. См.: *Кибальник С. А.* Неоклассицизм в русской лирике конца XVIII—начала XIX в. // На путях к романтизму Л., 1984. С. 139—157.

искусства, / Приятностью села».[6] Своеобразный идеал сельской жизни и довольства малым, характерный для сентименталистов, нашел непосредственное отражение в горацианской лирике В. В. Капниста и других авторов.

Античная культура воспринималась Карамзиным, как и большинством других сентименталистов, через европейское посредство. Особенно значительным было воздействие на «русского путешественника» таких книг, как «Агатон» Х. М. Виланда и «Путешествие юного Анахарсиса» Ж.-Ж. Бартелеми. Мир древней Греции виделся Карамзину во многом через эти произведения.[7] Античная культура поэтизировалась и превращалась в область, таящую в себе богатые возможности для творческой фантазии. Подобное восприятие лежит в основе карамзинской повести «Афинская жизнь», до сих пор, к сожалению, недостаточно исследованной. Несмотря на всю условность изображенных здесь событий и персонажей, отмеченную Ю. М. Лотманом,[8] названная повесть представляет собой интересную попытку соотнесенности окружающего с миром иной культуры. Идеализируя этот мир, Карамзин ориентировался не только на европейскую традицию интерпретации античности, но и на отечественную. В частности, несомненное воздействие и в этом плане оказал на писателя кружок Н. И. Новикова. Глубокий интерес к этическим проблемам, отличавший Новикова и его сподвижников, проявился и в их отношении к произведениям «древних».

Так, в журнале «Утренний свет» (1779. Ч. 3—6) публиковались «Жизни философов» Диогена Лаэртского, переведенные, как справедливо считают исследователи, с латинского.[9] Знакомство с биографиями античных мудрецов должно было способствовать «нравственному образованию» публики, научить ее ценить истинные добродетели. Примечательно, что даже в «Предуведомлении» к журналу издатели в шутку уподобляли свое собрание «Афинскому ареопагу».[10] Обращение к античности становилось фактом не только литературным, но общекультурным. Предпринимались своеобразные попытки ввести в обиход какие-то древнегреческие

---

[6] *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 60.

[7] См.: *Cross A. G.* N. M. Karamzin and Barthelemy's «Voyage du jeune Anacharsis» // The Modern Language Review. 1966. V. LXI. № 3. P. 467—472; *Данилевский Р. Ю.* Виланд в русской литературе // От классицизма к романтизму. Л., 1970. С. 349.

[8] *Лотман Ю. М.* Эволюция мировоззрения Н. М. Карамзина: (1789—1803) // Учен. зап. Тартуского ун-та. Труды историко-филологического факультета. 1957. Вып. 61. С. 144.

[9] См.: *Петровский Н. М.* Библиографические заметки о русских журналах XVIII в-ка // Изв. ОРЯС. 1907. Т. 12, кн 2. С. 303; *Keipert H.* Neue Quellen zu Novikovs «Utrennij svet» // Zeitschrift für slavische Philologie. 1984. Bd 44, H. 2. S. 273—283. По предположению Х. Кайперта, перевод принадлежал С. Воронову.

[10] Утренний свет. 1777. Ч. 1. С. VI. См. также: *Rothe H.* Marginalien zum «griechischen Geschmack» in Rußland 1780—1820 // Festschrift für M. Woltner zum 70. Geburtstag. Heidelberg, 1967. S. 205—218.

обычаи, имена, реалии. Подобные явления закономерно возникали в среде интеллигенции XVIII в., не удовлетворенной окружающим и занятой поисками нравственных начал. В этом отношении интересную параллель Новиковскому кружку можно найти в деятельности Ф. Гемстергюи, которого Виланд называл «Платоном нашего времени».[11] Литераторы стремились теперь использовать авторитет «древних» для утверждения не столько литературных правил, сколько нравственных. Древние философы, в особенности Сократ (его культ создается в новиковском кружке), являли собой достойные образцы для подражания, воплощавшие моральные достоинства, особенно ценившиеся в литературе нового направления. Обращение к античным авторам с воспитательной целью получило достаточно широкое распространение в произведениях русского сентиментализма. Характерно, что В. В. Измайлов, намечая программу своего журнала «Патриот», упоминает прежде всего «нравоучительные сочинения» Аристотеля, Цицерона, Сенеки, Плутарха.[12]

Дальнейшие исследования, очевидно, покажут, насколько разносторонним и вместе с тем специфическим было восприятие античности русскими сентименталистами. Не менее интересным представляется их отношение к культуре Средневековья. Высказывания о варварстве и грубости нравов тех времен — лишь одна сторона восприятия. Двойственность отношения к Средневековью проявилась у Карамзина в переписке Мелодора и Филалета. С точки зрения первого из них, эпоха, последовавшая за античностью, — это «варварство многих веков, варварство ума и нравов — эпоха мрачная — сцена, покрытая черным флером для глаз чувствительного философа».[13] Другой карамзинский персонаж возражает: «Ты указываешь мне на варварство средних веков, наступившее после греческого и римского просвещения; но самое сие так называемое варварство (в котором, однако ж, от времени до времени сверкали блестящие, зрелые идеи ума) не послужило ли *в целом* к дальнейшему распространению света наук?» [14] Теория общественного и нравственного прогресса, которую Карамзин развивает и в других статьях, позволяет ему отказаться от исключительно негативной оценки Средневековья. Приближаясь к историзму в постижении прошлого, Карамзин начинает все больше ценить своеобразие культуры каждой эпохи каждого народа.[15] При этом важно, что Средневековье, как и любая другая эпоха, представляется ступенью в нравственном развитии человечества. Оказывается, что и суровые времена рыцар-

---

[11] См.: *Кожевников В. А.* Философия чувства и веры в ее отношениях к литературе и рационализму XVIII века и к критической философии. М., 1897. Ч. 1. С. 47—56.

[12] [*Измайлов В. В.*] Введение // Патриот. 1804. Т. 1. С. 10.

[13] *Карамзин Н. М.* Избр. соч. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 249—250.

[14] Там же. С. 257.

[15] См.: Проблемы историзма в русской литературе: Конец XVIII—начало XIX в. Л., 1981. С. 140—141. (XVIII век. Сб. 13).

ских войн могут дать неожиданные примеры проявления излюбленной сентименталистами чувствительности. Любовная лирика Средневековья, и особенно творчество П. Абеляра, привлекает внимание русских писателей и непосредственно, и через посредство Руссо. Любопытную характеристику этой эпохи находим, в частности, у П. И. Макарова: «Рыцарство угнетало народ — появились трубадуры — в Провансе учредилась Любовная палата — и звери, искавшие только добычи и крови, сделались защитниками слабости и невинности. В двенадцатом столетии мы видим одно из тех явлений, которых скупая Натура не кажет дважды, видим нежную, чувствительную, пламенную, ученую, любезную и несчастную Элоизу. . .» [16]

Особая и важная тема — отношение русских сентименталистов к отечественной старине, древнерусской литературе и фольклору (и то, и другое объединялось в сознании писателей того времени). Начатые в этом направлении исследования необходимо продолжить с учетом той новой, углубленной характеристики, которую получает в советском литературоведении Петровская эпоха, знаменующая переход от древнерусской культуры к новой и вместе с тем представляющая собой звено единого цельного процесса.[17] Помимо выявления использованных сентименталистами сюжетов, тем, образов, восходящих к древнерусской литературе или фольклору (что само по себе может дать интересные результаты), важно проследить и общие тенденции, обнаруживающие черты преемственности. Достаточно, в частности, вспомнить, что многие задачи, стоявшие перед искусством европейского Возрождения, в России решались как древнерусской культурой, так и культурой XVIII в. Интерес к человеческой личности, стремление раскрыть ее духовное богатство роднит сентиментализм с Возрождением. Между тем до сих пор остается неразработанной проблема восприятия русскими сентименталистами литературы европейского Возрождения. Одна из сторон этого восприятия связана с просветительской идеей внесословной ценности человека, с возвеличением его нравственных достоинств. Значительную роль играли здесь опять-таки издания Новикова. Так, например, моральные истины, важные для сентименталистов, получили свое подтверждение в напечатанном Новиковым «Увещательном писме Ерасма Ротеродамского», где говорилось, что «истинное украшение не в богатстве находится, но в добродетели».[18] Интерес к психологическому анализу, отличающий Карамзина и его важнейших сподвижников, делает для них чрезвычайно ценными открытия М. Монтеня, воспринятые отчасти через Ж.-Ж. Руссо.

---

[16] [*Макаров П. И.*] Некоторые мысли издателей Меркурия // Московский Меркурий. 1803. № 1. С. 14—15.

[17] См.: *Лихачев Д. С.* Петровские реформы и развитие русской культуры // Лихачев Д. С. Прошлое — будущему: Статьи и очерки. Л., 1985. С. 382—387. См. также статью А. М. Панченко в настоящем издании.

[18] Утренний свет. 1777. Ч. 1. С. 88.

Наконец, изучая русскую литературу сентиментализма, невозможно обойти и проблему восприятия в России современной ей европейской литературы сентиментализма. Вполне естественно, что внимание исследователей было обращено на вершинные, наиболее яркие произведения: сочинения Л. Стерна, Ж.-Ж. Руссо, «Страдания юного Вертера» Гете. Фундаментальная книга В. М. Жирмунского «Гете в русской литературе», статьи Ю. М. Лотмана и Ф. З. Кануновой показывают, как русские писатели творчески воспринимали и по-своему переосмысливали художественный опыт европейских авторов. Исследования Ю. Д. Левина, Р. Ю. Данилевского, П. Р. Заборова, О. Б. Кафановой, П. Бранга, Х. Роте, Э. Кросса, Э. Хексельшнайдера существенно дополняют эту картину именами Дж. Макферсона (поэмы Оссиана), Э. Юнга, Дж. Томсона, И. Лафатера, А. Галлера, С. Геснера, Э. Х. Клейста, Ж.-Ф. Мармонтеля, М.-Ф. Жанлис и др. И тем не менее проблема далеко не исчерпана. Не говоря о том, что возможны новые сопоставления с произведениями уже названных писателей (в частности, в связи с изучением исключительно многогранной проблематики творчества Руссо), желательно было бы проследить историю восприятия в России связанных с сентиментализмом европейских литераторов менее крупного масштаба, но получивших широкое признание в России конца XVIII—начала XIX в. Хотелось бы назвать в этой связи таких немецких писателей, как Х. Ф. Геллерт, Х. Ф. Вейсе, К. Ф. Мориц, И. Г. Кампе и др. Очень актуальна и выдвинутая М. Тетени проблема сравнительно-исторического изучения сентиментализма в литературе стран, относящихся к одной культурной зоне.[19]

Важным достижением современной науки явилось признание глубокой связи сентиментализма с идеологией Просвещения. Тем не менее требуют дальнейшего изучения конкретные вопросы: в чем именно и как осуществлялось воздействие идей Просвещения на литературу, как они эволюционировали, получая новое художественное воплощение. Все эти вопросы необходимо изучать в постоянной соотнесенности с проблемами собственно эстетическими. Критерий «натуральности», сделавшийся основополагающим, непосредственно был связан с руссоистским призывом возвращения к природе, с интересом к «естественному человеку». В этом заключалась принципиальная новизна интерпретации просветительских идей в искусстве и литературе сентиментализма по сравнению с классицизмом. Вместе с тем в культуре конца XVIII—начала XIX в. происходил достаточно сложный процесс: отталкивание от предшествовавших традиций и одновременно постоянное обращение к ним. Русские литераторы, зачитываясь Руссо, постоянно полемизировали с ним, отстаивая необходимость развития наук и искусств и — более широко — распространения образованности, расширения читательской аудитории. Эти насущные

[19] См.: *Тетени М.* Проблемы и задачи изучения литературы сентиментализма // Hungaro-Slavica. 1983. P. 325—327.

просветительские задачи, стоявшие перед русской культурой в течение всего XVIII столетия, во многом объединяли писателей разных художественных направлений. Характерно поэтому, что идея прогресса, принесенная идеологией Просвещения, сохранила первостепенное значение в эстетике русского сентиментализма, что во многом определяет и его национальное своеобразие, изученное до сих пор недостаточно.

Задача не в том, чтобы разделить русских писателей XVIII в. на классицистов, сентименталистов и предромантиков. Все большую поддержку получает сейчас представление, что в творчестве одного и того же автора могут проявляться черты разных направлений. В частности, вполне закономерно ставится вопрос о сентиментализме в произведениях А. Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, даже В. П. Петрова.[20]

Тем важнее выявить основные эстетические и художественные принципы сентиментализма, понять, как формировались и что собою представляли новые идеи, входившие в сознание людей с развитием этого направления. Речь идет прежде всего именно об историческом подходе к исследованию названных проблем, так как любой идеал, как бы он ни был далек от реальной действительности, всегда с ней соотносится, зависит от нее и одновременно оказывает на нее свое воздействие.

Колоссальный разрыв между идеалом и действительностью в литературе классицизма как бы закреплялся иерархией жанров. Сентиментализм во многом способствовал сокращению этого разрыва, что и привело к трансформации всей жанровой системы. В драматургии нового направления преимущественное развитие получила слезная драма, в прозе — путешествие и повесть, в поэзии — камерная лирика. Хотя исследователи (Е. Н. Купреянова, Ф. З. Канунова, П. А. Орлов, П. Бранг, Х. Штедтке и др.) уделили уже значительное внимание отдельным жанрам сентиментализма (особенно повести), многое еще и здесь остается невыясненным. Необходимо дальнейшее углубленное изучение специфики каждого жанра и, главное, его соотнесенности с другими.

Плодотворным могло бы стать параллельное рассмотрение прозаических и стихотворных жанров. Иногда их разделение оказывается совершенно искусственным (например, когда речь идет об идиллии, элегии, пейзажной зарисовке и т. д.). Стихотворное послание имеет известные соответствия с дружеским письмом; сходные сюжеты развиваются в повести и в балладе или стихотворной сказке; элементы самых разных жанров (в том числе и стихотворных) входят в ткань путешествия. Самое смешение жанров

---

[20] См.: *Орлов П. А.* Русский сентиментализм. М., 1977. С. 145—162; *Стенник Ю. В.* Проблемы реализма в русской литературе XVIII в. // На путях к романтизму. Л., 1984. С. 18—51; *Каминский В. И.* К вопросу о сентименталистском художественном методе в литературе. С 125; *Такиулина И. Ф.* Литературные направления второй половины XVIII в. и творчество В. П. Петрова // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1984. С. 20—25.

становится своеобразным принципом, но это не означает отказа от жанровой системы как таковой: она трансформируется, делается более гибкой, но остается постоянным ориентиром для писателей-сентименталистов. Более того, создаются определенные жанрово-стилистические каноны, особенно заметные в творчестве эпигонов. Возникают, таким образом, противоборствующие тенденции в пределах направления: с одной стороны, стремление к нормативности (качественно, однако, новой по сравнению с классицизмом); с другой — попытки преодоления этой нормативности. Сложность названного процесса, естественно, находит отражение и в языке. Создание индивидуального стиля противостоит языковым штампам. Дальнейшие исследования лингвистов, очевидно, существенно помогут в решении ряда проблем, стоящих перед литературоведами, изучающими литературу сентиментализма.

Постепенное преодоление разрыва между идеалом и действительностью ведет и к созданию героя нового типа. На смену персонажам классицистических произведений пришли иные герои: люди обыкновенные, замечательные не подвигами, но своими душевными качествами. Часто подчеркивалось, что герой не богат и не знатен; появились персонажи из демократической среды (купцы, ремесленники, крестьяне). Не менее важным новшеством явились попытки создания героя, совмещающего в себе и положительные, и отрицательные качества. Карамзинский Эраст из «Бедной Лизы» вполне мог бы служить примером к рассуждению Ф. Хатчесона о том, что «поэт не должен рисовать своих героев совершенно добродетельными», что «нас более глубоко трогают и волнуют несовершенные герои, так как в них мы видим <. . .> борьбу аффектов себялюбия с аффектами чести и добродетели, которую мы часто ощущаем в своем собственном сердце. . .» [21]

Преодоление известной однолинейности, свойственной литературе классицизма в изображении героев, явилось важным художественным достижением сентиментализма, оцененным еще далеко не в полной степени. В то же время нельзя забывать, что по сравнению с предшествующим направлением меняется самое представление о положительном герое: возникает новый нравственный идеал, служащий критерием при оценке тех или иных качеств и поступков героя.

В творчестве сентименталистов создается образ идеального героя — «чувствительного человека», начитанного, умеющего ценить красоту природы и произведений искусства, любящего музыку и живопись. В связи с этим встает вопрос: что же такое «чувствительность», какое содержание вкладывалось в это слово, получившее такое распространение в литературе сентиментализма? Между современными исследователями нет единства в решении этой проблемы. В частности, предметом обсуждения стал вопрос,

---

[21] *Хатчесон Ф.* Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели // Хатчесон Ф. и др. Эстетика. М., 1973. С. 80.

этическая ли это категория или гносеологическая? [22] Возникшая полемика в высшей степени плодотворна, так как благодаря ей выявляется неоднозначность термина. Если обратиться к текстам XVIII—начала XIX в., можно найти примеры, свидетельствующие об употреблении слова «чувствительный» в разных значениях. Одно из них соответствовало английскому и французскому «sentimental».[23] В этом значении слово «чувствительный» употреблялось в XVIII в. гораздо шире, чем заимствованное «сентиментальный». Новое, переносное значение слова «чувствительный» не заставило, однако, отказаться от его употребления в прежнем значении «чувственный», «ощутимый», «связанный с внешним ощущением» («sensible»), так же как в немецком «empfindsam», «Empfindsamkeit» употреблялось наряду с «sentimental», «Sentimentalität».[24]

В новом значении слово «чувствительный» чаще всего означало «отзывчивый», «добрый», «способный к состраданию». Все это относилось к нравственной характеристике человека: «Чувствительная душа, ведущая благотворения плоды, приглашает в ощущаемой ею радости участвовать и других».[25]

Нередко слово «чувствительный» употреблялось в значении «восприимчивый». «Человек везде человек; везде имеет он чувствительное сердце и в зеркале воображения своего вмещает небеса и землю», — писал Карамзин в предисловии к своему переводу из «Саконталы».[26] Характеризуя Богдановича, Карамзин говорил о его «чувствительности к любезности женской».[27] В конце века появляется понятие «чувствительный слог».

Вместе с тем интересующее нас слово использовалось и в другом значении («sensible») для выражения гносеологических понятий: так, термин «чувствительность телесная» («sensibilité») многократно повторяется у Радищева в переводе с французского философских писем Ф. В. Ушакова.[28] Радищев в этом же значении упо-

[22] См.: *Орлов П. А.* Русская сентиментальная повесть // Русская сентиментальная повесть. М., 1979. С. 6—8; *Зорин А.* Двести лет спустя // Вопросы литературы. 1980. № 3. С. 278—283; *Тураев С. В.* От Просвещения к романтизму: (Трансформация героя и изменение жанровых структур в западноевропейской литературе конца XVIII—начала XIX в.). М., 1983. С. 93—94.

[23] В английском языке это слово получило распространение задолго до «Сентиментального путешествия» Л. Стерна (1768). Так, в письме к С. Ричардсону в 1749 г. одна дама писала: «. . .I am frequently astonished to hear such a one is *sentimental* man; we were at a *sentimental* party; I have been taking a *sentimental* walk. . .» («. . .я часто удивляюсь, слыша, как говорят: это *сентиментальный* человек, мы были на *сентиментальном* вечере, я совершил *сентиментальную* прогулку. . .»). — См.: *Erämetsa E.* A Study of the Word «Sentimental» and of other Linguistic Characteristics of Eighteenth-Century Sentimentalism in England. Helsinki, 1951. P. 22.

[24] Помимо слова «sentimental» в немецком языке используется слово «sentimentalisch», имеющее более широкий, обобщающий смысл. См.: *Wieser M.* Der sentimentale Mensch gesehen aus der Welt holländischer und deutscher Mystiker im 18. Jahrhundert. Gotha, 1924. S. 1—4.

[25] Зеркало света. 1786. Ч. 2. С. 147.

[26] *Карамзин Н. М.* Избр. соч. Т. 2. С. 117.

[27] Там же. С. 201.

[28] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 208—209, 469.

требляет слово: «Корень страстей благ и основан на нашей чувствительности самою природою».

Дальнейшее внимание к употреблению терминов поможет уточнить их содержание — вопрос немаловажный в изучении эстетики сентиментализма.

Нравственные идеалы, выдвигавшиеся литературой сентиментализма, разумеется, не были едины и во многом зависели от общественной позиции того или иного писателя. Одна из насущных проблем, стоящих перед современными исследователями, — дальнейшая дифференциация отдельных явлений, различающихся в идейном плане, но связанных с общим направлением. Современную науку уже не удовлетворяет социологически прямолинейное противопоставление революционного сентиментализма реакционному, дворянскому.

Признавая умеренность политической программы большинства сентименталистов, нужно попытаться определить их истинную роль в развитии отечественной культуры, понять, как их идеалы соотносились с окружающей действительностью. В этом отношении немалую помощь могут оказать документальные материалы, отражающие быт эпохи.

Вслед за Новиковым и Фонвизиным русские сентименталисты продолжают заинтересованно обсуждать вопросы воспитания, увлекаются «Эмилем» Руссо и спорят с ним, настаивают на необходимости образования и ума, и сердца, заботятся о физическом воспитании. Педагогические принципы, формировавшиеся в процессе этих дебатов, нашли отражение, в частности, и в «Слове о воспитании. . .» А. А. Прокоповича-Антонского, для которого «первая и важнейшая наука — быть добрым, честным, сострадательным, благодетельным, быть — человеком».[29] Нравственное и духовное развитие человека — вот важнейшие принципы воспитательной программы сентименталистов.

Разрыв между идеалом и реальностью оставался достаточно глубоким, и тем не менее литература противостояла окружавшему духу корысти, стяжательства, чинопочитания, внушала представление о нравственных и духовных ценностях. Сложная проблема взаимодействия литературы и действительности в период расцвета сентиментализма требует к себе особого внимания. В этом отношении очень плодотворны исследования, посвященные вопросам соотношения собственно литературных и документальных жанров: писем, дневников, мемуаров (работы Л. Я. Гинзбург, Р. М. Лазарчук и др.). Комплексное изучение всего этого богатого материала позволит глубоко понять особенности интересующего нас направления. В связи с этим может быть по-новому поставлен целый ряд проблем: «чувствительный» человек и сентиментальный герой, биография и автобиография писателя, отражение автобиографических элементов в творчестве, воздействие литературных образцов на бытовое поведение. Мемуары сохраняют драго-

[29] *Прокопович-Антонский А. А.* Слово о воспитании. . . М., [1798]. С. 29.

ценные свидетельства подобного воздействия. Так, вспоминая недавнее прошлое, С. Н. Глинка рассказывает о своем дяде Андрее Ильиче Глинке: «Лишась первой супруги своей, он уныло бродил по рощам и дубравам и вырезывал на деревьях имя ее. Он плакал, читая романы Федора Эмина, и заливался слезами, читая и перечитывая „Маркиза Г. . .“, переведенного Елагиным».[30]

Сентиментальное умонастроение имело достаточно широкую гамму. Наибольшее распространение получили внешние признаки чувствительности: вздохи, слезы, томный вид. Установился определенный этикет, как бы предписывавший не скрывать свои чувства, но, наоборот, всячески их демонстрировать.[31] Подлинные чувства и страдания облекались в общепринятые формы. Но здесь же таилась опасность: традиционное проявление эмоций могло приводить к манерности, жеманности, искусственности. Все это противоречило основным принципам самих же сентименталистов, ценивших непосредственность и «натуральность» чувства. Главными спасительными чувствами оказывались ирония или легкий юмор, противостоявшие гипертрофированным эмоциям. Это явление в творчестве европейских авторов (прежде всего Стерна) было уже предметом внимания исследователей: наблюдения, сделанные в работах М. Л. Тронской, раскрывают важные стороны стерниансκой чувствительности. К сожалению, литература русского сентиментализма изучена в этом отношении недостаточно. Между тем легкий юмор, присущий многим произведениям и Карамзина, и Дмитриева, и других писателей составляет существенный элемент их художественного метода.

Характерно, в частности, что еще в период расцвета сентиментализма возникают споры о чувствительности истинной и ложной и последняя подвергается осуждению и осмеянию со стороны самих же сентименталистов.

Литературные полемики конца XVIII—начала XIX в. изучены еще тоже далеко не полно. Споры шли не только между сторонниками направления и его противниками: в действительности картина была гораздо сложнее. Выявление конкретных причин и круга участников той или иной полемики, очевидно, внесет немало нового и в существующие представления о позициях писателей, связанных с сентиментализмом.

Вопрос о судьбе этого направления в первые десятилетия XIX в. вызывает разные суждения исследователей. Самое явление эпигонства тоже заслуживает к себе внимания. Но одна из наиболее сложных и актуальных проблем — проблема соотношения сентиментализма и романтизма. Углубленное изучение сентименталистской эстетики позволит проследить, как формировались принципы, развитые романтиками, но получившие у них новую трактовку. В частности, речь идет об отношении к писательскому труду и — шире — о том, как понималось назначение по-

[30] *Глинка С. Н.* Записки. СПб., 1895. С. 12.

[31] См.: *Krüger R.* Das Zeitalter der Empfindsamkeit. Leipzig, 1972. S. 35.

эта, писателя и поэзии, литературы в целом. Самые непосредственные параллели существуют здесь между Карамзиным и Жуковским. Научное описание и изучение библиотеки Жуковского в Томске открывает сейчас новые богатые возможности для дальнейших сопоставлений, для понимания проблем литературной преемственности.

Вполне закономерно, что творчество Карамзина служит основой для исследователей литературы русского сентиментализма. Тем не менее уместно вспомнить, что еще в 1844 г. В. Г. Белинский говорил о «дружине молодых талантов», называя Ю. А. Нелединского-Мелецкого, В. В. Капниста, И. М. Долгорукова, В. С. Подшивалова, П. А. Никольского, П. И. Макарова.[32] К писателям «карамзинской школы» критик причислял В. Л. Пушкина, В. В. Измайлова, А. И. Бенитцкого и других писателей, чье творчество получает, к сожалению, обычно лишь самую общую, суммарную характеристику. При обсуждении темы «Карамзин и карамзинисты» несправедливо во всем только противопоставлять Карамзина другим сентименталистам, видя в них прежде всего бездарных подражателей. Работа над «Биографическим словарем русских писателей XVIII века» все больше убеждает нас в том, как важно вернуть из забвения имена самых незначительных, казалось бы, деятелей литературы: в личности, судьбе, творчестве каждого из них всегда есть что-то свое, неповторимое, и вместе с тем на примере произведений этих «малых литераторов» иногда особенно отчетливо прослеживаются важнейшие общие тенденции развития культуры. Поэтому внимание к массовой литературе сентиментализма поможет воссоздать в достаточной полноте то, что Д. С. Лихачев назвал «эстетическим климатом» эпохи.

В связи с этим встает и другая проблема: проблема читателя. С одной стороны, в самих текстах произведений сентименталистов содержатся интереснейшие отклики на популярные в то время книги. С другой — о круге чтения интеллигентов той поры опять-таки могут дать представление письма, дневники и мемуары. И наконец, необходимо обращение к рукописным сборникам конца XVIII—начала XIX в., предшественникам знаменитых альбомов пушкинской поры.

Восприятие литературы сентиментализма последующими поколениями, преемственность, существующая между этой литературой и творчеством русских классиков-реалистов (Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского), — вот проблемы, ждущие еще специального дальнейшего исследования.

Перечисленный круг вопросов далеко не исчерпывает всей проблематики, связанной с изучением литературы русского сентиментализма. Много новых задач неизбежно появится в самом процессе работы. Тем важнее коллективными усилиями попытаться решить поставленные вопросы.

---

[32] *Белинский В. Г.* Иван Андреевич Крылов // Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 8. С. 579.

С. И. НИКОЛАЕВ

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ МАЛЫХ СТИХОТВОРНЫХ ЖАНРОВ (Эпитафия)

Стихотворная эпитафия относится к наименее изученным жанрам русской поэзии. На первый взгляд, такое утверждение едва ли справедливо. Действительно, определение этой малой стихотворной формы есть во всех справочных пособиях по литературе, а в изданиях русских поэтов XVII—начала XIX в. найдется немало и самих текстов. Однако уже предварительное рассмотрение материалов показывает, что существующие определения и классификации с трудом приложимы к конкретному материалу XVII—XIX вв., а это приводит к недоразумениям в интерпретации текстов.

Между тем необходимость изучения эпитафии ни у кого сомнения не вызывает. На неизученность этого жанра сетуют, например, исследователи русской мемориальной скульптуры и пластики. Но еще раньше об этом писали и сами литераторы. Характерно в этом отношении начало первого сочинения об эпитафии, появившегося в русской печати в 1813 г., эссе С. Джонсона «Об эпитафиях»: «Хотя во все просвещенные времена люди, знаменитые ученостию и дарованиями, занимались критикою, хотя почти все роды сочинений подвергнуты были исследованиям в особливых трактатах и произвели на свет множество определений, разделений, наставлений и объяснений, однако ж я не знаю ни одного из числа известнейших критиков, который бы занимался подробными разысканиями о *надгробных надписях*, или с надлежащею точностию означил бы красоты их и недостатки. Бесполезно доискиваться до причин такого небрежения, и невозможно, кажется, найти их. Скорее ожидать бы надобно было, что критика преимущественно обратит внимание свое на сей род сочинений, и что самолюбие заставит трудиться над ним тех авторов, которые загромоздили книжные лавки длинными диссертациями об Гомере; ибо весьма немногим людям суждено быть героями эпической поэмы, между тем как всякий имеет право сохранить имя свое в надгробной надписи, и, следственно, всякому приятно позаботиться, чтобы память его не была оскорблена неискусным панегиристом».[1]

[1] Об эпитафиях: С англ., из соч. Джонсона // Вестник Европы. 1813. Ч. 69, № 9—10. С. 99—100; См.: *Симмонс Д.-С.-Г.* Сэмюэль Джонсон «на берегах Волги» // Международные связи русской литературы. М.; Л., 1963. С. 168.

О значении изучения эпитафий убедительно, хоть и не так ярко, как С. Джонсон, писали в русской печати и на рубеже XIX—XX вв.,[2] тем не менее жанр понимается почти исключительно в прикладном, утилитарном смысле. Прежде чем перейти к вопросам жанровой природы, остановимся на источниковедческой базе, которая явно недостаточна даже в отношении поэтов если не первого, то второго ряда, что само по себе характеризует состояние изучения.

Например, только в «Полном собрании стихотворений» И. И. Дмитриева (1967) была переиздана его эпитафия кн. А. М. Белосельскому-Белозерскому.[3] Местом ее первой публикации здесь назван «Словарь достопамятных людей русской земли» Д. Н. Бантыш-Каменского (1836), хотя впервые она была опубликована двумя десятилетиями ранее.[4] Но в издание 1967 г. не вошли две другие эпитафии Дмитриева: «Эпитафия попугаю» и «Эпитафия [Вралеву]», переизданные лишь в 1975 г. в сборнике «Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в.».[5] В этом сборнике они датированы 1828 г., годом выхода «Опыта русской анфологии» М. Яковлева, между тем «Эпитафия попугаю» была напечатана за подписью Дмитриева П. А. Никольским в 1815 г.[6]

Ни в одно из собраний стихотворений современника И. И. Дмитриева Ю. А. Нелединского-Мелецкого не попала эпитафия В. М. Долгорукову (1782):

Прохожий! Не дивись, что пышный мавзолей
Не зришь над прахом ты его:
Для добродетелей нет славы от того.
Пусть гордость тленные гробницы созидает,
По Долгорукове Москва рыдает! [7]

То же самое произошло с эпитафией А. Ф. Мерзлякова профессору Московского университета М. М. Снегиреву (1820):

Науки, знания, правдивы, честны нравы
Цветами скромными почтить сей гроб должны.
Все Снегирева дни добру посвящены;
Ученый без сует, без блеска разум здравый.

---

[2] См.: *Шубинский С. Н.* Кладбищенская литература: Эпитафии XVIII в. // Шубинский С. Н. Исторические очерки и рассказы. 5-е изд. СПб., 1908. С. 691—696; *Ильинский Л. К.* Поэзия кладбища // Изв. общества археологии, истории и этнографии при имп. Казанском университете. 1910. Т. 26, вып. 4. С. 359—377.

[3] *Дмитриев И. И.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1967. С. 359.

[4] См.: *Свиньин П.* Достопамятности Санктпетербурга и его окрестностей. СПб., 1816. [Ч. 1 и 2]. С. 28.

[5] См.: Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в. Л., 1975. С. 162, 675. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

[6] См.: Пантеон русской поэзии, издаваемый Павлом Никольским. СПб., 1815. Ч. 4. С. 275.

[7] *Долгоруков П.* Сказания о роде кн. Долгоруковых. СПб., 1840. С. 196. Позднее напечатана в отличающейся редакции (6-стишие) в «Русском биографическом словаре» (СПб., 1905. Т. Дабелов — Дядьковский. С. 524).

Наставник, друг, отец, он как учил, так жил
И в скудном жребии богат для бедных был!
Тобой путь кончил сей, тобой путь начал новый,
О вера! друг и вождь для душ благих готовый.[8]

Эта эпитафия, опубликованная трижды, не указана даже в издании «Стихотворений» А. Ф. Мерзлякова (1958), в котором имеется список стихотворений, не вошедших в данное издание.

Даже известные эпитафии иногда поддаются передатировке. Возвратимся к сборнику русской эпиграммы 1975 г. «Эпитафия дурному архитектору» А. Д. Илличевского датирована здесь 1826 г. по публикации в «Новостях литературы» (с. 339, 776), но еще в 1822 г. она была напечатана в «Благонамеренном».[9] Интересна передатировка в самом сборнике анонимной эпитафии «Щеголеватому красавцу» (с. 187): сначала она датирована 1794 г., по публикации Д. М. Соколова в «Книжке для препровождения времени с пользою» (с. 683), затем датировка уточнена по публикации 1793 г. в журнале «Прохладные часы» (с. 908), но впервые она появилась в печати десятью годами ранее в «Вечерней заре».[10]

Иногда первые публикации уточняют ситуацию возникновения произведения. Например, хорошо известная по публикации Г. А. Гуковского (1933) эпитафия

Прохожий, помоли всевышнего творца,
Что сей не разорил России до конца,

была отнесена к Г. А. Потемкину со значительной степенью вероятности.[11] Но и она была опубликована ранее дважды, в 1891 и 1910 гг., по другим спискам, прямо указывающим на Потемкина как ее адресата.[12] Отметим, что эта анонимная эпитафия в одном из современных списков подписана буквами P. S.,[13] что, *возможно, когда-нибудь поможет ее атрибуции.*[14]

Поиски первых публикаций сатирических эпитафий уточняют прежде всего их время появления, поскольку они обычно создавались задолго до смерти осмеиваемого лица. В реальных эпитафиях датировки почти всегда совпадают с годом смерти, но об их первоначальном тексте можно судить только по ранним

---

[8] Надгробные надписи, собранные А. Орловым из всех монастырей и со всех кладбищ московских. М., 1834. С. 9; Биографический словарь профессоров Московского университета. М., 1855. Ч. 1. С. 422; Московский некрополь. СПб., 1908. Т. 3. С. 124.

[9] Благонамеренный. 1822. № 46. С. 279.

[10] Вечерняя заря. М., 1782. Ч. 3, октябрь. С. 165.

[11] Лит. наследство. М.; Л., 1933. Т. 9—10. С. 20.

[12] Отчет имп. Публичной библиотеки за 1888 г. СПб., 1891. С. 165; *Рыстенко А. В.* Рукописи, принадлежащие библиотеке имп. Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1910. Вып. 1. С. 32.

[13] ГПБ, F.XVII.80, с. 97.

[14] Позднее эпитафия была переадресована Павлу I. См.: *Степанов В. П.* Убийство Павла I и «вольная» поэзия // Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 84.

публикациям. Дело в том, что исследователь эпитафий сталкивается с тем довольно редким случаем, когда камень оказывается менее долговечным, чем бумага. Достаточно сравнить эпитафии, опубликованные в упоминавшейся публикации С. Н. Шубинского, и те же самые эпитафии, изданные В. Г. Рубаном в «Историческом, географическом и топографическом описании Санктпетербурга» А. И. Богданова (1779; Шубинский этой публикацией не воспользовался), чтобы убедиться в том, что за полтора столетия многие слова и буквы просто стерлись. Но еще более показателен материал XVII в.

Одной из первых русских стихотворных эпитафий была большая (50 строк) эпитафия монаха Германа на могиле патриарха Никона (1681). Исследователи русской поэзии XVII в. пользуются изданием архимандрита Леонида (Кавелина) 1874 г.,[15] однако она публиковалась и ранее, известны и списки с надгробия, в частности в собрании Г. Ф. Миллера. Из сличения всех текстов видно, что в публикациях архимандрита Леонида, К. Тромонина и архимандрита Аполлоса,[16] а также в списке Миллера [17] есть разночтения в 40 стихах из 50, причем в одном стихе может быть не одно, а несколько разночтений, пропуски букв и даже слов. Благодаря анализу этих разночтений восстанавливаются грамматическая точность и смысловая ясность, а также размер стиха и даже акростих, нарушенный в публикации 1874 г. Отметим, что Леонид (Кавелин) был опытным палеографом и речь может идти только о сохранности текста.

Но и самые ранние печатные источники не всегда дают основания считать, что мы располагаем первоначальным авторским текстом. Показательна история публикаций эпитафии Сильвестра Медведева Симеону Полоцкому (1680), самого известного стихотворения XVII в., много раз изданного в XVIII—XX вв.[18] Традиционно считается, что впервые текст эпитафии был напечатан в 1791 г. Н. И. Новиковым в «Древней российской вивлиофике»,

---

[15] *Леонид, архим.* Историческое описание. . . Воскресенского Новый Иерусалим именуемого монастыря // ЧОИДР. 1873. Кн. 3. С. 98—99.

[16] *Аполлос, архим.* Начертание жития и деяний Никона, патриарха московского и всея России. 4-е изд. М., 1845. С. 91—93; Достопамятности Москвы / Изд. К. Тромонина. М., 1845. С. 77—78.

[17] ЦГАДА, ф. 199, № 413, ч. 1, л. 19, об.—21.

[18] См.: Древняя российская вивлиофика. М., 1791. Ч. 18. С. 198—199; *Пассек В.* Очерки России. М., 1842. Кн. 5. С. 205—206; *Соколов П.* Первый придворный стихотворец из воспитанников Московской Заиконоспасской школы в своих письмах и стихотворениях // Чтения в обществе любителей духовного просвещения. 1886. Т. 1, № 6. С. 618—619; *Татарский И. А.* Симеон Полоцкий: Его жизнь и деятельность. М., 1886. С. 328—329; *Ковалев А.* Историческое описание. . . Заиконоспасского монастыря в Москве на Никольской улице. М., 1887. С 99—101; Вирши: Силлабическая поэзия XVII—XVIII вв. Л., 1935. С. 126—127; *Прозоровский А.* Сильвестр Медведев. М., 1896. С. 392—393; Хрестоматия по древней русской литературе XI—XVII вв./ Сост. Н. Гудзий. М., 1947. С. 473—475 (и др. издания); Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв. Л., 1970. С. 188—190.

но тот же Новиков издал его еще в 1773 г. в «Живописце».[19] Текст этой первой публикации разительно отличается от всех последующих, а также от современных списков; мы обнаруживаем не только отдельные разночтения, но даже новые строки, неизвестные по другим вариантам. В «Живописце» отмечено, что это стихотворная надпись, «на камне над гробом его в Заиконоспасском монастыре вырезанная». Казалось бы, именно публикация 1773 г. сохранила окончательный текст надписи. И только сличение всех вариантов с сохранившимся и лишь недавно открытым надгробием (ныне находится в Музее с. Коломенского в Москве) показало, что первая публикация Новикова была сделана по весьма неисправному списку, полному ошибок.

Приведенные примеры красноречиво показывают, что в изучении эпитафии еще не разрешена задача выявления всех текстов, их датировок и атрибуций. Связано это, в частности, с тем, что практически игнорируются «непрофильные» для литературоведов источники, например разного вида некрополи. Между тем как раз для XVIII в. подобные издания служат одним из важнейших источников пополнения корпуса академических собраний.[20]

Однако архивные и библиографические разыскания могут вестись целенаправленно только после уяснения и некоторых принципиальных вопросов истории и поэтики жанра. Хотя эпитафия, казалось бы, исключительно формульный и нормативный жанр, в издательской и научной практике не единичны случаи широкого употребления термина, и в результате в разряд эпитафий зачисляются не связанные с этим жанром стихотворения.[21] Не так давно С. Н. Травников опубликовал три стихотворения В. П. Колычева, отметив, что в них «соблюдены все формальные признаки жанра эпитафии: малый объем, обращение от лица друзей к покойному, характерные словесные формулы».[22] Несмотря на это, только одно из трех стихотворений может быть отнесено к названному жанру («Надпись к гробнице кн. В. М. Долгорукого-Крымского»), два других не могут считаться эпитафиями («О смерти графа Чернышева, к жителям Москвы» и «Надпись к грудному изображению, поставленному в Гермитаже ее императорского величества боярина генерал-фельдмаршала и разных орденов кавалера Б. П. Шереметева»). Они относятся к иным поэтическим жанрам. Очевидно, что формальные признаки жанра еще нуждаются в подробном описании, равно как и определение самого жанра и его видов. О последних С. Н. Травников пишет, что «в русской литературе существовало три вида стихотворных эпитафий:

---

[19] См.: Живописец. 1773. Ч. 2. Л. 20. С. 368—371. Перепечатано в кн.: Сатирические журналы Н. И. Новикова. М.; Л., 1951. С. 447—448.

[20] См.: *Степанов В. П.* Забытые стихотворения Ломоносова и Сумарокова //Русская литература. 1978. № 2. С. 111—115.

[21] См.: *Сумароков А. П.* Избр. произведения. Л., 1957. С. 260; Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в. С. 215.

[22] *Травников С. Н.* Эпитафии В. П. Колычева // Жанровое своеобразие произведений русских писателей XVIII—XIX вв. М., 1980. С. 20.

во-первых, реальные эпитафии на могильной плите, которые обычно выходят за рамки литературы и теряют художественный интерес; во-вторых, собственно литературные эпитафии, не предназначенные для утилитарных целей и посвященные памяти выдающихся деятелей современности или близких людей; в-третьих, пародийные сатирические эпитафии».[23]

Предложенная систематизация общепринята и вполне допустима, однако, на наш взгляд, она не совсем приемлема для русской эпитафии XVII—начала XIX в., потому что не учитывает литературного, а также культурного сознания эпохи. Не имеющие «художественного интереса» эпитафии как раз очень интересовали современников, достаточно сказать, что «Надгробные надписи. . .», изданные А. Орловым в 1834 г., включают только стихотворные эпитафии, а первая «антология» эпитафий была составлена еще в начале XVIII в.: это была рукописная подборка эпитафий разных авторов последней четверти XVII в.[24] И в целом практика XVIII в. с трудом укладывается в предложенную типологию. Остановимся на этом несколько подробнее.

Отграничить реальную эпитафию от литературной довольно сложно, а иногда и просто невозможно. Если в обоих типах соблюдены все формальные признаки, то отнести какую-либо надпись к реальной или литературной можно только за счет *вне*текстовых данных: публикация в некрополе или литературном журнале, эпитафия историческому деятелю минувшей эпохи, перевод, литературный конкурс (например, цикл эпитафий И. Ф. Богдановичу в «Вестнике Европы») и т. п. Но и этих данных бывает недостаточно: в литературном журнале публиковались реальные надписи, переводились реальные эпитафии, сочинение надписи историческому деятелю завершалось ее увековечиванием (надпись М. В. Ломоносова на раке Димитрия Ростовского) и пр. Дело осложняется тем, что литературная эпитафия стремится к полному подобию реальной, вплоть до сопроводительной пометы типа «высечена на надгробном камне». Эта тенденция характерна не только для литературной мистификации (Н. М. Карамзин, Н. Остолопов). Известны две анонимные эпитафии епископу Серапиону Лятушевичу (ум. в 1762 г.), которые ничем не отличаются друг от друга: обе написаны силлабическим 13-сложником по одной и той же «биографической» схеме и почти одинаковы по объему (22 и 20 строк). Установить их «литературный» или «реальный» характер удается только на том основании, что одна из них высечена на надгробной плите,[25] а другая — плод ученических занятий в классе поэтики.[26] И такие примеры можно умножить.

---

[23] Там же. С. 19.

[24] БАН, собр. Археограф. комиссии, № 100, л. 120—129.

[25] См.: *Суворов Н.* Описание Вологодского кафедрального Софийского собора. М., 1863. С. 67.

[26] См.: *Перетц В. Н.* Неизвестные подражатели кн. А. Д. Кантемира // Изв. ОРЯС. Л., 1928. Т. 1, кн. 2. С. 337.

Взаимообусловленность и неразличимость обоих видов эпитафий по «внешнему виду» подтверждается и позднейшей литературной историей текстов, когда хорошо известные реальные эпитафии на равных правах входят в литературу. Этот процесс происходил уже на рубеже XVII—XVIII вв., в период силлабической эпитафии. Примечательно, что из рукописных сборников некоторые авторские эпитафии попадали в печать как анонимные, как это произошло с двумя эпитафиями Кариона Истомина.[27] Силлабической эпитафии Стефана Яворского Димитрию Ростовскому (1709) была уготована вообще небывалая судьба: уже в XVIII в. она стала популярным духовным стихом, известным во множестве списков,[28] а в 1770 г. была «переадресована» с минимальными изменениями митрополиту суздальскому Иллариону (ум. в 1707 г.)[29] Анонимная эпитафия самому Стефану Яворскому в конце 1720-х гг. была включена в курс поэтики в Славяно-греко-латинской академии в качестве образца жанра.[30] Аналогичные явления на рубеже XVIII—XIX вв. многочисленны и в иллюстрациях не нуждаются.

Обратный процесс — с журнальных страниц на надгробные плиты — был также обычным явлением. Самым ярким примером стал моностих Н. М. Карамзина «Покойся, милый прах, до радостного утра», встречающийся в некрополях XIX—XX вв. и в рукописных сборниках, часто, кстати говоря, со вторым, «дополнительным», стихом:

Покойся, милый прах, до радостного утра,
Душа твоя востанет в блаженстве заутра.[31]

Долгое время была популярна (в разных вариантах) эпитафия П. Сумарокова «Прохожий, ты идешь, но ляжешь, как и я. . .»[32] Фигура автора могла затеряться совершенно: очень популярная и публиковавшаяся без подписи эпитафия А. П. Сумарокова

---

[27] См.: *Попов М. Г.* Запись о кончине патриарха московского Адриана с присоединением стихов и синодика // Христианское чтение. 1892. № 9—10 С. 469; *Перетц В. Н.* Московский книгочии XVII в. // Литературный вестник. 1901. Т. 1, кн. 4. С. 430—431. Автографы Кариона Истомина см.: ГИМ, Чудовское собр., № 300, л. 447; № 302, л. 145.

[28] См.: *Варенцов В.* Сборник русских духовных стихов. СПб., 1860. С. 203—204; *Попов Н.* Сборник для истории старообрядчества. М., 1866. Т. 2. С. 261; *Рождественский Т. С.* Памятники старообрядческой поэзии. М., 1909. С. 106—107; Духовные стихи. М., 1916. Л. 72—73.

[29] См.: *Георгиевский В.* Флорищева пустынь: Историко-археологическое описание с рисунками. Вязники, 1896. С. 184—185.

[30] ГПБ, собр. Вяземского, Q.XVI, л. 110—110, об.

[31] Описание рукописного отдела БАН СССР. Л., 1980. Т. 4 вып. 2. Стихотворения, романсы, поэмы и драматические сочинения: XVII—первая треть XIX в. С. 221.

[32] См.: Журнал приятного, любопытного и забавного чтения. 1802. Ч 1, № 2. С. 111; *Филарет (Гумилевский)*. Обзор русскои духовнои литературы 1720—1858. СПб., 1861. Кн. 2. С. 117; Словарь достопамятных людей русскои земли. М., 1836. Ч. 2. С 6; *Шубинский С. Н.* Кладбищенская поэзия. С. 696; Надгробные памятники, собранные А. Орловым из всех монастырей и со всех кладбищ московских. С. 17.

«Прохожий! обща всем живущим часть моя. . .» (1755) в 1831 г. в специальном справочном издании была приписана И. И. Дмитриеву.[33]

Что касается третьего типа рассматриваемой классификации — пародийной сатирической эпитафии, — то это, конечно, особая разновидность сатирической поэзии, без особого насилия над материалом выделяемая из общего корпуса эпиграмм.

Вывод, который можно сделать из краткого разбора предложенной классификации эпитафий, на наш взгляд, очевиден: и классификация, и само определение жанра должны быть сообразованы с литературным сознанием и представлениями изучаемой эпохи. Только анализ имеющихся дефиниций, от «Лексикона» (1627) П. Берынды [34] до «Словаря» Н. Остолопова,[35] и самой литературной практики, которую следует начать даже не с монаха Германа, а еще от Максима Грека [36] и довести ее по крайней мере до А. С. Пушкина, даст более или менее адекватную картину развития жанра. Причем это будет динамичная картина, ведь всего немногим более полувека отделяет самую большую, очевидно, в истории русской поэзии эпитафию, насчитывающую 230 строк,[37] от моностиха Карамзина, а в этом промежутке изменилось не только само стихосложение, сменились разные литературные направления и стили, но и сформировалось представление об эпитафии как малой стихотворной форме.

Однако и такое историко-литературное исследование будет недостаточно, поскольку оно не в состоянии удовлетворительно объяснить причины несомненного интереса к эпитафии во второй половине XVIII—начале XIX в., а затем, во второй четверти XIX в., резкого спада как самой продукции, так и ее литературной репутации. Редкий поэт в конце XVIII—начале XIX в. не писал (и иногда во множестве) эпитафий, но начиная с 1830-х гг. они единичны у ведущих поэтов. Достаточно пролистать «Вестник Европы» за первую половину XIX в., чтобы убедиться в этом: в первое десятилетие эпитафии публикуются в разделе стихотворений, затем переходят в раздел «смесь», а потом и там встречаются от случая к случаю. Наконец, на рубеже XVIII—XIX вв. появляется значительное число сочинений, посвященных эпитафиям (в том числе и приведенная выше статья С. Джонсона), одновременно отчетливо наблюдается саморефлексия жанра («эпитафия эпитафиям»).[38] Можно думать, что подобный автотематизм сам

---

[33] Опыт литературного словаря / Соч. Д. М. М., 1831. С. 200.

[34] Лексикон словеноросский Памви Беринди. Київ, 1961. С. 36.

[35] См.: *Остолопов Н.* Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821. Ч. 1. С. 444—450; Ч. 2. С. 45, 204—214.

[36] См.: *Иванов А. И.* Литературное наследие Максима Грека. Л., 1969. С. 210.

[37] Это эпитафия духовнику Петра I Т. В. Надаржинскому. См.: Молодик на 1844 г. Харьков, 1843. С. 257—265.

[38] Один из самых интересных текстов — «Размышление о надгробиях и общая эпитафия» В. Г. Рубана, неоднократно осмеянного в эпиграмматике

по себе говорит об определенной тенденции самоисчерпания жанра. Нельзя признать вполне убедительным и напрашивающееся объяснение расцвета эпитафии связью жанра с пре- и романтическими веяниями в поэзии, поскольку оно не охватывает эпохи барокко и классицизма, когда эпитафия могла выйти в свет отдельным печатным листом (Софроний Лихуд, А. П. Сумароков).

Ответить на все вопросы, связанные с выяснением художественной природы эпитафии, можно только при комплексном изучении жанра. Уже при первом приближении к материалу вскрывается двойственная природа эпитафии, отразившаяся и в упоминавшейся классификации, в которой бросается в глаза не только излишняя пейоративность и оценочность, но и противоречивость, а именно: вполне естественное, на первый взгляд, разделение на литературную и реальную эпитафии, которое прижилось в литературоведческом обиходе. Между тем совершенно неестественно выглядели бы сочетания типа «реальная» басня, ода, элегия и пр. О какой реальности может идти речь? В связи с приведенными выше соображениями о взаимопереплетении разных типов эпитафий можно говорить прежде всего о реальности литературной. Уже в начале XVIII в. нормативные руководства, признавая самодостаточность эпитафий, рассматривали ее в двух планах. Феофан Прокопович в «Поэтике» (1705) посвятил эпитафии целую главу, в которой считал эпитафию «замечательной разновидностью» эпиграмм.[39] В упоминавшейся московской поэтике конца 1720-х гг. эпитафия включена в круг других жанров — оды и элегии — и рассмотрена в главе о погребальной поэзии.[40] Это положение сохраняется вплоть до начала XIX в., «стихи на кончину» вместе с эпитафией составляют неразрывный диптих (иногда эпитафия составляла заключительные стихи собственно оды). Это отразила и сатирическая поэзия, например С. С. Пестов в 1789 г. публикует «Стихи на кончину набитого деньгами кошелька» и «Надгробную кошельку».[41] Даже в том случае, когда эпитафия опубликована отдельно от оды, можно предположить, к какой жанровой структуре она относится, поскольку обычно эпитафия-эпиграмма именовалась «эпитафия», а посвященная конкретному лицу — «надгробная» (т. е. надпись), что неоднократно зафиксировано в эпиграмматике. У А. И. Дубровского в «Трех *эпитафиях* на скупого»:

> Читатель, знай, что здесь зарыт лежит богаты,
> Кой не дал ничего по смерть, не взявши платы;
> Смотри, чтоб и с тебя не попросил чего,
> За тем, что ты прочел *надгробную* его.[42]

сочинителя эпитафий, см.: Русская поэзия / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1897. Т. 1, вып 6. С. 358—359. Черновые редакции: ГПБ, ф. 653, № 3.

[39] См.: *Феофан Прокопович.* Соч. М.; Л., 1961. С. 451—456; ср.: *Feofan Prokopovič.* De arte rhetorica libri X. Köln; Wien, 1982. S. 418—429.

[40] См.: ГПБ, собр. Вяземского, Q.XVI, л. 109—111.

[41] См.: Беседующий гражданин. 1789. Ч. 3, ноябрь. С. 296—297.

[42] Ежемесячные сочинения. 1755. № 12. С. 566 (здесь и далее курсив наш. — *С. Н.*).

У М. Яковлева в «*Эпитафии* самому себе»:

> Здесь Я—в лежит, в беспечности игривой
> С любовью, дружбою проведший век счастливо.
> Чтобы Свистов ему *надгробья* не скропал,
> Он сам себе его, при жизни, написал.[43]

Терминологическая точность, конечно, соблюдалась не всегда. Нуждается в объяснении и то обстоятельство, что И. И. Дмитриев печатал одни и те же тексты в разных собраниях сочинений то как «эпитафии», то как «надгробные». Во всяком случае сосуществование этих двух видов эпитафий совершается в рамках литературной реальности и не совпадает с делением эпитафий на «реальные» и «литературные».

Для XVIII в. двойственная природа эпитафии не является литературной игрой, а соотносится с тенденцией эпохи к созданию нового (в отличие от средневекового) типа синкретизма, выразившегося, в частности, в сдвиге границы эстетического/внеэстетического. Это положение может быть применено к изучению эпитафии, а литературная действительность соотнесена с внелитературной. При этом могут быть намечены два направления в исследовании.

Суть первого заключается в изучении «изображенного» слова, так как эпитафия — это надпись, неотъемлемая часть мемориальной скульптуры и пластики. Предельно ясно и кратко об этом аспекте исследования разнообразных стихотворных надписей XVIII в. еще в 1930-х гг. писал Л. В. Пумпянский: «Надпись в эпоху классицизма, т. е. в свое собственное время, вовсе не была тем печатным произведением, в виде которого она существует для нас. Надпись входила в архитектурно-театральное целое с девизом, эмблемой, декоративным сооружением (пирамида, обелиск, колонны), элементами аллегорической живописи и светового искусства; в отрыве от них, в печатном виде, она теряет свою художественную функцию и может быть понята лишь приблизительно и неотчетливо <. . .> Поэтому серьезное изучение надписи возможно только в связи с историей петербургского придворно-эмблематического искусства. Вне этой общей истории анализ сведется к указанию на комплиментарность, а для Ломоносова — к указанию на связь между основными темами его надписей и его од. Но это как раз было бы анализом не надписи самой, во всей ее функциональной жизни, а одной лишь печатной ее проекции».[44] С тех пор работа в этом направлении продвинулась очень незначительно,[45] от чего явно страдают широко развернувшиеся и плодотворные искусствоведческие исследования мемориальной пластики,

---

[43] Благонамеренный. 1820. № 6. С. 423.

[44] *Пумпянский Л. В.* Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век. Л., 1983. Сб. 14. С. 36.

[45] См.: *Пигарев К.* Русская литература и изобразительное искусство: XVIII—первая четверть XIX в.: Очерки. М., 1966.

скульптуры, а также живописи.[46] Отметим, что как литературоведы, так и искусствоведы пользуются термином «эпитафия» без особых оговорок, причем каждый имеет при этом в виду стихотворный текст, скульптурное надгробие или жанр портретной живописи.

Второе предлагаемое направление подразумевает прежде всего (но не единственно) исследование ритуала и «бытовую археологию». Траурный церемониал XVII—XVIII вв. был своеобразным театральным действом, в котором были объединены все искусства: окказиональная архитектура, литература, живопись, элементы театра.[47] Этот церемониал (pompa funebris или funebres apparatus) был строго регламентирован, его правила излагались в специальных руководствах. Авторитетнейшим из них была книга К. Ф. Менестрие «Траурные убранства» (1684), в которой раздел, отведенный надписям и эпитафиям, открывался словами: «Надписи являются наиболее существенной частью погребальных торжеств, потому что они составляют их душу. Они дают сюжеты, заставляют говорить фигуры, эмблемы, девизы. И нет ничего в этих церемониях, где бы они не были лучшей частью».[48] В России описания траурных церемоний издавались в XVIII и XIX вв., в обилии сохранили их дневники и воспоминания, что в целом дает достаточный материал для реконструкции паратеатральных и паралитературных форм этого ритуала.[49] Их характер еще предстоит выяснить,[50] однако заведомо можно сказать, что роль их и репута-

---

[46] См.: *Ермонская В. В. и др.* Русская мемориальная скульптура: К истории художественного надгробия в России XI—начала XX в. М., 1978; *Турчин В. С.* Надгробные памятники эпохи классицизма в России: Типология, стиль и иконография // От Средневековья к Новому времени: Материалы и исследования по русскому искусству XVIII—первой половины XIX в. М., 1984. С. 211—228; ср.: *Тананаева Л. И.* Сарматский портрет: Из истории польского портрета эпохи барокко. М., 1979.

[47] См.: *Софронова Л. А.* Поэтика славянского театра XVII—XVIII вв. М., 1981. С. 66—67; *Chrościcki J.* Pompa funebris: Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa, 1974.

[48] *Menestrier C. F.* Des Decorations Funebres: Ou il est amplement traité des Tentures, des Lumières, des Mausolées, Catafalques, Inscriptions, et autres Ornemens funebres. Paris. 1684. P. 232. Цит. по: *Sparrow J.* Visible Words: A Study of Inscriptions in and as Books and Works of Art. Cambridge, 1969. P. 103.

[49] Этот ритуал также пародировался. Ср.: «Церемониал погребения тела в бозе усопшего поручика и кавалера Фаддея Козмича П. . . . . .». — См.: *Козьма Прутков.* Полн. собр. соч. Л., 1965. С. 113—117.

[50] Ср. наблюдения Л. А. Софроновой о литературном примитиве: «В этих текстах иначе, чем в нормативных, соотносятся эстетическая и прагматическая функции. Совершенно необязательно, что на первый план выдвигается эстетическая функция — она может сосуществовать с прагматической, если вообще не подавляться ею. Поэтому произведения этой группы часто находятся на стыке искусства и жизни, имея, с одной стороны, развитые бытовые функции, с другой — явно входя в ряд явлений искусства. В границах искусства они часто занимают положение между его областями, например между искусством слова и живописи, или находятся на грани народного и профессионального искусства, смыкаясь, с одной стороны, с фольклорными текстами, с другой —

ция были высоки (без них просто невозможно было обойтись). О последнем свидетельствуют не только восторженные и сочувственные отзывы современников, но и необъяснимое иначе многократное осмеяние в эпиграмме и сатире самого жанра, а также сочинителя эпитафий, которое исчезает из русской эпиграммы к середине XIX в. вместе с перемещением эпитафии на периферию литературы.

Два названных дополнительных направления исследования эпитафии должны преследовать одну цель — воссоздание исторического контекста, ныне забытого, в котором проходило развитие жанра. Только тогда и будет возможно изучение художественной природы эпитафии с точки зрения сложного переплетения и взаимодействия литературы и действительности, растворения эстетического во внеэстетической реальности. Подобный подход, однако, вовсе не исключает эпитафию из собственно литературной сферы — напротив, он покажет ее действительное место в системе поэтических жанров XVII—начала XIX в. и тесную связь с одой и элегией.

используя приемы «высокого» искусства и не принадлежа ни к тому, ни другому. Одной из главных характеристик примитива оказывается его пограничное положение» (*Софронова Л. А.* Проблемы художественного примитива на польской сцене XVII—XVIII вв. // Советское славяноведение. 1983. № 3. С. 79—80).

В. А. ЗАПАДОВ

ПРОБЛЕМА ЛИТЕРАТУРНОГО СЕРВИЛИЗМА И ДИЛЕТАНТИЗМА И ПОЭТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ Г. Р. ДЕРЖАВИНА*

Как известно, ранние публикации стихотворений Державина анонимны. На это обстоятельство обратил внимание еще Н. А. Добролюбов, который пришел к выводу, что поэт предоставлял читателям «узнавать ex ungue leonem» («льва по когтям»).

Однако с подобным заключением о гипертрофированности поэтического самомнения Державина не очень согласуются факты, говорящие не просто об анонимности, но и о тщательной *засекреченности* державинского авторства.

Так, публикуя оду на рождение великого князя Александра Павловича в 1777 г., Державин отправил в Академию текст оды и деньги с просьбой «столько экземпляров, сколько за десять рублей можно напечатать». Авторство было засекречено настолько, что «льва» удалось узнать «по когтям» (да и то с привлечением разнообразных документальных материалов) только через 190 лет.[1]

В том же самом 1777 г. столь же тщательно укрыл свое авторство Державин в «Эпистоле к И. И. Шувалову на прибытие его из чужих краев в Санктпетербург сентября 17 дня». Само произведение известно, но как время (и история) создания «Эпистолы», так и первая публикация этого стихотворения были надежно укрыты за анонимностью издания. Ни Я. К. Грот, ни составители «Сводного каталога» «расшифровать» державинского авторства, атрибутировать поэту первое издание не смогли (после указания в журнале «Русская литература» в дополнительном томе «Сводного каталога» автор анонимного издания, наконец, назван — более чем через 190 лет после выхода произведения в свет).

По словам И. И. Дмитриева, эпистола Шувалову была *написана* в Казани, когда Державин, вскоре после женитьбы, ездил на родину. Я. К. Грот, знавший свидетельство Остолопова (т. е. самого Державина), был осторожнее в своих суждениях. Он полагал, что эпистола была написана в Петербурге, но *дополнена* в Казани новой концовкой:

---

* Цитаты из стихотворений, вошедших в издания «Библиотеки поэта», приводятся по этим источникам. В остальных случаях выходные данные упоминаемых и цитируемых сочинений (не указанные особо в примечаниях) см.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века: 1725—1800. М., 1962—1966. Т. 1—4.

[1] Подробнее см.: *Западов В. А.* Неизвестная ода Г. Р. Державина // XVIII век. Л., 1976. Сб. 11. С. 159—165.

С пределов бóлгарских, с отпадших стран Луны,
Едигиреев трон и род где попраны <. . .>
Тобой Елисавет где водворила муз <. . .>
Оттоль сей йдет глас, оттоль сей лирный звон;
Из отдаленности к тебе усерден он.

Обнаружение первого издания 1777 г. показало, что во всех редакциях, начиная с первоначальной, эта концовка имелась. Иначе говоря, «Эпистола к И. И. Шувалову» целиком создана в Петербурге в 1777 г. Концовка же произведения, якобы сочиненная казанским жителем, была, очевидно, нужна Державину не столько для того, чтобы «полнее обозначить свое отношение к Шувалову», как писал Грот, сколько для маскировки от А. А. Вяземского.

Дело, однако, не только, так сказать, в «самосохранении» поэта. Сопоставление державинской эпистолы с произведениями, написанными его современниками на тот же случай (а затем и расширение материала по сходности поэтических принципов), и рассмотрение эпистолы 1777 г. в контексте творчества самого Державина 70—80-х гг. позволяют выявить еще одну любопытную линию, связанную с эволюцией державинского понимания положения и роли поэта в обществе, его трактовки назначения и функции поэзии.

Об этом и пойдет речь в данной работе (конкретный же анализ самой эпистолы — предмет особого разговора).[2]

Тщательно охраняя свое инкогнито, Державин сумел придать ему в «Эпистоле» принципиальный характер. Безымянный выразитель «общего гласа», общественного мнения — такова позиция, с которой выступает поэт:

Се ревностный тебе я всех любви свидетель,
Из благодарности стихов моих содетель.
Не ведал ты меня, благодеяньи лил:
Не знай, друг общества, кто здесь тебя хвалил.
Довольно лишь внимай ты истину высоку:
Глас общий никогда не похвалял пороку.

«Эта эпистола, — отметил П. И. Бартенев, — весьма замечательна по независимости и смелости суждений и самых похвал: в ней уже подробно и резко излагается мнение Державина об обязанностях вельможи».[3]

Насколько справедливо замечание ученого о независимости позиции, занятой поэтом, можно видеть из сопоставления державинской эпистолы с другими произведениями, посвященными в том же 1777 г. И. И. Шувалову.

---

[2] См.: *Западов В. А.* Державин и поэтика русского классицизма. Статья 2-я. «Шуваловская» эпистола Державина // Проблемы изучения русской литературы XVIII века: Метод и жанр. Л., 1985. С. 45—61.

[3] См.: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Спб., 1864. Т. 1. С. 51.

Любитель искренний Шувалов чистых муз,
Позволь мне ныне свой язык решить от уз, —

так начинается, сходно с державинской, эпистола А. Фрязиновского. Далее следуют сплошные похвалы, безудержно выспренние и весьма неконкретные, вроде:

Огнем любви ко всем твой вспламененный дух
Усердствовал являть, колико мог, услуг.

Затем стихотворец обращается к главной, с его точки зрения, заслуге Шувалова:

Но как полям нельзя прекрасно расцвести
И плод посеянный сторично принести,
Когда умеренно не будут орошенны
И солнечным лучем во время освещенны:
Так тщетно бы и ты старание имел,
Чтоб вертоград наук и рукоделий цвел,
Когда б за ревностно во оных упражненье
Не доставлял ты всем достойно награжденье.
Ты, ведая сие, премудро наблюдал
И всем довольные щедроты проливал.

За этим следует исторический экскурс в воспоминания о Ломоносове и других поэтах (безымянных), которым покровительствовал Шувалов. Наконец, Фрязиновский переходит к делу и выражает свои надежды:

Любезно обратишь ты взор свой на Парнасс,
Ты будешь Меценат и станешь щедрить нас.
На милости твои мы твердо уповаем
И тако мысль сию столь смело открываем,
Мы, зная прежнее, предчувствуем сие
И скоро оному увидим збытие.

О том, что надежды Фрязиновского не остались втуне, с полной определенностью свидетельствуют первые же строки следующей его эпистолы, поднесенной в день тезоименитства Шувалова, 12 ноября 1777 г.:

Еще ущедренна, о Муза! возыграй
И меценату долг усердием воздай. . .

Сравнив Шувалова с его тезоименником — святым Иоанном Милостивым, который «безмездно лил на всех обильные щедроты», Фрязиновский и далее тянет ту же ноту:

Но ты, добротами сияющий вельможа!
Не в след ли вшел его, таких дел сонм умножа?
Твоя исполненна богатством благ рука
Не пролияла ль их обильно, как река?. .

Решительно неспособный отойти от столь интересной темы, Фрязиновский включает в свою эпистолу прелюбопытнейший перифраз Горация:

Ты оными себе воздвиг бессмертный вид,
Что крепче мармора и выше пирамид;
Его не повредит ниже завистна ревность,
Ни бурный Аквилон, ниже все жруща древность.
Хоть тленный твой состав, подобно смертным всем,
Преобразится в прах, и кости будут тем;
Хоть купно с оным дух от смертных удалится
И в горняя места отсюда преселится;
Но имя с честию твоею не умрет,
В чувствительных сердцах ничто их не сотрет,
И слава дел твоих дотоле не увянет,
Доколе смертных род жить в здешнем свете станет.

В заключение эпистолы стихотворец обращается к богу с мольбой за Шувалова:

Да сей веселый день он празднует стократно,
А мы по-прежнему воспользуемся им.

Эти несколько наивные в своей циничной откровенности стихи лучшим образом завершают вторую эпистолу Фрязиновского, обращенную к Шувалову.

Нельзя не обратить внимание на то, как ловко эксплуатирует Фрязиновский самые популярные, самые новейшие в поэзии 70-х гг. идеи, своеобразно трансформируя их. Стихи Горация, проповедника умеренности и философии «золотой середины», используются для вымаливания благ земных. Той же цели служит «чувствительная» тематика и терминология, которая задолго до Карамзина распространяется так широко, что берется на вооружение даже профессиональными «сочинителями в прихожей». Вместе с тем обе эпистолы Фрязиновского (как, впрочем, и другие его стихи) являются прекрасным свидетельством того, насколько метким было злое державинское уподобление «похвальных од подносителей» «нищим, сидящим с простертыми руками и ковшиками на мостах».[4]

Дело, конечно, не во Фрязиновском: здесь мы сталкиваемся с широким литературным пластом, который почти не освоен нашим литературоведением. Речь идет о таком весьма специфическом историческом явлении, как литературный сервилизм, — явлении, которое началось не с Фрязиновского и на нем не окончилось.[5] Проявления этого сервилизма нередко объясняют в работах

[4] Сочинения Державина. . . 1866. Т. 3. С. 608.

[5] Это явление освещают статья Л. Я. Гинзбург 1935 г., содержащая публикацию стихов Рубана, статья М. П. Лепехина о прихлебателях Дмитриева-Мамонова, диссертация В. П. Степанова о Чулкове и Л. В. Камединой о Комарове. Везде, однако, речь идет о частных фактах сервилизма, в целом же об этом явлении писал едва ли не один Л. В. Пумпянский.

о том или ином писателе особенностями его характера, личности (именно так неоднократно писали о Тредиаковском), «личным угодничеством» [6] и тому подобными частными причинами.

Однако, как показал Л. В. Пумпянский в посмертно опубликованной работе, мораль сервилизма, характерная для «интеллигентов из бюргерства» (применительно к России — интеллигентов из разночинцев), была в эпоху абсолютизма «общеевропейским», «повально общим явлением». Своеобразную энциклопедию, «полный свод абсолютистской морали» представляла собой «Аргенида» Барклая (1621) — «одна из влиятельнейших книг эпохи абсолютизма, настольная книга Ришелье. . . Но „Аргенида“ представляла и самую настоящую героизацию сервилизма».

На русскую почву эту мораль из Европы занесли Юнкер и Штелин, академики — поэты немецкой «школы разума», «тень которой стояла над колыбелью русского классицизма».[7] Из русских литераторов старшего поколения наиболее полно воспринял уроки европейской морали сервилизма Тредиаковский, который последовательно воплощал их в реальной жизни и — что важнее — в литературной практике. С полной откровенностью Тредиаковский писал об этом уже в посвящении привезенного из Европы первого большого труда — перевода «Езды в остров Любви», обращаясь к князю А. Б. Куракину: «За высокую Вашего сиятельства ко мне милость, которую отечески в чюжестранных краях изволили Вы мне противу чаяния моего показать и чрез несколько лет на ваших деньгах содержать, я восприемлю смелость ныне приписать сию новопреведенную мною книжку Вашему сиятельству в знак благодарного моего чювствия и сердца. . .»

После столь откровенного начала тема «щедрот», «милостей» (по преимуществу денежных) будет изливаться из-под пера Тредиаковского постоянно, до конца дней его — и в стихах (см., например, «Стихи. . . Анне Иоанновне по слове похвальном» 1732 г., «Оду благодарственную» Елисавете Петровне и т. д.), и в посвящениях теоретических трудов (см., например, посвящения «Разговора об ортографии», «Слова о витийстве» и пр.), и в многочисленных прошениях на имя императрицы, К. Г. Разумовского и т. д. Вполне закономерно поэтому, что именно Тредиаковскому принадлежит перевод «Аргениды» — так сказать, «теоретическое обоснование» литературного сервилизма.[8]

В связи с вопросом о сервилизме Тредиаковского нельзя не напомнить об одном историко-литературном заблуждении, касающемся интерпретации отношения Екатерины II к «Тиле-

---

[6] XVIII век: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1935. С. 412.

[7] *Пумпянский Л. В.* Ломоносов и немецкая школа разума // XVIII век. Л., 1983. Сб. 14. С. 6—7.

[8] Хотя произведение Барклая в принципе было известно еще русским книжникам и литераторам конца XVII в., но фактом широкого литературного сознания оно стало в России лишь в переводе Тредиаковского.

махиде». На протяжении последних 50 лет в статьях, академических историях литературы, учебниках варьируется мысль, будто бы императрица насмехалась над «Тилемахидой» из-за либерализма (или даже радикализма) Тредиаковского. «„Тилемахида“ решительно не подходила к обстановке екатерининского двора. С ней и ее автором приходилось бороться».[9] Или: «Екатерина II и ее окружение старались всячески скомпрометировать и „Тилемахиду“, и ее автора, обвиняя его в художественной несостоятельности <. . .> В советском литературоведении (начало положил академик А. С. Орлов) доказано, что императрицу не удовлетворяла не форма произведения, а его содержание. В „Тилемахиде“ Тредиаковский выступает сторонником либерального государственного правления. . .»[10]

Действительно, эти идеи были высказаны А. С. Орловым — устно в 1927 г., а затем развиты в статье 1935 г., где, в частности, говорилось: «Критика и оппозиция абсолютной монархии, пасифистские идеи и утопические уроки Фенелона, переведенные Тредьяковским, не только обидели Екатерину, но показались ей прямо опасными, так как через издание Тилемахиды входили в общественное обращение».[11]

Однако, несмотря на общепризнанность концепции А. С. Орлова, сама она представляется плодом некоего недоразумения. Дело в том, что еще в 1747 г. был опубликован выполненный в 1734 г. перевод «Похождения Телемака», переизданный в 1767 и 1782 гг.; «Странствования Телемака» в переводе И. С. Захарова вышли в 1786 и 1788 гг.; «Приключения Телемака» в переводе П. Железникова впервые изданы в 1788—1789 гг.; одноименный перевод Ф. П. Лубяновского — в 1797—1800 гг. К семи перечисленным изданиям следует прибавить еще два рукописных перевода (прозаический и стихотворный), на которые указал сам Тредиаковский в «Предъизъяснении об ироической пиими». Таким образом, «идеи» и «уроки» Фенелона вошли «в общественное обращение» помимо «Тилемахиды», задолго до нее и на протяжении всего столетия пользовались неизменным вниманием литераторов и читателей. Но, коль скоро сам Фенелон не вызывал противодействия (наоборот, известны факты поощрения именно за перевод «Телемака»), непонятно, почему его идеи вдруг становились «прямо опасными» в переложении Тредиаковского, особенно если учесть, что, переделав философско-политический роман в древнюю «ироическую пиему», он ослабил современное сатирическое звучание, «дух и формы своего образца». Итак, при всей социологической привлекательности концепции А. С. Орлова,

---

[9] *Тимофеев Л. И.* Василий Кириллович Тредиаковский // Тредиаковский В. К. Избр. произведения. М.; Л., 1963. С. 10.

[10] *Федоров В. И.* История русской литературы XVIII века. М., 1982. С. 75—76.

[11] *Орлов А. С.* «Тилемахида» В. К. Тредиаковского // XVIII век: Сб. статей и материалов. С. 23—24.

она противоречит многочисленным фактам истории русской культуры XVIII в. Вернемся, однако, к пропагандировавшейся Тредиаковским морали сервилизма.

В 50—90-е гг. различные проявления этой морали захватили десятки литераторов — стихотворцев, прозаиков, драматургов (В. Лукин и М. Чулков, М. Попов и М. Комаров, В. Рубан, А. Фрязиновский, В. Протопопов, Я. Белявский, Д. Дмитревский и мн. др.). Поэтика сервилизма, первоначально связанная почти исключительно с придворными сферами, затем распространилась вширь и охватила своей продукцией не только круги «вельможных меценатов», но и высокопоставленных священнослужителей (сохранилось изрядное число рукописных и печатных сборников, отдельных изданий стихов и речей, адресованных митрополитам, архиепископам, епископам), богатых заводчиков и купцов (характерный, но отнюдь не единственный пример — стихотворная продукция В. Рубана).[12] У этой поэтики были свои учебники, вроде «Politischer Redner» («Политический оратор», 1677) Хр. Вайзе, где доказывалось, что искусная лесть — важная и нужная наука, ибо «весь мир исполнен комплиментов»: «Цветы раскрываются утром, приветствуя восход солнца, своего повелителя, птицы в честь его начинают петь; железо движется, едва почувствовав влияние магнита» и т. д., — словом, «сама природа учит комплиментам».[13] Русские стихотворцы второй половины XVIII в. этого учебника, кажется, не читали, но сами принципы комплиментирования адресатов были весьма сходными. При этом подчас возникала очень любопытная «смесь античного с нижегородским», а то и библейским. Так, в стихах «Слеза, вылившаяся из сердца Музы при разлуке с Фебом» (1799) под Музой разумеется Коломенская семинария, а под Фебом — «преосвященнейший Афанасий, епископ Воронежский и Черкаский»; эта весьма чувствительная слеза (ведь «вылилась» она в годы засилья карамзинизма) пролилась по случаю «отбытия его преосвященства из города Коломны в Воронежскую епархию». Зато в стихах В. Рубана 1777 г. шведский король Густав III и фаворит Екатерины С. Г. Зорич сопоставляются соответственно с Илией и Елисеем, библейскими пророками. У того же Рубана другой фаворит императрицы П. А. Зубов становится «членом Военного приказа» (т. е. Военной коллегии), «которому и Марс послушен и Нептун», и т. д.

Вокруг отдельных «меценатов» складывались своеобразные «литературные кружки», точнее говоря — на этих меценатах существовали колонии «параситов» (поэтических нахлебников-блюдолизов). Примером такого явления может служить литературное окружение Дмитриева-Мамонова, охарактеризованное в публикации М. П. Лепехина «„Дворянин-философ“ в кругу почитателей»,[14] — название заведомо неточное, ибо, как явствует из со-

[12] *Гинзбург Лидия.* Неизданные стихотворения Рубана // XVIII век: Сб. статей и материалов. С. 411—432.

[13] См.: *Пумпянский Л. В.* Ломоносов и немецкая школа разума. С. 26—27.

[14] См.: XVIII век. Сб. 14. С. 304—319.

чинений этих «почитателей», все они — именно «параситы» в греческом значении этого слова.

Очень откровенно сопрягаются литературный «паразитизм» и сервилизм с такими понятиями, как «сын отечества» и «польза общества» в «Эпистоле» Павла Денбовцева 1770 г.

Любитель истины, достойный дворянин
И пользы общества усердствующий сын, —

обращается к своему меценату автор в первых строках своей «Эпистолы». Дальше он переходит на прозу, впрочем, весьма откровенную: «Я, с самого моего малолетства не имея никаких сродственников, благодетелей и покровителей, часто старался искать милости моими в учености трудами у таких особ, которые богатством были изобильны и кои могли весьма свободно снабдить меня в бедном состоянии; но вся моя ревность и труды были тщетны <. . .> Знаки твоих (т. е. Дмитриева-Мамонова. — *В. З.*) добродетелей довольно меня уверяют, что ты благосклонно призришь на мое прошение. О, если бы судьба благоволила видеть тебя своим мне покровителем, то бы, отложа все беспокойства, касающиеся к подкреплению моего состояния, крайнее приложил рачение к наукам и, просветивши оными свой разум, веселым бы духом сие провозгласил:

Воззри, отечество, на сердце сего сына:
Для счастия людей цветет его судьбина.
Мамонов мне тогда блаженство даровал,
Когда под бременем я бедности стонал.
Ничто не повредит души моей покою,
Когда сень крыл твоих простретсся надо мною».

Аналогична по смыслу обращенная к Дмитриеву-Мамонову «Ода» Михайлы Угрюмова:

Но о какой мне кант воспеть
Предстателю и меценату!
Ты сердце в век сокрыл ко злату,
А в щедрости подобных нет.

Вполне закономерно, что в стихах «ученика Московского университета» в ход идет ломоносовская поэтика, образность, фразеология, синтаксис:

Но кая сила утомляет
Мой шумом пораженный слух;
Не злость гигантов ли являет
И зиждет го́ру тел сих вдруг;
Не реки ль громко зашумели
И хляби Этны заревели,
Смутить чтоб злом всей чести взор?
Ах, нет: те страшные громады
Здесь ждут от щедрости награды
И радостных тьму зиждут гор.

Плутон здесь вскрыл сокровищ недра,
И с златом Пактол разлился;
Натура что имела щедра,
Ея краса предстала вся.
Сапфиры с яхонтами блещут;
Рубин с смарагдом блески мещут
И помрачают взор очей. . . и т. д.

Словом, все 230 стихов «Оды» Михайлы Угрюмова довольно однообразны:

Сего героя толь позная,
О, как взнесу мой слабый глас!
Но всю надежду полагая
На том, что щедр ты всех для нас. . .

Гораздо короче и прямее выразился Василий Рубан. Сочинив известную, действительно небесталанную надпись к Камнюгрому и передавая ее Потемкину, Рубан приложил к ней четверостишие

К ФЕБУ ПРИ ОТДАЧЕ СТИХОВ НА КАМЕНЬ

Мне славу Камень дал, а прочим вечный хлеб:
При славе дай и мне кусочек хлебца, Феб!
Да не истлеет весь от глада лирный пламень.
Внемли моленьям, Феб! Не буди тверд, как камень.

После всего сказанного понятно, что две эпистолы А. Фрязиновского, адресованные Шувалову в 1777 г., отнюдь не являлись чем-то патологическим, а, наоборот, по пронизывающей их меркантильности представляли собой вполне обычное для сервильной поэзии явление.

Сервилизм довольно рано вызвал противодействие поэтов гражданского направления. По-видимому, к весне 1765 г. относится «эпическая поэма» Я. Б. Княжнина «Бой стихотворцев». Рисуя в начале песни второй владения богини «Охота писать» («Алчба писать», «Охота сочинять» — т. е. богини Графомании), расположенные в глубине «Геликонских блат», Княжнин на первом месте поместил ревностнейшего служителя богини Графомании, не забыв сразу указать на характернейшие приметы его творчества:

Там Тредьяковский, сей поэзии любитель,
Для рифмы разума, рассудка истребитель,
На куче книг лежа́, есть просит, пить в стихах. . .

По той же линии идут обличения «дурных писцов» в «Сатире первой» В. В. Капниста:

Но можно ли каким спасительным законом
Принудить Рубова мириться с Аполлоном?
Не ставить на подряд за деньги гнусных од
И рылом не мутить кастальских чистых вод?. .

Наибольшей резкости обличение литературного сервилизма достигло у А. Н. Радищева. Рассматривая явление в историческом аспекте и явно имея в виду настоящее, поэт при характеристике «века Августа» ввел в число «льстецов наемных» Горация и Вергилия.[15] Далее в «Песни исторической» следует инвектива общего характера:

О умы, умы изящны,
Та ли участь мусс, чтоб славить,
Кто вам жизнь лишь не отъемлет
Иль, оставя вам жизнь гнусну,
Даст еще кусок, омытый
В крови теплой граждан, братьев?

Эти стихи — одно из самых сильных в русской поэзии выступлений против сервилизма в любых его формах.

Впрочем, надо заметить, что и сама сервильная поэзия отнюдь не была чем-то единым, «монолитным».

Явно отделяя себя от рядовой «параситствующей» собратии, поэтов-«льстителей», Василий Петров сделал попытку поставить проблему на некое подобие принципиальной почвы — обосновать общественную пользу отношений меценатства—сервилизма. В его «Оде. . . Г. А. Потемкину» 1777 г. щедрость мецената (Потемкина) противопоставлена как бессмысленной расточительности, так и эгоистической скупости:

Роскошный злато расточает
И тщится угостить весь мир;
Чрез ложный блеск быть виден чает
На время льстителей кумир.
Скупой, душа в сребре зарыта,
Все жрет в себя, как хлябь несыта,
Как ад, не отдающий жертв,
Родне, друзьям и свету мертв.
Сокровищница мужа щедра
Стоит отверста, как самой природы недра.
Виждь, коль Потемкина ни дарствует рука,
Он полон как река!

Этот пассаж отнюдь не случаен у Петрова, который и впоследствии отделял себя от поэтов — «наемников вельмож»:

Поют для мзды и лести
Наемники вельмож;
Их грудь не знает чести:
Их песни безобразна ложь.
Ты, Клия, что вещаешь,
То в сердце ощущаешь. . .

Сервилизм мог приобретать различные, в том числе и весьма тонкие формы. Более того, в угоду своему меценату поэт порою

[15] Как известно, в прозе Радищев именовал двух великих поэтов Древнего Рима еще более резко: «льстец Августов и лизорук Меценатов».

сочинял и злую сатиру — притом сатиру даже остро социальную, осмеивая явления, враждебные меценату. Пожалуй, самым ярким примером такого рода служит шутотрагедия Крылова, написанная им для князя С. Ф. Голицына (мужа племянницы Потемкина), при Павле оказавшегося в опале. Приведу обширную цитату из статьи Г. А. Гуковского, весьма выразительно характеризующую этот эпизод: «При Голицыне Крылов был не то приживальщиком, не то служащим <. . .> Крылов живет у Голицына в деревянном флигеле, рядом с конторой, и дает уроки сыновьям Голицына и другим детям (М. П. Сумароковой и Ф. Ф. Вигелю), так как Голицын приехал в свою деревню настоящим феодалом в немилости, с целым двором; Крылов, кроме того, играет в триктрак с сыном Голицына, дает маленькие концерты на скрипке для „милостивца" и его семьи; мало того, Крылов сочиняет для „милостивца" и именно в таком духе, чтобы угодить ему, шутотрагедию „Подщипа". Это — веселая шутка для любительского спектакля в доме Голицына; но Крылов искусно ввел в нее сатиру на „гатчинцев" Павла I, на его немецких фрунтоманов, на тупоголовых вояк прусского образца, то есть как раз на тех людей, которые заменили у трона прежних, екатерининских людей, которые и самого Голицына загнали в Казацкое. Трудно было более ловко подольститься к „меценату". Так началась эта линия крыловской творческой неискренности; он писал в том направлении мыслей, которое требовалось его „покровителями" или властью, притом не грубо льстя, а тонко подделываясь под чужой вкус».[16]

Здесь же — из воспоминаний Вигеля — ученика Крылова: «Обхождением его со мной я был очень доволен: правда, он напоминал мне иногда о почтении, коим обязан я ребятам, молодым князьям, моим товарищам, что мне весьма было не по сердцу; но зато маленькому англичанину Личу при мне говорил он, что ему не следует забываться передо мной, генеральским сыном».

Гуковский комментирует: «Эту молчалинскую мораль проповедовал в 1800 году тот самый человек, который в 1792 году написал „Каиба"».

С широким распространением литературного сервилизма прямо соотносится проникновение в русское дворянское общество идущих опять-таки из Европы представлений о занятиях поэзией как о чем-то недостойном благородного человека. Еще в 1747 г. на русском языке вышла в переводе С. Волчкова книга Бельгарда «Совершенное воспитание детей. . .», где, в частности, шла речь и об отношении к литературе, которое надо воспитывать в молодых дворянах: «Нехудо, ежели шляхтич древних и новых стихотворцев книги знает и при случае на своем языке вирши сделать может, только бы сия охота для забавы была, а в слепую страсть не обратилась. Стихотворство в том особливое несчастие имеет, что всю свою красоту и почтение теряет, ежели человек публич-

---

[16] *Гуковский Гр.* Иван Андреевич Крылов // Крылов. Полн. собр. стихотворений. [Л.], 1935. Т. 1. Басни. С. 53—54.

ным рифмотворцем или явным учителем поэзии сделается, а для того сей талант с великою осторожностию употреблять надо».[17]

Подобные «европейские» воззрения на поэзию нашли сторонников и на русской почве. Тредиаковский в известном «Письме к приятелю о нынешней пользе гражданству от поэзии» без обиняков утверждал, что «прежде стихи были нужное и полезное дело; а ныне утешная и веселая забава, да к тому ж плод богатого мечтания к заслужению не того вещественного награждения, которое есть нужно к препровождению жизни, но такова воздаяния, кое часто есть пустая и скоро забываемая похвала и слава». Из этого следовал «образно-поэтический» вывод: «Потолику между учениями словесными надобны стихи, поколику фрукты и конфекты по твердых кушаний». Впрочем, в ходе дальнейших рассуждений Тредиаковского мысль о «вещественном награждении» подкреплялась достаточно ясно: знание поэзии «по всему есть похвально, а часто и прибыточно».[18]

Поэтому вполне понятны обвинения, направленные против продажности «публичных рифмотворцев», а заодно и против самой поэзии, которые и позднее появлялись на русском языке. Так, в «Дворянском училище» Мобера де Гуве (перевод Е. Харламова) содержались резкие инвективы против писателей (в том числе Вольтера), которые сделали из своего ремесла доходный промысел и тем уподобились актерам, играющим за плату.[19]

Неутомимую, можно сказать, героическую борьбу с подобными представлениями о поэзии вел Сумароков, но практически в этой борьбе он остался в одиночестве.[20]

Начиная с 60-х гг. реакция на широко распространившуюся мораль сервилизма дала в русской поэзии различные, прямо противоположные позиции.

С одной стороны, среди массы дворян пышным цветом цветет тот самый дилетантизм, необходимость которого пропагандировали для дворян как европейские, так и русские теоретики сервильной поэзии и узкосословного воспитания. Любой мало-мальски грамотный дворянин по случаю мог скропать несколько стихотворных строк с помощью устойчивых поэтических штампов (и в этом отношении шли в ход и классицистические, и сентиментальные штампы) и советов «Нового и краткого способа к сложению российских стихов» Тредиаковского в издании 1752 г., «Правил пиитических» Аполлоса Байбакова и т. д.

С другой стороны, русский предромантизм (а позднее романтизм) типу продажного поэта противопоставил тип поэта «по вдохновению», а пониманию стихотворства как вкусного, но необязательного лакомства — «фруктов и конфект» для лучшего пищеварения — взгляд на поэзию как на нечто возвышающее

---

[17] *Бельгард Ж. Б. М.* Совершенное воспитание детей. . . Спб., 1747. С. 91.

[18] *Тредиаковский.* Стихотворения. [Л.], 1935. С. 417—419.

[19] *Мобер де Гуве Ж. А.* Дворянское училище. . . Спб., 1764. С. 155.

[20] См.: *Степанов В. П.* К вопросу о репутации литературы в середине XVIII в. / XVIII век. Сб. 14. С. 111—114.

поэта и отличающее его от прочих смертных, как на средство познания и преобразования действительности. Предромантический идеал «гения», творящего по наитию, противостоит наемнику-профессионалу, «усиливающемуся писать», как говорили в XVIII в., по велению начальства или ради презренного металла.

Одним из первых на новом этапе вступил в борьбу с господствующими взглядами на литературу М. Н. Муравьев, который уже в 1775 г. осмыслил созидательный характер творчества:

Стихотворство нам открыло
Путь в лазурны небеса,
Стихотворство сотворило
И богов и чудеса. . .[21]

В письмах и заметках Муравьева можно обнаружить весьма интересные материалы, касающиеся как самого литературного сервилизма, так и его следствий. Так, 7 августа 1777 г. Муравьев писал отцу: «Недавно видел я стихи г. Рубана к Семену Гавриловичу Зоричу, за которые получил от государыни золотую табатерку с 500 червонных. Не можно вообразить подлее лести и глупее стихов его. Зачинает с Илии пророка, которого равняет шведскому королю, а Зорича Елисею. Пишет, что, как шведский король облек его геройскою славою (т. е. наградил орденом Меча. — *В. З.*), Зорич наш и удивился. Какая прекрасная позитура! Я бы хотел посмотреть: просит Зорича, чтобы он явленную добродетель всегда оказывал и продолжал. — Нельзя всего перечесть. Со всякого стиха надобно разорваться от смеху и негодования».[22] А в следующем, 1778 г. сам Муравьев написал сказку «Живописец» (напечатана в 1779 г.), которая от начала до конца посвящена мысли о необходимости творческой независимости в искусстве: богатство, почести, сама близость к сильным мира сего (пусть даже «художеств благодетелю»!) неизбежно влекут за собой утрату дарования.[23]

Наконец, существовал еще третий путь, достаточно распространенный в среде русских поэтов, — это путь, который совмещал серьезнейшее, профессиональное внутреннее отношение к литературе с демонстративной внешней позой поэта-дилетанта. Причины понятны и тут: отвращение к сервильной морали вообще и литературному сервилизму в частности. Тот же Муравьев зафиксировал ход этого процесса у одного из своих ближайших друзей: «Ханыков от омерзения Рубана перешел к омерзению стихотворства».[24] Тем не менее В. В. Ханыков, хотя и редко вы-

---

[21] *Муравьев М. Н.* Стихотворения. Л., 1967. С. 120.

[22] Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 269. Выдержки из стихов Рубана, пародийно изложенных Муравьевым, см.: Там же. С. 367.

[23] *Муравьев М. Н.* Стихотворения. С. 174—176. В дальнейшем мысль о независимости художника будут настойчиво развивать Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев и другие литераторы-сентименталисты.

[24] Там же. С. 25.

ступал в печати, писал стихи до самой смерти (известны высокие отзывы, которые давал им столь компетентный знаток поэзии, как Гете),[25] — причем занимался он поэзией настолько серьезно, что его младший современник А. И. Тургенев (кстати, также вполне «дилетант» в литературе) заметил: «Был у Ханыкова <. . .> Стихи хороши; но грустно видеть старика, отжившего век на стихах».[26]

Еще более яркое выражение поза поэта-дилетанта, занимающегося стихами только на скорую руку, между делом, в свободное время, нашла в творчестве Н. А. Львова — одного из самых оригинальных талантов столетия.

Не вдаваясь в подробности, позволю себе напомнить только о свойственной Львову манере демонстративно подчеркивать, что пишет он «между делом», «урывками» и т. д. Эта манера проявляется у Львова рано: уже на автографе стихотворения «Увы! что в свете есть злей муки. . .» стоит характерная для поэта уточняющая помета: «1774 авгу<ста> 8 у Баку<ниных>» — и приписка в конце: «На скору руку. Август 1774».

Отправляя адресату «Эпистолу к А. М. Бакунину. Фортуна» Львов в начале опять-таки делает помету: «Из Павловского июня 14. 1797», а затем следует приписка: «Пришли, пожалуйста, назад, я как написал, так к тебе и посылаю, у себя помарочки не осталось». Любопытно, что в рукописном собрании стихотворений Львова сама «Эпистола» переписана писцом, затем рукой Львова прибавлена цитированная приписка, а после нее — снова рукой писца — ответ Бакунина: «Вот вам копия; у вас кто-нибудь разберет и перепишет, а оригинала не отдам. . .»

Аналогично в письме 24 мая 1799 г., сочиненном стихами и прозой по поводу стихотворения Державина «На победы в Италии» и адресованном ему же. После письма постскриптум: «Глаза у меня так болят, что я не токмо сам писать, но и поправить писанного не могу <. . .> Что продиктовал, того у меня не осталось, а потому для справки прошу прислать мне копию, которую ямщик списать не позволяет» (между прочим, это письмо, вместе с постскриптумом, переписано в собрании стихотворений дважды).

То же в письме П. В. Лопухину: «Июля 18 дня 1801-го года»: «Не прогневайтесь, что не успел переписать, пишу на чужой бумажке, в канцелярии Александра Андреевича, ожидая его возвращения, а почта идет и не ожидает». Опять-таки и это письмо, написанное «на чужой бумажке», которое автор якобы «не успел переписать», аккуратнейшим образом зафиксировано в сборнике стихотворений.

Надо заметить, что демонстративная поза поэта-дилетанта сослужила Львову посмертно весьма дурную службу: исследователи, поверив поэту на слово, довольно долго утверждали, что Львов не только не придавал своим стихам значения, но и не печатался, хотя в действительности Львов был анонимным участ-

---

[25] См.: Лит. наследство. М., 1932. Т. 4—6. С. 240—242.
[26] Там же. С. 240.

ником едва ли не всех крупнейших изданий своего времени — «Санктпетербургского вестника», «Собеседника любителей российского слова», «Московского журнала», «Аонид», «Музы», других периодических изданий, печатал свои произведения и отдельно. Однако созданная в литературных целях поэтическая маска доныне влияет на судьбу львовского наследия (этим, в частности, объясняется отсутствие собрания стихотворений Львова в «Библиотеке поэта»).

Думается, что в определенный момент аналогичная позиция поэта-дилетанта — на словах по крайней мере — была свойственна и Державину. Настойчивое повторение, что он «поет» «от должности в часы свободны», анонимные выступления в печати, резкие выпады против «похвальных од подносителей», — все это связано не только с необходимостью обороны от начальства (генерал-прокурора кн. А. А. Вяземского и подобных ему), но и с принципиальным нежеланием становиться в ряд обыкновенных «цеховых стихотворцев».

Поэтому, адресуя киргиз-кайсацкой царевне Фелице свою анонимную оду, мурза-автор резко отмежевался от современной поэзии, особо подчеркнув:

Хвалы мои тебе приметя,
Не мни, чтоб шапки иль бешметя
За них я от тебя желал.
Почувствовать добра приятство
Такое есть души богатство,
Какого Крез не собирал.

«Фелица» была создана в 1782 г., а после публикации ее в 1783-м, узнав имя автора, императрица отреагировала вполне стандартно: отправила поэту золотую табакерку с 500 червонцев. Очевидно, эта ситуация привела к тому, что Державин должен был как-то по-новому определить свое поэтическое кредо. В сочиненной в том же году «Благодарности Фелице» отчетливо совмещаются две позиции: новая — вдохновенного певца и старая — поэта-дилетанта:

(1) Когда небесный возгорится
В пиите огнь, он будет петь;
(2) Когда от бремя дел случится
И мне свободный час иметь,
Я праздности оставлю узы,
Игры, беседы, суеты,
Тогда ко мне придут музы,
И лирой возгласишься ты.

Вопреки субъективному намерению поэта, который в «Фелице» был искренен в своих похвалах, ода была истолкована, по словам Державина, как «неприличная лесть» императрице, вызвала много и других неблагоприятных для автора суждений. Возражая на них, Державин написал одно из лучших своих стихотворений — «Видение мурзы». Явившись ночью, некая «жена» — «жрица» или

«богиня» вещает мурзе-певцу «страшны истины», обусловленные тем, что «поэзия не сумасбродство, но вышний дар богов». Вот эти «страшны истины»:

Владыки света люди те же,
В них страсти, хоть на них венцы;
Яд лести их вредит не реже,
А где поэты не льстецы?
И ты сирен поющих грому
В вред добродетели не строй.
Благотворителю прямому
В хвале нет нужды никакой.
Хранящий муж честные нравы,
Творяй свой долг, свои дела,
Царю приносит больше славы,
Чем всех пиитов похвала. . .

Отвечая на упреки этой «жены» (оказывается, это видение — сама Фелица) и на толки, вызванные одой, Державин, в частности, подчеркивает свою искренность:

Иной вменял мне в преступленье,
Что я посланницей небес
Тебя быть мыслил в восхищенье
И лил в восторге токи слез.
И словом, тот хотел арбуза,
А тот соленых огурцов.
Но пусть им здесь докажет муза,
Что я не из числа льстецов;
Что сердца моего товаров
За деньги я не продаю,
И что не из чужих анбаров
Тебе паряды я крою. . .

По-своему парадоксально то, что Державин заставил в «Видении мурзы» вещать «страшны истины» именно Фелицу, т. е. саму Екатерину II, которая как раз и жаждала от поэта новых похвальных од. Для этого императрица сделала поэта своим статс-секретарем и неоднократно намекала ему на свое желание. Оценка этой ситуации Державиным известна:

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: «Пой, птичка, пой».

Когда же по наущению императрицы к поэту с аналогичным советом обратился А. В. Храповицкий, Державин высказался сдержанно, но определенно:

Товарищ давний, вновь сосед,
Приятный, острый Храповицкой!
Ты умный мне даешь совет,
Чтобы владычице киргизской
Я песни пел
И лирой ей хвалы гремел.

Так, так, — за средственны стишки
Монисты, гривны, ожерелья,
Бесценны перстни, камешки
Я брал с нее бы за безделья,
И был — гудком —
Давно мурза с большим усом. . .
Богов певец
Не будет никогда подлец.

Потому, сочиняя похвальные оды по заказу («Решемыслу») или по необходимости («Изображение Фелицы», «На рождение царицы Гремиславы»), Державин внешними похвалами всегда создавал программу, «каковым вельможам быть дóлжно», «каковым царям быть дóлжно».[27] И когда по воцарении Павла тот же Храповицкий стихами упрекнул Державина в лести Потемкину и Зубовым (а подразумевалось прежде всего, конечно, — покойной Екатерине), поэт ответил стихами же:

Храповицкой! дружбы знаки
Вижу я к себе твои:
Ты ошибки, лесть и враки
Кажешь праведно мои;
Но с тобой не соглашуся
Я лишь в том, что я орел.

А по-твоему коль станет,
Ты мне путы развяжи;
Где свободно гром мой грянет,
Ты мне небо покажи;
Где я в поприще пущуся
И препон бы не имел?

Где чертог найду я правды?
Где увижу солнце в тьме?
Покажи мне те ограды,
Хоть близ трона в вышине,
Чтоб где правду допущали
И любили бы ее.

Страха связанным цепями
И рожденным под ярмом
Можно ль орлими крылами
К солнцу нам парить умом?
Л хотя б и возлетали —
Чувствуем ярмо свое. . .

По-видимому, именно этот трезвый взгляд на вещи, вообще свойственный Державину, не давал ему возможности до конца *принять до поры до времени предромантический (и романтиче-*

[27] Иначе говоря, в этих случаях Державин прибегал к помощи созданного М. В. Ломоносовым жанра оды-рекомендации, или программной оды. Совпадая по внешним признакам с «обыкновенной» похвальной одой, ода программная отличается тем, что поэт хвалит адресата якобы как за сделанное за то, что, по его, поэта, мнению, сделать еще только надлежит. Скоро, однако, программный характер ломоносовской оды забылся, и уже Радищев упрекал Ломоносова в том, что он «льстил похвалою в стихах Елисавете». Критика XIX в. это «забвение» распространила на всю поэзию предшествующего столетия — включая Державина.

ский) взгляд на поэта — как на вдохновенного певца-демиурга, словом творящего и преобразующего мир.

Подобный титанический образ появится у Державина уже в XIX в., когда он будет в отставке и почувствует себя свободным от тех пут, о которых шла речь во втором послании Храповицкому:

Трубит — и глас его несется
С Невы до Лены берегов.
Летит — и дол под ним смеется,
Как эхом тысячи громов.
Пятою черны бездны давит,
Челом касается звездам;
Дивит кого, страшит иль славит, —
Комета, метеор векам.
Возносит персть — богов к престолу
И вержет истуканов долу.

Тромпетин, Арфин или Лирин,
Кто сей столь дерзостный певец?
Как молния, полет эфирен,
Как буря, — света по конец.
Как водопад, с горы крутыя
Низвергшись, вдалеке ревет,
Как ключ из челюсти земныя,
Сверкая, в воздух блестки льет.
Всяк, внемля, зря его, дивится,
Восторжен, очарован зрится. . .

Впрочем, и в конце жизни, строя на идее вдохновения (и притом вдохновения или наития резко индивидуального и индивидуализированного) «Рассуждение о лирической поэзии», Державин сохраняет прежнюю трезвость. Об этом свидетельствует написанное специально для «Рассуждения» восьмистишие о поэзии:

Отлив от творческого духа,
Спечаток с мудрости лучей,
Ума согласье, ока, слуха,
Эмпирной сладости ручей,
Поэзия, глагол небесный!
Коль плоти бы органы тесны
Могли издать твой полный строй, —
Я б создал новый мир тобой.

Подводя итоги всему изложенному, можно сказать, что из возможных в XVIII в. позиций — сервильный стихотворец, поэт-гражданин, поэт-дилетант, вдохновенный певец-демиург — Державин решительно отвергает сервильную поэзию, пытаясь поначалу сочетать позицию поэта-гражданина с позой дилетанта. В дальнейшем, на новом этапе вдохновенный певец органично сочетается с поэтом-гражданином, глашатаем истины, правды. В этой эволюции и в этой сложности — специфика поэтической позиции Державина как в 70—80-е гг. XVIII в., так и в конце поэтического пути.

В заключение надо сказать, что проблема литературного сервилизма, дилетантизма, творческой независимости в преобразованном виде стояла и перед литературой первой трети XIX в.

Пожалуй, в свете проблем, о которых шла речь в настоящей работе, наибольший интерес представляет отношение к этим вопросам А. С. Пушкина. Обращался к ним Пушкин неоднократно, но решал их в разное время по-разному.

В конце мая—начале июня 1825 г. Пушкин пишет письмо А. Бестужеву по поводу статьи последнего «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов». «*Ободрения у нас нет — и слава богу!*» — цитирует Пушкин слова Бестужева и возражает: «Отчего же нет? Державин, Дмитриев были *в ободрение* сделаны министрами. Век Екатерины — век ободрений; от этого он еще не ниже другого. Карамзин, кажется, ободрен; Жуковский не может жаловаться, Крылов также. Гнедич в тишине кабинета совершает свой подвиг <. . .> Из неободренных вижу только себя да Баратынского — и не говорю: слава богу!. .» Полемизируя далее, Пушкин обращается к историческим примерам (век Августа, Людовика XIV, Фридриха II, Екатерины II) и характеризует специфическую ситуацию, сложившуюся в русской литературе к 1825 г.: «Наши таланты благородны, независимы <. . .> Причина ясна. У нас писатели взяты из высшего класса общества. Аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или с одою, а тот является с требованиями на уважение, как шестисотлетний дворянин,— дьявольская разница!» [28]

Несколько по-иному решал проблему Пушкин в 30-е гг., когда ситуация в литературе изменилась. В статье «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833—1835) Пушкин сопоставляет литературные нравы XVIII столетия и XIX в.: «Ломоносов наполнил торжественные свои оды высокопарною хвалою <. . .> Ныне все это вывелось из обыкновения. Дело в том, что расстояние от одного сословия до другого в то время еще существовало. Ломоносов, рожденный в низком сословии, не думал возвысить себя наглостию и запанибратством с людьми высшего состояния (хотя, впрочем, по чину он мог быть им и равный). Но зато умел он за себя постоять и не дорожил ни покровительством своих меценатов, ни своим благосостоянием, когда дело шло о его чести или о торжестве его любимых идей <. . .> У нас писатели не могут изыскивать милостей и покровительства у людей, которых почитают себе равными, и подносить свои сочинения вельможе или богачу, в надежде получить от него 500 рублей, или перстень, украшенный драгоценными каменьями. Что же из этого следует? что нынешние писатели благороднее мыслят и чувствуют, нежели мыслил и чувствовал Ломоносов и Костров? позвольте в том усумниться.

---

[28] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 10. С. 145—147.

Нынче писатель, краснеющий при одной мысли посвятить книгу свою человеку, который выше его двумя или тремя чинами, не стыдится публично жать руку журналисту, ошельмованному в общем мнении, но который может повредить продаже книги или хвалебным объявлением заманить покупщиков. Ныне последний из писак, готовый на всякую приватную подлость, громко проповедует независимость <. . .> К тому же с некоторых пор литература стала у нас ремесло выгодное, и публика в состоянии дать более денег, нежели его сиятельство такой-то или его высокопревосходительство такой-то. Как бы то ни было, повторяю, что формы ничего не значат; Ломоносов и Кребб достойны уважения всех честных людей, несмотря на их смиренные посвящения, а господа NN все-таки презрительны — несмотря на то, что в своих книжках они проповедуют независимость и что они свои сочинения посвящают не доброму и умному вельможе, а какому-нибудь шельме и вралю, подобному им».[29]

Таким образом, рассматривая в 30-е гг. острейший для себя вопрос, Пушкин противопоставил своему времени восемнадцатое столетие, и противопоставление это в глазах Пушкина оказалось далеко не в пользу века девятнадцатого.

---

[29] Там же. Т. 7. С. 285—287.

В. Д. РАК

ГИПОТЕЗЫ ОБ ИЗДАТЕЛЕ ЖУРНАЛА «СМЕСЬ»

Среди не получивших до сих пор окончательного решения загадок, оставленных литературой XVIII в., большой интерес представляет вопрос о том, кто был издателем журнала «Смесь» — единомышленником Н. И. Новикова, решительно принявшим его сторону в полемике 1769 г. и скрестившим сатирические шпаги со «Всякой всячиной».

До середины прошлого века, т. е. в течение почти целого столетия, никаких разногласий по этому поводу в печати, насколько известно, не высказывалось. На закате жизни Новикова «Смесь» была приписана ему,[1] и от него, судя по всему, не последовало ни опровержений, ни разъяснений. Впоследствии Е. Болховитинов повторил эту атрибуцию безоговорочно, как самое собою разумеющуюся и не требующую доказательств.[2] Сомнения в ее справедливости возникли несколько позднее — у Н. Н. Булича, который выдвинул против нее ряд существенных возражений. Во-первых, указал он, начинающий литератор, каковым был Новиков в 1769 г., вряд ли смог бы вести параллельно два журнала, хотя бы уже потому, что при тогдашнем состоянии русской словесности нелегко было найти сотрудников. Во-вторых, ни одна статья из «Смеси» не была перепечатана в «Живописце», в то время как он вобрал многое из «Трутня». В-третьих, как считал Н. Н. Булич, «нельзя узнать живого, чисто русского тона, меткой сатиры „Трутня“ в спокойном и по большей части однообразном изложении „Смеси“». Наконец, в-четвертых, он отметил различия в написании одинаковых слов, невозможные, по его мнению, у одного издателя (например, «чувство» в «Трутне» и «чювство» в «Смеси»). Свои рассуждения Н. Н. Булич заключил следующим выводом: «Вопрос, следовательно, о том, кому принадлежит „Смесь“ и кто был ее издателем, остается, по нашему мнению, нерешенным вопросом в истории нашей литературы, за неимением прямых библиографических указаний».[3] С этими аргументами согласился А. Н. Афанасьев, повторивший их в своем фундаментальном (для

[1] Письмо сельского дворянина к издателю // Моск. зритель. 1806. Ч. 2, апрель. С. 6.

[2] *Евгений* [*Болховитинов Е.*]. Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России. М., 1845. Ч. 2. С. 103.

[3] *Булич Н. Н.* Сумароков и современная ему критика. СПб., 1854. С. 239.

середины XIX в.) труде, посвященном русской сатирической периодике.[4] Через полвека В. П. Семенников добавил еще один существенный довод. Опираясь на исследование В. Ф. Солнцева, установившего франкоязычные источники большого числа статей в «Смеси», он считал «несомненным, что журнал этот составлялся лицом, отлично знакомым с соответственной западноевропейской литературой», чего, утверждал он, «совершенно нельзя сказать о Н. И. Новикове» (Сем. С. 27). Таким образом, первоначальная атрибуция была признана полностью опровергнутой, так что к ее обсуждению не возвращались более шестидесяти лет; если о ней вспоминали, то лишь как о неподтвердившейся гипотезе (Гук. С. 252; Благ. С. 284), а в ряде солидных трудов она вообще была обойдена молчанием.[5] Вместе с тем не вызвало сомнений построенное на весьма шатком фундаменте предположение Л. Н. Майкова об участии Новикова в «Смеси» в качестве эпизодического сотрудника и о принадлежности ему в ней двух писем и одной эпиграммы.[6]

Образовавшаяся пустота требовала заполнения, и В. П. Семенников выдвинул свою гипотезу об издателе «Смеси». Исходным ее пунктом стало убеждение исследователя в том, что «едва ли это было лицо, случайное в литературе, ничем ни ранее, ни после себя не зарекомендовавшее», и что, следовательно, его «нужно искать в числе более известных, даже более талантливых, писателей того времени», причем оно «должно быть хорошо знакомым с соответствующей западноевропейской литературой» (Сем. С. 28). Эти положения, сформулированные на основе, как уже говорилось, сведений об иностранных источниках «Смеси», выявленных В. Ф. Солнцевым, резко сузили область поиска — и без того очень малую вследствие, говоря словами В. П. Семенникова, «редкости писательского дара в то время» (Сем. С. 28). Если исключить авторов, находившихся в Москве, а также состоявших в полемике со «Смесью» или же подвергавшихся нападкам на ее страницах, оставался лишь один писатель, удовлетворявший названным условиям и по своим взглядам, литературным отношениям, а также по характеру деятельности отвечавший представлению об издателе «Смеси», каким оно складывается из содержания журнала. «В то время не было другого писателя, который бы в такой степени соответствовал „Смеси“, как Эмин», — заключил В. П. Семен-

---

[4] *Афанасьев А. Н.* Русские сатирические журналы 1769—1774 годов: Эпизод из истории русской литературы XVIII века. 2-е изд. Казань, [1921]. С. 17—18.

[5] В том числе в самой обстоятельной монографии последних десятилетий о Н. И. Новикове. См.: *Макогоненко Г. П.* Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века. М.; Л., 1951. С. 141.

[6] *Майков Л. Н.* Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий. СПб., 1889. С. 402—403. Основанием для атрибуции послужило сравнение этих материалов, метивших в В. П. Петрова и В. И. Лукина, со статьями об этих писателях в «Опыте исторического словаря о российских писателях» Н. И. Новикова.

ников, подытоживая наблюдения, которыми была обоснована эта предложенная атрибуция (Сем. С. 36).

Аргументация В. П. Семенникова сводилась к следующим пунктам. Эмин был профессиональным писателем, хорошо начитанным в западноевропейской литературе (как явствует из его трудов и отзыва о нем Новикова) и очень плодовитым, а потому способным вести одновременно два журнала. Он состоял в хороших, вероятно дружеских, отношениях с издателем «Трутня», и под этим углом зрения идейная близость двух журналов становится одним из сильных доводов в пользу атрибуции ему «Смеси», в которой к тому же было помещено рекламное объявление о его «Российской истории» (Смесь. Л. 38. С. 304) и напечатано с его сопроводительной заметкой письмо В. М. о корыстолюбивом священнике, присланное в «Адскую почту» (Смесь. Л. 17. С. 129—131). Отдельные высказывания издателя «Смеси» о сатире (Смесь. Л. 15. С. 114) перекликаются с декларациями Эмина в «Адской почте» и с интерпретацией его взглядов по этому вопросу в полемических выпадах по его адресу Сумарокова и Чулкова (Сем. С. 36). Наконец, задетые «Смесью» писатели — Чулков и В. П. Петров — в своих ответных сатирах и заявлениях единодушно указывали намеками на Эмина как на автора острых критических о них замечаний и отзывов, появлявшихся на ее страницах (Сем. С. 29—34).

При первом рассмотрении эти доводы произвели впечатление веских и доказательных. «Точка зрения В. П. Семенникова с 1914 г. не оспаривалась в науке», — было констатировано через два с половиной десятилетия (Гук. С. 252). Еще восемью годами позже А. В. Западов категорически утверждал, что в 1769 г. Эмин издавал одновременно еженедельную «Смесь» и ежемесячную «Адскую почту»,[7] а в авторитетном вузовском учебнике того же времени говорилось, что В. П. Семенников «довольно убедительно обосновал издание „Смеси“ Ф. А. Эминым» (Благ. С. 284).

Между тем постепенно стали накапливаться контраргументы. С ними выступил П. Н. Берков. Первоначально в небольшой заметке им был оспорен сделанный Р. М. Тонковой на основании документов Архива Академии наук вывод, согласно которому предполагавшийся в 1771 г. к изданию журнал «Демокрит» был заменен журналом «Трудолюбивый муравей», названным в одном рапорте фактора А. Лыкова «смесью» в значении «еженедельное издание» (Тонк. С. 393—397). Указав на несогласованность документов между собой при таком их толковании, П. Н. Берков предположил, что лист с осьмушкою (18 страниц) несостоявшегося «Демокрита» был включен во «второе тиснение» (т. е. присоединен к остававшимся нераспроданными комплектам) «Смеси», новый титульный лист которой обещал «многие прибавления».[8] Из этого

[7] История русской литературы. М.; Л., 1947. Т. 4. С. 257.

[8] Этими отнюдь не многими прибавлениями были стихотворный перевод героиды «Письмо Каина к Мегале» французского поэта Жана-Пьера Костара (Costard, 1742—1814) и стихотворение «Несчастный».

следовало, что за «вторым тиснением» стоял некто, имевший к нему творческое отношение; и логично было заключить, что им был «литературный издатель „Смеси“, какой-то современный писатель, а не умерший в 1770 г. Ф. А. Эмин» (Берк. 1945. С. 38—40). Позднее к этому добавились и другие возражения (Берк. 1950. С. 67—68; Берк. 1952. С. 246). «Адская почта», безусловно издававшаяся Эминым, была гораздо умереннее и осторожнее «Смеси» «в постановке и решении кардинальных вопросов той эпохи». Не упомянута «Смесь» в «Опыте исторического словаря о российских писателях» Новикова в подробном перечне сочинений Эмина, в то время как «Адская почта» там значится. Если принять гипотезу В. П. Семенникова, то не поддается объяснению тот факт, что свое письмо по поводу нападок Чулкова (ИТ. № 28) на «Всякую всячину», «Трутень» и «Адскую почту» Эмин передал в журнал Новикова (Тр. 1769. № 14. С. 97—98), а не напечатал в «Смеси». Противоречит гипотезе разное написание одинаковых слов в «Адской почте» («женьщина», «чувство», «чувствую» и др.) и «Смеси» («женщина», «чювство», «чювствую» и др.). Оставался тем не менее весьма важный аргумент, который один уравновешивал и, может быть, даже перевешивал все собранные опровергающие доводы, а именно убеждение Чулкова и Петрова в том, что их «обидчиком» в «Смеси» был Эмин. В связи с этим П. Н. Берков высказал предположение, что подлинному издателю, тщательно сохранявшему свое инкогнито (свидетельством чему — его анонимное, выполненное писарскою рукою прошение в Академию наук о печатании журнала), было выгодно поддерживать сложившееся мнение (Берк. 1952. С. 247).

Вывод П. Н. Беркова об ошибочности гипотезы В. П. Семенникова [9] можно в настоящее время подкрепить, уточнив некоторые из его наблюдений и дополнив их рядом новых, выявленных в результате дальнейших разысканий.

Соображение о том, что «вторым тиснением» «Смесь» выпустил ее первоначальный издатель и что, следовательно, им не был Эмин, еще годом ранее скончавшийся, не представляется, в том виде как оно было подано П. Н. Берковым, до конца убедительным, поскольку не было найдено объяснения расхождениям сведений в документах и тем самым осталось недоказанным, что к «Смеси» был присоединен материал, предназначавшийся изначально для «Демокрита» (а ряд фактов, не замеченных П. Н. Берковым, не согласуется с этим объяснением).[10] Однако в основе

---

[9] С оговоркою, что В. П. Семенников «не столько был неправ, сколько доверчив в восприятии тех немногих данных, какие сохранила об издателе „Смеси“ литература 1770-х годов» (Берк. 1952. С. 246).

[10] Прошение купца Арефия Круглова о печатании 200 экземпляров «по приложенному <. . .> оригиналу в книгу С м е с ь на один первый лист» датировано 19 апреля 1771 г.; расчет, сделанный фактором А. Лыковым на обороте, подписан тем же числом, причем в «оригинал» входил уже титульный лист второго издания, так как А. Лыков повторил из него формулировку («Приложенного при сем собрания разных философских и критических сочинений

своей рассуждение П. Н. Беркова было правильным. Имело или нет дополнение к «Смеси» какую-нибудь связь с «Демокритом» и каким бы оно ни было скромным, купец А. Круглов, разумеется, не переводил и не сочинял его, а от кого-то получил, и естественно предположить, что этим лицом был издатель журнала. Во всяком случае в «Смеси» было напечатано много стихотворных переводов с французского языка, принадлежавших, по-видимому, самому издателю, а также некоторое количество, очевидно, его же оригинальных стихотворений, так что по своему характеру дополнения вполне согласуются с самим журналом. Кроме того, в оглавлении, приложенном ко «второму тиснению», было раскрыто авторство двух переводных диалогов: «Разговора Демокрита с Гераклитом» и «Разговора философа пирронической секты с его соседом» (см.: Приложение, № 7—8), — что мог сделать, вероятнее всего, именно тот, кто их переводил. Однако здесь возникает неожиданное обстоятельство, сильно колеблющее уже, казалось бы, подготовленный вывод: в оглавлении автором обоих сочинений назван Ж.-А.-С. Формей, в то время как им был Фенелон. Можно найти различные правдоподобные объяснения и в том случае, если предположить виновником ошибки самого издателя «Смеси», которому могла, например, изменить память, и если отнести ляпсус на счет другого лица (оно, впрочем, по логике вещей должно было бы осторожнее раскрывать авторство анонимных статей, нежели сам их переводивший). В конечном итоге важно именно то, что нельзя исключить ошибку со стороны издателя и тем самым его участие в перепечатке. Таким образом, хотя при более тщательном анализе первый тезис П. Н. Беркова против гипотезы В. П. Семенникова не получает безусловного подтверждения, все же появляются некоторые косвенные свидетельства в его пользу.

Существенно усиливается и тот пункт возражений П. Н. Беркова, который касается молчания о «Смеси» в «Опыте историче-

---

под именем Смесь. . .»); решение Комиссии Академии наук состоялось 22 апреля (№ 235). Прошение купца Михаила Седельникова о печатании 300 экземпляров журнала «Демокрит» было подано раньше (решение Комиссии № 179 от 4 апреля 1771 г.), но печатание осуществилось позднее. Из документов типографии за июнь 1771 г. следует, что к этому времени было напечатано 300 экземпляров двух листов с осьмушкою «Демокрита», причем, согласно рапорту А. Лыкова от 23 сентября 1771 г., этот объем сложился из листа с осьмушкою самого журнала, переименованного по авторскому желанию в «Смесь», и одного листа «Росписи». Разные заказчики, разные даты, разные тиражи и отсутствие в известных экземплярах «Смеси» какой-либо росписи не позволяют согласиться, что речь идет об одном и том же издании. К тому же первый номер «Трудолюбивого муравья» печатался тиражом 500 экземпляров и к объявлению о выходе № 1—3 была приложена роспись К. В. Миллера всего на двух страницах. (См.: Сем. С. 28—29; Тонк. С. 394—396; СК. Т. 4. С. 197, № 247). Итак, вероятнее всего были три разных издания, и одно из них («Демокрит») не состоялось. Из напечатанного листа с осьмушкою для «второго тиснения» «Смеси» осьмушку составлял титульный лист, а на 16 страницах были напечатаны «Письмо Каина», «Несчастный» и оглавление «Смеси», т. е. оглавление было изначально соединено с дополнениями и, следовательно, эти последние предназначались именно для этого издания. В оглавление включены оба дополнения, так что других, видимо, и не предполагалось.

ского словаря», так как не упоминается она и в биографии, приложенной ко второму изданию «Пути ко спасению» (СПб., 1781). Автор «Краткого описания жизни сочинителя сея книги» был, как создается впечатление, хорошо информированным знакомым покойного писателя,[11] так что его молчание о «Смеси» вряд ли было вызвано случайной забывчивостью или тем, что он опирался на «Опыт исторического словаря».

В «Кратком описании жизни. . .» приведено между прочим посвященное Эмину стихотворение из «Опыта исторического словаря» и, кроме того, содержится любопытное и чрезвычайно ценное указание, на которое до сих пор лишь единожды обратили внимание, не дав ему должной оценки: [12] «Другие стихи на его [Эмина] кончину, сочиненные С<екретарем> В. Г. Рубаном, находятся в еженедельнике 1770 года».[13] Речь идет, без сомнения, о напечатанных в «Трутне» «Стихах на смерть Федора Александровича Эмина, Российской истории писателя» (Тр. 1770. № 16. С. 241—242). Но коль скоро Рубан, как явствует из этого стихотворения, был другом или по крайней мере доброжелателем Эмина, то со стороны последнего маловероятны резкие и злые на него нападки, с которыми несколько раз выступила «Смесь», насмехаясь над ним как над бездарным, никудышным поэтом и журналистом (Смесь. Л. 12. С. 91, 96; Л. 17. С. 136). Попутно следует обратить внимание на то, что в отличие от издателя «Смеси» Новиков не допустил в «Трутне» ни единой насмешки над Рубаном и поместил рекламное объявление о переведенном последним «Каноне пасхи» (Тр. 1770. № 10. С. 220).

Касаясь сопоставления позиции «Смеси» и «Адской почты» в идейной борьбе 1769 г., нельзя не признать убедительной точку зрения П. Н. Беркова, опирающуюся на оценку всего содержания журналов, в то время как В. П. Семенников сравнил мнения только по одному — пусть даже очень важному — вопросу и оперировал совпадениями лишь на уровне самых общих высказываний, отражавших общепросветительскую точку зрения.

Небезынтересное подкрепление аргументации П. Н. Беркова дают материалы, заимствованные издателем «Смеси» и Эминым в том или ином виде из произведений западноевропейской литературы. Хотя в течение полугода журналы существовали бок

---

[11] В последнем исследовании, посвященном критическому анализу различных версий биографии Ф. А. Эмина, утверждается (без указания источника сведений), что «Краткое описание. . .» было составлено петербургским купцом С. Л. Копниным, который «воспользовался, по-видимому, семейными преданиями или собственными воспоминаниями о рассказах Эмина, нехитрым образом дополнив ими сведения Новикова». С. Л. Копнин издал «Путь спасения» на основании приобретенного у Эмина права на его сочинения. См.: Н. И. Новиков и общественно-литературное движение его времени. Л., 1976. С. 198, 195. (XVIII век. Сб. 11).

[12] История и историки: Историографический ежегодник. 1972. М., 1973. С. 275, примеч. 16.

[13] *Эмин Ф. А.* Путь ко спасению. . . Напечатано 2-м тиснением. СПб., 1781. С. [5] второй, ненум. пагинации.

о бок, ни одна выявленная на сегодняшний день книга, из которых были в «Смеси» напечатаны переводы, никак, даже ни единой фразой, не фигурировала в «Адской почте» — и наоборот: из французских памфлетов, составивших основной источник «Адской почты», ни одна строка не перешла в «Смесь». Теоретически это вполне объяснимо и возможно, если бы даже оба журнала издавало одно лицо; тем не менее маловероятно для того случая, если бы им был Эмин, поскольку не согласуется с характерной для него манерой компиляции, как она раскрылась при сличении «Адской почты» с ее источниками.[14] Вообще, хотя приемы обращения с заимствовавшимся для «Смеси» и «Адской почты» из иностранных книг и журналов материалом еще предстоит исследовать во всей полноте, сейчас, на основании накопившихся наблюдений, можно утверждать, что при большом сходстве они, однако, существенно отличались у издателя «Смеси» и у Эмина. Первый, так же как и второй, обращался вольно с иностранным текстом, внося в него различные изменения, в том числе актуализируя его конкретными злободневными намеками на факты текущей русской жизни, однако в основном его обработки оставляют впечатление большей верности оригиналу, нежели свободные, ничем не стесненные вариации и компиляции Эмина.

Среди франкоязычных источников «Смеси» два — один бесспорный и один предполагаемый — остались неизвестными автору брошюры о «Смеси» В. Ф. Солнцеву. Это были пособия для изучающих французский язык, составленные педагогом Давидом-Этьеном Шоффеном (Choffin, 1703—1773): из его «Новой грамматики для дам» был переведен фрагмент, получивший в «Смеси» заглавие «Праздные люди», и, может быть, стихотворение «Сон г. Патрикса» (см. Приложение. № 5—6); из трехтомной хрестоматии небольших текстов различного содержания были, по всей видимости, извлечены оба диалога Фенелона и «Басня» («Крестьянская жена для мужа своего. . .») (см. Приложение. № 7—9). И учебник, и хрестоматия Шоффена быстро проникли в Россию,[15] где ими пользовались в учебных целях до конца века [16] и, наверное, даже позже. О популярности и устойчивом обращении этих книг в русской среде свидетельствуют переводы из них, печатавшиеся в журналах и отдельными изданиями (см. Приложение). Почти все переводчики были в юном возрасте, и некото-

---

[14] *Рак В. Д.* «Адская почта» и ее французский источник // XVIII век. Л., 1986. Сб. 15. С. 169—197.

[15] Они значились в росписях Санктпетербургской академической лавки 1752 и 1756 гг. и в то же время продавались в Москве. См.: *Копанев Н. А.* Распространение французской книги в Москве в середине XVIII в. // Французская книга в России в XVIII в.: Очерки истории. Л., 1986. С. 124 (№ 146, 148, 149).

[16] В феврале 1790 г. для нижнего французского класса Академической гимназии было приобретено в Сухопутном шляхетном корпусе 10 экземпляров «Amusemens philologiques» в 3 частях. — Архив АН СССР, ф. 3, оп. 1, д. 383, л. 202—204.

рые больше никогда в печати не выступали; [17] это дает основание полагать, что их публикации были плодом занятий французским языком. Типологически поэтому можно предположить, что издатель «Смеси» обратился первоначально к «Грамматике» и «Филологическим развлечениям» Шоффена по тем же причинам: то ли они оставались у него от того времени, когда он учился французскому языку; то ли он взял их, чтобы в нем усовершенствоваться; то ли сам преподавал этот предмет; во всяком случае, это не были у него, наверное, случайные книги, так как между первыми заимствованиями из них (см. Приложение. № 5—6) и следующими (см. Приложение. № 7—9) прошло значительное время. Ни одна из этих ситуаций не увязывается с тем, что известно об Эмине, а вместе с тем и о Новикове. Понимая всю шаткость высказанного предположения, нельзя, однако, до тех пор, пока не будет доказано обратное, исключать его из цепи возражений против атрибуции «Смеси» названным журналистам.

Вывод П. Н. Беркова остается, таким образом, по сие время неопровергнутым, и более того — в его подкрепление собираются кое-какие факты, между тем как в подтверждение гипотезы В. П. Семенникова ничего дополнительного не было найдено. В новейшей работе, автор которой придерживается мнения, что «Смесь» издавал Новиков с помощью Эмина, последнему отведена уже вторичная роль и его участие обосновывается тремя аргументами, сформулированными В. П. Семенниковым: публикацией в «Смеси» письма, присланного в «Адскую почту», и рекламного объявления о «Российской истории», а также тем, что Эмин владел несколькими языками (Пух. С. 160). Выделенные из всей системы рассуждений, в которой эти доводы первоначально состояли и находили поддержку, они потеряли свою силу: первые два могут в этом извлечении служить свидетельством лишь знакомства издателя «Смеси» с Эминым и хороших между ними отношений.

Разрушив построения В. П. Семенникова, П. Н. Берков выдвинул свою гипотезу, назвав вероятным издателем «Смеси»

---

[17] Трое состояли в Преображенском полку в чинах, которые давались приписанным недорослям и при поступлении на действительную службу: фуриер, затем сержант Николай Хлопов, подпрапорщик Петр Калязин и Капитон Бочарников, бывший в 1779 г. подпрапорщиком (его перевод вышел в 1783 г.). У двоих точно определяется возраст, в котором они выпустили переводы: четырнадцатилетний Андрей Стахиев и двенадцатилетняя Елизавета Баскакова. В одном номере с переводом последней (см. Приложение. № 20) были напечатаны переводы Натальи Кологривовой (см. Приложение. № 21—22), которая, как можно из того заключить, была, наверное, ее подругой и сверстницей. Неизвестен возраст Екима Лукашевича и Корнилия Нилова, но они больше ничего не напечатали. Согласно расшифровке в «Указателе имен» к СК (Т. 5. С. 186) «Краткое описание славных женщин Ветхого завета» (см. Приложение. № 12) перевел в пожилом возрасте Авраам Иванович Романус (род. 1724). Если атрибуция не ошибочна и переводчиком не был, например, его внук, которого могли назвать в честь деда (на титульном листе обозначено: «Переведенное. . . Аврамом Романусом»), то это единственный, кажется, случай, когда извлечение из «Грамматики» Шоффена совершенно явно не связано с изучением французского языка.

Л. И. Сичкарева (Берк. 1945. С. 40), для чего стала основанием расшифровка имени Стозмей,[18] под которым «Трутень» и «Смесь» неоднократно высмеивали кого-то из общих своих противников. Отправною точкою была следующая эпиграмма (Смесь. Л. 20. С. 160):

Я думал, что Стозмей не знает ничего,
И за глупца считали мы его,
Затем что разум в нем не всякой скоро сыщет;
Однако я нашел, что хорошо он свищет.

В последней строке П. Н. Берков усмотрел намек на П. С. Свистунова и, разобрав также другие выпады в журналах по адресу Стозмея, пришел к выводу о том, что создаваемое ими совокупное представление об осмеиваемом лице соответствует облику предполагаемого объекта сатиры — «переводчика, театрала и крупного бюрократа». Смысловое имя было П. С. Свистунову подобрано, по догадке ученого, «для обозначения того, что он „свистит" как сто змей». Дальнейшей цепочкой фактов устанавливалась связь между П. С. Свистуновым, занимавшим в то время должность заведующего учебной частью в Сухопутном шляхетном корпусе, и Л. И. Сичкаревым, преподававшим в этом учебном заведении, но в конце 1768 г. перешедшим на службу в Медицинскую коллегию. В опубликованном «Всякой всячиной» (1769. № 8. 24 февраля. Статья 19) письме, в котором некто, подписавшийся «Ваш усердный слуга Смесь», предлагал журналу свое сотрудничество, П. Н. Берков обратил внимание на фразы, допускающие истолкование в том смысле, что это лицо было вынуждено оставить службу из-за каких-то разногласий с глупым начальником, возомнившим себя всезнающим и ни с кем не желавшим советоваться. В связь с этим публичным заявлением исследователь поставил то место из письма № 100 «От Кривого к Хромоногому» в ноябрьском выпуске «Адской почты», где говорилось, что Правдолюбов, высмеявший в «Смеси» (Л. 28) Стозмея и его любовницу, «извинения достоин за свою повседневную почти с ним ссору» как человек, терпевший от него «утеснения» (АП. XI. 315). Выражение «повседневная ссора» может, по мнению П. Н. Беркова, быть истолковано лишь однозначно — как указание на то, что Правдолюбов «Смеси» имел ежедневные столкновения с П. С. Свистуновым; из чего логически вытекает, что он служил под началом последнего в Сухопутном шляхетном корпусе, т. е. был не кем иным, как Л. И. Сичкаревым, который (единственный из литераторов тех лет) покинул это заведение незадолго до появления «Смеси».

Доводы П. Н. Беркова были признаны достаточно убедительными, хотя и не вполне доказательными. Со времени их опублико-

[18] Аргументация расшифровки первоначально была приведена в следующих работах: Берк. 1950. С. 59—60; Берк. 1951. С. 530 (примеч. 84). Гипотеза о Л. И. Сичкареве подробно сформулирована в кн.: Берк. 1952. С. 218—219, 247—249.

вания Сичкарев называется во всех авторитетных пособиях по истории русской журналистики XVIII в. и библиографических справочниках в качестве наиболее вероятного издателя «Смеси». Однако решенным окончательно вопрос не считается.[19]

Действительно, в изящном сплетении тонких наблюдений обнаруживается при внимательном рассмотрении много слабых мест.

Начать с того, что ни один из намеков и выпадов сатирических журналов по адресу Стозмея не был конкретизирован соотнесением с какими-либо подробностями биографии Свистунова, и потому сопоставление литературного персонажа с его предполагаемым прототипом не вышло за уровень схематически, в нескольких словах очерченной характеристики последнего, оставляющей богатые возможности для всякого рода произвольного «додумывания». Толкование последней строки эпиграммы, каким бы правдоподобным оно ни выглядело, сильно теряет от этого в своей убедительности.

Далее, справедливо было замечено, что ссора между Свистуновым и Сичкаревым не подтверждена никакими фактами или свидетельствами (Пух. С. 160).

Как тоже указывалось в противовес выводам П. Н. Беркова, в его гипотезе не получило объяснения то важное обстоятельство, что в «Опыте исторического словаря» Новиков не упомянул «Смесь» в числе литературных трудов Сичкарева (Пух. С. 161). Если умолчание о ней в статье того же словаря, посвященной Эмину, выдвинуто П. Н. Берковым в качестве одного из веских аргументов против предложенной В. П. Семенниковым атрибуции, то в равной степени этот аргумент должен действовать и против Сичкарева.

Непонятным остается также, почему, будучи столь жестоко обижен Свистуновым, что даже глухо на него пожаловался «Всякой всячине», Сичкарев (а именно он должен быть признан автором письма за подписью «Смесь», коль скоро это письмо включено в цепь доказательств как принадлежавшее будущему издателю журнала под тем же названием) в течение 19 недель ни разу не задел своего притеснителя и обрушился на него лишь после выступления «Трутня». Если принять во внимание резкость нападок

---

[19] СК. Т. 4. С. 190 (№ 237); Русская периодическая печать (1702—1894): Справочник / Под ред. А. Г. Дементьева, А. В. Западова, М. С. Черепахова. М., 1959. С. 37—38; *Западов А. В.* Русская журналистика XVIII века. М., 1964. С. 86; История русской журналистики XVIII—XIX веков / Под ред. А. В. Западова. 3-е изд., испр. М., 1973. С. 43. Эта точка зрения принята и в работах по истории русской литературы и культуры XVIII в., например: *Штранге М. М.* Демократическая интеллигенция России в XVIII веке. М., 1965. С. 100; История русской литературы: В 4 т. Л., 1980. Т. 1. С. 577. Тем не менее в новейших вузовских курсах употребляется осторожная формулировка, согласно которой издатель «Смеси» «точно не установлен»: *Татаринова Л. Е.* История русской литературы и журналистики XVIII века. М., 1982. С. 176; *Федоров В. И.* История русской литературы XVIII века. М., 1982. С. 139.

«Смеси» на Стозмея, то первоначальное длительное молчание представляется в свете разбираемой гипотезы очень странным.

Не согласуется с фактами биографии Сичкарева родословная автора письма, которой он объясняет выбор подписи: «Я иначе не мог себя назвать, понеже прапрадед мой был венециянин, потомки его голландцы, мать моя грузинка, а я русак» (ВсВ. № 8. С. 55). Зачем бы понадобился выходцу из небогатых украинских казаков столь замысловатый маскарад? Вопрос этот не был даже поставлен, хотя без ответа на него неясна связь между подписью и журналом, название которого отражало его содержание. Восполняя пробел в рассуждениях П. Н. Беркова, можно было бы предположить, что «родословная» в завуалированной форме сообщала о характере подготовленных для публикации и предложенных «Всякой всячине» материалов, поскольку среди источников «Смеси» были периодические издания на французском языке голландского журналиста Юста ван Эффена и сочинения французского писателя Луи Антуана Караччоли, чья итальянская (строго говоря, неаполитанская) фамилия могла послужить основанием назвать его «венециянином». Однако в этой системе намеков не находится места упоминанию матери-грузинки.

Отождествляя автора письма с издателем «Смеси», П. Н. Берков никак не коснулся возможной причины, по которой не состоялось участие Сичкарева во «Всякой всячине» и тот основал свой собственный журнал. Между тем никаких видимых препятствий его сотрудничеству не выявляется. Сам факт публикации письма можно понять как доброжелательный жест. К тому же как раз в то самое, по всей вероятности, время Сичкарев работал над переводом книги Т. Димсдейла «Новый способ прививать оспу» (СПб., 1770; СК. 1898), для которой предполагаемый редактор «Всякой всячины» Г. В. Козицкий написал несколько приложений. Оба литератора поддерживали, очевидно, между собою какие-то отношения, вряд ли совместимые с позицией «Смеси», категорически отмежевавшейся с самого начала от «Всякой всячины», отрицавшей какое-либо родство с нею (Смесь. Л. 4. С. 32) и вступившей позднее в спор с нею на стороне Новикова. С полным основанием было в полемике с П. Н. Берковым высказано возражение, что «вряд ли Сичкарев стал бы помещать резчайшие выступления против своего соавтора по переводу» (Пух. С. 161).[20] Этот контраргумент выглядит тем более весомым, что перевод «Нового способа» осуществлялся Сичкаревым в соответствии с выбором самой Екатерины II [21] и был ей посвящен.

Не убеждает и воссозданная предположительно динамика отношений Новикова со Свистуновым и Сичкаревым. Проследив

---

[20] Роль Козицкого в «Новом способе прививать оспу» указана В. В. Пуховым неточно, однако существа мысли это не меняет.

[21] *Семенников В. П.* Собрание, старающееся о переводе иностранных книг, учрежденное Екатериной II. 1768—1783 гг.: Историко-литературное исследование. СПб., 1913. С. 37—38.

хронологию нападок на Стозмея в «Трутне» и «Смеси», которые в последней продолжались и позже того, как новиковский журнал их прекратил, П. И. Берков, опираясь также на сдержанное по тону и выражению письмо № 100 «Адской почты», заключил, что державшиеся хорошего мнения о Стозмее друзья Новикова (в том числе, вероятно, Эмин) сумели его переубедить и примирить с противником. Следствием этого было, по догадке исследователя, охлаждение издателя «Трутня» к продолжавшему полемику Сичкареву, которое Новиков сумел якобы выразить своеобразным приемом в «Опыте исторического словаря», поместив статью о Сичкареве в нарушение алфавита сразу после статьи о Свистунове и написав ее, по контрасту с предшествующей, в виде очень сухой и краткой заметки (Берк. 1952. С. 250). В. В. Пухов уточнил, что последний раз Стозмей упоминается в «Трутне» не 18 августа (№ 17), как ошибочно указал П. Н. Берков, а 29 сентября (№ 23; Пух. С. 160) и временной разрыв со «Смесью», где тема Стозмея завершилась 7 ноября (Л. 33), оказывается не столь уж значительным. К этому следует добавить, что в «Трутне» от 22 декабря (№ 35) содержится выпад против Перекрасы, фигурировавшей ранее в качестве любовницы Стозмея и его подстрекательницы. Задеть лишний раз Перекрасу (пусть даже без конкретных намеков, а как типизированный образ) значило, без сомнения, еще раз напомнить о Стозмее и тем самым нанести ему лишний удар. Поскольку, таким образом, последнюю сатирическую стрелу пустил не издатель «Смеси», а Новиков, то все приведенные выше рассуждения об изменении отношений Новикова со Свистуновым и Сичкаревым теряют силу и для их опровержения не требуются дополнительные аргументы. Однако для всестороннего рассмотрения вопроса имеет смысл их здесь также привести.

Стозмей был принципиальным идейным и политическим противником Новикова, грозившим ему репрессиями: «Стозмей, из всей мочи надседаяся, кричит, что Вы обижаете целой корпус дворянства и что Ваши ругательства скоро уймутся», — сообщалось в письме некоего Д. К., посланном сначала в «Трутень», но опубликованном в «Смеси» (Л. 20. С. 154). Неужели ради примирения с этим злобным хулителем и, как вырисовывается его облик, реакционером Новиков изменил бы единомышленнику, который все полгода решительно его поддерживал? Если же он все же рассердился на него до такой степени, что и через три года («Опыт» вышел в 1772 г.) выражал свое недовольство, то почему по свежим следам, когда размолвка была, казалось, в разгаре, он напечатал в «Трутне» (1770. № 11—12. С. 223—225) материалы, переданные ему издателем «Смеси»?

После критического анализа собранных П. Н. Берковым косвенных свидетельств в поддержку своей гипотезы о Сичкареве трудно согласиться с мнением об их убедительности. К тому же краеугольный ее камень — интерпретация глагола «свищет» в последней строке эпиграммы — при проверке «на прочность» оказывается весьма шаткой и ненадежной опорой всего искусно воз-

двигнутого сооружения. Если следовать логике расшифровки этого сатирического четверостишия, то придется признать, что через 18 лет кто-то из противников Свистунова вспомнил эпиграмму и, взяв ее за образец, сочинил свою, очень близкую по содержанию:

ЕПИГРАММА. ЗНАНИЕ ОДНОГО БАРОНА

Я в заблуждении своем давно считал,
Что будто бы Барон сей ничего не знал.
Но наконец его открылося искусство:
Нашел я, что Барон свистит весьма не гнусно.[22]

Можно было бы, весьма вероятно, найти подходящую кандидатуру второго автора и даже нарисовать живописную картину чего-то вроде отголосков литературной полемики 1769 г. в радикальной журналистике конца 1780 г. Трудно было бы, правда, сколь-либо удовлетворительно объяснить, почему Свистунов назван бароном, если в действительности он этого титула не имел. Тем не менее все приобрело бы, может быть, вполне убедительную видимость; но подлинная разгадка совпадения четверостиший, отделенных одно от другого почти двумя десятилетиями, совершенно иная. Оба они представляют самостоятельный перевод эпиграммы французского поэта Жана-Ожье де Гомбо (Gombaud, ок. 1570—1666), которую передают точно, особенно более позднее:

SCIENCE D'UN CERTAIN BARON

J'ai crû longtemps en conscience,
Que ce Baron ne savoit rien;
Mais j'en découvre la science,
Et je trouve qu'il siffle bien.[23]

Пока, к сожалению, не установлен окончательно источник, по которому был выполнен перевод, напечатанный в «Смеси».[24] Однако и без этих данных становится очевидным, что отождествление Стозмея со Свистуновым на основании лишь глагола «свистеть» неправомерно, поскольку переводчик не ввел его от себя

---

[22] Лекарство от скуки и забот. 1787. Ч. 2, № 44, 28 апр. С. 143.

[23] *Gombauld J.-O.* Les epigrammes. Paris, 1657. P. 24 (*N* 33).

[24] Эта популярная эпиграмма была напечатана анонимно в хрестоматии Шоффена (Amus. T. 2. P. 275). Однако, если первый том и был в распоряжении издателя «Смеси», из этого еще не следует, что именно из этой антологии была переведена эпиграмма. Например, экземпляр мог быть некомплектным и второй том, где она содержится, отсутствовать. Но и при наличии второго тома переводчик мог иметь ее текст в какой-нибудь другой книге, которой и пользовался. Установление конкретного источника эпиграммы имеет отнюдь не отвлеченный и не праздный интерес, но необходимо, в частности, для того, чтобы выяснить, является ли переводной или оригинальной другая эпиграмма против Стозмея, предшествующая в «Смеси» разбираемой.

для актуализации на русской почве иностранного произведения, а только передал добросовестно французский текст. Можно, разумеется, возразить, что эпиграмма была намеренно подобрана так, чтобы ее перевод прозвучал намеком на Свистунова; но при отсутствии в портрете Стозмея каких-либо конкретных отражений реального лица, в котором подозревается его прототип, этот аргумент, сам по себе применительно к данному случаю надуманный (нужно ведь, чтобы во французской поэзии существовала столь идеально подходившая к частным реалиям русской жизни 1769 г. эпиграмма и чтобы она к тому же попала в поле зрения издателя «Смеси»), не имеет веса.

Метила ли французская эпиграмма в реальное лицо или в тип, она была рассчитана на то, чтобы уязвить самолюбие дворянина и осмеять сословную спесь, обнажив никчемность человека, чьим единственным «достоинством» является благородное происхождение. Таков контекст, в котором выступает глагол «siffler» французского подлинника; в подобном же контексте оказывается и его русский эквивалент. Едкая сатира на дворянское чванство была введена в журнал уже во втором листе переводом стихотворения «Сон г. Патрикса». Здесь она возникает безотносительно к какому-либо реальному лицу; но затем обретает конкретность в цитированной выше из письма Д. К. характеристике Стозмея как ревностного и фанатичного защитника интересов своего сословия. В этом преломлении она развивается далее двумя эпиграммами, заключающими номер, в котором напечатано письмо. В первой из них, открывающейся напоминанием о сословной принадлежности Стозмея, выставляются на осмеяние низкие свойства его души; во второй, давшей толчок опровергаемой гипотезе, — его общественная *никчемность и бесполезность*.

Именно этот смысл и передает глагол «свистеть», не подразумевая никакого иного.

Выяснение того, что эпиграмма была переводной, и сопоставление русского текста с подлинником прояснило истинное ее содержание и окончательно сняло толкование, из которого выросли хитроумные, любопытные, правдоподобные, но, как оказывается, чисто произвольные и неверные построения. Рассмотренный пример особенно поучителен потому, что именно при исследовании «Смеси» практически применяется сформулированный в 1950-е гг., получивший с тех пор повсеместное признание и принимаемый в настоящее время едва ли не за аксиому тезис о принципиальной допустимости и возможности игнорировать наличие в русской сатирической журналистике 1769—1774 гг. переводных материалов и рассматривать их как если бы они были полностью оригинальными сочинениями русских авторов.[25] Этот тезис, как известно, приобрел значение одной из основных методологических

[25] *Рычкова Г. П.* Некоторые жанры сатирической прозы в журнале «Смесь» // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1980. Вып. 4. С. 19—29.

концепций изучения литературного процесса XVIII в., в сильной степени расхолаживающей усилия по разысканию подлинников и источников переводных произведений.

Исходившее из толкования одного лишь слова во всех немалочисленных статьях и стихотворениях, где речь шла о Стозмее, отождествление этого персонажа со Свистуновым оставило практически без внимания многие детали сатирической атаки, не получившие в результате никакого осмысления в контексте журнальной полемики 1769 г. Между тем они, как представляется, несут важную информацию, которая, не будучи достаточной, чтобы точно назвать лицо, подразумевающееся под этим литературным прозвищем, все же указывает направление поисков.

Во вторник 21 июля 1769 г. в русской журналистике произошли одновременно два знаменательных события. В этот день вышел 28-й лист чулковского «И то и сьо»,[26] в котором было напечатано письмо некоего Д. П., содержавшее уничтожающую оценку «Всякой всячины» и «Трутня». Этой же датой обозначен 13-й лист новиковского «Трутня» с первым упоминанием Стозмея в письме за подписью N. N., присланном якобы из Москвы. Рассказывая о судье, вырвавшем пытками у невинного подрядчика признание в краже у него золотых часов, похищенных на самом деле его собственным племянником, корреспондент употребил следующее сатирическое сравнение: «Не столько любуется щеголиха новомодным и в долг сделанным платьем, в коем она в первый раз на гульбище под Девичий монастырь для пленения сердец поехала, не столько радуется господчик Стозмей, когда ему удастся сделать вред кому-нибудь из тех, коих он для глупой своей любовницы по пристрастию ненавидит, не столько восхищался Злорад при представлении гадко переведенной своей комедии, не столько веселится монах, когда случится ему светское что-нибудь сделать, как порадовался наш судья подрядчикову мнимому воровству» (Тр. 1769. № 13. С. 93). Краткая фраза, посвященная в этой тираде Стозмею, представляет собою зерно всех будущих насмешек над этим персонажем. Здесь подчеркивается его благородное происхождение («господчик») и определяется его главная черта, по которой он и получает смысловое прозвище: злость, побуждающая его причинять людям вред, испытывая от этого радость и удовлетворение. «Говорящее» имя только в том случае выполняет свою художественную функцию, если метафора воспринимается без труда и с первого же употребления. Поскольку свист не ассоциируется со змеями, то предложенное П. И. Берковым

---

[26] Эту дату, никак ее не обосновывая, называет Б. В. Томашевский (см.: Ирои-комическая поэма / Ред. и примеч. Б. Томашевского; Вступ. ст. В. А. Десницкого. Л., 1933. С. 716). Она подтверждается рекламным объявлением в «Санктпетербургских ведомостях» (1769. 21 июля. № 58), где впервые сообщалось о выходе 28-го листа «И то и сьо», а также 17-го листа «Смеси», причем расчетная дата последнего (журнал выходил без задержек) приходится именно на этот день.

толкование («свистит как сто змей») [27] не могло прийти на ум читателям этого номера «Трутня», в то время как образ человека злобного или жалящего, как сто змей, был здесь очерчен вполне отчетливо, хотя и контурно. Подобное восприятие подсказывалось и древней традицией отношения к змее как к врагу рода человеческого.[28] И если о свисте Стозмея будет говориться только единожды, а более это его «дарование» никак не обыгрывается, то злоба настойчиво преподносится как его отличительный признак. Автор опубликованного в «Смеси» письма, подписанного криптонимом Д. К., заявлял, что нападками на «Трутень» Стозмей показывает «злость своего сердца» (Смесь. Л. 20. С. 155); а в первой эпиграмме, напечатанной в том же номере, утверждалось, что он «и чести не хранит и злобствует на честных» (Смесь. Л. 20. С. 160). В 17-м листе «Трутня» (18 августа) Стозмей был представлен человеком, который «богат злостию сердца ко вреду ближних» (Тр. 1769. № 17. С. 108). Через полтора месяца (6 октября) Правдолюбов указывал в «Смеси» (Л. 28. С. 223), что «Стозмей всех злословит, старается всякому сделать зло», а на следующей неделе (13 октября) посвятил этой теме еще несколько строк в жанре «портрета»: «Стозмей, истребя все душевные добродетели, наполнился ужасною злобою. Он не знает человеколюбия и беспрестанно старается о пагубе ближнего. Не упускает ни малейшего случая, дабы сделать зло, и, сделав оное, сердечно радуется. Стозмей или будет повешен, или дойдет до великих почестей» (Смесь. Л. 29. С. 229).

Итак, не свист, а злость — отличительное свойство Стозмея. Но в журналистике 1769 г. фигурировал еще один злобный персонаж — Злорад. Ниже будет показано, что под этим именем были выведены разные реальные лица. На данном этапе рассуждений важно то, что среди них был Чулков и что один раз о Злораде говорится в сочетании со Стозмеем (Смесь. Л. 33. С. 261—262). Закономерно встает вопрос, случайно ли это соединение двух злобных людей, имеет ли оно целью только описать разновидности злости или же в нем отразилась какая-нибудь существовавшая между прототипами связь.

В этом плане приобретает интерес замечание из вымышленного письма некоей К. Б., якобы матери любовницы Стозмея. Отчаявшаяся вразумить свою дочь женщина обращается к издателю журнала с просьбою убедить Перекрасу, что «Стозмей, на которого она так много надеется, человек не очень много зна-

[27] Любопытно, что, приведя это объяснение в примечаниях к «Трутню» (Берк. 1951. С. 530), И. Н. Берков не повторил его в «Истории русской журналистики» (1952). Не значило ли это, что он от него отказался?

[28] Например, в диалоге Эразма Роттердамского «Дружество»: «Э ф о р и н. . . .Ты знаешь, что змеиный род полон неприязни к человеку?
И о а н н. Знаю, что между змеями и нами старинная и непримиримая вражда и что ей не будет конца, пока мы не забудем того злосчастного яблока». (*Эразм Роттердамский.* Разговоры запросто / Пер. с лат. С. Маркиша. М., 1969. С. 596).

чащий, что он теперь с великою прилежностью проматывается, что *начал уже сочинять письма для одного бедного журналиста*, а <. . .> ежели кто из господина идет в сочинители, то видно, что господство его занемогло опасною болезнию и что у него в кошельке антонов огонь» (Смесь. Л. 22. С. 175; курсив мой. — *В. Р.*). Когда вышел номер «Смеси» с этим письмом, в Петербурге кроме нее и «Трутня» издавались «Всякая всячина», «Адская почта», «И то и сьо». «Всякую всячину» было принято называть в полемике «бабкою» или «бабушкой»; «Адская почта» не печатала корреспонденций со стороны, а издатель «И то и сьо», представляя свое детище читателям, жаловался на бедность: «Сей лист или сие первое издание сочинял я три года с половиною и истратил для переписок на одну только бумагу все оставшееся мне после покойного отца моего имение, прибавил еще к тому годовое мне жалованье, однако и того не достало, так чтоб в последний раз переписать его набело, занял я листок у искреннего моего друга и сущего приятеля» (ИТ. № 1). За четыре недели до письма Д. П. издатель напомнил о своих стесненных обстоятельствах и с юмором поведал, как он чинил доставшийся ему в наследство кафтан, который его отец сшил годами пятьюдесятью ранее. Этот рассказ служит прелюдией к изложению неодобрительных суждений портного, трудившегося над кафтаном, о текущих периодических изданиях, которые, по его мнению, оказались хуже прежних «Ежемесячных сочинений» и «Трудолюбивой пчелы» (ИТ. № 24). В ответной статье «Смесь» (Л. 15. С. 114) заявила: «Мне жалок этот бедняк, ему должно скорее умереть, ибо по его системе и все будущее хуже будет нынешнего». Из контекста статьи явствует, что ее автор воспринял портного как вымышленное лицо, чьими устами высказал свое credo сам издатель «И то и сьо»,[29] к которому, следовательно, и относится определение «бедняк», обыгрывающее придуманную им легенду.[30] Оно же и в том же значении употреблено в письме № 70 «Адской почты», в котором предположительно Эмин отвечал на нападки Чулкова: [31] «Иные говорили, что Злоумова заставила так ругать некоторая женщина, мужа своего оставившая и теперь любовным промыслом забавляющаяся и которая сего бедняка крепко держит в своем покровительстве. Естьли то правда, то каждый рассудить может, у такого и такую жизнь ведущего Мецената какой может быть писец? Такие люди за 20 копеек весь свет выругать готовы. . .» (АП. X. 235). Примечательно, что покровительница Злоумова, как она здесь охарак-

---

[29] Так же понят портной и в письме, напечатанном в «Трутне» (1769. № 12. С. 90).

[30] В указанном выше письме, напечатанном в «Трутне», тоже содержался намек на бедность издателя «И то и сьо»: «Ваши журналы сделали то, что его листочков почти никто не покупает, а ему на новый разжив деньги надобны» (Тр. 1769. № 12. С. 90).

[31] Словарь русских писателей XVIII века: Принципы составления; Образцы статей; Словник / Сост. В. П. Степанов. Л., 1975. С. 24.

теризована, очень напоминает — в этом будет возможность убедиться далее — Перекрасу, любовницу Стозмея.

Итак, бедный журналист, для которого, по словам «Смеси», начал сочинять письма Стозмей, — это, вполне вероятно. Чулков, а Стозмей, следовательно, не кто иной как Д. П. Если этот вывод верен, то справедлив он в отношении Стозмея, о котором идет речь в письме К. Б.; однако для того, чтобы распространить это отождествление на другие упоминания Стозмея в «Трутне» и в «Смеси», необходимы дополнительные аргументы. Дело в том, что в сатирической журналистике 1769 г. неоднократны случаи, когда под одним смысловым именем печатались в разных журналах или даже в разных номерах одного журнала портретные очерки-характеристики, не имевшие между собою убедительной внутренней связи, которая дала бы основание видеть в них изображение разных сторон одного лица; имя выступало как обозначение определенного типа, характеристика описывала вид.[32] Иногда одно и то же имя в контексте различных намеков подразумевало разных лиц, как, например, Злорад—Чулков в эпиграмме «Смеси» от 30 июня [33] и Злорад—Лукин в цитированном ранее фрагменте из 13-го листа «Трутня».[34] Поэтому относящимися к одному и тому же лицу можно признать с достаточной степенью уверенности лишь те характеристики, через которые проходят какие-нибудь общие детали, индивидуализирующие образ. Так, характеристика Злорада в последнем листе «Трутня» за 1769 г. (№ 36. С. 176) начинается с упоминания о том, что этот читатель журнала всегда ругает издателя за то, что тот «будто <. . .> однажды списал его портрет и напечатал». Но со Злорадом — Чулковым или Лукиным она не соотносима, ибо те изображены как писатели, а здесь говорится о человеке, который «груб, жесток, горд пред своими

---

[32] Таковы три характеристики Надмена: Смесь. [20 окт.]. Л. 30. С. 237—238; Тр. 1769. 3 ноября. № 28. С. 147—148; Смесь. [29 дек.]. Л. 40. С. 318. Не имеют внутренней связи два портрета под именем Весьсед в «Смеси» (Л. 26. С. 201—203; Л. 40. С. 313), они даже заимствованы из разных французских источников. Также из разных источников взяты две характеристики под именем Пышен (Смесь. Л. 29. С. 230; Л. 33. С. 260—261). История Себелюба в 16-м листе «Трутня» была замаскированным рассказом об отставке Г. Г. Орлова (Берк. 1951. С. 536, примеч. 118); но никакого намека на бывшего фаворита не нес Себялюб, описанный в «Смеси» (Л. 33. С. 257—258).

[33] «Злорад творцов живых поносит, / А мертвых до небес возносит: / Но, чтоб ту честь иметь, / Никто не хочет умереть» (Смесь. Л. 14. С. 111). Неделей раньше (23 июня) вышел 24-й лист «И то и сьо» с критическими замечаниями «портного». Злорад фигурирует в «Смеси» еще дважды. Один из этих портретов, о котором уже говорилось, может быть с известной степенью уверенности отнесен также к Чулкову, поскольку в этом случае о Злораде идет речь в сочетании со Стозмеем (Смесь. Л. 33. С. 261—262). Правда, здесь упоминается, что Злорад «ныне женился на своей любовнице <. . .> низкого состояния», а брак Чулкова с А. Г. Баталиной состоялся в 1765 г. Другой портрет (Смесь. Л. 30. С. 237—238) не содержит деталей, в которых можно было бы видеть какой-нибудь реальный намек; но он находится в соседстве с портретом Перекрасы, любовницы Стозмея, а потому нельзя исключать вероятность, что и в этом случае имелся в виду Чулков.

[34] Расшифровку намека см.: Берк. 1951. С. 530—531, примеч. 85.

подчиненными и низок до подлости пред начальниками своими», а также в своей злобе «называет скотами помещиков, кои слуг своих и крестьян не считают скотами, но поступают с ними со всяким милосердием и кротостию». Последняя черта, изобличающая в нем фанатичного крепостника, позволяет считать эту зарисовку продолжением портрета Злорада из 27-го листа, где под этим именем изображен жестокий хозяин, который «подчиненных ему слуг и за самомалейшие слабости и оплошности наказывает зверски», «одевает, обувает и кормит <. . .> весьма худо, утверждая, что когда сии безумия его несчастные невольники чувствуют голод и холод, тогда ежеминутно памятуют они свое рабство и, по его мнению, следовательно, тем побуждаются ко исполнению своих должностей» (Тр. 1769. № 27. С. 144).[35]

Злость Стозмея, акцентируемая во всех зарисовках и подразумеваемая именем, выступает родовым признаком, по которому невозможно ни дифференцировать, ни интегрировать портреты относительно возможных намеков на реальные лица. Индивидуализирует и объединяет ряд характеристик (но не все!) мотивировка отношения Стозмея к людям, заключающаяся, как сообщалось в «Трутне» при самом первом упоминании этого персонажа, во влиянии какой-то женщины, «глупой» его любовницы. Этот намек получает развитие в подробном известии о времяпровождении Стозмея, помещенном 11 августа под рубрикой ведомостей «из Большой Садовой улицы». Здесь было названо имя любовницы — Перекраса и говорилось, что они «упражняются оба в разных изобретениях, касающихся до повреждения доброй славы тех людей, коих они ненавидят»; тут же получала объяснение причина ненависти Стозмея к Добросердову, состоявшая в том, что последний был «умнее его любовницы» (Тр. 1769. № 16. С. 104). «Смесь» подхватила эту линию не сразу. Первоначально, в письме Д. К., Стозмей представлен, как отмечено выше, принципиальным идейным и политическим противником Новикова, его злость имеет ярко выраженную сословную окраску; о любовнице же не говорится ни слова (Смесь. Л. 20). В дальнейшем первая, самая острая в обличительном плане тема полностью исчезает, и вместо Стозмея, призывающего, исходя из интересов своего сословия, к репрессиям против «Трутня», появляется Стозмей, распространяющий порочащие слухи и клевету по злобе сердца и по наущению любовницы или ей в угоду. В письме к издателю «Смеси» К. Б. жаловалась, что ее дочь «титулярного своего мужа (т. е. сожителя. — *В. Р.*) приводит к тому, чтоб обижал всех, кого может, а кого не может обидеть, то бы злословил» (Смесь. Л. 22. С. 174). Правдолюбов сообщал, что Стозмей «любит одну только Перекрасу, которая такая исправная и искусная любовница, что, стараясь оказать Стозмею свою горячность, подражает ему в злословии» (Смесь. Л. 28. С. 223). В номере

[35] Отметим, что этот Злорад является двойником Змеяна (Тр. 1769. № 6. С. 61).

от 10 ноября говорилось, что Стозмей «старается уверять любовницу в своей горячности не страстными словами, но злословием браня всех честных людей»: «Он любит одних только бездельников и поносит тех, которых и не знает. Но что ему до того нужды: когда кто скажет, что *сей человек честен*, то сего уже довольно и Стозмей тотчас станет его ругать и всячески стараться сделать ему зло» (Смесь. Л. 33. С. 261). Эта характеристика Стозмея, последняя в обоих журналах, повторяет в развернутом виде две строки эпиграммы, сопровождавшей в «Смеси» (Л. 20. С. 160) письмо Д. К.:

> Имеет он друзей бездельников известных,
> И чести не хранит, и злобствует на честных.

Не может быть сомнения, что в эпиграмме и письме шла речь об одном и том же Стозмее; точно так же совершенно ясно, что персонаж эпиграммы тождествен персонажу последнего портрета. Тем самым доказано, что, несмотря на все отличия трактовки, во всех случаях имелось в виду одно лицо, а именно, как было показано в отношении письма в «Смеси» от матери Перекрасы, некто, выступивший под криптонимом Д. П. в «И то и сьо» с резкою критикою «Всякой всячины» и «Трутня».[36]

Выявление объекта сатирической атаки, предпринятой Новиковым и поддержанной издателем «Смеси», обнажает ее тактический замысел, состоявший в том, чтобы показать Д. П. именно таким человеком, каким он изобразил Трутня в противоположении самому себе. Если в новиковских листках он «кроме язвительной брани и ругательства <. . .> не нашел ничего доброго»; если Трутня он назвал «неприятелем всего рода человеческого», чьи «ведомости сплетены были из ругательства и поношения близким», а сам представился читателям «всегдашним другом общества», который не способен «услаждаться других поношением» (ИТ. № 28), — то в ответ оба журнала рисуют его злобным и ядовитым сплетником и клеветником. Коль скоро, обыгрывая собственные признания Трутня в лени (Тр. 1769. № 1. С. 45—47), Д. П. заявил, что издатель ненавистных ему листков, предавшись ей, впал в те самые пороки, которые в них осмеивает, то этот выпад парируется детальным рассказом о праздном образе жизни Стозмея (Тр. № 16. С. 103—104), а также обличением его в потакании бездельникам и тесной с ними дружбе.

---

[36] Три зарисовки, цитированные выше: Тр. 1769. № 17. С. 108; № 23. С. 131; Смесь. Л. 29. С. 229, — не содержат никаких деталей (кроме типовой — злобы), соотносимых с разобранными; но в общем контексте журнала можно считать их относящимися к тому же Стозмею, так как само это имя при каждом упоминании подразумевало, конечно, для читателя ассоциацию с данным персонажем. Во всяком случае, по содержанию они настолько общие, что не имеют значения для идеологической или биографической интерпретации образа. То же следует заключить и о двух характеристиках Перекрасы, где о ней идет речь вне связи со Стозмеем: Тр. 1769. № 35. С. 173; Смесь. Л. 30. С. 237.

Тактика возврата брошенных по адресу Трутня обвинений ставит вопрос о том, в какой мере были справедливы, а насколько гиперболизированы личные свойства Стозмея, т. е. какой объем подлинной биографической информации несут фрагменты, в которых развиваются темы его злобы и бесполезного в общественном смысле времяпровождения в окружении бездельников. Нельзя, по-видимому, также принимать как вполне достоверное все сказанное в «Трутне» и «Смеси» о Перекрасе. Насмешки над нею были столь грубы,[37] что подобный их характер давал бы веские основания сомневаться в том, что они были направлены на живое лицо, если бы не полная уверенность в существовании реального Стозмея, которого под этим прозвищем легко распознавали современники.[38] Во всяком случае за всеми выступлениями «Трутня» и «Смеси» против любовника Перекрасы и ее самое кроме идеологических, принципиальных разногласий чувствуется и какая-то бытовая ссора, втянувшая в себя разных людей и, по всей вероятности, до крайности обострившая между ними отношения. Возможно, как будет видно из дальнейшего изложения, ее корни уходили в какие-то закулисные театральные интриги.

С учетом всех этих обстоятельств можно извлечь из очерков и писем о Стозмее биографические сведения о его прототипе. Это был дворянин,[39] причем, кажется, из мелких, небогатый или обнищавший.[40] Непонятно, занимал ли он какую-либо должность,

---

[37] «Стозмей имеет полдуши и полсердца, а другие половины отдал он своей любезной, а та со сна, забывшись, вместо его, Стозмеево сердце и душу отдала другому своему любовнику» (Тр. 1769. № 16. С. 104). По словам вымышленной матери Перекрасы, ее дочь уже 10 лет живет любовным ремеслом и ранее всем угождала, но «посватался на ней один придворной господчик, свадьба их в скором времени без всяких совершилась, и с тех-то пор она людей начала браковать»; она не слушает советов, что «лучше брать оброк со многих, нежели одного», а, взяв с одного офицера 50 руб., не оказала ему положенных услуг (Смесь. Л. 22. С. 173—174). «Уверяя ‹Стозмея›, что, кроме его, никого не любит, имеет другого любовника, который всякое утро ее тайно посещает. Она больна в глазах Стозмея, и бедный Стозмей крушится; а для другого здорова и с ним весело проводит время» (Смесь. Л. 28. С. 223—224, письмо Правдолюбова).

[38] Если под Стозмеем подразумевался Д. П., то реального прототипа не могло не быть, даже если Д. П. был вымышленным персонажем. В противном случае автором письма был бы сам Чулков. Между тем издатель «Смеси» четко отличает Стозмея от Чулкова, который у него, как уже отмечалось, имел прозвище Злорад. В 33-м листе помещены рядом, одна за другой, характеристики Стозмея и Злорада, причем вторая начинается следующим заявлением: «Не должен я позабыть и бедного Злорада; его нрав очень сходен с Стозмеевым, да и не может быть иначе: Стозмей подлинник, а Злорад с него копия» (Смесь. Л. 33. С. 261—262). Примечательно, что эти две характеристики присоединены к серии переведенных с французского языка из журнала «Мизантроп» портретов, что, будучи приемом актуализации заимствованного материала, также указывает на существование реальных лиц, осмеиваемых под этими персонажами.

[39] «Стозмея все считают благородным, / И я его зову дворянчиком природным» (Смесь. Л. 20. С. 160).

[40] «Смесь» называет его пренебрежительно «дворянчиком», а «Трутень» — «господчиком» (ср. противопоставление слов «господин» и «господчик» —

но вряд ли у него было сколь-нибудь значительное положение. В «Трутне», с одной стороны, упоминается его утренний прием, когда он «допускает к себе искателей его милости, которая всегда состоит в обещаниях», и расспрашивает каждого о последних сплетнях; с другой — весь описанный там же распорядок его дня не оставляет ни минуты для службы, и о ней не сказано ни слова даже мимоходом (Тр. 1769. № 16. С. 104). «Смесь» подчеркивает, что Стозмей — «человек, не очень много значащий» (Л. 22. С. 175), «не важный господин» (Л. 28. С. 224); она тоже не называет ни его должности, ни места службы. «Мать» Перекрасы рассказывает, как в восторге от остроумного замечания своей любовницы Стозмей «ударил в ладони так, как делает на театре» (Смесь. Л. 22. С. 174—175), из чего можно понять, что Стозмей имел отношение к сцене. Актером он явно не был (какие, например, могли быть у актера «искатели милости»?!); не занимал он в театре никакой руководящей должности, ибо «Трутень» (1769. № 16. С. 104) пишет, что он «рассуждает о театральных действиях, удивляется худым распоряжениям и сказывает, как бы он сделал, ежели бы те дела от него зависели». Нет ни единого намека на то, чтобы он был театральным автором или переводчиком. Все его отношение к литературе ограничивается, согласно ведомостям «из Большой Садовой улицы», тем, что он «читает местами русских авторов, прославившихся своими сочинениями, и чтобы и тут показать остроту своего разума, ради того <. . .> их критикует, не думая того, что хула его истинной славы сих авторов повредить не может». Таким образом, Стозмей, по всей видимости, был просто близким к театральным кругам человеком. Не исключена вероятность, что связывала его с этим миром, как одно из звеньев, Перекраса, бывшая, возможно, актрисой.[41]

Уместно в связи с этим вспомнить, что сам издатель «Смеси» был, вероятно, также театрал и в противоположность Стозмею держался положительного взгляда на сценическое мастерство русских актеров и осуществляемые постановки. Это видно из того, что уже в 3-м листе он вставил в переводной «Разговор Леандра с Мизантропом» отзыв о И. А. Дмитревском, назвав его «достойным современником Гаррику и Лекену» (Смесь. Л. 3. С. 23—24). Через месяц была напечатана похвальная рецензия на постановку мольеровского «Мизантропа» с Дмитревским в главной роли;

Тр. 1769. № 8. С. 70). Ранее цитировалось мнение «матери» Перекрасы о состоянии кошелька Стозмея. «Трутень» писал о том, что Стозмей по утру «отказывает своим заимодавцам, занимает вновь» (Тр. 1769. № 16. С. 103—104).

[41] В письме ее «матери» говорится, что она «заводит между своими товарищами разные ссоры за то, что они не переимчивы и ее художеству выучиться не могут». К слову «товарищами» сделано примечание: «Разумеется, в должности, а не в любовном ремесле» (Смесь. Л. 22. С. 174). Какая могла быть должность у женщины того круга, где вращался Стозмей? Очевидно, фрейлина или актриса, но первая была бы слишком, наверное, высока для подобных грубых нападок.

здесь было повторено то же сравнение с английским и французским актерами (Смесь. Л. 7. С. 55—56).[42] Еще через две недели появился отзыв о двух комедиях, показанных зимою: «Разумный вертопрах» и «Тесть и зять»; отвергая, как негодные, переводы В. И. Лукина, «Смесь» (Л. 9. С. 69—71) отметила хорошую игру артистов, спасшую спектакли.[43]

Все эти сведения весьма расплывчаты и к тому же имеют невеликую степень достоверности, поскольку извлечены из журнальных публикаций, в которых реальные факты подверглись, без сомнения, художественной обработке и, следовательно, неизбежному при ней искажению. Имея прототипов и заключая сатирические на них намеки, хорошо понятные в свое время определенному кругу людей, образы Стозмея и Перекрасы представали в журналах типизированными: действительное в них было, конечно, смешано с вымыслом, какие-то черты гиперболизированы, другие опущены, иные добавлены и т. п. Поэтому, можно полагать, расходятся, а иногда противоречат в деталях статьи, посвященные этим персонажам. Информация, касающаяся издателя «Смеси», собирается лишь отрицательная, т. е. разрушающая гипотезу о Сичкареве, но не формирующая какой-либо новой. Возможности поисков, в крайне малой, впрочем, степени обнадеживающие, представляет, пожалуй, один лишь фрагмент, на который до сих пор не обращалось внимания: «Вот каких я мыслей о прекрасном поле, — заявлял издатель, воздав в ответе своему корреспонденту Ясновидову похвалу женщинам. — Читатели! вы теперь видите, мог ли я когда поносить честь сего пола, который обожаю. Однако мне несправедливо присвояют негде напечатанные ругательства на женщину, сияющую разумом, красотою и всеми превосходными качествами, отличающими ее от всех женщин, блестящих единою только красотою» (Смесь. Л. 29. С. 228). Если это указание не фиктивное, то имеется вероятность установить когда-нибудь, какое произведение здесь имеется в виду; но нужно быть готовым и к тому, что след приведет к лицу, которое не было связано со «Смесью».

Если не Сичкарев — то кто же? В. В. Пухов, сформулировавший ряд веских возражений против гипотезы П. Н. Беркова (они были приведены ранее), вернулся к первоначальной, давно отвергнутой и, казалось, забытой атрибуции «Смеси» Новикову, но с той модификацией, что предполагается также сотрудничество Эмина в качестве его соиздателя и помощника.[44] Каких-либо

---

[42] Этот лист вышел 12 мая, а спектакль состоялся, по сведениям «Репертуарной сводки» Т. М. Ельницкой, «до апреля» (см.: История русского драматического театра. М., 1977. Т. 1. С. 452).

[43] Не имеется никаких свидетельств о том, что Сичкарев проявлял интерес к театру, тем более столь живой, как можно подозревать у издателя «Смеси».

[44] По сути В. В. Пухов оживляет с новой расстановкой акцентов точку зрения Л. Б. Лехтблау, который, по-своему интерпретируя выводы В. П. Семенникова, признал «установленным, что в издании „Смеси“ руководящую

новых аргументов в пользу этой атрибуции не найдено: все главные рассуждения имеют основой близость позиции «Смеси» и «Трутня» по важнейшим вопросам идейной борьбы 1769 г., что не имеет решающей доказательной силы. Кроме того, использован следующий довод, требующий анализа. Напомнив, что в «Трутне» (1770. № 11—12. С. 223—225) были напечатаны письмо к издателю «Смеси» и его ответ, В. В. Пухов заключает: «письма пишут издателю „Смеси", а они оказываются у Н. И. Новикова, т. е. издатель „Смеси" и Новиков — одно и то же лицо» (Пух. С. 162). В связи с этим следует, однако, вспомнить письмо Д. К. о Стозмее, посланное в «Трутень», а напечатанное в «Смеси». Этот факт, полностью аналогичный указанному, ни в малейшей степени не подтверждает сделанного из того вывода, но, напротив, категорически его опровергает, выявляя скрытую непродолжительную полемику между «Смесью» и «Трутнем» относительно тактики нападения на Стозмея и тем самым показывая, что во главе этих журналов стояли разные лица.

Действительно, письмо Д. К., предлагавшее резкий социальный поворот темы, было напечатано в один день (11 августа) с ведомостями «из Большой Садовой улицы», где Новиков представил Стозмея как бытовой тип. Поскольку содержание письма было Новикову известно в любом случае до публикации, его трактовка была полемическим заявлением о намерении обойти острый угол, к которому вел Д. К. и «Смесь». Невозможно, чтобы в один день Новиков опубликовал две столь разные статьи; но если бы даже он это и сделал, то непонятно, зачем ему было предавать гласности письмо Д. К., если затем «Смесь» сразу приняла линию, намеченную в известиях «из Большой Садовой улицы». Эти недоумения рассеиваются, если поверить объяснению Д. К., что он сам забрал у Новикова свое письмо, лежавшее у того без движения. Очевидно, послав или передав лично это письмо вскоре по выходе 28-го листа чулковского журнала (21 июля), автор ожидал быстрой публикации. Он мог, конечно, обеспокоиться и проявить нетерпение, не найдя его напечатанным уже в самом ближайшем номере; но психологически более вероятно, что изъял его по прошествии двух недель. Таким образом, пропустил он 28 июля и 4 августа или же только последнюю дату. Чтобы принять решение забрать письмо, он должен был, очевидно, получить или отказ Новикова, или неопределенные обещания. Скорее всего, последовал отказ, а время было затрачено Новиковым на колебания, если таковые были, и на сочинение своей статьи, которая не могла в этих условиях не быть полемичной по отношению к письму Д. К.

Итак, возвращаться к первоначальной атрибуции нет никаких оснований.

роль играли Ф. Эмин и Н. И. Новиков» (см.: Русские сатирические журналы XVIII века: Избранные статьи и заметки / Сост. Л. Б. Лехтблау; Под ред. Н. К. Гудзия. М., 1940. С. 12).

Станет когда-нибудь известно, кто был издателем «Смеси», или решение загадки потеряно навеки (именно так обстоит, кажется, дело), но все, что удалось выяснить, говорит о том, что рядом с Новиковым и Эминым трудился в 1769 г. на ниве российской журналистики еще один интересный и смелый писатель, противник крепостнических порядков, вынужденный по какой-то причине наглухо скрыть свое имя.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕВОДЫ ИЗ ПОСОБИЙ Д.-Э. ШОФФЕНА

1. Детская физика. М., 1763: Physique des enfans. Tirée du IV. Tome de la Manière d'enseigner et d'étudier les Belles-lettres, par Mr. Rollin // Gram. P. 335—348. Указанная книга Шарля Роллена вышла первым изданием в 1726 г.; глава «Physique des enfans» входит в раздел «De la philosophie».

2. Зрелище природы о существе божием, взятое из сочинения г. Фенелона. М., 1766: Du Spectacle de la Nature, tiré de l'Existence de Dieu, par Mr. de Fenelon // Gram. P. 288—315.

3. Перевод из мнений графа Оксенштерна. О смехе // Поденщина. 1769. 28 марта. С. 104—106: Главка «Du ris» раздела «Pensées ingénieuses et morales du Comte Oxenstiern» // Gram. P. 140. Источник устанавливается предположительно по сочетанию и непосредственному соседству с переводом двух басен Ф. Фенелона, также имеющихся в «Грамматике» Шоффена (см. № 4).

4. Перевод басен. [1.] Две лисицы. [2.] Волк и барашек // Поденщина. 1769. 29 марта. С. 107—110: *Fénelon F.* Les deux renards. — Le loup et le jeune mouton // Gram. P. 110—111.

5. Праздные люди // Смесь. 1769. Л. 2. С. 13—15: Portraits et Caractères. Tirés du Livre de M. de La Bruyère // Gram. P. 183—184. Позднее издатель «Смеси» писал: «Мне попалась в руки французская книжка, в которой я нашел Portraits et Caractères» (Л. 30. С. 236). Переведено не полностью, но со вставками. Указание в оригинале (повторенное и в «Смеси») на принадлежность этого фрагмента Лабрюйеру ошибочно.

6. Сон г. Патрикса // Смесь. 1769. Л. 2, С. 16: Le Songe de M. Patrix // Gram. P. 261. Источник указывается предположительно по сочетанию и непосредственному соседству с переводом фрагмента «Праздные люди» (см. № 5). Нельзя игнорировать возможность того, что издатель «Смеси», переводивший много французских стихотворений и располагавший, очевидно, какими-то поэтическими сборниками, мог работать по одному из них и при переводе этого широко известного, хрестоматийного произведения Пьера Патри (1583—1671). Это стихотворение под заглавием, данным Шоффеном («Tous les Renards se retrouvent chez le Pelletier»), включено и в Amus. T. 1. P. 405—406. Иное заглавие русского перевода, а также большой интервал в «Смеси» между этим стихотворением и переводами из Amus. (см. № 7—9) указывают на то, что Amus. вряд ли могло быть в данном случае источником.

7. [*Фенелон Ф.*]. Разговор Демокрита с Гераклитом // Смесь. 1769. Л. 34. С. 265—269: Dialogue. Comparaison de Démocrite et d'Héraclite, où on donne l'avantage au dernier, comme plus humain // Amus. T. 1. P. 348—351. Перевод с небольшими вставками; в оглавлении второго издания «Смеси» автором ошибочно назван Ж.-А.-С. Формей.

8. [*Фенелон Ф.*]. Разговор философа пиронической секты с его соседом // Смесь. 1769. Л. 35. С. 273—277: Dialogue. Pirrhon et le Voisin. Fausseté et absurdité du Pirrhonisme // Amus. T. 1. P. 432—435. Перевод с небольшими сокращениями; в оглавлении второго издания «Смеси» автором ошибочно назван Ж.-А.-С. Формей. Оба «разговора» были напечатаны (с указанием автора) и в Gram. P. 152—153, 160—162. Тексты Amus. и Gram. имеют некоторые мелкие отличия, но в переводе они не отразились. Поэтому единствен-

ным, хотя и не вполне надежным опознавательным признаком для установления источника «разговоров» остается их сочетание и непосредственное соседство в «Баснью» (см. № 9), причем расположение этих трех произведений в «Смеси» воспроизводит их последовательность в Amus.

9. Баснь // Смесь. 1769. Л. 35. С. 278—279: Le Droit ne se trouve pas toujours à la Justice. Fable de la Femme et du Chat // Amus. T. 1. P. 476—477.

10. Правила учтивости. СПб., 1779: Règles de la bienseance // Gram. P. 20—32. Главы 1, 3, 4, 8 (в сокращении и с изменениями) из кн.: Règles de la bienseance, ou la civilité qui se pratique parmi les honnêtes gens. Avec la manière de faire des compliments. Strassbourg, 1754.

11. Краткое описание семи бывших чуд в свете / Изд. г. де Ф. СПб., 1782. Перевод совпадает со статьей: De ce qu'on apelle Les Sept Merveilles du Monde // Amus. T. 1. P. 21—31. Однако указание «издание г. де Ф.» позволяет лишь предположительно считать источником хрестоматию Шоффена.

12. Краткое описание славных женщин Ветхого завета. СПб., 1782: Abrégé de la vie de plusieures dames, qui se sont rendu célèbres par leur vertu, par leur courage, par leur savoir, ou par toutes ces choses ensemble. 1. Dames illustres de l'Ancien Testament // Gram. P. 405—413. См.: СК. Т. 6. С. 111, уточн. к № 3266.

13. Каков должен быть человек с достоинствами? // Вечерняя заря. 1782. Ч. 1, февр. С. 121—124: Portrait d'un Homme de mérite, par Monsr. de Callières // Gram. P. 32—35. Восемнадцатая глава из кн.: Callières, François de. De la science du monde, et des connoissances utiles à la conduite de la vie. Paris, 1717. Перевод перепечатан в кн.: *Богомолов Ф.* Нравственный пластырь. . . М., 1792. Ч. 1. С. 11—15; отсюда перепечатан в журнале: Прохладные часы. 1793. Ч. 2, дек. С. 433—436.

14. Описание нравов и употреблений древних народов. М., 1783. Следующие статьи переведены полностью либо частично или содержат изложение материала из Amus.: О поведении персиян: Excellente éducation des anciens perses (T. 2. P. 342—344); О правосудном правлении древних египтян: La manière d'administrer la justice chez les anciens Egyptiens (T. 2. P. 11—14); О их мумиях: Des Momies ou Mumies (T. 1. P. 96—97); Обряд делать публичные похороны тем, кои на войне лишились жизни у римлян: Manière de faire les funérailles publiques, de ceux qui avoient perdu la vie à la guerre, chez les Athéniens (T. 2. P. 16—17); О торжестве у римлян: Du triomphe chez les Romains (T. 1. P. 244—246); О преторах римских: Des prêteurs chez les Romains (T. 2. P. 319—320); О квесторствах: Des questeurs (T. 2. P. 326); О полицмейстерах: Des censeurs (T. 2. P. 329—330); О пище римлян: Sur les répas des Romains (T. 2. P. 366—370; свободный пересказ нескольких строк оригинала); О законах двенадцати табелей у римлян: Des loix des douze tables, chez les Romains (T. 1. P. 209—210); Разделение законов двенадцати табелей: Division du peuple Romain en trois corps principaux (T. 1. P. 213); О Сенате и его власти: Du Sénat Romain et de son pouvoir (T. 2. P. 230—232); О награждениях воинов римских: Des récompenses militaires accordées aux Romains (T. 1. P. 256); О знаках, даваемых начальникам римским: Des couronnes accordées au mérite guerrier chez les Romains (T. 1. P. 256—258); О оракулах: Des oracles des païens (T. 1. P. 79—80).

15. О весталлах, сивиллах и волшебницах // Растущий виноград. 1787. Март. С. 83—95: Des vestales; Sur les fées; Des sibylles // Gram. P. 88—92. Последовательность в русском переводе совпадает с последовательностью тех же статей в Amus. (T. 1. P. 152—157, 163—165, 356—357), где, однако, текст второй и третьей статей имеет большие отличия. Статья ошибочно приписывалась В. С. Березайскому как его оригинальное сочинение (см.: *Молдавский Д. М.* Василий Березайский и его «Анекдоты древних пошехонцев» // Русская сатирическая сказка в записях середины XIX—начала XX века / Подг. текста, ст. и коммент. Д. М. Молдавского. М.; Л., 1955. С. 237—238).

16. Пример честности главного визиря // Полезное упражнение юношества. . . М., 1789. С. 297—302: Exemple de probité singulière d'un Grand Visir. Tiré de Remarques de Mr. le Comte Poniatowsky sur l'Histoire de Charles XII // Gram. P. 86—88. Поскольку в сборниках Вольного Благородного пансиона при Московском университете не выявлено других переводов из

пособий Д.-Э. Шоффена и нет сведений о том, пользовались ли этими книгами на занятиях французским языком, источник можно считать установленным лишь предположительно.

17. Повесть достопамятная капитана Франца де Цивилла, писанная им самим // Новые ежемесячные сочинения. 1793. Ч. 82, апрель. С. 65—75: Histoire mémorable du Capitaine François de Civille, écrite par lui-même // Amus. T. 2. P. 157—164. Источник Д.-Э. Шоффена: Extrait de l'Histoire mémorable du Capitaine François de Civille. Ecrite par lui-même. // [*Misson F. M.*]. Nouveau voyage d'Italie, avec un mémoire contenant des avis utiles à ceux qui voudront faire le mesme voyage. 5-e éd. Utrecht, 1722. T. 3. P. 361—368.

18. Повесть о некоем лунатике // Новые ежемесячные сочинения. 1793. Ч. 82, апр. С. 75—80: Histoire d'un somnabule // Amus. T. 2. P. 89—92.

19. Позорище природы, произведенное из сущности божией: Из сочинений г. Фенелона. Тамбов, 1793: Du Spectacle de la Nature, tiré de l'Existence de Dieu, par Mr. de Fenelon // Gram. P. 288—315.

20. Честь и добродетель неразлучны. (Amusemens philosophiques [I]) // Приятное и полезное препровождение времени. 1796. Ч. 12, № 98. С. 301—302: L'Honneur et la vertu inséparables // Amus. T. 1. P. 458—459.

21. Превосходное воспитание у древних персов. Оттуда же // Приятное и полезное препровождение времени. 1796. Ч. 12. № 98. С. 302—304: Excellente éducation des anciens perses // Amus. T. 2. P. 342—344.

22. Путь к истинной славе // Приятное и полезное препровождение времени. 1796. Ч. 12, № 98. С. 304: Le chemin à la véritable gloire // Amus. T. 1. P. 367.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АП — Адская почта, или Переписки хромоногого беса с кривым. 1769. Июль—декабрь. Указываются месяц (римская цифра) и страницы.

Берк. 1945 — *Берков П. Н.* О несостоявшемся сатирическом журнале «Демокрит» (1771) // Науч. бюл. Ленингр. ун-та. 1945. № 3. С. 38—40.

Берк. 1950 — *Берков П. Н.* Сатирическая журналистика 1769—1774 гг. // Очерки по истории русской журналистики и критики. Л., 1950. Т. 1. С. 45—81.

Берк. 1951 — Сатирические журналы Н. И. Новикова; Комментарии // Сатирические журналы Н. И. Новикова: Трутень, 1769—1770; Пустомеля, 1770; Живописец, 1772—1773; Кошелек, 1774 / Ред., вступ. ст. и коммент. П. Н. Беркова. М.; Л., 1951. С. 7—42, 522—591.

Берк. 1952 — *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952.

Благ. — *Благой Д. Д.* История русской литературы XVIII века. 2-е изд., перераб. М., 1951.

ВсВ — Всякая всячина. 1769. № 1—52. Указываются номер и страницы.

Гук. — *Гуковский Г. А.* Русская литература XVIII века. М., 1939.

ИТ — И то и сьо. 1769. Нед. 1—52. Указывается номер (неделя).

Пух. — *Пухов В. В.* Кто же издавал журнал «Смесь»? // Русская литература. 1981. № 2. С. 159—162.

Сем. — *Семенников В. П.* Русские сатирические журналы 1769—1774 гг.: Разыскания об издателях и их сотрудниках. СПб., 1914.

СК — Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века: 1725—1800. М., 1962—1975. Т. 1—[6]. Указываются номер библиографической записи или том и страница.

Смесь — Смесь, новое еженедельное издание. 1769. Лист 1—40. Указываются номер (лист) и страницы.

Солн. — *Солнцев В. Ф.* «Смесь», сатирический журнал 1769 года. СПб., 1894.

Тонк. — *Тонкова Р. М.* Из материалов Архива Академии наук по литературе и журналистике XVIII в. II. К истории журнала «Демокрит» // XVIII век. М.; Л., 1935. [Вып. 1]. С. 393—397.

Тр. — Трутень, еженедельное издание на 1769—1770 год. 1769. Л. 1—36; 1770. Л. 1—17 // Сатирические журналы Н. И. Новикова: Трутень, 1769—1770; Пустомеля, 1770; Живописец, 1772—1773; Кошелек, 1774 / Ред., вступ. ст. и коммент. П. Н. Беркова. М.; Л., 1951. Указываются год, номер (лист), страницы.

Amus. — [*Choffin D.-E.*]. Amusemens philologiques; ou mélange agréable de diverses pièces. . . 2 éd. Halle, 1755—1764. Т. 1—3. Первое изд.: 1749—1761.

Gram. — [*Choffin D.-E.*]. Nouvelle grammaire à l'usage des dames, et des autres personnes qui ne savent pas de Latin.=Neue französische Grammatik zum Besten des Frauenzimmers, und anderer Personen die das Latein nicht verstehen. . . Berlin, 1755. Т. 2. Первое изд.: 1747.

Г. Н. МОИСЕЕВА

«ОПЫТ ПОВЕСТВОВАНИЯ О РОССИИ» И. П. ЕЛАГИНА В ОЦЕНКЕ Н. М. КАРАМЗИНА

Сочинение по истории России И. П. Елагина до недавнего времени не привлекало внимания ученых. Многотомный труд, сохранившийся в рукописи, был частично опубликован в 1803 г., после смерти И. П. Елагина (ум. в 1794 г.), его другом А. И. Мусиным-Пушкиным под названием «Опыт повествования о России». Напечатана была лишь небольшая часть этого сочинения, относящаяся к древнейшему периоду истории.

Директор императорского театра при Екатерине II, богатый вельможа, известный масон и основатель «елагинской ложи» в Петербурге [1] И. П. Елагин первоначально рассматривал свой труд как продолжение «Истории российской» В. Н. Татищева. Поэтому он начал свое изложение со времени княжения Ивана III, т. е. с 1462 г. («Царствование великого князя Иоанна Васильевича третьего. Части первой. Книга 1»).[2]

Книга вторая была посвящена Василию III, книга третья — Ивану IV, но доведена только до 1564 г. — года учреждения опричнины, которую И. П. Елагин характеризует словами А. М. Курбского как «лютое игралище и продолжение тиранства». Над этими тремя книгами И. П. Елагин работал в 1788—1789 гг. В предисловии к одной из них он писал, что автор имел «намерение трудиться до времени царствования императрицы Елисавет Петровны, т. е. до половины XVIII столетия», но «по убеждению друзей моих, требовавших от меня полного о России повествования, оставил, и се, к присоединению всего целого, к тому началу приступаю».[3] Первые три книги, таким образом, были им оставлены и позднее превратились в седьмую, восьмую и девятую части, а И. П. Елагин начал изложение истории России от библейских времен до 1450 г. — времени правления Василия II. Эта часть сочинения составила две книги. Как свидетельствуют записи Елагина, первая «начата 2 ген‹варя› 1792 г.»,[4] вторая — «начата октября 22 дня 1794 г.».[5] На обороте последнего листа рукописи

---

[1] *Пекарский П. П.* И. П. Елагин — провинциальный великий мастер Главной Английской ложи // Пекарский П. П. Дополнения к истории масонства в России в XVIII столетии. СПб., 1870. С. 34. (СОРЯС. Т. 7. № 4); *Bakounine Tatiana.* Le repertoire biographique des francs-maçons russes: (XVIII-e et XIX-e siecles). Bruxelles, 1967. P. 135.

[2] ГПБ, F.IV.34/6, л. 1.

[3] Там же, F.IV.34/4, л. 2.

[4] Там же, л. 74.

[5] Там же.

имеется приписка почерком более позднего времени: «№. Здесь постигшая болезнь и смерть сочинителя остановила повествование. 12-ю годами не соединился он с первым труда своего началом, то есть с описанием царствования великого князя Иоанна Васильевича III, проименованного Великим, которое начинается в 1462 году».[6]

В мае 1790 г. И. П. Елагин начал работу над древнейшим периодом: «Опыта повествования о России» («Часть первая. Книга 1. От начала лета от сотворения мира 6523. От Рождества Христова — 1015»). Именно эта рукопись была подарена И. П. Елагиным А. И. Мусину-Пушкину с надписью: «Список сей, хотя несовершен, но мною несколько поправленный, предаю я другу моему Алексею Ивановичу Пушкину».[7] По этой рукописи «Опыт повествования о России», как уже говорилось выше, был издан А. И. Мусиным-Пушкиным в 1803 г. в Москве.

В недавнее время «Опыт повествования о России» привлек внимание В. П. Козлова, сделавшего важное открытие: в рукописи первого тома (по первоначальному замыслу относившегося к истории конца XV—начала XVI в.) при характеристике русской культуры И. П. Елагин сделал красными чернилами на полях вставку о «манускрипте» «древнего сочинения» о походе князя Игоря, хранящемся в библиотеке А. И. Мусина-Пушкина».[8]

Эта запись И. П. Елагина, сделанная в 1788—1790 гг., является самым ранним известием о появлении в «Собрании российских древностей» А. И. Мусина-Пушкина Хронографа со «Словом о полку Игореве».[9] Отметим, что в 1788 г. из ризницы Спасо-Преображенского собора, как можно судить по монастырской описи, исчез «Хронограф в десть», который был якобы «за ветхостью и согнитием уничтожен».[10]

Из автобиографии А. И. Мусина-Пушкина, написанной им в 1813 г., известно, что к нему после смерти И. П. Елагина поступил весь его архив.[11] Подтверждает это и К. Ф. Калайдович, сообщив при этом, что И. П. Елагин «подарил графу сочиненный им „Опыт повествования о России“, состоящий в XV книгах, его рукою правленных».[12]

Возникают два естественных вопроса: 1) каким образом сохранилось многотомное рукописное сочинение И. П. Елагина

---

[6] Там же, л. 74, об.

[7] Там же, F.IV.651, л. 1.

[8] *Козлов В. П.* «Слово о полку Игореве» в «Опыте повествования о России» И. П. Елагина // Вопросы истории. 1984. № 8. С. 23—31.

[9] *Моисеева Г. Н.* О времени ознакомления И. П. Елагина с рукописью «Слова о полку Игореве» // Вопросы истории. 1986. № 1. С. 170—173.

[10] *Моисеева Г. Н.* Спасо-Ярославский Хронограф и «Слово о полку Игореве». Л., 1984. С. 67—98.

[11] Вестник Европы. 1813. Ч 71. С. 83—84.

[12] *Калайдович К. Ф.* Биографические сведения о жизни, ученых трудах и собрании российских древностей графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина // Записки и труды Общества истории и древностей российских. М., 1824. Ч. 2. С. 18.

в составе «Собрания» А. И. Мусина-Пушкина, как известно, сгоревшего в московском пожаре 1812 г.; 2) какие пути и когда привели эту рукопись И. П. Елагина в Государственную Публичную библиотеку?

В. П. Козлов полагает, что еще до 1812 г. «рукописи „Опыта повествования о России“ были переданы А. И. Мусиным-Пушкиным Н. М. Карамзину и уже после смерти историографа были переданы его вдовой и сыновьями в различные хранилища, в том числе и в ГПБ».[13] Анализируя общественно-политические взгляды И. П. Елагина, В. П. Козлов говорит о том, что они «целиком базировались на Наказе Екатерины II Уложенной комиссии, обильно цитируемом в „Опыте“. Его труд осуждает дворянский космополитизм, содержит воинствующе-монархические тирады против французской революции и „вредного энциклопедистов любомудрия“, есть в нем и выпады против церковной иерархии; дворянство же рисуется как главное орудие исторического прогресса России. Создается впечатление о чрезвычайной близости общественно-исторических взглядов автора „Опыта“ и Карамзина».[14]

О том, что Н. М. Карамзин был знаком с рукописным сочинением И. П. Елагина по истории России, и об отношении его к этому труду свидетельствует найденный мною комплекс новых материалов, хранящихся в Центральном государственном архиве СССР.

Но прежде чем перейти к их анализу, необходимо кратко остановиться на истории этих материалов и охарактеризовать их «организатора».

Казадаев Александр Васильевич (1781—1854), тайный советник.[15] Образование получил в бывшем Артиллерийском корпусе. В 1803 г. переведен в Берг-коллегию. С 1804 по 1813 г. был командиром Горного кадетского корпуса. В 1821 г. был назначен обер-прокурором Сената. В 1825 г. произведен в тайные советники, назначен сенатором и статс-секретарем. В 1828 г. вышел в отставку. За перевод и издание книги Рецова «Новые исторические записки о Семилетней войне» (1818) избран в члены Российской академии. После его смерти найдена рукопись биографических материалов о Екатерине II, о русских писателях и наиболее известных деятелях XVIII в. В Центральном государственном архиве СССР хранится том второй (Г—К) материалов, собранных А. В. Казадаевым для «Словаря».[16]

5 января 1819 г. А. В. Казадаев обратился к директору Департамента народного просвещения В. М. Попову с предложением предоставить рукопись «Опыта повествования о России» И. П. Ела-

---

[13] *Козлов В. П.* «Слово о полку Игореве» в «Опыте повествования о России» И. П. Елагина. С. 25.

[14] Там же. С. 26.

[15] Русский биографический словарь. СПб., 1897. Т. Ибак—Ключарев. С. 378.

[16] ЦГИА СССР, № 43001. М. П. Лепёхин сообщил мне, что в Рукописном отделе Пушкинского Дома хранится рукописная копия 1 тома «Историко-биографического словаря» А. В. Казадаева (А—Б, Г—Л). ИРЛИ, ф. 18 (собр. П. И. Бартенева), № 70.

гина «государю императору» Александру I.[17] А. В. Казадаев подробно характеризует рукописное сочинение «обер-гофмейстера И. П. Елагина», состоящее из девяти частей: «Г<осподин> Елагин, описав тридесять лет царствования Иоанна Васильевича, эпоху, обильную самыми важными происшествиями, остановил сочинение свое на 1564 году; смерть, постигшая почтенного автора, прекратила возможность и продолжение дальнейшего труда его и лишила общества увидеть полную историю государства Российского, начертанную рукою беспристрастного любителя и искусного мужа государственного».[18]

О рукописи сочинения И. П. Елагина В. М. Попов составил «Доношение» на имя министра духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицына с пышными похвалами в адрес историка, «в коем обретаем и глубокомыслие Тита Ливия, и прозорливость Тацита, и красноречие Салюстия», закончив его следующими словами: «Казадаев почтет себе за верх счастия, ежели приношение сие будет благоугодно всемилостивейшему государю».[19]

Дальнейший ход событий мы узнаем из письма А. Н. Голицына Н. М. Карамзину от 19 марта 1819 г. Кратко охарактеризовав намерение Казадаева добиться от Александра I указания о публикации всех девяти частей «Опыта повествования о России» И. П. Елагина, А. Н. Голицын сообщил Н. М. Карамзину решение царя: «Его имп<ераторскому> в<еличеству> благоугодно было повелеть доставить книгу сию к вам на рассмотрение с тем, чтобы вы, милостивый государь мой, сообщили мне впоследствии мнение ваше как о достоинстве и пользе сего сочинения, так и о том, какое по вашему предположению можно сделать из оного употребление.

Для исполнения таковой высочайшей воли препровождаю при сем к вам означенную рукопись при реестре».[20]

23 марта 1819 г., буквально на четвертый день после получения письма А. Н. Голицына, Н. М. Карамзин сообщает ему свое мнение о сочинении И. П. Елагина: «Милостивый государь князь Александр Николаевич! Российская история И. П. Елагина уже давно была мне известна. Первый ее том напечатан в Москве, а следующие, рукописные, имел я от покойного графа А. И. Мусина-Пушкина, но только слегка просматривал их, а читать не мог всего сряду, видя, что она до времен Иоанна III выбрана почти из одного Татищева, наполнена бесконечными, пустыми умствованиями и писана слогом надутым, отчасти неправильным. И теперь думаю тоже. Но г<осподин> Елагин в царствование Екатерины славился как искусный, красноречивый переводчик одного из романов аббата Прево и трагедии „Безбожный“; найдутся и теперь люди, коим слог, искусство и философия его полюбятся; для них можно напечатать эту историю, или отдать в рукописи на

[17] ЦГИА СССР, ф. 733, оп. 87, д. 84, л. 1—2.
[18] Там же, л. 12, об.
[19] Там же, л. 13—13, об.
[20] Там же, л. 14—14, об.

сохранение в Императорскую библиотеку, где любопытные станут читать ее, как замечательное произведение минувшего столетия России.

Возвращаю при сем рукопись, с истинным высокопочитанием и преданностию имею честь быть, милостивый государь! Вашего сиятельства покорнейший слуга Николай Карамзин».[21]

А. Н. Голицын на основании письма Н. М. Карамзина составил предписание о передаче рукописей «Опыта повествования о России» И. П. Елагина директору Публичной библиотеки А. Н. Оленину. А. Н. Голицын писал: «Во исполнение <. . .> высочайшей воли имею честь препроводить к Вашему прев<осходительству> при сем означенную рукопись, при реестре содержащихся в ней тетрадей».

Комплекс бумаг заключает официальное извещение А. Н. Оленина, адресованное А. Н. Голицыну: «Имев честь получить при предписании Вашего сиятельства № 1370 рукопись под названием „Опыт повествования о России" И. П. Елагина, я, во исполнение объявленного мне Вами <. . .> повеления, препроводил оную в Императорскую публичную библиотеку для хранения с прочими имеющимися во оной подобными манускриптами <. . .> Императорской Публичной библиотеки директор А. Оленин. 2 мая 1819 г.». [22]

Из приведенных документальных материалов становится совершенно ясным отрицательное отношение Н. М. Карамзина к «Опыту повествования о России» И. П. Елагина.

Из автобиографии А. И. Мусина-Пушкина известно, что после смерти И. П. Елагина в 1794 г. его архив и библиотека пополнили «Собрание российских древностей». А. И. Мусин-Пушкин до 1798 г. жил в Петербурге в доме Демидова на Мойке. После отставки с поста обер-прокурора Синода он переехал в Москву, и здесь «Собрание» постигло бедствие: в сентябре 1812 г. оно погибло в московском пожаре.

Но, как удалось установить, некоторая часть «Собрания российских древностей» находилась в ярославском имении Иломна. В настоящее время известно около двух десятков сохранившихся рукописей, принадлежавших А. И. Мусину-Пушкину.[23] К числу их следует добавить девять частей (вместе с черновыми материалами их насчитывается 25 книг) «Опыта повествования о России» И. П. Елагина.

Когда А. В. Казадаев получил рукописи И. П. Елагина? На этот вопрос в настоящее время можно ответить только предположительно: вероятнее всего, после смерти А. И. Мусина-Пушкина, который скончался 12 февраля 1817 г. 5 января 1819 г., через два года, как мы помним, А. В. Казадаев передал прошение В. М. Попову о доставлении комплекса рукописей «Опыта» Александру I.

---

[21] Там же, л. 16—16, об.

[22] Там же, л. 22.

[23] *Моисеева Г. Н.* О «Собрании российских древностей» А. И. Мусина-Пушкина // Памятники культуры: Новые открытия. 1983. Л., 1985. С. 14—25.

Этому прошению предшествовала работа А. В. Казадаева над сочинением И. П. Елагина. В. П. Козлов, исследовавший рукописи «Опыта повествования о России», отметил, что в них наряду с пометками И. П. Елагина имеются карандашные маргиналии, сделанные «неизвестным читателем его „Опыта"». «Читательские заметки отразили восприятие Елагина его современниками, причем некоторые из них можно рассматривать как дружеские советы автору», — пишет В. П. Козлов.[24] К перечисленным автором статьи карандашным припискам следует добавить заметку на боковом поле «Опыта повествования. Часть четвертая». В том месте, где содержится пересказ летописного известия о походе Игоря Святославича на половцев под 1185 г.: «Тогда же Игорь князь Северский, поревновав славы и счастию Святославлю, собрав свои войска, призвав из Трубчевска брата своего Всеволода, из Рыльска племянника Святослава Олговича, из Путивля сына Владимира, которым говорил: или мы не князи русские? или не можем и мы, подобно братии нашей, приобрести себе славы? Пойдем и мы на половцев и равную с ними похвалу себе заслужим», — И. П. Елагин делает ссылку: «Нестор. спис. Кенигсберг. стр. 276. Татищев. кн. III, стр. 263».[25] А на боковом поле карандашом приписано: «Поход Игорев, воспетый подражателем Бояну. Зри сию поэму».[26] Очевидно, автор приписки знал уже печатное издание «Слова о полку Игореве» 1800 г., так как в выписке известия о «Слове», сделанной И. П. Елагиным красными чернилами на боковом поле в первой части «Опыта» (позднее ставшей девятой частью), упомянуто «похвальное слово Игорю». Этой же рукою, которая нам теперь хорошо известна как рука А. В. Казадаева, сделана и завершающая приписка на рукописи «Опыта»: «№. Здесь постигшая болезнь и смерть сочинителя остановила повествование. . .»,[27] — совершенно совпадающая с примечанием в письме А. В. Казадаева к В. М. Попову: «. . . смерть, постигшая почтенного автора, прекратила возможность и продолжение дальнейшего труда его. . .» [28]

Новые материалы позволяют более полно понять общественную и научную позицию Н. М. Карамзина в период его работы над последними томами «Истории государства Российского» (известно, что в 1818 г. вышли из печати первые восемь томов). Письмо Н. М. Карамзина А. Н. Голицыну с подробным отзывом об «Опыте повествования о России» И. П. Елагина раскрывает его строгий и нелицеприятный подход к трудам своих предшественников в области исторической науки.

---

[24] *Козлов В. П.* «Слово о полку Игореве» в «Опыте повествования о России» И. П. Елагина. С. 25.

[25] ГПБ, F.IV.34/3, л. 319—320.

[26] Там же, л. 320.

[27] Там же. F.IV.34/6, л. 74.

[28] ЦГИА СССР, ф. 733, оп. 87, д. 84, л. 12, об.

В. П. СТЕПАНОВ

НЕИЗДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Д. П. ГОРЧАКОВА

Д. П. Горчаков — своеобразная фигура литературной жизни на переломе от XVIII к XIX в. Он вошел в литературу поздно, в 1780-е гг., когда сатира начала уходить в малые поэтические жанры (басня, эпиграмма), и своим творчеством поддерживал классическую форму «сатиры» вплоть до начала XIX столетия. Через него идет эстафета жанра к молодому поколению поэтов — С. Н. Марину, М. В. Милонову и др. В «Беседе любителей русского слова», в соответствии с сохранявшей еще силу традицией литературных аналогий, его называли «наш Ювенал». Он был одним из самых поздних и последовательных русских классиков, сохранивших чувство преклонения перед классической французской традицией и поддерживавших художественный уровень постепенно теснимого новыми веяниями классицизма. Поклонник Вольтера, он оставался также в числе наиболее откровенных деистов среди современных ему писателей — характерная черта русского человека века Просвещения.

Горчаков — типичный пример «забытого» писателя, вновь открытого лишь усилиями историков литературы. При жизни он печатался мало, но его «презревшие печать» стихи пользовались известностью и даже популярностью. О Горчакове несколько раз, начиная с раннего «Городка», в котором дан перечень любимых поэтов, упоминает А. С. Пушкин. В пушкинскую эпоху его «святки» («ноэли») становятся предметом подражания; постоянно цитируют его сатиры. Само имя Горчакова-писателя помнили и позднее, но забытыми и утраченными оказались многие его произведения, даже те, которые появились в печати при его жизни за его полной подписью и были вполне доступны учету библиографов. Когда в 1890 г. Е. С. Горчакова предприняла издание собрания сочинений своего деда, его стихотворная часть практически повторила учебную хрестоматию А. Д. Галахова. Не многое смогли добавить к корпусу «Сочинений» и рецензенты издания.[1]

Интерес к творчеству Горчакова усилился после публикации писем П. А. Вяземского, из которых можно было заключить, что

---

[1] Наиболее существенной была библиография прижизненных публикаций Горчакова в журналах, приведенная в рецензии Н. М. Петровского (Литературный вестник. 1902. № 2. С. 155—160).

автором известной поэмы «Гавриилиада» был не Пушкин, а именно Горчаков. Впрочем, пушкинисты довольно быстро разобрались в истории с попыткой Пушкина в 1826 г. мистифицировать власти, приписав собственное сочинение покойному литератору, которому уже не могло грозить преследование.[2] Однако безуспешные поиски «Благовещенья» Горчакова (вряд ли вообще существовавшего) имели и положительный результат: они привели к выявлению и публикации других, ранее неизвестных стихотворений поэта.

Автографы Горчакова в большинстве своем не сохранились: рукописи его, как засвидетельствовала Е. С. Горчакова, погибли во время пожара в имении. Все стихотворения извлекались из массовых рукописных сборников. Однако широкая рукописная традиция, сохранив поэтическое наследие Горчакова, одновременно крайне осложнила его выявление из числа анонимных или безосновательно приписанных Горчакову малосведущими переписчиками стихотворений. В результате Горчакову неоднократно атрибутировали как явно не принадлежащие ему стихи, так и целый ряд таких, принадлежность которых крайне сомнительна. Хотя творческий диапазон Горчакова-поэта был достаточно широким (драматург, прозаик, лирик), в сборниках более всего представлено его сатирическое творчество, так как этот жанр своей злободневностью всегда возбуждал интерес читателей. На поиски его сатир были направлены и первые, не всегда удачные, усилия публикаторов.

Источники, которыми они пользовались, очень разнятся по авторитетности. Так, В. Е. Якушкин в статье по поводу издания «Сочинений» 1890 г. приписал Горчакову все пять стихотворений, тематически связанных с пребыванием в Москве пленного шведского адмирала Вахтмейстера.[3] На деле стихи этого необычайно популярного цикла, по-видимому, принадлежат разным авторам. Автор «Стихов в защиту дам» — И. М. Долгоруков; «Стихи на дам» («Умы дамски помутились. . .») ходили за разными подписями, в том числе и под инициалами Д. И. Ф. В., которые некоторые исследователи пытались рассматривать как зашифровку фамилии Д. И. Фонвизина (Фон-Визин).

С. С. Брайловский опубликовал как принадлежащие Горчакову 9 стихотворений по сборнику, который датируется 1827 г. и был составлен в Новгороде-Северском неким Александром Яснопольским.[4] Хотя большинство произведений в сборнике не имели имени автора, Брайловский, специально занимавшийся сатирами Горчакова, решился атрибутировать их ему «по внутренним признакам» — содержанию, стиху, некоторым общим выражениям. Большинство его атрибуций до сих пор не подтверждено, а некоторые явно ошибочны. Так, шутливая песня «Гур и Фекла»

---

[2] Об авторстве «Гавриилиады» см. комментарий Б. В. Томашевского в кн.: *Пушкин А. С.* Гавриилиада. Пг., 1922.

[3] Русские ведомости. 1891. № 35. С. 3.

[4] *Брайловский С. Н.* Неизданные сочинения кн. Д. П. Горчакова // Литературный вестник. 1904. Т. 8. С. 213—236.

принадлежит И. М. Долгорукову и входит в его цикл «Стихи Ивана Горюна». Две сатиры — «Ода на день рождения отставного штаба Серопеголюбова» и «Епистола ему же», как явствует из их текста, адресованы какому-то жителю города Козельска. Некоторые стилистические особенности явно не свойственны Горчакову. Начало «Оды» — «Ну, к черту! Музы с Аполлоном, Мне голос лиры не знаком» — перекликается с «Одой кулачному бойцу» И. С. Баркова; в языке «Епистолы» есть украинизмы («за собственные гро́ши» и др.). Между тем в известных нам стихах Горчакова не встречаются ни явный бурлеск, ни южнорусские диалектизмы. Поэтому Г. В. Ермакова-Битнер в сборнике «Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в.» (Л., 1959) совершенно справедливо отнесла «Оду» вместе с «Посланием к Брюзгину», также впервые опубликованным Брайловским, в раздел «Неизвестные авторы».

«Письмо от Толстошеина к Растрепину», включенное Брайловским в ту же подборку, относится к последним годам царствования Екатерины II и высмеивает распространившуюся моду носить толстые шейные платки. Щеголь в подобном наряде выведен в комедии А. Д. Копьева «Обращенный мизантроп, или Лебедянская ярмарка» (1794). В комедии А. А. Майкова «Неудачный сговор...» (1794) содержится изображение модника другого рода: «. . . волосы <. . .> растрепаны, расклакачены, и повисли все на лоб; взглянув на галстук, подумаете, что у него шея и горло распухли».[5] В «Письме» упоминается последовавший вслед за воцарением Павла I указ об освобождении из тюрем заключенных, арестованных при Екатерине II (1796), но нет ни слова о гонениях на французские моды (указ от 20 января 1798 г.). Это позволяет уточнить датировку стихотворения, но серьезное сомнение в авторстве Горчакова вызывает не свойственный ему макаронический стиль.

Вторую крупную публикацию произведений Горчакова осуществил С. П. Шестериков, который обнаружил сатиры Горчакова в сборнике, написанном на бумаге 1819 г., и напечатал шесть его ранее неизвестных стихотворений.[6] Его комментарий убедительно подтверждает их принадлежность Горчакову, или, во всяком случае, показывает, что такая атрибуция не противоречит ни литературной позиции, ни биографии, ни стилю поэта.

Спустя тридцать лет М. М. Персиц, занимаясь разысканиями в области антиклерикальной литературы XVIII в., использовала для публикации сатир Горчакова три рукописи: из частного собрания М. В. Нечкиной, из коллекции Формозова (списки произведений Горчакова, сделанные в середине XIX в.) и явно сборную рукопись антиклерикального содержания, где встречается бумага от 1799 до 1819 г.[7] В этой последней стихотворения помещены

[5] *Берков П. Н.* История русской комедии XVIII в. Л., 1977. С. 342.

[6] *Шестериков С. П.* Из неизданных стихотворений Горчакова // Известия по русскому языку и словесности АН СССР. 1928. Т. 1, кн. 1. С. 154—183.

[7] *Персиц М. М.* Русский атеистический рукописный сборник XVIII—начала XIX в. // Вопросы религии и атеизма. М., 1959. Вып. 7. С. 361—393.

без указания автора. Устанавливая авторство, М. М. Персиц использовала то обстоятельство, что некоторые из них вошли как горчаковские в первые две рукописи, а также в публикацию С. П. Шестерикова.

Наиболее авторитетной с точки зрения атрибуций является в настоящее время подборка стихотворений Горчакова в подготовленном Г. В. Ермаковой-Битнер сборнике «Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в.» во втором издании большой серии «Библиотеки поэта». Однако и здесь повторены некоторые ошибки переписчиков и составителей рукописных сборников. Среди эпиграмм, переписанных для Д. И. Хвостова, например, оказалась эпиграмма «Маралов написал стихов велику груду. . .», взятая из «Новых ежемесячных сочинений» и принадлежащая О. П. Беляеву: она входит в его сборник «Муза» (1794). Появление среди горчаковских стихотворений «Надгробия самому себе, 1797 г., марта 1 дня» связано с ошибочной подписью под этим стихотворением, появившимся впервые в журнале «Друг просвещения». На самом деле оно принадлежит не Горчакову, а Д. И. Хвостову, который в автобиографии объяснил конкретный повод, по которому оно было написано. «В торжественный въезд <. . .> в Москву для коронации 1797 года, — пишет Хвостов, — в самый день Вербного воскресенья, будучи камер-юнкером, принужден был слезть с лошади и написал себе следующую эпитафию:

Здесь всадник погребен, который век трудился,
Пегаса обуздав, себе доставить честь;
Но в сорок лет хотя на лошадь мелку сесть,
Садясь, не совладал, и досмерти убился».[8]

От печатного этот текст отличается лишь вторым стихом (в журнале: «Крылатого коня смиря, хвалу обресть»). Хвостову весною 1787 г. было в самом деле 40 лет. Горчакову, который был на два года его моложе, могло быть лишь 38—39 лет. Хотя Хвостов и служил в гвардии, по природе он был сугубо штатским и неловким человеком; скромное «слез с лошади» в его автобиографии означает попросту — свалился в самый неподходящий момент. С фигурой Горчакова, боевого офицера, содержание эпитафии плохо согласуется.[9]

Сатира на министров Александра I («Вновь года нарожденье. . .») написана в присущей Горчакову форме «ноэля». Она распространялась, а затем и многократно печаталась как его

---

[8] ИРЛИ, ф. 322, № 14, л. 72, об.

[9] В сборнике «Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в.» (Л., 1975) журнальный вариант «Надгробия» напечатан под именем Горчакова (с. 143, № 332); другой вариант опубликован в разделе «Хвостов» (с. 138, № 314) по 3-му изданию его прижизненного «Полного собрания стихотворений» (СПб., 1834. Т. 7). Составители не обратили внимания на манеру Хвостова от издания к изданию перерабатывать свои стихотворения и решили, что имеют дело с двумя близкими, но сделанными разными авторами переводами неизвестного французского оригинала.

сочинение, несмотря на внутренние противоречия текста: здесь наряду с министрами осмеяны друзья и сочлены Горчакова по «Беседе любителей русского слова». После находки «Святок» в копии А. И. Тургенева их автором можно уверенно считать П. А. Вяземского.[10]

Уточнение состава сочинений Горчакова в существующих публикациях никак нельзя считать завершенным. Об этом свидетельствует подборка «Стихи неизвестного», включенная анонимным составителем в сборник «Книга, называемая когда что попалось, собрана на Руси, в Крыму, в Молдавии, в Валахии, в Польше, на Волыне и Литве, как бы сказать, с немалыми хлопотами 1792 года декабря 23 дня». Здесь представлены материалы самого разнообразного характера, но в значительной степени литературные, а в их выборе заметен интерес составителя к произведениям сатирическим или юмористическим. Сборник давно известен историкам литературы. Л. Н. Майков по копиям из него напечатал два «доношения» Сумарокова, его использовали Г. А. Гуковский и В. Н. Орлов при публикации «подпольной» поэзии XVIII в., издатели академического собрания сочинений Ломоносова и составители сборника «Русская эпиграмма. . .». Однако какое-либо печатное описание сборника нам неизвестно. В литературе он получил условное обозначение «сборник А. Ф. Бычкова», хотя в настоящее время хранится в составе коллекции материалов журнала «Русская старина» М. И. Семевского.[11] На внутренней стороне переплета рукой А. Ф. Бычкова записано: «От Ардальона Михайловича Шишкова».

Для собрания произведений светского характера рукопись имеет неожиданно большой объем, более 550 листов форматом в пол-листа. В ней встречается несколько писарских почерков (как минимум пять); каждый новый почерк появляется в начале очередной тетради. По-видимому, заполнялся сборник потетрадно в течение некоторого времени, начиная с указанной на титуле даты, и лишь затем к нему было составлено оглавление и он был переплетен. Владельческих записей сборник не имеет. Но на чистых листах, оставшихся на стыках тетрадей, встречаются тексты, вписанные скорописью, по всей вероятности уже владельцем сборника. Самые поздние из внесенных им датированных документов (указы, военные реляции) относятся к 1799 г. Сборник написан на бумаге трех сортов, русской и иностранной, выпущенной в 1790 и 1791 гг.

Эти краткие данные позволяют представить себе, как составился столь объемистый литературно-сатирический компендиум. Закупая одновременно значительное количество бумаги, владелец с самого начала представлял примерно объем материала, который он собирался объединить, и, вероятнее всего, сборник был заполнен в течение сравнительно короткого промежутка времени.

---

[10] См.: *Вяземский П. А.* Соч. М., 1982. Т. 1. С. 380.
[11] ИРЛИ, ф. 265, оп. 3, № 9.

Время завершения переписки определяется датами внесенных сюда копий с документальных материалов — частных писем, жалоб, прошений и пр. Документы за 1795 г. начинают встречаться со страницы 1052 (сборник пронумерован постранично); на последних листах, после страницы 1102 появляются выписки из реляций о действиях А. В. Суворова в Италии. Таким образом, копирование основной части текстов сборника велось с 1792 по 1794 г., а «немалые хлопоты» владельца по их собиранию относятся ко времени до 1792 г.

Подавляющее большинство произведений включено в сборник анонимно, в том числе и такие, которые к тому времени уже были напечатаны с именами авторов (например, стихи Державина, Сумарокова). Косвенно это свидетельствует о том, что собирались они не по печатным изданиям, а заимствовались из более ранних рукописных сборников и, как правило, целыми комплексами. Так сюда попали «Гимн бороде» Ломоносова и связанная с ним полемика, стихотворная полемика 1753 г. вокруг сатиры И. П. Елагина «На петиметра» и другие материалы, охотно переписывавшиеся во второй половине XVIII в.

«Труды неизвестного» занимают страницы 401—455 и представляют один из таких комплексов. Объединение этой группы стихотворений под общим заглавием служит основанием для атрибуции всей подборки одному автору. Вопрос о том, кто этот «неизвестный», решается тем, что ряд стихотворений из разных мест подборки определенно принадлежит Д. П. Горчакову, или в настоящее время аргументированно печатается под его именем.

Из опубликованных при жизни Горчакова (и за его подписью) произведений здесь имеются притча «Звери, больные чумою» (1806), «Стихи на случай болезни Г. И. Ш<ипова>» (1796, под загл. «Ода к Г. И. Ш.»; 1806, под загл. «Подагра»), «Моя исповедь при смерти» (1804, под загл. «Стансы»), «Письмо к Д. И. Х<востову>» (1804, под загл. «Писать к тебе желаю. . .»). На странице 425 помещено прозаическое «Письмо к Д. И. Х.», в котором упоминаемые лица обозначены, подобно имени адресата, лишь начальными буквами. Это список с реального письма Горчакова к Хвостову от 28 мая 1783 г. (ниже оно публикуется по автографу). Кроме того, в подборку внесены появившиеся в печати анонимно стихотворения «Письмо 1. Везде равно подвержен человек действиям природы» и «Письмо 2. Никакой человек не может сказать, что ему скучно от того, что нечего делать». Их более поздние редакции, также известные только по спискам, озаглавлены как «Беседы» 1-я и 2-я, обращенные к Н. П. Николеву. Принадлежность их Горчакову в настоящее время убедительно доказана.

Другая часть «Трудов неизвестного» совпадает с произведениями, извлеченными исследователями из других сборников и атрибутированными Горчакову. Это послание «Д. И. Х<востову>» («В Париже Палисот, волшебный взяв лорнет. . .»), опубликованное Г. В. Ермаковой-Битнер под заглавием «Ответ

на ответ» (с датой: начало 1780-х гг.). «Теперешняя моя жизнь. Письмо к Г. И. Ш<ипову> («Ахти, любезный мой Шипов. . .») атрибутировали Горчакову одновременно С. П. Шестериков и Г. В. Ермакова-Битнер (с датой: мая 1783 г.). «Корыстолюбивый опекун. Аллегория» стала известна по публикации М. М. Персиц так же, как и стихотворение «Моя философия» («Во храме быв красот, украшенном цветами. . .»). Стихи «Для чего» («Для чего в глаза ласкает Плутнев фалю своего. . .») и «Станс» («Когда Подлон кричит пред многолюдным кругом. . .») были приписаны Горчакову Брайловским; последнее Г. В. Ермакова-Битнер не решилась напечатать в основном корпусе произведений и поместила в число дубиальных сочинений Горчакова.

В составе «Трудов неизвестного» находятся одиннадцать эпиграмм, включенных под именем Горчакова в книгу «Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в.»: 1) «Все лицы в „Мельнике“ мне кажутся на стать. . .» (на Аблесимова); 2) «Что честность иногда бывает бесполезна. . .»; 3) «Не попусту Вольтер монахов ненавидел. . .»; 4) «Чертополох хотя бессмертным учиниться. . .»; 5) «Попам заграждена всегда во ад дорога. . .»; 6) «Велят свой ум скрывать поэтам сколько можно. . .»; 7) «Московской публике Мирон служить хотел. . .» (на Хилкова); 8) «Вздорон кричит: „Нельзя не верить колдунам. . .“»; 9) «Хоть Ниса ни к кому сурова не бывает. . .»; 10) «Заграбин в воровстве хотя явился грешен. . .»; 11) «Из ваших петербургских стран. . .» (на Д. И. Фонвизина; в тексте письма от 28 мая 1783 г.), и эпитафия «Лежащий здесь Дамон, играв в волан, вспотел. . .». Пятая эпиграмма вошла также в публикацию М. М. Персиц.

Таким образом, в сборнике отсутствуют эпиграммы Горчакова 1800-х гг. на В. Л. Пушкина и Н. М. Карамзина и сатиры этого времени; сюда не вошли приведенные Г. В. Ермаковой-Битнер эпиграммы 1785—1786 гг. на Я. Б. Княжнина. Видимо, подборка «Труды неизвестного» сформировалась еще раньше, и попавшие сюда произведения Горчакова относятся к начальному периоду его поэтической деятельности (конец 1770-х—начало 1780-х гг.). Это заставляет скептически отнестись к принятой поздней датировке стихотворений, появившихся в «Друге просвещения». Опубликованные здесь новые редакции были переработкой произведений, написанных значительно раньше.

Подборка стихотворений из сборника А. Ф. Бычкова значительно обогащает представление о начальном периоде творчества Горчакова: из 58 стихотворений 30 ранее не были известны. Что же касается уже известных, то эта копия дает более верные, не испорченные переписками тексты. Например, она позволяет исправить нелепости, вкравшиеся в списки, которыми пользовалась Г. В. Ермакова-Битнер (вместо Прилияки — Присняк, персонаж эпиграмм Горчакова; вместо Палиод — Палиссо, французский драматург; вместо походе — погоде, с новой — снова и т. д. — см.: Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. С. 89—90, 104—105). Наличие в подборке «Оды творцу оперы

„Мельник“» дает возможность решить вопрос о ее авторе. Некоторые тексты имеют значительные смысловые разночтения по сравнению с поздними списками, дающие представление об особенностях ранних редакций.

Не ставя задачи устанавливать дефинитивные тексты Горчакова, приведем лишь примеры, чтобы показать характер разночтений.

В рукописи представлены самые ранние «Святки», относящиеся к началу 1780-х гг. К общеизвестному тексту сборник А. Ф. Бычкова позволяет добавить два новых куплета, идущих вслед за куплетом, посвященным В. В. Капнисту.

С кровавыми глазами
За ним ␣ хлоп;
И размахав руками,
Чуть-чуть Христа не в лоб.
Вот он! — вскричал Христос, — зачем сюда ␣
Да и прислушай <послушай?>, уж кричит,
Он дерзок, подл, и зол, и мнит,
Что он само ␣
␣ рассердился
И хочет доносить,
Что с ним Христом бранился,
И следствия просить,
Не сыщутся ли в том участны и другие;
Но без суда за крик и здор
Он взашей вытолкан на двор
Писать стихи дурные.

Скорее всего, знаком масонской ложи зашифрована, как и в других случаях (Д. И. Фонвизин, Арсеньев, В. П. Колычев, А. С. Хвостов, Д. И. Хвостов), какая-то фамилия, соответствующая размеру стиха и, кроме того, значащая, с каламбурным смыслом. Возможно, это И. Владыкин, до 1780-х гг. остававшийся предметом насмешек за нелепые стихи. Он был первым членом в Конторе конфискации.

Не останавливаясь на отдельных разночтениях рукописных текстов с уже известными в печати стихотворениями Горчакова, воспроизводим ниже 24 стихотворения из «Сочинений неизвестного». Для публикации выбраны произведения, которые в той или иной мере проливают свет на литературную ориентацию Горчакова. Три стихотворных послания обращены к участникам дружеского кружка Н. П. Николева, к которому принадлежал и сам Горчаков. Д. И. Хвостов вошел в кружок через своего дядю Ф. Г. Карина, считавшегося теоретиком литературы и арбитром в области «истинного вкуса». Почти ровесник Горчакова, Хвостов в начале 1780-х гг. был подающим надежды начинающим поэтом. Сочинения другого адресата, Г. И. Шипова, неизвестны, однако, если судить по отдельным замечаниям Николева и Горчакова, в дружеском кругу он славился остроумием и сатирической едкостью своих суждений.

Несмотря на узкий состав участников, эту дружескую группу отличали черты формирующейся «кружковости» в литературной жизни: яростная защита лидера, Николева, в котором видели писателя, способного не только продолжить дело Сумарокова, но и превзойти учителя; нападки на противников, обмен дружескими посланиями, апелляция к мнению единомышленников.

В дополнение к стихотворениям помещаем четыре письма Горчакова, подлинники которых хранятся в бумагах Д. И. Хвостова (ИРЛИ, ф. 322, № 60, л. 88, 95, 98, 102); из них лишь отзывы о Д. И. Фонвизине были использованы в комментариях Г. В. Ермаковой-Битнер.

ПИСЬМО
К НИКОЛАЮ ПЕТРОВИЧУ НИКОЛЕВУ

Питомец чистых Муз, питомец Аполлона,
Вознесшийся на верх священна Геликона,
Счастливый Николев! Завидую тебе,
Завидую Пальмириной судьбе,
Но сею завистью невинной и незлобной,
Страшащейся нанесть малейший людям вред,
И только алчущей тебе идти вослед,
Когда бы твоему имел я дар подобный.
Не препинай в пути стопы свои, мой друг!
Ступай, куда влечет пылающий твой дух!
Будь честию себе, будь честию народу,
Во недрах коего рожден, воспитан, взрос,
Собою оправдай ленивую природу,
Да нового в тебе Расина узрит Росс!
Яви, что не страной в нас чувства сопряженны,
Что остроумие родится и в снегах,
Что люди могут быть повсюду просвещенны,
Что разность между их в единых лишь умах,
Что ежели дурак рожден и во Афинах,
Он будет дураком считаться целый век,
А Сумароков наш, хотя родился в финах,[1]
Но будет завсегда великий человек.
О ты, который днесь во всем ему подобен,
А инде, может быть, его и превзошел,
Скажи мне, как на Пинд ты путь себе нашел
И как соделаться он мог тебе удобен,
Толико труден быв для множества других?
Пленя своих граждан, восхитя чувства их,
С презреньем, с жалостью на зависть ты взираешь
И смелою ее ногою попираешь;
Под лавры скрывшися от ядовитых стрел,
Дивишься, что тебя язвить она желает
За то, что с нежностью Пальмиру ты воспел,[2]
Которая сердца всех зрителей пленяет;
Но вспомня, что Вольтер от зависти терпел,
Престань, любезный друг, престань сему дивиться,
Судьба худых творцов, чтоб завистью кипеть:
Кто с Музами достиг лишь только покумиться,
Тот ближней их родни не может уж терпеть.

СТИХИ НИКОЛАЮ ПЕТРОВИЧУ НИКОЛЕВУ

Творец Пальмиры и Сорены,[3]
Питомец жителей священной Ипокрены,
Я справедливо стал, тобою восхищен:
Тобой воздвигнута театра падша слава,
И нежный нам творец Синава [4]
Теперь сугубо возращен,
Когда в тебе потомству для примера
Совокупленных зрим Расина и Вольтера.

СТИХИ К Д<МИТРИЮ> И<ВАНОВИЧУ> Х<ВОСТОВУ>

Так, любезнейший мой друг!
Чувство дружбы я питаю
И утехою считаю
Ею услаждать мой дух.
У подошвы гор священных
Псов мы видим разъяренных,
Друг на друга льющих злость
За обглоданную кость.
Но не слышно оных стона
На вершинах Геликона,
Где в жилище чистых Муз
Обитает нежный вкус.
Вы, которые добиться
Ищите в сии места!
Если в вас душа чиста,
Сердце завистью не тмится,
Чтите дружества закон;
Не найдете вы препон.
Знайте, с помощию друга
Достигают на Парнас.
На верху земного круга
Ни один еще б из нас
Не дошел до Ипокрены,
Если б льстивыя Сирены
Слушал он единый глас;
Или злобного Зоила
Тщетной критики страшась.

СТИХИ Г<РИГОРИЮ> И<ВАНОВИЧУ> Ш<ИПОВУ> [5]

Как с древа ветром отделяся
И пад в ручей, плывет листок,
Воды стремленью покоряся,
Куда влечет его поток;
То, погрузяся в воду, тонет,
То оныя наверх всплывет,
Погода бурная не тронет
Его, ни солнца ясный свет.
Он инде на пути сретает
Цветущи злачные луга,
А инде в мраке обретает
Заросши терном берега.
Средь сих премен беспрестанных
Спокойно продолжает путь,
Пока, доплыв морей пространных,
В них должен будет потонуть.
Таков есть жребий человека:
Он равнодушно должен зреть
На то, что рок велит терпеть
Во все теченье века.

ПЕРЕВОД С ГРЕЧЕСКОГО

Меркурия на милость преклоняет
Немного молока;
Ираклий более желает: [6]
Ему потребно в дар вседневно два быка.
За то, мне говорят, оставших, уж конечно,
Сей бог хранит! О том я не вступаю в толк.
Но жертвенных быков мне жаль сердечно:
Что нужды, кто их съест, Ираклий или волк.

МАДРИГАЛ

Неправый обо мне повсюду слух ходил,
Что будто бога я совсем не почитаю.
Как может это быть, чтоб бога я не чтил,
Коль бога я в моей Ирисе обретаю.

1

Творенье Кака я с умильностью прочел,[7]
Но впредь уже над ним трудить не буду зрака.
Не для того, чтобы за труд большой я счел,
Но что. . . Сказать ли вам? Сие творенье кака.

2

Я эпиграмму зрел, бранить меня сплетенну [8]
И в «Собеседнике» навеки погребенну.
Что нужды до того? Пусть бредят, что хотят:
Из гроба мертвецы живых не повредят.

3

Взмостяся на Парнас, Арсен с пером сидит [9]
И мнит, что оным всех творцов он устрашает;
А он преглупые сатиры лишь клеит,
И только, как евнух в серале, всем мешает.

4

Кулимин во стихах узнал прямый свой род: [10]
Рожден он для вранья, и врет уж пятый год.

5

Кулимин всем твердит, что я писатель скверный,
А я божусь везде, что он умен. Но что ж?
К несчастью здесь народ такой неимоверный,
Что речи обоих приемлет он за ложь.

6

Кулимин говорит, что я ему скучаю,
Но он враньем своим мне столько скук навлек,
Что если буду жить Мафусаилов век,
То долг сей отплатить и тут ему не чаю.

7

Я слышал, что Присняк ко удивленью света [11]
Оставил спорить ремесло.
Но льзя ль мне твоего не угадать ответа?
Вот он: апреля первое число.

8

Присняк мне говорит: «Домой я удалюсь,
Я до смерти иззяб». Тому я не дивлюсь:
Теперь еще не лето,
А он ни наго, ни одето.

9

Несчастлив наш Дамон в любви, в друзьях, в жене
Затем, что ни любви, ни дружбы он не знает;
В любви он был смешон, друзей подозревает,
А счастие свое нашел теперь в вине.

10

Похож был наш Дамон на дьявола с души,
Однако ж то скрывал, как должно скромну мужу.
Но ах! Жена его все вывела наружу,
Поставивши рога Дамону на плеши.

11

Кто мнит не веровать из мертвых воскресенью,
Тому скажу теперь к его спасенью:
Для излияния несчастных многих слез
Кащей хоть околел, но в Ахиде воскрес.[12]

12

«За Умнова идти, — Лаиса говорит, —
Сердечушко дрожит.
Боюсь, чтоб не потить за мужа мне лихова».
И вышла за Плохова.

13

Зря Ушкина всегда на бегуне,
Все люди говорят: конь едет на коне.[13]

14

Ириса говорит: «Куда ни погляжу,
Везде драгого я Тирсиса нахожу;
Во всех любезного мои встречают взоры».
Так отчего ж у ней с Тирсисом часто ссоры?
Я мышлю оттого,
Что зрит она во всех Тирсиса своего.

15

Ириса, пред тобой Житоков хоть финтует,[14]
Но твой супруг тебя к нему не приревнует.
Напротив, думаю, что следуя уму,
Супруга своего ревнуешь ты к нему.

16

К Венере Пигмальон моленье воссылал,
Влюбясь в иссеченный им камень,
Чтоб в камень сей вложить любовный пламень;
Услышан он с небес, и камень воспылал.
Но я, питающий в Ирисе страстной пламень,
В ней столько зрю излишнего огня,
Что боги счастливым соделали б меня,
Когда б ее преобразили в камень.

17

Всесильная любовь!
Перед тобою все безгласны,
Во всех тобой пылает кровь,
Все смертные тебе подвластны.
Герой не избежит никак твоих оков,
И тени восстают тобою из гробов.

18

Я знаю, что сии прекрасные цветы
Далеко от твоей отстали красоты.
Но тем, красавица, не возгоржайся ты,
И помни всякий раз, когда на них ты взглянешь,
Что так же, как они, от времени увянешь.

Письма Д. П. Горчакова к Д. И. Хвостову

1

Мая 28 дня 1783 года, Москва

Я виноват перед тобою, мой любезный друг Дмитрий Иванович. Леностию оправдаться было бы мне стыдно; однако надеюсь, что ты снизойдешь к моим обстоятельствам, когда скажу тебе, что:

Любовь, душа вселенной,
Оселок мудреца,
Которая разит чувствительны сердца
И коей покорясь, наш разум ослепленный
Находит своего блаженства в ней творца,

любовь отчасти была причиною моего нерачения писать к тебе. Кто ей не был покорен? Суди по себе, мой любезный друг. Правда, что она непростительна, когда заставляет позабывать друзей. Но таков человек. Он не может положить пределов своей слабости. Однако же:

Рассыпалось прельщенье,
Явился обнажен глазам моим призрак;
Узрел я, что в любви и умный, и дурак
Находят лишь мученье.

И для того оставя ее, исполняю мою должность.

Благодарю тебя за драгоценный твой подарок, который назад тому несколько дней получил я чрез князь Якова Алексеевича.[15] Ты догадаешься, что я говорю о книжке, от тебя мне присланной.[16] Я с удовольствием увидел в ней друга, который меня помнит и среди веселостей столицы. Но что могут они над тобою! Друг, достойный прославлять Вольтера, никогда не перестанет быть человеком. Скажу тебе без лести, что перевод твой достоин как подлинника, так и того, кто в оном похваляем. Последние два стиха, из положенных в начале сей книги, неоценены. Это долг великих людей, чтоб возвещать славу себе подобных.

Теперь должен я тебе, любезный друг, объявить о здешних новостях.

Из ваших петербургских стран,
Приехал к нам Денис тиран,
Однако же не сиракузский;
А чисто наш мучитель русский.

Он здесь многое бранит, его многие не слушают; итак, все разошлися по своим. Здесь был играп «Недоросль» и принят, как должно недоросло. Может быть, оттого, что здесь народ простой, и всякую вещь принимает по ее имени, не в состоянии будучи догадаться, что она хороша.[17]

В прошедшую пятницу играли здесь «Пальмиру» Николая Петровича Николева.[18] Она принята с восхищением. Никакое еще новое сочинение с тех пор, как я езжу в театр, не приносило обществу столько удовольствия, и когда вышел актер объявлять, зрители потребовали «Пальмиру», и упоенный веселием партер не переставал хлопать и стучать, пока ее не объявили. Сообщаю тебе стихи, на сей случай сделанные, а при том письмо мое к Григорию Ивановичу Шипову.[19] Долг платежом красен. Не прогневайся, что плачу медными деньгами. Затем, прощай, любезный друг, и я, желая тебя как ‹можно› наискоряе видеть, остаюсь навсегда твой покорный слуга и верный друг

Князь Дмитрий Горчаков.

Милостивому государю моему Федору Григорьевичу [20] свидетельствую мое искреннее почтение.

2

Il est bien difficile, mon cher ami, d'atteindre à ce temple, dont parle Mr. de Voltaire dans un certain chant de la Pucelle [21] quand même j'aurois tous les talents que vous m'attribuez gratis. Relisez ce chant et vous verrez combien de gens se cassent le col en grimpant vers la déesse. Ma petite bagatelle dont vous faites tant d'éloges,[22] pourroit bien me procurer le même sort, si elle m'inspiroit la confiance de tenter le voyage. D'ailleurs vous savez, cher ami, que je ne suis pas de ces gens qui crient:

O! Renommée! O! puissante déesse
par charité parlez un peu de nous.

Une chanson n'est pas un titre pour se croire en droit d'ennuyer le public dans de longs ouvrages; et sûrement ce n'est pas à un paresseux comme moi à forcer les barrières qui nous séparent de la vraie gloire; après tout, est-on si sûr de parvenir à son but? et parvenu est-on si bien payé de ses peines? que d'ennemis ont attiré à plusiers grands hommes (ce n'est pas que je mette de leur nombre, j'en suis fort éloigné) leurs veilles et cette fumée qu'on nomme réputation. Vivons pour nous quand nous ne pouvons pas vivre pour les autres. Il y a tant de gens qui se mêlent d'enseigner ou du moins de faire rire le genre humain! (quelques-uns réussissent dans le dernier, mais à leur depends). Peut-être que j'ai quelque talent! Mais qu'il est dagereux de produire au grand jour ce qui plaît à des amis. Souvent on nous applaudit en société et on nous

siffle en public et c'est bien desagréable. Il n'y a que Micoulin qui ait pris pour sa devise.[23]

Plus on me siffle plus j'ecris.

L'amitié est indulgente, mon cher amis, mais le public est sévère; les faux talents peuvent l'éblouir, mais tôt ou tard il les réduit à leur just valeur. Témoin Denis le tiran: de toute sa réputation il ne lui reste que ses lunettes. Mais après avoir fait des essais aussis heureux dans un genre où Lafontaine seul a exellé, poursuivez, ne nous privez pas du plaisir de vous lire.[24] Vous series, cher ami, criminel de lèze littérature.*

Я не льщу тебе; ты знаешь, что это не мой обычай.

Я лестью моего пера не отравлял.

Моя искренность, может быть, навлекла мне несколько неприятелей, но лесть никогда не приобретала мне друга.

Скажу тебе, любезный мой Дмитрий Иванович, что приближается день,

---

* Весьма трудно, любезный друг, войти в тот храм, о котором говорит г-н Вольтер в известной главе «Девственницы», даже если я и наделен всеми талантами, кои ты мне напрасно приписываешь. Перечитай эту песнь, и ты поймешь, какое множество людей сломали себе шею, карабкаясь к подножью богини. Моя маленькая безделка, которой ты расточаешь столько похвал, уготовила бы мне ту же судьбу, если бы внушила мне намерение пуститься в такое путешествие. Впрочем, ты знаешь, дорогой друг, что я не из тех, кто восклицает:

О, слава! О, всемогущая богиня, смилостивься,
поговори немного о нас.

Песенка не основание считать себя вправе скучить публике длинными сочинениями; и конечно, не такому ленивцу, как я, преодолеть препятствия на пути к истинной славе, да и точно ли достигнем мы своей цели? а успех пробившегося вперед стоит ли его трудов? Ночные бдения и этот дым, который именуют известностью, только создали врагов множеству великих людей (себя я не отношу к их числу; для этого я слишком ими восхищаюсь). Будем жить для себя, ежели не можем жить для других. Сколько людей берутся учить или по крайней мере смешить род человеческий! (иные добиваются успеха в этом последнем, но в ущерб себе). Возможно, у меня есть некоторые способности. Но опасно создавать возвышенное только для того, чтобы угодить друзьям. Часто нам рукоплещет общество, а публика нас освистывает, и это весьма неприятно. Один Микулин взял себе это за правило.

Чем больше я пишу, тем больше меня освистывают.

Дружба снисходительна, мой любезный друг, публика строга; фальшивые дарования могут ввести ее в заблуждение, но рано или поздно их низводят до действительной цены. Подтверждение — Денис-тиран: изо всей его известности не останется ничего, кроме его очков. Однако после того, как появился столь счастливый опыт в жанре, в котором блистателен один Лафонтен, продолжай, чтобы не лишить нас удовольствия читать тебя. Ты будешь, любезный друг, преступником перед литературой.

où mon front
Ceint le premier laurier ou rougit d'un affront,**

то есть скоро будут играть мою оперу.[25] Прощай, любезный друг, люби меня. Дружба твоя для меня драгоценна. И я знаю цену оной.

Твой верный друг К. Д. Горчаков.

Декабря 31 дня 1783 года, Москва.

3

1786 года генваря 29 дня, Москва.

Спешу благодарить тебя, любезный друг Дмитрий Иванович, за дружеское твое письмо и за прекрасные твои стихи, кои вместе изображают твое ко мне чувствование. Дружба твоя мне драгоценна, и я с восхищением вижу, что ты меня помнишь. Нонче летом узнав от Григория Ивановича [26] (который благодарит тебя за приписание и уверяет, что он тебя всегда любит), что ты в Москве, и имея нужду быть в городе, я поспешил тремя днями прежде назначенного времени приездом, чтобы тебя увидеть. Но к огорчению моему узнал, что ты накануне уехал. Сей досадный случай должен бы я был наградить письмом; я того не сделал и в том винюсь.

Радуюсь, что ты с удовольствием проводишь время в Петербурге; но за что оставил ты муз?

Сии парнасские кокетки
Желают целый свет иметь в цепях своих;
А ты у них
Был из любовников таких,
Которые на Пинде редки.
Не должно дамам изменять,
Не нравно это им, я в том уверен,
И ежели богиням ты неверен
Чего же от тебя уж смертным ожидать?

Так, любезный друг, ты имеешь дар, имеешь знании, и ты знаешь меня столько, чтоб мне поверить.

Я чувствам никогда моим не изменял,
И лестью моего пера не отравлял.

Почто ж ты лишаешь Россию удовольствия похвастаться перед Францией лишним Лафонтеном. Я бы предоставил тебе во убеждение все сказанное тобою г-ну Муравьеву [27] (которому прошу засвидетельствовать мое почтение), но что сказано хорошими стихами, то посредственной прозой не должно переговаривать. Словом: следуй чувствам своим, и Россия почтет у себя лишнего украшающего Парнас ея мужа.

** когда чело мое покроют первые лавры, или краска позора.

Теперь скажу о себе, что я не вовсе расстался с Музами, и женитьба моя не мешает мне быть с ними знакому.

Княгиня к Музам не ревнива,
Напротив, и сама в стихах находит вкус.
А мало оттого над ними я тружусь,
Что Муза черезчур моя ленива.

Однако ж она производит помаленьку, и я бы мог изрядным числом безделок попробовать твоего терпения, mais je ne suis pas si mechant.* Между прочим, скажу, что я написал оперу, называемую «Щастливая тоня», которую затем не посылаю, что не переписана, а я спешу отвечать тебе.[28] Но по первой почте пришлю. Еще я скажу, что:

Другого роду огнь во мне теперь вспылал;
Я Момову на час гремушку оставляю,
И Мельпоменин взяв кинжал,
В Америку полет Пегаза направляю.
Стремлюся лавры разделить
С творцом бессмертныя «Сорены»,[29]
С которым мы живем, и будем вечно жить,
Ладнехонько у токов Ипокрены.
Хотя у нас на Пинде с ним
Чересполосное владенье,
Но чувство дружбы мы храним,
И в ней находим услажденье.[30]

То есть (сказать в прозе) я пишу трагедию, которую как скоро кончу, сообщу тебе. Теперь во придаток (чтоб чем-нибудь заплатить за твой гостинец) посылаю маленькую комедию. Я ее сделал по просьбе приятелей моих князей Голицыных для домашнего их театра, на котором мы сбирались играть в деревне,[31] и она в Москве не была играна. Содержание же сей комедии есть один известный в здешнем городе анекдот.

Но величайшее мое желание есть прочесть похваляемую тобою комедию о похищении Кати.[32] Я не сомневаюсь, чтоб она не была хороша, потому что ты ее хвалишь. И ты меня чувствительно одолжишь, если твоим предстательством могу ее получить. Попроси, любезный друг, у автора (коего хотя и не имею чести знать, но почитаю, поелику он тебе приятель) позволения прислать ее ко мне. Затем остаюсь верный твой друг и покорный слуга

К. Д. Горчаков.

Княгиня моя благодарит вас за приписание и весьма желает познакомиться с человеком, который столько любит ее мужа и делает такие прекрасные стихи.

Николай Петрович Николев вам кланяется, и уверяет вас, что он никогда вас не забывает.

---

* но я не настолько дурной человек.

4

20 апреля 1789 года, Калуга.

Любезный друг, Дмитрий Иванович!

Испытанная твоя ко мне дружба подает мне причину надеяться, что ты мне чистосердечно скажешь и теперь свое мнение, et ton goût et tes connaissances me répondent de sa justesse.*

Я начал переводить «Федру» [33] (pour vous aider en quelque sorte dans l'accomplissement de votre excellente épigramme contre Knejnin [34]) ** и, переведя первую сцену ея роли, препровождаю ее на суд к переводчику «Ифигении»,[35] прося тебя сказать чистосердечно, продолжать ли мне?

C'est ainsi que la terre avec plaisir rassemble
Ces chênes, ces sapins, qui s'élèvent ensemble;
Un suc toujours égal est préparé pour eux;
Leur pied touche aux enfers, leur âme est dans les cieux;
Leur tronc inébranlable, et leur pompeuse tête,
Résiste en se touchant aux coups de la tempête.
Ils vivent l'un pour l'autre; ils triomphent des temps
Tandis que sous leur ombre on voit de vils serpens
Se livrer en sifflant des guerres intestines
Et de leur sang impur arroser leur racines.***

Je n'ai pu m'empecher de transcrire ces vers n'ayant pu les traduire. Они суть оправдание моей к тебе доверенности и извинение, если тебе несколько и наскучил. Тот, который истинно тебя любит, и есть твой искренний друг и покорный слуга

К. Д. Горчаков.

Примечания

[1] А. П. Сумароков родился в Вильманстранде, где в 1717 г. стоял полк его отца.

[2] «Пальмира» (1781), трагедия Н. П. Николева. См. также прим. 18.

[3] «Сорена и Замир» (1784), трагедия Николева (представлена 12 февраля 1785 г.).

[4] Творец «Синава» — А. П. Сумароков, автор трагедии «Синав и Трувор».

[5] Г. И. Шипов (1742—1807) входил в дружеский литературный кружок Николева, адресат стихотворных посланий Николева и Горчакова.

[6] Ираклий — Геракл, герой греческой мифологии.

---

* а твой вкус и твои познания уверяют меня в его правоте.

** чтоб в некотором роде исполнить то, о чем ты говоришь в превосходной эпиграмме на Княжнина.

*** С радостью земля взращивает рядом эти дубы и ели; для них приуготовлена единая пища, корнями они досягают ада, их душа — в небесах; несгибаемый ствол и пышная крона противостоят ударам бури. Они живут друг для друга, они торжествуют над временем, тогда как под их сенью с шипением гадкие змеи предаются войне с себе подобными и орошают своей нечистой кровью их корни.

[7] Творенье Кака — подразумевается «Сатира I» В. В. Капниста (како — славянское название литеры «К»), впервые напечатанная в журнале «Санктпетербургский вестник» (1780. Июнь).

[8] Ответ на эпиграмму Капниста «Напрасно Стихобред сказал, Что братом уж давно осла я почитал. . .» (Собеседник любителей российского слова. 1784. Ч. 17. С. 22), в свою очередь являвшуюся откликом на «Святки» Горчакова, где к Капнисту относились стихи: «За брата он родного Осла давно уж чтил».

[9] Арсен — Арсеньев, автор сатиры «Обед Мидасов» и ряда других рукописных сатир (см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 137).

[10] Кулимин — анаграмма имени одописца Николая Петровича Микулина (р. 1754 г.); с 1779 г. жил в Москве в отставке. Сюжет эпиграммы № 5 обработан также И. Ф. Богдановичем («На злоречие», 1763 г. — См.: Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в. Л., 1975, С. 98).

[11] Условное имя «Присняк» встречается также в эпиграмме Д. И. Хвостова «Ты хочешь, чтобы я о Присняке тужил. . .» (Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в. С. 141).

[12] Имя «Ахид Скрягин» упоминается также в одной из сатирических статей в журнале «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1791. Октябрь. С. 30).

[13] «Конь едет на коне» — сюжет, многократно обработанный русскими поэтами (А. П. Сумароков, Ф. Г. Волков, Г. Р. Державин, Г. А. Хованский, И. И. Бахтин).

[14] Житоков хоть финтует — возможно, данная эпиграмма связана с анонимной эпиграммой в «Санктпетербургском вестнике» (1780. Ч. 5. С. 200): «Финтаков написал стихов и прозы много. . .» (см.: *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952. С. 339).

[15] Князь Яков Алексеевич — лицо неустановленное.

[16] Книжка — «Слово похвальное г. Волтеру. . .» Фридриха II, короля прусского (СПб., 1783). Книга вышла без указания имени переводчика. Однако в примечании к «Моим стихам при переводе похвального слова короля прусского Волтеру» (Горчаков упоминает о них) Хвостов указывает: «Автор в первый (1783) год знакомства своего с почтеннейшим сочинителем „Модной жены“ и „Причудницы“ (т. е. с И. И. Дмитриевым. — *В. С.*) перевел похвальное слово Волтеру <. . .> Перевод сей напечатан был <. . .> в том же году». Хвостову же принадлежит и перевод «Эпитафии господину Волтеру, сочиненной г. ле Брюном», помещенный на последней странице издания (*Хвостов Д. И.* Полн. собр. стихотворений. 3-е изд. СПб., 1830. Т. 5. С. 292).

[17] Первые два представления «Недоросля» Д. И. Фонвизина в Москве состоялись 14 и 17 мая 1783 г.

[18] Трагедия в стихах «Пальмира» впервые была представлена 26 мая 1783 г.

[19] Стихотворное письмо Горчакова к Шипову см.: Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Л., 1959. С. 93.

[20] Федор Григорьевич — Карин.

[21] Песнь 6-я поэмы Вольтера «Орлеанская девственница».

[22] О каком стихотворении Горчакова идет речь, неясно.

[23] Микулин — см. прим. 10.

[24] В приложении к изданию комической оперы Николева «Розана и Любим» (М., 1781) была напечатана первая басня Хвостова «Притча. Роза и любовь», расхваленная Николевым.

[25] Комическая опера Горчакова «Калиф на час» была представлена 21 мая 1784 г. в Москве.

[26] Григорий Иванович — Шипов. См. прим. 5.

[27] Михаил Никитич — Муравьев, поэт; знакомый Хвостова с конца 1770-х гг.

[28] «Щастливая тоня», комическая опера, была представлена 14 января 1786 г. (изд. М., 1786).

[29] Творец Сорены — Николев, автор трагедии в стихах «Сорена и Замир».

[30] Замысел трагедии Горчакова из истории инков, по-видимому, не был осуществлен.

[31] Возможно, речь идет о семействе Николая Михайловича Голицына, владельца Вязем, общего приятеля Горчакова и Николева. Комедия Горчакова неизвестна.

[32] О какой пьесе идет речь, не установлено.

[33] «Федра», трагедия Ж. Расина. На письме имеется позднейшая приписка почерком секретаря Хвостова, сделанная, видимо, под диктовку: «Кроме сей первой сцены от Горчакова „Федры" ничего не осталось; сказано, видно, было отрицательное: не продолжать».

[34] Возможно, имеется в виду эпиграмма Хвостова «Вору у Аполлона», датированная 1789 г. и содержащая обвинения в заимствованиях у разных авторов и подражании им; это распространенный тип нападок на «переимчивого» Княжнина (*Хвостов Д. И.* Полн. собр. стихотворений. 3-е изд. Т. 5. С. 297).

[35] Существует издание «Ифигения, трагедия в пяти действиях. На российские стихи свободно преложенная с господина Расина» (М., 1796). Возможно, это и есть перевод Хвостова. Он приписывался Ф. Г. Карину, однако сохранилось свидетельство Хвостова (племянника Карина), что каринский перевод не был напечатан (см.: *Саитов В. И.* Ф. Г. Карин: Один из малоизвестных писателей второй половины XVIII в. СПб., 1893. С. 20).

В. П. СТЕПАНОВ

НЕИЗДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Д. П. ГОРЧАКОВА

Д. П. Горчаков — своеобразная фигура литературной жизни на переломе от XVIII к XIX в. Он вошел в литературу поздно, в 1780-е гг., когда сатира начала уходить в малые поэтические жанры (басня, эпиграмма), и своим творчеством поддерживал классическую форму «сатиры» вплоть до начала XIX столетия. Через него идет эстафета жанра к молодому поколению поэтов — С. Н. Марину, М. В. Милонову и др. В «Беседе любителей русского слова», в соответствии с сохранявшей еще силу традицией литературных аналогий, его называли «наш Ювенал». Он был одним из самых поздних и последовательных русских классиков, сохранивших чувство преклонения перед классической французской традицией и поддерживавших художественный уровень постепенно теснимого новыми веяниями классицизма. Поклонник Вольтера, он оставался также в числе наиболее откровенных деистов среди современных ему писателей — характерная черта русского человека века Просвещения.

Горчаков — типичный пример «забытого» писателя, вновь открытого лишь усилиями историков литературы. При жизни он печатался мало, но его «презревшие печать» стихи пользовались известностью и даже популярностью. О Горчакове несколько раз, начиная с раннего «Городка», в котором дан перечень любимых поэтов, упоминает А. С. Пушкин. В пушкинскую эпоху его «святки» («ноэли») становятся предметом подражания; постоянно цитируют его сатиры. Само имя Горчакова-писателя помнили и позднее, но забытыми и утраченными оказались многие его произведения, даже те, которые появились в печати при его жизни за его полной подписью и были вполне доступны учету библиографов. Когда в 1890 г. Е. С. Горчакова предприняла издание собрания сочинений своего деда, его стихотворная часть практически повторила учебную хрестоматию А. Д. Галахова. Не многое смогли добавить к корпусу «Сочинений» и рецензенты издания.[1]

Интерес к творчеству Горчакова усилился после публикации писем П. А. Вяземского, из которых можно было заключить, что

---

[1] Наиболее существенной была библиография прижизненных публикаций Горчакова в журналах, приведенная в рецензии Н. М. Петровского (Литературный вестник. 1902. № 2. С. 155—160).

автором известной поэмы «Гавриилиада» был не Пушкин, а именно Горчаков. Впрочем, пушкинисты довольно быстро разобрались в истории с попыткой Пушкина в 1826 г. мистифицировать власти, приписав собственное сочинение покойному литератору, которому уже не могло грозить преследование.[2] Однако безуспешные поиски «Благовещенья» Горчакова (вряд ли вообще существовавшего) имели и положительный результат: они привели к выявлению и публикации других, ранее неизвестных стихотворений поэта.

Автографы Горчакова в большинстве своем не сохранились: рукописи его, как засвидетельствовала Е. С. Горчакова, погибли во время пожара в имении. Все стихотворения извлекались из массовых рукописных сборников. Однако широкая рукописная традиция, сохранив поэтическое наследие Горчакова, одновременно крайне осложнила его выявление из числа анонимных или безосновательно приписанных Горчакову малосведущими переписчиками стихотворений. В результате Горчакову неоднократно атрибутировали как явно не принадлежащие ему стихи, так и целый ряд таких, принадлежность которых крайне сомнительна. Хотя творческий диапазон Горчакова-поэта был достаточно широким (драматург, прозаик, лирик), в сборниках более всего представлено его сатирическое творчество, так как этот жанр своей злободневностью всегда возбуждал интерес читателей. На поиски его сатир были направлены и первые, не всегда удачные, усилия публикаторов.

Источники, которыми они пользовались, очень разнятся по авторитетности. Так, В. Е. Якушкин в статье по поводу издания «Сочинений» 1890 г. приписал Горчакову все пять стихотворений, тематически связанных с пребыванием в Москве пленного шведского адмирала Вахтмейстера.[3] На деле стихи этого необычайно популярного цикла, по-видимому, принадлежат разным авторам. Автор «Стихов в защиту дам» — И. М. Долгоруков; «Стихи на дам» («Умы дамски помутились. . .») ходили за разными подписями, в том числе и под инициалами Д. И. Ф. В., которые некоторые исследователи пытались рассматривать как зашифровку фамилии Д. И. Фонвизина (Фон-Визин).

С. С. Брайловский опубликовал как принадлежащие Горчакову 9 стихотворений по сборнику, который датируется 1827 г. и был составлен в Новгороде-Северском неким Александром Яснопольским.[4] Хотя большинство произведений в сборнике не имели имени автора, Брайловский, специально занимавшийся сатирами Горчакова, решился атрибутировать их ему «по внутренним признакам» — содержанию, стиху, некоторым общим выражениям. Большинство его атрибуций до сих пор не подтверждено, а некоторые явно ошибочны. Так, шутливая песня «Гур и Фекла»

---

[2] Об авторстве «Гавриилиады» см. комментарий Б. В. Томашевского в кн.: *Пушкин А. С.* Гавриилиада. Пг., 1922.

[3] Русские ведомости. 1891. № 35. С. 3.

[4] *Брайловский С. Н.* Неизданные сочинения кн. Д. П. Горчакова // Литературный вестник. 1904. Т. 8. С. 213—236.

принадлежит И. М. Долгорукову и входит в его цикл «Стихи Ивана Горюна». Две сатиры — «Ода на день рождения отставного штаба Серопеголюбова» и «Епистола ему же», как явствует из их текста, адресованы какому-то жителю города Козельска. Некоторые стилистические особенности явно не свойственны Горчакову. Начало «Оды» — «Ну, к черту! Музы с Аполлоном, Мне голос лиры не знаком» — перекликается с «Одой кулачному бойцу» И. С. Баркова; в языке «Епистолы» есть украинизмы («за собственные гро́ши» и др.). Между тем в известных нам стихах Горчакова не встречаются ни явный бурлеск, ни южнорусские диалектизмы. Поэтому Г. В. Ермакова-Битнер в сборнике «Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в.» (Л., 1959) совершенно справедливо отнесла «Оду» вместе с «Посланием к Брюзгину», также впервые опубликованным Брайловским, в раздел «Неизвестные авторы».

«Письмо от Толстошеина к Растрепину», включенное Брайловским в ту же подборку, относится к последним годам царствования Екатерины II и высмеивает распространившуюся моду носить толстые шейные платки. Щеголь в подобном наряде выведен в комедии А. Д. Копьева «Обращенный мизантроп, или Лебедянская ярмарка» (1794). В комедии А. А. Майкова «Неудачный сговор...» (1794) содержится изображение модника другого рода: «. . . волосы <. . .> растрепаны, расклакачены, и повисли все на лоб; взглянув на галстук, подумаете, что у него шея и горло распухли».[5] В «Письме» упоминается последовавший вслед за воцарением Павла I указ об освобождении из тюрем заключенных, арестованных при Екатерине II (1796), но нет ни слова о гонениях на французские моды (указ от 20 января 1798 г.). Это позволяет уточнить датировку стихотворения, но серьезное сомнение в авторстве Горчакова вызывает не свойственный ему макаронический стиль.

Вторую крупную публикацию произведений Горчакова осуществил С. П. Шестериков, который обнаружил сатиры Горчакова в сборнике, написанном на бумаге 1819 г., и напечатал шесть его ранее неизвестных стихотворений.[6] Его комментарий убедительно подтверждает их принадлежность Горчакову, или, во всяком случае, показывает, что такая атрибуция не противоречит ни литературной позиции, ни биографии, ни стилю поэта.

Спустя тридцать лет М. М. Персиц, занимаясь разысканиями в области антиклерикальной литературы XVIII в., использовала для публикации сатир Горчакова три рукописи: из частного собрания М. В. Нечкиной, из коллекции Формозова (списки произведений Горчакова, сделанные в середине XIX в.) и явно сборную рукопись антиклерикального содержания, где встречается бумага от 1799 до 1819 г.[7] В этой последней стихотворения помещены

[5] *Берков П. Н.* История русской комедии XVIII в. Л., 1977. С. 342.

[6] *Шестериков С. П.* Из неизданных стихотворений Горчакова // Известия по русскому языку и словесности АН СССР. 1928. Т. 1, кн. 1. С. 154—183.

[7] *Персиц М. М.* Русский атеистический рукописный сборник XVIII—начала XIX в. // Вопросы религии и атеизма. М., 1959. Вып. 7. С. 361—393.

без указания автора. Устанавливая авторство, М. М. Персиц использовала то обстоятельство, что некоторые из них вошли как горчаковские в первые две рукописи, а также в публикацию С. П. Шестерикова.

Наиболее авторитетной с точки зрения атрибуций является в настоящее время подборка стихотворений Горчакова в подготовленном Г. В. Ермаковой-Битнер сборнике «Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в.» во втором издании большой серии «Библиотеки поэта». Однако и здесь повторены некоторые ошибки переписчиков и составителей рукописных сборников. Среди эпиграмм, переписанных для Д. И. Хвостова, например, оказалась эпиграмма «Маралов написал стихов велику груду. . .», взятая из «Новых ежемесячных сочинений» и принадлежащая О. П. Беляеву: она входит в его сборник «Муза» (1794). Появление среди горчаковских стихотворений «Надгробия самому себе, 1797 г., марта 1 дня» связано с ошибочной подписью под этим стихотворением, появившимся впервые в журнале «Друг просвещения». На самом деле оно принадлежит не Горчакову, а Д. И. Хвостову, который в автобиографии объяснил конкретный повод, по которому оно было написано. «В торжественный въезд <. . .> в Москву для коронации 1797 года, — пишет Хвостов, — в самый день Вербного воскресенья, будучи камер-юнкером, принужден был слезть с лошади и написал себе следующую эпитафию:

Здесь всадник погребен, который век трудился,
Пегаса обуздав, себе доставить честь;
Но в сорок лет хотя на лошадь мелку сесть,
Садясь, не совладал, и досмерти убился».[8]

От печатного этот текст отличается лишь вторым стихом (в журнале: «Крылатого коня смиря, хвалу обресть»). Хвостову весною 1787 г. было в самом деле 40 лет. Горчакову, который был на два года его моложе, могло быть лишь 38—39 лет. Хотя Хвостов и служил в гвардии, по природе он был сугубо штатским и неловким человеком; скромное «слез с лошади» в его автобиографии означает попросту — свалился в самый неподходящий момент. С фигурой Горчакова, боевого офицера, содержание эпитафии плохо согласуется.[9]

Сатира на министров Александра I («Вновь года нарожденье. . .») написана в присущей Горчакову форме «ноэля». Она распространялась, а затем и многократно печаталась как его

---

[8] ИРЛИ, ф. 322, № 14, л. 72, об.

[9] В сборнике «Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в.» (Л., 1975) журнальный вариант «Надгробия» напечатан под именем Горчакова (с. 143, № 332); другой вариант опубликован в разделе «Хвостов» (с. 138, № 314) по 3-му изданию его прижизненного «Полного собрания стихотворений» (СПб., 1834. Т. 7). Составители не обратили внимания на манеру Хвостова от издания к изданию перерабатывать свои стихотворения и решили, что имеют дело с двумя близкими, но сделанными разными авторами переводами неизвестного французского оригинала.

сочинение, несмотря на внутренние противоречия текста: здесь наряду с министрами осмеяны друзья и сочлены Горчакова по «Беседе любителей русского слова». После находки «Святок» в копии А. И. Тургенева их автором можно уверенно считать П. А. Вяземского.[10]

Уточнение состава сочинений Горчакова в существующих публикациях никак нельзя считать завершенным. Об этом свидетельствует подборка «Стихи неизвестного», включенная анонимным составителем в сборник «Книга, называемая когда что попалось, собрана на Руси, в Крыму, в Молдавии, в Валахии, в Польше, на Волыне и Литве, как бы сказать, с немалыми хлопотами 1792 года декабря 23 дня». Здесь представлены материалы самого разнообразного характера, но в значительной степени литературные, а в их выборе заметен интерес составителя к произведениям сатирическим или юмористическим. Сборник давно известен историкам литературы. Л. Н. Майков по копиям из него напечатал два «доношения» Сумарокова, его использовали Г. А. Гуковский и В. Н. Орлов при публикации «подпольной» поэзии XVIII в., издатели академического собрания сочинений Ломоносова и составители сборника «Русская эпиграмма. . .». Однако какое-либо печатное описание сборника нам неизвестно. В литературе он получил условное обозначение «сборник А. Ф. Бычкова», хотя в настоящее время хранится в составе коллекции материалов журнала «Русская старина» М. И. Семевского.[11] На внутренней стороне переплета рукой А. Ф. Бычкова записано: «От Ардальона Михайловича Шишкова».

Для собрания произведений светского характера рукопись имеет неожиданно большой объем, более 550 листов форматом в пол-листа. В ней встречается несколько писарских почерков (как минимум пять); каждый новый почерк появляется в начале очередной тетради. По-видимому, заполнялся сборник потетрадно в течение некоторого времени, начиная с указанной на титуле даты, и лишь затем к нему было составлено оглавление и он был переплетен. Владельческих записей сборник не имеет. Но на чистых листах, оставшихся на стыках тетрадей, встречаются тексты, вписанные скорописью, по всей вероятности уже владельцем сборника. Самые поздние из внесенных им датированных документов (указы, военные реляции) относятся к 1799 г. Сборник написан на бумаге трех сортов, русской и иностранной, выпущенной в 1790 и 1791 гг.

Эти краткие данные позволяют представить себе, как составился столь объемистый литературно-сатирический компендиум. Закупая одновременно значительное количество бумаги, владелец с самого начала представлял примерно объем материала, который он собирался объединить, и, вероятнее всего, сборник был заполнен в течение сравнительно короткого промежутка времени.

---

[10] См.: *Вяземский П. А.* Соч. М., 1982. Т. 1. С. 380.
[11] ИРЛИ, ф. 265, оп. 3, № 9.

Время завершения переписки определяется датами внесенных сюда копий с документальных материалов — частных писем, жалоб, прошений и пр. Документы за 1795 г. начинают встречаться со страницы 1052 (сборник пронумерован постранично); на последних листах, после страницы 1102 появляются выписки из реляций о действиях А. В. Суворова в Италии. Таким образом, копирование основной части текстов сборника велось с 1792 по 1794 г., а «немалые хлопоты» владельца по их собиранию относятся ко времени до 1792 г.

Подавляющее большинство произведений включено в сборник анонимно, в том числе и такие, которые к тому времени уже были напечатаны с именами авторов (например, стихи Державина, Сумарокова). Косвенно это свидетельствует о том, что собирались они не по печатным изданиям, а заимствовались из более ранних рукописных сборников и, как правило, целыми комплексами. Так сюда попали «Гимн бороде» Ломоносова и связанная с ним полемика, стихотворная полемика 1753 г. вокруг сатиры И. П. Елагина «На петиметра» и другие материалы, охотно переписывавшиеся во второй половине XVIII в.

«Труды неизвестного» занимают страницы 401—455 и представляют один из таких комплексов. Объединение этой группы стихотворений под общим заглавием служит основанием для атрибуции всей подборки одному автору. Вопрос о том, кто этот «неизвестный», решается тем, что ряд стихотворений из разных мест подборки определенно принадлежит Д. П. Горчакову, или в настоящее время аргументированно печатается под его именем.

Из опубликованных при жизни Горчакова (и за его подписью) произведений здесь имеются притча «Звери, больные чумою» (1806), «Стихи на случай болезни Г. И. Ш<ипова>» (1796, под загл. «Ода к Г. И. Ш.»; 1806, под загл. «Подагра»), «Моя исповедь при смерти» (1804, под загл. «Стансы»), «Письмо к Д. И. Х<востову>» (1804, под загл. «Писать к тебе желаю. . .»). На странице 425 помещено прозаическое «Письмо к Д. И. Х.», в котором упоминаемые лица обозначены, подобно имени адресата, лишь начальными буквами. Это список с реального письма Горчакова к Хвостову от 28 мая 1783 г. (ниже оно публикуется по автографу). Кроме того, в подборку внесены появившиеся в печати анонимно стихотворения «Письмо 1. Везде равно подвержен человек действиям природы» и «Письмо 2. Никакой человек не может сказать, что ему скучно от того, что нечего делать». Их более поздние редакции, также известные только по спискам, озаглавлены как «Беседы» 1-я и 2-я, обращенные к Н. П. Николеву. Принадлежность их Горчакову в настоящее время убедительно доказана.

Другая часть «Трудов неизвестного» совпадает с произведениями, извлеченными исследователями из других сборников и атрибутированными Горчакову. Это послание «Д. И. Х<востову>» («В Париже Палисот, волшебный взяв лорнет. . .»), опубликованное Г. В. Ермаковой-Битнер под заглавием «Ответ

на ответ» (с датой: начало 1780-х гг.). «Теперешняя моя жизнь. Письмо к Г. И. Ш<ипову> («Ахти, любезный мой Шипов. . .») атрибутировали Горчакову одновременно С. П. Шестериков и Г. В. Ермакова-Битнер (с датой: мая 1783 г.). «Корыстолюбивый опекун. Аллегория» стала известна по публикации М. М. Персиц так же, как и стихотворение «Моя философия» («Во храме быв красот, украшенном цветами. . .»). Стихи «Для чего» («Для чего в глаза ласкает Плутнев фалю своего. . .») и «Станс» («Когда Подлон кричит пред многолюдным кругом. . .») были приписаны Горчакову Брайловским; последнее Г. В. Ермакова-Битнер не решилась напечатать в основном корпусе произведений и поместила в число дубиальных сочинений Горчакова.

В составе «Трудов неизвестного» находятся одиннадцать эпиграмм, включенных под именем Горчакова в книгу «Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в.»: 1) «Все лицы в „Мельнике“ мне кажутся на стать. . .» (на Аблесимова); 2) «Что честность иногда бывает бесполезна. . .»; 3) «Не попусту Вольтер монахов ненавидел. . .»; 4) «Чертополох хотя бессмертным учиниться. . .»; 5) «Попам заграждена всегда во ад дорога. . .»; 6) «Велят свой ум скрывать поэтам сколько можно. . .»; 7) «Московской публике Мирон служить хотел. . .» (на Хилкова); 8) «Вздорон кричит: „Нельзя не верить колдунам. . .“»; 9) «Хоть Ниса ни к кому сурова не бывает. . .»; 10) «Заграбин в воровстве хотя явился грешен. . .»; 11) «Из ваших петербургских стран. . .» (на Д. И. Фонвизина; в тексте письма от 28 мая 1783 г.), и эпитафия «Лежащий здесь Дамон, играв в волан, вспотел. . .». Пятая эпиграмма вошла также в публикацию М. М. Персиц.

Таким образом, в сборнике отсутствуют эпиграммы Горчакова 1800-х гг. на В. Л. Пушкина и Н. М. Карамзина и сатиры этого времени; сюда не вошли приведенные Г. В. Ермаковой-Битнер эпиграммы 1785—1786 гг. на Я. Б. Княжнина. Видимо, подборка «Труды неизвестного» сформировалась еще раньше, и попавшие сюда произведения Горчакова относятся к начальному периоду его поэтической деятельности (конец 1770-х—начало 1780-х гг.). Это заставляет скептически отнестись к принятой поздней датировке стихотворений, появившихся в «Друге просвещения». Опубликованные здесь новые редакции были переработкой произведений, написанных значительно раньше.

Подборка стихотворений из сборника А. Ф. Бычкова значительно обогащает представление о начальном периоде творчества Горчакова: из 58 стихотворений 30 ранее не были известны. Что же касается уже известных, то эта копия дает более верные, не испорченные переписками тексты. Например, она позволяет исправить нелепости, вкравшиеся в списки, которыми пользовалась Г. В. Ермакова-Битнер (вместо Прилияки — Присняк, персонаж эпиграмм Горчакова; вместо Палиод — Палиссо, французский драматург; вместо походе — погоде, с новой — снова и т. д. — см.: Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. С. 89—90, 104—105). Наличие в подборке «Оды творцу оперы

„Мельник“» дает возможность решить вопрос о ее авторе. Некоторые тексты имеют значительные смысловые разночтения по сравнению с поздними списками, дающие представление об особенностях ранних редакций.

Не ставя задачи устанавливать дефинитивные тексты Горчакова, приведем лишь примеры, чтобы показать характер разночтений.

В рукописи представлены самые ранние «Святки», относящиеся к началу 1780-х гг. К общеизвестному тексту сборник А. Ф. Бычкова позволяет добавить два новых куплета, идущих вслед за куплетом, посвященным В. В. Капнисту.

С кровавыми глазами
За ним ␣ хлоп;
И размахав руками,
Чуть-чуть Христа не в лоб.
Вот он! — вскричал Христос, — зачем сюда ␣
Да и прислушай <послушай?>, уж кричит,
Он дерзок, подл, и зол, и мнит,
Что он само ␣
␣ рассердился
И хочет доносить,
Что с ним Христом бранился,
И следствия просить,
Не сыщутся ли в том участны и другие;
Но без суда за крик и здор
Он взашей вытолкан на двор
Писать стихи дурные.

Скорее всего, знаком масонской ложи зашифрована, как и в других случаях (Д. И. Фонвизин, Арсеньев, В. П. Колычев, А. С. Хвостов, Д. И. Хвостов), какая-то фамилия, соответствующая размеру стиха и, кроме того, значащая, с каламбурным смыслом. Возможно, это И. Владыкин, до 1780-х гг. остававшийся предметом насмешек за нелепые стихи. Он был первым членом в Конторе конфискации.

Не останавливаясь на отдельных разночтениях рукописных текстов с уже известными в печати стихотворениями Горчакова, воспроизводим ниже 24 стихотворения из «Сочинений неизвестного». Для публикации выбраны произведения, которые в той или иной мере проливают свет на литературную ориентацию Горчакова. Три стихотворных послания обращены к участникам дружеского кружка Н. П. Николева, к которому принадлежал и сам Горчаков. Д. И. Хвостов вошел в кружок через своего дядю Ф. Г. Карина, считавшегося теоретиком литературы и арбитром в области «истинного вкуса». Почти ровесник Горчакова, Хвостов в начале 1780-х гг. был подающим надежды начинающим поэтом. Сочинения другого адресата, Г. И. Шипова, неизвестны, однако, если судить по отдельным замечаниям Николева и Горчакова, в дружеском кругу он славился остроумием и сатирической едкостью своих суждений.

Несмотря на узкий состав участников, эту дружескую группу отличали черты формирующейся «кружковости» в литературной жизни: яростная защита лидера, Николева, в котором видели писателя, способного не только продолжить дело Сумарокова, но и превзойти учителя; нападки на противников, обмен дружескими посланиями, апелляция к мнению единомышленников.

В дополнение к стихотворениям помещаем четыре письма Горчакова, подлинники которых хранятся в бумагах Д. И. Хвостова (ИРЛИ, ф. 322, № 60, л. 88, 95, 98, 102); из них лишь отзывы о Д. И. Фонвизине были использованы в комментариях Г. В. Ермаковой-Битнер.

ПИСЬМО
К НИКОЛАЮ ПЕТРОВИЧУ НИКОЛЕВУ

Питомец чистых Муз, питомец Аполлона,
Вознесшийся на верх священна Геликона,
Счастливый Николев! Завидую тебе,
Завидую Пальмириной судьбе,
Но сею завистью невинной и незлобной,
Страшащейся нанесть малейший людям вред,
И только алчущей тебе идти вослед,
Когда бы твоему имел я дар подобный.
Не препинай в пути стопы свои, мой друг!
Ступай, куда влечет пылающий твой дух!
Будь честию себе, будь честию народу,
Во недрах коего рожден, воспитан, взрос,
Собою оправдай ленивую природу,
Да нового в тебе Расина узрит Росс!
Яви, что не страной в нас чувства сопряженны,
Что остроумие родится и в снегах,
Что люди могут быть повсюду просвещенны,
Что разность между их в единых лишь умах,
Что ежели дурак рожден и во Афинах,
Он будет дураком считаться целый век,
А Сумароков наш, хотя родился в финах,[1]
Но будет завсегда великий человек.
О ты, который днесь во всем ему подобен,
А инде, может быть, его и превзошел,
Скажи мне, как на Пинд ты путь себе нашел
И как соделаться он мог тебе удобен,
Толико труден быв для множества других?
Пленя своих граждан, восхитя чувства их,
С презреньем, с жалостью на зависть ты взираешь
И смелою ее ногою попираешь;
Под лавры скрывшися от ядовитых стрел,
Дивишься, что тебя язвить она желает
За то, что с нежностью Пальмиру ты воспел,[2]
Которая сердца всех зрителей пленяет;
Но вспомня, что Вольтер от зависти терпел,
Престань, любезный друг, престань сему дивиться,
Судьба худых творцов, чтоб завистью кипеть:
Кто с Музами достиг лишь только покумиться,
Тот ближней их родни не может уж терпеть.

СТИХИ НИКОЛАЮ ПЕТРОВИЧУ НИКОЛЕВУ

Творец Пальмиры и Сорены,[3]
Питомец жителей священной Ипокрены,
Я справедливо стал, тобою восхищен:
Тобой воздвигнута театра падша слава,
И нежный нам творец Синава [4]
Теперь сугубо возращен,
Когда в тебе потомству для примера
Совокупленных зрим Расина и Вольтера.

СТИХИ К Д<МИТРИЮ> И<ВАНОВИЧУ> Х<ВОСТОВУ>

Так, любезнейший мой друг!
Чувство дружбы я питаю
И утехою считаю
Ею услаждать мой дух.
У подошвы гор священных
Псов мы видим разъяренных,
Друг на друга льющих злость
За обглоданную кость.
Но не слышно оных стона
На вершинах Геликона,
Где в жилище чистых Муз
Обитает нежный вкус.
Вы, которые добиться
Ищите в сии места!
Если в вас душа чиста,
Сердце завистью не тмится,
Чтите дружества закон;
Не найдете вы препон.
Знайте, с помощию друга
Достигают на Парнас.
На верху земного круга
Ни один еще б из нас
Не дошел до Ипокрены,
Если б льстивыя Сирены
Слушал он единый глас;
Или злобного Зоила
Тщетной критики страшась.

СТИХИ Г<РИГОРИЮ> И<ВАНОВИЧУ> Ш<ИПОВУ> [5]

Как с древа ветром отделяся
И пад в ручей, плывет листок,
Воды стремленью покоряся,
Куда влечет его поток;
То, погрузяся в воду, тонет,
То оныя наверх всплывет,
Погода бурная не тронет
Его, ни солнца ясный свет.
Он инде на пути сретает
Цветущи злачные луга,
А инде в мраке обретает
Заросши терном берега.
Средь сих премен беспрестанных
Спокойно продолжает путь,
Пока, доплыв морей пространных,
В них должен будет потонуть.
Таков есть жребий человека:
Он равнодушно должен зреть
На то, что рок велит терпеть
Во все теченье века.

ПЕРЕВОД С ГРЕЧЕСКОГО

Меркурия на милость преклоняет
Немного молока;
Ираклий более желает: [6]
Ему потребно в дар вседневно два быка.
За то, мне говорят, оставших, уж конечно,
Сей бог хранит! О том я не вступаю в толк.
Но жертвенных быков мне жаль сердечно:
Что нужды, кто их съест, Ираклий или волк.

МАДРИГАЛ

Неправый обо мне повсюду слух ходил,
Что будто бога я совсем не почитаю.
Как может это быть, чтоб бога я не чтил,
Коль бога я в моей Ирисе обретаю.

1

Творенье Кака я с умильностью прочел,[7]
Но впредь уже над ним трудить не буду зрака.
Не для того, чтобы за труд большой я счел,
Но что. . . Сказать ли вам? Сие творенье кака.

2

Я эпиграмму зрел, бранить меня сплетенну [8]
И в «Собеседнике» навеки погребенну.
Что нужды до того? Пусть бредят, что хотят:
Из гроба мертвецы живых не повредят.

3

Взмостяся на Парнас, Арсен с пером сидит [9]
И мнит, что оным всех творцов он устрашает;
А он преглупые сатиры лишь клеит,
И только, как евнух в серале, всем мешает.

4

Кулимин во стихах узнал прямый свой род: [10]
Рожден он для вранья, и врет уж пятый год.

5

Кулимин всем твердит, что я писатель скверный,
А я божусь везде, что он умен. Но что ж?
К несчастью здесь народ такой неимоверный,
Что речи обоих приемлет он за ложь.

6

Кулимин говорит, что я ему скучаю,
Но он враньем своим мне столько скук навлек,
Что если буду жить Мафусаилов век,
То долг сей отплатить и тут ему не чаю.

7

Я слышал, что Присняк ко удивленью света [11]
Оставил спорить ремесло.
Но льзя ль мне твоего не угадать ответа?
Вот он: апреля первое число.

8

Присняк мне говорит: «Домой я удалюсь,
Я до смерти иззяб». Тому я не дивлюсь:
Теперь еще не лето,
А он ни наго, ни одето.

9

Несчастлив наш Дамон в любви, в друзьях, в жене
Затем, что ни любви, ни дружбы он не знает;
В любви он был смешон, друзей подозревает,
А счастие свое нашел теперь в вине.

10

Похож был наш Дамон на дьявола с души,
Однако ж то скрывал, как должно скромну мужу.
Но ах! Жена его все вывела наружу,
Поставивши рога Дамону на плеши.

11

Кто мнит не веровать из мертвых воскресенью,
Тому скажу теперь к его спасенью:
Для излияния несчастных многих слез
Кащей хоть околел, но в Ахиде воскрес.[12]

12

«За Умнова идти, — Лаиса говорит, —
Сердечушко дрожит.
Боюсь, чтоб не потить за мужа мне лихова».
И вышла за Плохова.

13

Зря Ушкина всегда на бегуне,
Все люди говорят: конь едет на коне.[13]

14

Ириса говорит: «Куда ни погляжу,
Везде драгого я Тирсиса нахожу;
Во всех любезного мои встречают взоры».
Так отчего ж у ней с Тирсисом часто ссоры?
Я мышлю оттого,
Что зрит она во всех Тирсиса своего.

15

Ириса, пред тобой Житоков хоть финтует,[14]
Но твой супруг тебя к нему не приревнует.
Напротив, думаю, что следуя уму,
Супруга своего ревнуешь ты к нему.

16

К Венере Пигмальон моленье воссылал,
Влюбясь в иссеченный им камень,
Чтоб в камень сей вложить любовный пламень;
Услышан он с небес, и камень воспылал.
Но я, питающий в Ирисе страстной пламень,
В ней столько зрю излишнего огня,
Что боги счастливым соделали б меня,
Когда б ее преобразили в камень.

17

Всесильная любовь!
Перед тобою все безгласны,
Во всех тобой пылает кровь,
Все смертные тебе подвластны.
Герой не избежит никак твоих оков,
И тени восстают тобою из гробов.

18

Я знаю, что сии прекрасные цветы
Далеко от твоей отстали красоты.
Но тем, красавица, не возгоржайся ты,
И помни всякий раз, когда на них ты взглянешь,
Что так же, как они, от времени увянешь.

Письма Д. П. Горчакова к Д. И. Хвостову

1

Мая 28 дня 1783 года, Москва

Я виноват перед тобою, мой любезный друг Дмитрий Иванович. Леностию оправдаться было бы мне стыдно; однако надеюсь, что ты снизойдешь к моим обстоятельствам, когда скажу тебе, что:

Любовь, душа вселенной,
Оселок мудреца,
Которая разит чувствительны сердца
И коей покорясь, наш разум ослепленный
Находит своего блаженства в ней творца,

любовь отчасти была причиною моего нерачения писать к тебе. Кто ей не был покорен? Суди по себе, мой любезный друг. Правда, что она непростительна, когда заставляет позабывать друзей. Но таков человек. Он не может положить пределов своей слабости. Однако же:

Рассыпалось прельщенье,
Явился обнажен глазам моим призрак;
Узрел я, что в любви и умный, и дурак
Находят лишь мученье.

И для того оставя ее, исполняю мою должность.

Благодарю тебя за драгоценный твой подарок, который назад тому несколько дней получил я чрез князь Якова Алексеевича.[15] Ты догадаешься, что я говорю о книжке, от тебя мне присланной.[16] Я с удовольствием увидел в ней друга, который меня помнит и среди веселостей столицы. Но что могут они над тобою! Друг, достойный прославлять Вольтера, никогда не перестанет быть человеком. Скажу тебе без лести, что перевод твой достоин как подлинника, так и того, кто в оном похваляем. Последние два стиха, из положенных в начале сей книги, неоценены. Это долг великих людей, чтоб возвещать славу себе подобных.

Теперь должен я тебе, любезный друг, объявить о здешних новостях.

Из ваших петербургских стран,
Приехал к нам Денис тиран,
Однако же не сиракузский;
А чисто наш мучитель русский.

Он здесь многое бранит, его многие не слушают; итак, все разошлися по своим. Здесь был играп «Недоросль» и принят, как должно недоросло. Может быть, оттого, что здесь народ простой, и всякую вещь принимает по ее имени, не в состоянии будучи догадаться, что она хороша.[17]

В прошедшую пятницу играли здесь «Пальмиру» Николая Петровича Николева.[18] Она принята с восхищением. Никакое еще новое сочинение с тех пор, как я езжу в театр, не приносило обществу столько удовольствия, и когда вышел актер объявлять, зрители потребовали «Пальмиру», и упоенный веселием партер не переставал хлопать и стучать, пока ее не объявили. Сообщаю тебе стихи, на сей случай сделанные, а при том письмо мое к Григорию Ивановичу Шипову.[19] Долг платежом красен. Не прогневайся, что плачу медными деньгами. Затем, прощай, любезный друг, и я, желая тебя как ‹можно› наискоряе видеть, остаюсь навсегда твой покорный слуга и верный друг

Князь Дмитрий Горчаков.

Милостивому государю моему Федору Григорьевичу [20] свидетельствую мое искреннее почтение.

2

Il est bien difficile, mon cher ami, d'atteindre à ce temple, dont parle Mr. de Voltaire dans un certain chant de la Pucelle [21] quand même j'aurois tous les talents que vous m'attribuez gratis. Relisez ce chant et vous verrez combien de gens se cassent le col en grimpant vers la déesse. Ma petite bagatelle dont vous faites tant d'éloges,[22] pourroit bien me procurer le même sort, si elle m'inspiroit la confiance de tenter le voyage. D'ailleurs vous savez, cher ami, que je ne suis pas de ces gens qui crient:

O! Renommée! O! puissante déesse
par charité parlez un peu de nous.

Une chanson n'est pas un titre pour se croire en droit d'ennuyer le public dans de longs ouvrages; et sûrement ce n'est pas à un paresseux comme moi à forcer les barrières qui nous séparent de la vraie gloire; après tout, est-on si sûr de parvenir à son but? et parvenu est-on si bien payé de ses peines? que d'ennemis ont attiré à plusiers grands hommes (ce n'est pas que je mette de leur nombre, j'en suis fort éloigné) leurs veilles et cette fumée qu'on nomme réputation. Vivons pour nous quand nous ne pouvons pas vivre pour les autres. Il y a tant de gens qui se mêlent d'enseigner ou du moins de faire rire le genre humain! (quelques-uns réussissent dans le dernier, mais à leur depends). Peut-être que j'ai quelque talent! Mais qu'il est dagereux de produire au grand jour ce qui plaît à des amis. Souvent on nous applaudit en société et on nous

siffle en public et c'est bien desagréable. Il n'y a que Micoulin qui ait pris pour sa devise.[23]

Plus on me siffle plus j'ecris.

L'amitié est indulgente, mon cher amis, mais le public est sévère; les faux talents peuvent l'éblouir, mais tôt ou tard il les réduit à leur just valeur. Témoin Denis le tiran: de toute sa réputation il ne lui reste que ses lunettes. Mais après avoir fait des essais aussis heureux dans un genre où Lafontaine seul a exellé, poursuivez, ne nous privez pas du plaisir de vous lire.[24] Vous series, cher ami, criminel de lèze littérature.*

Я не льщу тебе; ты знаешь, что это не мой обычай.

Я лестью моего пера не отравлял.

Моя искренность, может быть, навлекла мне несколько неприятелей, но лесть никогда не приобретала мне друга.

Скажу тебе, любезный мой Дмитрий Иванович, что приближается день,

---

* Весьма трудно, любезный друг, войти в тот храм, о котором говорит г-н Вольтер в известной главе «Девственницы», даже если я и наделен всеми талантами, кои ты мне напрасно приписываешь. Перечитай эту песнь, и ты поймешь, какое множество людей сломали себе шею, карабкаясь к подножью богини. Моя маленькая безделка, которой ты расточаешь столько похвал, уготовила бы мне ту же судьбу, если бы внушила мне намерение пуститься в такое путешествие. Впрочем, ты знаешь, дорогой друг, что я не из тех, кто восклицает:

О, слава! О, всемогущая богиня, смилостивься,
поговори немного о нас.

Песенка не основание считать себя вправе скучить публике длинными сочинениями; и конечно, не такому ленивцу, как я, преодолеть препятствия на пути к истинной славе, да и точно ли достигнем мы своей цели? а успех пробившегося вперед стоит ли его трудов? Ночные бдения и этот дым, который именуют известностью, только создали врагов множеству великих людей (себя я не отношу к их числу; для этого я слишком ими восхищаюсь). Будем жить для себя, ежели не можем жить для других. Сколько людей берутся учить или по крайней мере смешить род человеческий! (иные добиваются успеха в этом последнем, но в ущерб себе). Возможно, у меня есть некоторые способности. Но опасно создавать возвышенное только для того, чтобы угодить друзьям. Часто нам рукоплещет общество, а публика нас освистывает, и это весьма неприятно. Один Микулин взял себе это за правило.

Чем больше я пишу, тем больше меня освистывают.

Дружба снисходительна, мой любезный друг, публика строга; фальшивые дарования могут ввести ее в заблуждение, но рано или поздно их низводят до действительной цены. Подтверждение — Денис-тиран: изо всей его известности не останется ничего, кроме его очков. Однако после того, как появился столь счастливый опыт в жанре, в котором блистателен один Лафонтен, продолжай, чтобы не лишить нас удовольствия читать тебя. Ты будешь, любезный друг, преступником перед литературой.

où mon front
Ceint le premier laurier ou rougit d'un affront,**

то есть скоро будут играть мою оперу.[25] Прощай, любезный друг, люби меня. Дружба твоя для меня драгоценна. И я знаю цену оной.

Твой верный друг К. Д. Горчаков.

Декабря 31 дня 1783 года, Москва.

3

1786 года генваря 29 дня, Москва.

Спешу благодарить тебя, любезный друг Дмитрий Иванович, за дружеское твое письмо и за прекрасные твои стихи, кои вместе изображают твое ко мне чувствование. Дружба твоя мне драгоценна, и я с восхищением вижу, что ты меня помнишь. Нонче летом узнав от Григория Ивановича [26] (который благодарит тебя за приписание и уверяет, что он тебя всегда любит), что ты в Москве, и имея нужду быть в городе, я поспешил тремя днями прежде назначенного времени приездом, чтобы тебя увидеть. Но к огорчению моему узнал, что ты накануне уехал. Сей досадный случай должен бы я был наградить письмом; я того не сделал и в том винюсь.

Радуюсь, что ты с удовольствием проводишь время в Петербурге; но за что оставил ты муз?

Сии парнасские кокетки
Желают целый свет иметь в цепях своих;
А ты у них
Был из любовников таких,
Которые на Пинде редки.
Не должно дамам изменять,
Не нравно это им, я в том уверен,
И ежели богиням ты неверен
Чего же от тебя уж смертным ожидать?

Так, любезный друг, ты имеешь дар, имеешь знании, и ты знаешь меня столько, чтоб мне поверить.

Я чувствам никогда моим не изменял,
И лестью моего пера не отравлял.

Почто ж ты лишаешь Россию удовольствия похвастаться перед Францией лишним Лафонтеном. Я бы предоставил тебе во убеждение все сказанное тобою г-ну Муравьеву [27] (которому прошу засвидетельствовать мое почтение), но что сказано хорошими стихами, то посредственной прозой не должно переговаривать. Словом: следуй чувствам своим, и Россия почтет у себя лишнего украшающего Парнас ея мужа.

** когда чело мое покроют первые лавры, или краска позора.

Теперь скажу о себе, что я не вовсе расстался с Музами, и женитьба моя не мешает мне быть с ними знакому.

Княгиня к Музам не ревнива,
Напротив, и сама в стихах находит вкус.
А мало оттого над ними я тружусь,
Что Муза черезчур моя ленива.

Однако ж она производит помаленьку, и я бы мог изрядным числом безделок попробовать твоего терпения, mais je ne suis pas si mechant.* Между прочим, скажу, что я написал оперу, называемую «Щастливая тоня», которую затем не посылаю, что не переписана, а я спешу отвечать тебе.[28] Но по первой почте пришлю. Еще я скажу, что:

Другого роду огнь во мне теперь вспылал;
Я Момову на час гремушку оставляю,
И Мельпоменин взяв кинжал,
В Америку полет Пегаза направляю.
Стремлюся лавры разделить
С творцом бессмертныя «Сорены»,[29]
С которым мы живем, и будем вечно жить,
Ладнехонько у токов Ипокрены.
Хотя у нас на Пинде с ним
Чересполосное владенье,
Но чувство дружбы мы храним,
И в ней находим услажденье.[30]

То есть (сказать в прозе) я пишу трагедию, которую как скоро кончу, сообщу тебе. Теперь во придаток (чтоб чем-нибудь заплатить за твой гостинец) посылаю маленькую комедию. Я ее сделал по просьбе приятелей моих князей Голицыных для домашнего их театра, на котором мы сбирались играть в деревне,[31] и она в Москве не была играна. Содержание же сей комедии есть один известный в здешнем городе анекдот.

Но величайшее мое желание есть прочесть похваляемую тобою комедию о похищении Кати.[32] Я не сомневаюсь, чтоб она не была хороша, потому что ты ее хвалишь. И ты меня чувствительно одолжишь, если твоим предстательством могу ее получить. Попроси, любезный друг, у автора (коего хотя и не имею чести знать, но почитаю, поелику он тебе приятель) позволения прислать ее ко мне. Затем остаюсь верный твой друг и покорный слуга

К. Д. Горчаков.

Княгиня моя благодарит вас за приписание и весьма желает познакомиться с человеком, который столько любит ее мужа и делает такие прекрасные стихи.

Николай Петрович Николев вам кланяется, и уверяет вас, что он никогда вас не забывает.

---

* но я не настолько дурной человек.

4

20 апреля 1789 года, Калуга.

Любезный друг, Дмитрий Иванович!

Испытанная твоя ко мне дружба подает мне причину надеяться, что ты мне чистосердечно скажешь и теперь свое мнение, et ton goût et tes connaissances me répondent de sa justesse.*

Я начал переводить «Федру» [33] (pour vous aider en quelque sorte dans l'accomplissement de votre excellente épigramme contre Knejnin [34]) ** и, переведя первую сцену ея роли, препровождаю ее на суд к переводчику «Ифигении»,[35] прося тебя сказать чистосердечно, продолжать ли мне?

C'est ainsi que la terre avec plaisir rassemble
Ces chênes, ces sapins, qui s'élèvent ensemble;
Un suc toujours égal est préparé pour eux;
Leur pied touche aux enfers, leur âme est dans les cieux;
Leur tronc inébranlable, et leur pompeuse tête,
Résiste en se touchant aux coups de la tempête.
Ils vivent l'un pour l'autre; ils triomphent des temps
Tandis que sous leur ombre on voit de vils serpens
Se livrer en sifflant des guerres intestines
Et de leur sang impur arroser leur racines.***

Je n'ai pu m'empecher de transcrire ces vers n'ayant pu les traduire. Они суть оправдание моей к тебе доверенности и извинение, если тебе несколько и наскучил. Тот, который истинно тебя любит, и есть твой искренний друг и покорный слуга

К. Д. Горчаков.

Примечания

[1] А. П. Сумароков родился в Вильманстранде, где в 1717 г. стоял полк его отца.

[2] «Пальмира» (1781), трагедия Н. П. Николева. См. также прим. 18.

[3] «Сорена и Замир» (1784), трагедия Николева (представлена 12 февраля 1785 г.).

[4] Творец «Синава» — А. П. Сумароков, автор трагедии «Синав и Трувор».

[5] Г. И. Шипов (1742—1807) входил в дружеский литературный кружок Николева, адресат стихотворных посланий Николева и Горчакова.

[6] Ираклий — Геракл, герой греческой мифологии.

---

* а твой вкус и твои познания уверяют меня в его правоте.

** чтоб в некотором роде исполнить то, о чем ты говоришь в превосходной эпиграмме на Княжнина.

*** С радостью земля взращивает рядом эти дубы и ели; для них приуготовлена единая пища, корнями они досягают ада, их душа — в небесах; несгибаемый ствол и пышная крона противостоят ударам бури. Они живут друг для друга, они торжествуют над временем, тогда как под их сенью с шипением гадкие змеи предаются войне с себе подобными и орошают своей нечистой кровью их корни.

[7] Творенье Кака — подразумевается «Сатира I» В. В. Капниста (како — славянское название литеры «К»), впервые напечатанная в журнале «Санктпетербургский вестник» (1780. Июнь).

[8] Ответ на эпиграмму Капниста «Напрасно Стихобред сказал, Что братом уж давно осла я почитал. . .» (Собеседник любителей российского слова. 1784. Ч. 17. С. 22), в свою очередь являвшуюся откликом на «Святки» Горчакова, где к Капнисту относились стихи: «За брата он родного Осла давно уж чтил».

[9] Арсен — Арсеньев, автор сатиры «Обед Мидасов» и ряда других рукописных сатир (см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 137).

[10] Кулимин — анаграмма имени одописца Николая Петровича Микулина (р. 1754 г.); с 1779 г. жил в Москве в отставке. Сюжет эпиграммы № 5 обработан также И. Ф. Богдановичем («На злоречие», 1763 г. — См.: Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в. Л., 1975, С. 98).

[11] Условное имя «Присняк» встречается также в эпиграмме Д. И. Хвостова «Ты хочешь, чтобы я о Присняке тужил. . .» (Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в. С. 141).

[12] Имя «Ахид Скрягин» упоминается также в одной из сатирических статей в журнале «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1791. Октябрь. С. 30).

[13] «Конь едет на коне» — сюжет, многократно обработанный русскими поэтами (А. П. Сумароков, Ф. Г. Волков, Г. Р. Державин, Г. А. Хованский, И. И. Бахтин).

[14] Житоков хоть финтует — возможно, данная эпиграмма связана с анонимной эпиграммой в «Санктпетербургском вестнике» (1780. Ч. 5. С. 200): «Финтаков написал стихов и прозы много. . .» (см.: *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952. С. 339).

[15] Князь Яков Алексеевич — лицо неустановленное.

[16] Книжка — «Слово похвальное г. Волтеру. . .» Фридриха II, короля прусского (СПб., 1783). Книга вышла без указания имени переводчика. Однако в примечании к «Моим стихам при переводе похвального слова короля прусского Волтеру» (Горчаков упоминает о них) Хвостов указывает: «Автор в первый (1783) год знакомства своего с почтеннейшим сочинителем „Модной жены“ и „Причудницы“ (т. е. с И. И. Дмитриевым. — *В. С.*) перевел похвальное слово Волтеру <. . .> Перевод сей напечатан был <. . .> в том же году». Хвостову же принадлежит и перевод «Эпитафии господину Волтеру, сочиненной г. ле Брюном», помещенный на последней странице издания (*Хвостов Д. И.* Полн. собр. стихотворений. 3-е изд. СПб., 1830. Т. 5. С. 292).

[17] Первые два представления «Недоросля» Д. И. Фонвизина в Москве состоялись 14 и 17 мая 1783 г.

[18] Трагедия в стихах «Пальмира» впервые была представлена 26 мая 1783 г.

[19] Стихотворное письмо Горчакова к Шипову см.: Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Л., 1959. С. 93.

[20] Федор Григорьевич — Карин.

[21] Песнь 6-я поэмы Вольтера «Орлеанская девственница».

[22] О каком стихотворении Горчакова идет речь, неясно.

[23] Микулин — см. прим. 10.

[24] В приложении к изданию комической оперы Николева «Розана и Любим» (М., 1781) была напечатана первая басня Хвостова «Притча. Роза и любовь», расхваленная Николевым.

[25] Комическая опера Горчакова «Калиф на час» была представлена 21 мая 1784 г. в Москве.

[26] Григорий Иванович — Шипов. См. прим. 5.

[27] Михаил Никитич — Муравьев, поэт; знакомый Хвостова с конца 1770-х гг.

[28] «Щастливая тоня», комическая опера, была представлена 14 января 1786 г. (изд. М., 1786).

[29] Творец Сорены — Николев, автор трагедии в стихах «Сорена и Замир».

[30] Замысел трагедии Горчакова из истории инков, по-видимому, не был осуществлен.

[31] Возможно, речь идет о семействе Николая Михайловича Голицына, владельца Вязем, общего приятеля Горчакова и Николева. Комедия Горчакова неизвестна.

[32] О какой пьесе идет речь, не установлено.

[33] «Федра», трагедия Ж. Расина. На письме имеется позднейшая приписка почерком секретаря Хвостова, сделанная, видимо, под диктовку: «Кроме сей первой сцены от Горчакова „Федры" ничего не осталось; сказано, видно, было отрицательное: не продолжать».

[34] Возможно, имеется в виду эпиграмма Хвостова «Вору у Аполлона», датированная 1789 г. и содержащая обвинения в заимствованиях у разных авторов и подражании им; это распространенный тип нападок на «переимчивого» Княжнина (*Хвостов Д. И.* Полн. собр. стихотворений. 3-е изд. Т. 5. С. 297).

[35] Существует издание «Ифигения, трагедия в пяти действиях. На российские стихи свободно преложенная с господина Расина» (М., 1796). Возможно, это и есть перевод Хвостова. Он приписывался Ф. Г. Карину, однако сохранилось свидетельство Хвостова (племянника Карина), что каринский перевод не был напечатан (см.: *Саитов В. И.* Ф. Г. Карин: Один из малоизвестных писателей второй половины XVIII в. СПб., 1893. С. 20).

Ф. З. КАНУНОВА

КАРАМЗИН И ЖУКОВСКИЙ

(Некоторые вопросы изучения русской истории по материалам библиотеки В. А. Жуковского)

В библиотеке В. А. Жуковского, как это ни странно, не сохранилось ранних изданий сочинений Карамзина, его журналов, альманахов — всего того, что бесспорно очень внимательно читал Жуковский, что способствовало становлению его как литератора и поэта. Об этом свидетельствует и начало творческого пути Жуковского, и круг нравственно-эстетических, философских проблем, над которыми он размышляет в своих статьях, письмах, дневниках, и, наконец, многочисленные признания поэта о влиянии на него Карамзина. «У меня в душе есть особенно хорошее свойство, которое называется *Карамзиным*: тут соединено все, что есть во мне доброго и лучшего».[1] Эти слова написаны Жуковским в 1816 г., но и раньше и позднее отношение Жуковского к Карамзину было отношением благодарного ученика, который осознавал большое влияние учителя не только на собственный жизненный и творческий путь, но и на русскую литературу и культуру в целом.

Можно говорить о трех важнейших гранях воздействия Карамзина на Жуковского. Во-первых, о влиянии личности Карамзина, общественном, нравственном, художническом. Для Жуковского Карамзин был примером писателя-патриота, дворянского просветителя. Во-вторых, о влиянии карамзинского сентиментализма, его философии, идей и образов, в частности о заботливом, поистине «карамзинском», отношении Жуковского к развитию русской художественной прозы. В пометах на книге А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка»[2] Жуковский вступает с ее автором в бой за Карамзина, с именем которого он, как указывалось, связывает прогрессивное развитие русской литературы. В неизданном «Конспекте по истории русской литературы», относящемся примерно к 1827 г., место Карамзина определяется Жуковским совершенно четко: «Появление журнала, который Карамзин начал редактировать по возвращении из своего путешествия, произвело полный переворот в русском языке. Карамзин открыл тайну *слова* в прямом значении — ясности, изяще-

---

[1] *Жуковский В. А.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1960. Т. 4. С. 568.

[2] См.: Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Томск, 1978. Ч. 1. С. 110.

ства и точности».[3] Как историк литературы, Жуковский в своем «Конспекте» рассматривает эволюцию Карамзина — от периода издания «Московского журнала», который «носит еще характерные черты молодости»,[4] до «Вестника Европы», вершинной точки Карамзина — собственно писателя. «Его проза, — говорит Жуковский, — достигает здесь истинного совершенства».[5] Весьма характерно, что не «Бедная Лиза» или «Наталья, боярская дочь», очень нашумевшие ранние повести Карамзина, а зрелая сентиментальная проза — «Марфа Посадница», «Моя исповедь», «Чувствительный и холодный. Два характера», «Рыцарь нашего времени» — производит на Жуковского сейчас (середина 20-х гг.) наибольшее впечатление. Именно в этих произведениях Карамзин преодолевает издержки крайней сентиментальности, стремится к большему жизнеподобию и намечает пути дальнейшего развития русской прозы.[6]

Что до высокой оценки Карамзина-прозаика, то надлежит учесть, что уже в самом начале своего творческого пути Жуковский придает огромное значение художественной прозе, считая именно уровень ее эстетического развития критерием зрелости словесности (см. спор с Шишковым).[7] Однако важнейшей предпосылкой высокохудожественной русской прозы является, по его мнению, высокий уровень литературного языка: «Стихотворные величественные картины меньше требуют чистого языка, нежели простые мысли. . .» [8]

Исследование круга чтения Жуковского наглядно свидетельствует об универсализме его мышления, в котором глубоко слился интерес к философии, естествознанию, истории, эстетике, поэзии всех веков и народов, что было характерно и для Карамзина. Часто Жуковский идет от тех же источников, что и Карамзин, проходит в своем образовании те же пути развития. Так, например, важнейшим философским трудом Карамзина явился перевод наиболее значительных глав книги Шарля Бонне «Созерцание природы». Жуковский, как показывают пометы на книге,[9] тоже внимательно прочел труд Шарля Бонне, и с особенным интересом именно те главы, которые перевел и напечатал Карамзин. Очень родственно карамзинскому, хотя и вполне самостоятельно, отношение Жуковского к Кондильяку, к Ж.-Ж. Руссо, что явилось предметом специального исследования.[10] Здесь же уместно сделать следующее общее замечание.

---

[3] *Жуковский В. А.* Эстетика и критика. М., 1985. С. 321—322.
[4] Там же.
[5] Там же.
[6] См.: *Канунова Ф. З.* Из истории русской повести: (Историко-литературное значение повестей Н. М. Карамзина). Томск, 1967.
[7] Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. 1. С. 122.
[8] Там же. С. 111.
[9] Там же. С. 339—342.
[10] Там же. 1984. Ч. 2. С. 229—312.

Когда мы говорим о глубоком влиянии Карамзина на Жуковского, и в частности на его эстетику, то обращаемся, как правило, к раннему Жуковскому, который начинал в русле карамзинского сентиментализма. Однако при этом нельзя забывать, что некоторые коренные идеи эстетики поэта, его концепции человека (идея внесословной ценности личности, природной склонности человека к добру, свободы выбора, нравственного самоусовершенствования) — весь просветительский круг проблем, которые во многом определяют природу романтизма Жуковского, восприняты им в тесной связи с Карамзиным.

И наконец, третий аспект — это воздействие Карамзина-историка на формирование исторических и эстетических взглядов поэта. «История государства Российского», отрывки из которой Жуковский читал еще до опубликования первых восьми томов в 1816 г., вызвала его восторженное отношение: «Я провел несколько сладостных дней, читая его историю. Он даже позволил делать мне выписки» (письма от марта 1815 г.).[11] Иногда сам Карамзин знакомил Жуковского с отдельными главами своего труда. «Он читал нам описание взятия Казани, — сообщает поэт И. И. Дмитриеву в феврале 1816 г. — Какое совершенство! И какая эпоха для русского появление этой истории! Какое сокровище для языка, для поэзии, не говорю уже о той деятельности, которая должна будет родиться в умах. Эту историю можно назвать *воскресителем прошедших веков бытия нашего народа* <. . .> Я желаю быть ему подобным в стремлении к хорошему».[12] В этом мнении помог утвердиться Жуковскому и А. И. Тургенев, который в определенной мере руководил историческим образованием поэта.

А. И. Тургенев очень хорошо почувствовал определенные просветительские тенденции в «Истории» Карамзина, ее достаточно высокий для своего времени историографический уровень и незаурядную художественную форму. В письмах 1808—1816 гг. он неизменно положительно и даже восторженно отзывался об «Истории» Карамзина. При этом следует отметить, что в своем отношении к Карамзину Тургенев претерпел определенную эволюцию. В геттингенский период он резко критически отнесся к статье Карамзина «О случаях и характерах Российской истории, которые могут быть предметом художеств». Научившись в Геттингене критицизму, Тургенев увидел в статье ориентацию на вымысел, «историческую басню», отсутствие критически проверенных фактов. В подходе к материалу Тургенев не различал научного и поэтического подхода, в то время как для Карамзина такое различие было принципиальным.

Впоследствии, изменив свой взгляд на Карамзина, А. И. Тургенев и сам указывал на свое прежнее холодно-критическое к нему

---

[11] Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895. С. 143.
[12] *Жуковский В. А.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 568.

отношение: «Я совсем не был пристрастен к Карамзину. Это и ты, и Шлецер знаете».

Начиная с 1808 г. А. И. Тургенев множество раз в письмах к братьям, в разговорах с Жуковским высказывает горячее одобрение труду Карамзина-историка, методам его исследования. В письме от 23 июля 1808 г., говоря о своей большой дружбе с Жуковским, которую он считает «даром промысла», Тургенев тут же сообщает: «Вчера был у Карамзина в деревне. Восхищался его <. . .> историей. Я еще ни на русском, ни на других языках ничего подобного не читал тем отрывкам, которые он прочел мне из своей книги. Какая критика, какие исследования, какой исторический ум и какой простой, но сильный и часто красноречивый слог! Он превзошел себя. Скажи это Шлецеру. Открытия его в русской истории, собрания его редких и совсем неизвестных рукописей удивит его <. . .> Какой порядок в расположении и как он умел воспользоваться летописями. В этом отношении его можно сравнить только с швейцаром Миллером <. . .> Карамзин не забывает ничего в примечаниях и помещает в них целые тирады и примечательные пиесы, которые без того могли бы потеряться для любителей истории. От сего <. . .> течение в слоге и самое повествование ни мало не терпят».[13] Через месяц в письме к брату эти мысли повторятся. Подобное мнение об «Истории государства Российского» у Тургенева устойчиво. Через год, 29 августа 1809 г., он снова пишет брату: «Скажите ему (Шлецеру. — *Ф. К.*), что я читал историю Карамзина и восхищался ею. Радовался, что наконец русские имеют или, по крайней мере, скоро будут иметь историю, достойную русского народа <. . .> Карамзин один из лучших историков этого столетия, которое прославили Шлецеры, Миллеры, Робертсоны и Гиббоны. Он смело может быть наряду с ними» (с. 396). «Скажи Шлецеру, — пишет А. И. Тургенев брату через месяц, — что Карамзин нашел новую полную Волынскую летопись, доведенную до 1297 года, богатую подробностями, вовсе неизвестными. Список прекрасный, XIV века; слог для знатоков любопытный, одним словом — сокровище, как пишет ко мне Карамзин. Он несколько ночей не спал от радости <. . .> Карамзин пишет свою историю: я с ним часто переписываюсь, и связь наша утверждается более и более» (с. 402).

Нужно полагать, что подобное отношение А. И. Тургенева к «Истории» Карамзина оказало значительное воздействие на формирование исторических взглядов Жуковского.

История интересовала Жуковского глубоко, страстно всегда, но было два периода преимущественного внимания к проблемам развития русской истории, и главным образом древней. Это прежде всего 10-е годы, когда эпицентром исторических штудий явился замысел поэмы о Киевской Руси — «Владимир», и 20-е

---

[13] Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911. Вып. 2. С. 390. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

годы — в связи с педагогической деятельностью Жуковского. Одновременно к историческим занятиям Жуковского настоятельно обращали его творческие замыслы. Не случайно именно в этот период он создает художественный перевод «Слова о полку Игореве». Следует заметить, что в одном из рукописных вариантов переложения «Слова» Жуковский пишет на полях: «Спр‹осить› у Кар‹амзина›»,[14] что само по себе весьма показательно.

О внимательном изучении Жуковским труда Карамзина свидетельствуют не только книги, но и хранящиеся в бумагах поэта подробные конспекты «Истории государства Российского». На основании этих конспектов наряду с многочисленными другими источниками (летописи, Ломоносов, Шлецер, Эверс и др.) Жуковский пишет две статьи: «Введение в историю государства Российского» и «Черты истории государства Российского». Сравнение этих статей с трудом Карамзина [15] свидетельствует не только о явной зависимости Жуковского от автора «Истории государства Российского», но и об определенном расхождении с ним, которое особенно проявилось к концу 20-х гг.

В истории Древней Руси Жуковский акцентирует внимание на том, что помогает с особой наглядностью высветить его концепцию просвещенного монарха, как она сложилась в конце 20—30-х гг. XIX в. Он строго судит о прошлом с позиции своего современника, с горечью говоря об отсутствии у правителя «ума и мужества»,[16] осуждая жестокое хищничество, которое обрекает князя «умереть без славы». У Карамзина — тон более спокойный, эпический, необходимый историку, который повествует о *былом*. Карамзин *пишет* историю, Жуковский *учит* ею. Этот принцип отношения к прошлому отразился уже в самом названии его программной статьи «Польза истории для государей».

Вместе с тем необходимо отметить, что исторические взгляды Жуковского не выходят за рамки дворянской историографии 20—30-х гг., несут на себе черты ее ограниченности и одновременно свидетельствуют о ее кризисе. Теория просвещенного монарха приходит в столкновение как с историей российского самодержавия, так и с реальной практикой Жуковского — воспитателя будущего царя.

Пометы Жуковского на брошюре Н. Г. Устрялова «О системе прагматической русской истории» [17] и «Истории русского народа» Н. А. Полевого [18] вновь обращают нас к проблеме «Жуковский и Карамзин — историки», поскольку и Н. Г. Устрялов,

---

[14] Архив В. А. Жуковского // ГПБ, ф. 286, оп. 1, ед. хр. 27, л. 3.

[15] Подробнее см.: Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. 1. С. 444—448.

[16] Там же.

[17] *Устрялов Н.* О системе прагматической русской истории: Рассуждение, написанное на степень доктора философии. СПб., 1836. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

[18] *Полевой Н.* История русского народа. М., 1829. Т. 1.

и Н. А. Полевой спорят с Карамзиным по ряду историографических проблем.

Бесспорна положительная реакция Жуковского-читателя на те места в книге Устрялова, где о трудах Карамзина говорится как о «великом подвиге» (с. 6),[19] где характеризуется высокая источниковедческая культура Карамзина-историка, его историко-критический метод, его беспримерное искусство рассказа. Слова Устрялова: «Самые строгие судьи его могут говорить, *рассуждать и спорить только о том, что описал Карамзин; далее* предела, где пресеклась его История, они не восходят» (с. 12), — Жуковский отчеркивает и снабжает двумя восклицательными знаками.

Однако интерес Жуковского вызывает не только хвала Устрялова в адрес Карамзина, но и некоторые критические замечания (Жуковский, например, разделяет упрек Карамзину, не давшему «связной истории» Золотой Орды, несмотря на наличие материалов).

В своем споре с Устряловым Жуковский выделяет две проблемы — проблему периодизации русской истории и норманнскую теорию происхождения государства российского. Устрялов идет от периодизации Шлецера, который делит русскую историю на пять периодов (с. 13):

от 862 до Святополка — рождающаяся;
от Ярослава до монголов — разделенная;
от Батыя до Иоанна III — угнетенная;
от Иоанна до Петра — победоносная;
от Петра до Екатерины — процветающая.

Жуковский в своих исторических изысканиях идет вслед за Карамзиным, выделяющим три периода: [20]

древний — от Рюрика до Иоанна III;
средний — от Иоанна до Петра;
новый — от Петра до Александра.

Система уделов, как утверждает Карамзин, была характерна для первой эпохи, единовластие — для второй, изменение гражданских обычаев — для третьей.

В полемике Карамзина со Шлецером по проблеме периодизации Устрялов на стороне Шлецера (с. 13—14). Судя по замечаниям, Жуковский не разделяет этой точки зрения (13 вопросительных знаков, вопросы и отрицательные заметки на полях).[21] Приведем наиболее характерное место из брошюры Н. Устрялова с замечаниями Жуковского.

---

[19] См. подробное описание помет В. А. Жуковского в кн.: Библиотека В. А. Жуковского в Томске. Ч. 1. С. 450—461.

[20] Подробнее см.: Там же. С. 449—464.

[21] Критика Карамзина в книге Устрялова встретила неодобрение в пушкинском кругу. См.: *Гиллельсон М. И.* П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 243—245.

Сказав: Русская история лучше, истиннее, скромнее делится на Древнюю, Среднюю, Новую, он (Карамзин. — *Ф. К.*) очевидно принимал эти слова в том значении, в каком понимают их Европейские ученые при рассмотрении Всемирной истории, т. е. *Древняя История представляет мир исчезнувший, Средняя служит переходом от Древнего к Новому; Новая объясняет начало и развитие тех элементов, из коих обновлялась современная жизнь. Если допустить эти основания*, идея о древнем Русском мире поведет к ложным умозаключениям. В таком случае надо будет предположить, что со времени Иоанна III, после крутого переворота, начался новый порядок вещей, изменились отношения внутренние и внешние (с. 14—15).[22]	*Нет* *Автор утверждает сперва ложь, потом себя же опровергает*

Не вдаваясь сейчас в суть этого спора, укажем лишь, что главное недовольство Жуковского вызывает сам принцип подхода Устрялова к периодизации Карамзина и в связи с этим его взгляд на *древний* период русской истории.

Проблема исторического развития теснейшим образом связана для Жуковского с проблемой преемственности. С этой точки зрения поистине огромное значение имеет *древний период*. По мнению Жуковского, это важнейший период русской истории, заложивший основу ее дальнейшего развития, национального, общественного, политического (бедствие «удельной» политики, важность единодержавной власти, спасительность просвещения, в этот период сложились исконные и доминантные черты русского национального характера). Он вполне соглашался с Карамзиным, утверждавшим в полемике со Шлецером, что «век св. Владимира был уже веком могущества и славы, а не рождения». Поэтому для Жуковского древняя история — не просто «*мир исчезнувший*», как пишет Устрялов, и он ставит на полях свое решительное «*нет*». Устрялов, как думает Жуковский, не понял сути периодизации Карамзина, в основе которой лежит глубокая преемственность периодов. Отсюда запись на полях: «*Автор утверждает сперва ложь, потом себя же опровергает*». Отметим в связи с этим, что у Жуковского резко отрицательную оценку вызывает высказанная Н. Полевым в предисловии к «Истории русского народа» мысль о том, что государство русское начало существовать только со времени свержения монголо-татарского ига. Жуковский пишет в непривычной для него форме: «О, дурак». Такая реакция связана с особым отношением поэта к древнему периоду русской истории.

К числу очень важных и спорных вопросов, в понимании которых Жуковский, судя по всему, разошелся с Устряловым, относится норманнская теория, как она трактуется в книге «О системе прагматической русской истории». Дважды Устрялов в историографической части своего труда касается этой проблемы,

[22] Курсивом выделена часть текста, подчеркнутая Жуковским.

и дважды Жуковский ставит на полях вопросительный знак (с. 16, 18; слова, подчеркнутые Жуковским, выделены курсивом). Полемизируя с Карамзиным о характере древней русской истории, Устрялов говорит, что «удельная система была господствующим явлением <. . .> только от Ярослава до монголов; до Ярослава же главным явлением *было быстрое расширение норманнского господства* над славянами и основание Руси». Критикуя общие методологические принципы Карамзина, Устрялов пишет: «Автор принимает за истину, что норманны положили в земле славянской начало Руси; следовательно, *как виновники бытия Русской державы, они заслуживали самого тщательного внимания бытописателя*». Жуковский, по всей видимости, не склонен преувеличивать роли норманнов в русской истории. Между тем он так же, как и Карамзин, поддерживает норманнскую теорию происхождения российского государства, хотя и понимает ее своеобразно. Жуковский вслед за Карамзиным говорит «о вероятности Нестерова сказания, что князья варяжские *не завоевали* нашего отечества, и были *избраны славянами* управлять государством. Именно поэтому законы Ярослава не полагают никакого различия между россиянами варяжского племени и славянами».[23]

Несмотря на то, что Жуковский вовсе не представляет себе отношения варягов и славян (русских) как идиллические, эта мысль была чрезвычайно важна, так как придавала норманнской теории своеобразную трактовку. Речь шла не об иноземном происхождении российского государства, а об иноземных правителях. Предпосылки же для возникновения русского государства возникли у самих славян. Вот почему Жуковский, читая Устрялова, не может согласиться с явным преувеличением роли норманнского господства и тем более видеть в норманнах «виновников бытия русской державы».

В обнаруженном нами недавно экземпляре «Истории русского народа» Н. Полевого (М., 1829) основные маргиналии Жуковского связаны с оценкой «Истории государства Российского». Жуковский не согласен с Полевым, утверждавшим в предисловии, что «*благоговение к Карамзину многих его почитателей доходило до совершенного излишества*». Жуковский подчеркивает эти слова и ставит знак вопроса.[24] Не принимает он некоторых методологических принципов истории Полевого, и в частности, как указывалось выше, его периодизацию, его отношение к истории Древней Руси.

Но, пожалуй, более всего спорит Жуковский с Полевым по принципиально важному для него вопросу — о художественности «Истории государства Российского».

Полевой скептически относится в своем введении к мысли Карамзина о том, что главное достоинство истории он видит

[23] *Карамзин Н. М.* История государства Российского. М., 1816. Т. 2. С. 63.

[24] *Полевой Н.* История русского народа. Т. 1. С. XXXV.

«в красоте и силе повествования» (слова Карамзина).[25] «Всякая история хороша, — утверждает Полевой, — если она и не красноречиво написана». Против этих слов Жуковский записывает на полях: «Нет! если историк этого не умеет, то для кого он трудится».[26] Главное достоинство «Истории государства Российского» в том, что это «сокровище для языка, для поэзии».[27] Именно Карамзин-художник сумел, как пишет Жуковский, создать историю, которую «можно назвать воскресителем прошедших веков бытия нашего народа». Здесь уместно вспомнить слова Пушкина: «История народа принадлежит поэту».[28]

Весьма показательно, что Жуковский в связи именно с «Историей государства Российского» Карамзина выразил понятие «история — искусство», которое через сорок лет сформулирует Лев Толстой. Метод Карамзина-историка, синтезировавшего историческое и художественное, был чрезвычайно дорог Жуковскому-поэту. В «Конспекте по истории русской литературы» (1827) Жуковский назовет «Историю государства Российского» лучшим памятником российской словесности. Таким образом, исторические и художественные интересы Жуковского слились воедино именно в процессе его исследования «Истории» Карамзина. На перекрестке этих путей рождались его художественные замыслы — от «Владимира» до стихотворного переложения «Слова о полку Игореве».

---

[25] Там же. С. XXXVI.
[26] Там же. С. XXIV.
[27] См. цитированное выше письмо к И. И. Дмитриеву.
[28] Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М., 1982. С. 359.

В. Э. ВАЦУРО

И. И. ДМИТРИЕВ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОЛЕМИКАХ НАЧАЛА XIX ВЕКА

1

Полемика, начавшаяся с выходом в свет «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка» А. С. Шишкова (1803), была в русской литературе событием первостепенной важности, но даже самый ход ее, не говоря уже о ее отдаленных результатах, изучен лишь в общих чертах. Всестороннее ее исследование было бы по существу исследованием всего русского литературного движения начала века, ибо сама она была не причиной, а следствием тех процессов, которые уже наметились в литературе предшествующего десятилетия. Настоящая работа, конечно, не может ставить себе таких задач; она коснется лишь некоторых эпизодов этой полемики, отразившихся и в последующих литературных баталиях. И здесь наше внимание почти неизбежно привлечет фигура одного из виднейших ее негласных участников, словно намеренно скрывшаяся в тени и из своего убежища управлявшая тайными ее пружинами. Речь идет об Иване Ивановиче Дмитриеве, в то время уже известном поэте, обер-прокуроре и товарище министра, в 1801 г. вышедшем в отставку и переехавшем в Москву, в небольшой дом у Красных ворот, куда он перевез прекрасную библиотеку и коллекции. Это удаление «парнасского инвалида» в частную жизнь было во многом жестом социального поведения и выражением некоей жизненной философии, затем стилизованной в многочисленных воспоминаниях о Дмитриеве в стихах и прозе.

Дмитриев завершал свою литературную деятельность; он готовил к изданию итоговое собрание своих сочинений (1803—1805) и демонстративно уступал литературную арену новым поколениям.

Дмитриев, конечно, не мог не знать, что литературный фронт противников Карамзина, определившийся еще в 1790-е гг. и включавший П. И. Голенищева-Кутузова, Николева, Шатрова, Горчакова и некоторых других, продолжает существовать. Однако в начале века он вряд ли ожидал прямой агрессии. Тем временем в Петербурге выходит книга Шишкова и в декабре 1803 г. попадает в руки Дмитриева.

Мы ничего не знаем о том, какова была его первая реакция. Хотя Шишков и полемизировал прямо со статьей Карамзина «Отчего в России мало авторских талантов» и даже приводил в пример «порчи слога» его отдельные фразы, — все же он склонен был отделять самого Карамзина от его последователей, и это сказывалось в самом тоне его трактата. Шишков упоминал и о Дмитриеве — как об одном из «стихотворцев», которые, подобно Петрову, Майкову, Нелединскому, Капнисту, «нигде не потчевали» его «русскими щами, по-французски приготовленными». По этим причинам у Дмитриева не было формальных оснований отнести к себе и приложенную к книге ядовитую пародийную «Элегию», где современный «пятиметр» изъясняется в любви «нынешним просвещенным слогом, в котором сохранен весь французский элеганс»:

Холодный человек тебе даст тотчас цену,
Деятельность его получит перемену;
Он меланхолией своей явит пример,
Какой ему дала ты нежный характер <. . .>
Усовершенствовав своих всех мыслей строй,
Со вкусом, с тонкою хороших слов игрой,
Любовные тебе начнет он строить куры;
Чего не мог над ним *эфор* самой натуры,
Чтоб посмотрелся он когда-нибудь в трюмо,
Чтоб вырвалось когда из уст его бонмо,
Чтоб у него когда идеи были гибки,
То сделаешь ты все à force своей улыбки.[1]

По-видимому, Дмитриев не без основания счел эти стихи пародией на эпигонов, с которыми он сам начинал борьбу еще в середине 1790-х гг., и этим объясняется его примирительно-сдержанный отклик на книгу в письме к Д. И. Языкову, археографу и переводчику, члену петербургского Вольного общества любителей словесности, наук и художеств: «Не грех ли вам петербургским нападать на наших московских? Право, нам еще рано браниться».[2]

Трудно сказать, в какой мере было искренним это миролюбие: Дмитриев знал, что критика исходит из враждебного лагеря. Ему известно было, что Языков не склонен разделять мнения Шишкова; таким образом, он обращался к союзнику.

В следующем же месяце в новом журнале, с которым был непосредственно связан Языков, — «Северном вестнике» И. И. Мартынова — открывается «брань». В «Письме от неизвестного» (в котором иногда подозревают самого Д. И. Языкова) подвергались

---

[1] *Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1803. С. 390, 450—453.

[2] *Дмитриев И. И.* Сочинения / Ред. и прим. А. А. Флоридова. СПб., 1895. Т. 2. С. 186. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.

отрицанию если не исходные посылки Шишкова, то предлагаемые им меры для «очищения» языка.[3]

«Северный вестник» в начале своего существования заявил себя не только противником Шишкова, но и адептом Дмитриева. В той же первой книжке, где выступил «А.:—З.:», поместилось и апологетическое объявление о только что вышедшей первой части дмитриевских «Сочинений и переводов». Издатели обращали внимание на новую басню — «Мышь, удалившаяся от света» — и, воспользовавшись случаем, перепечатали ее целиком.[4]

Дмитриев спешит закрепить отношения. Он отправляет Языкову новую басню — «Ружье и Заяц»; в мартовском номере она была напечатана — под криптограммой, но с прозрачным примечанием издателей: «Хотя сочинитель сей басни и желает остаться неизвестным, но несмотря на то читатели узнают его. Издателям остается только благодарить его за присылку сего нового произведения и просить о продолжении украшать журнал их своими сочинениями».[5]

Тем временем в московской журналистике происходили свои изменения. Граф Д. И. Хвостов, переехавший в Москву и в 1803 г. направивший по этому случаю Дмитриеву приветственное послание,[6] с 1804 г. затеял вместе с П. И. Голенищевым-Кутузовым и Г. С. Салтыковым собственный журнал — «Друг просвещения». И. И. Дмитриев рассказывал племяннику, что все три поэта «не имели счастья» у журналистов и изыскивали способ предавать печати свои заведомо бездарные сочинения; обсуждая предварительно «пиэсы» друг друга, они нарочно хвалили как раз самые плохие, чтобы выделяться самим на их фоне.[7]

Из всех издателей «Друга просвещения» фигура Павла Ивановича Голенищева-Кутузова должна была вызывать у Дмитриева наибольшую враждебность. Еще в 1790-е гг. он заявил себя непримиримым противником карамзинской литературной реформы, и уже тогда в напечатанном им памфлете на Карамзина обрисовались общие контуры идеологических обвинений, которые впоследствии составят содержание его доносов графу Разумовскому, — обвинений в «якобинстве» и развращении нравов. Кутузов пользовался влиянием в Министерстве народного просвещения; в начале 1803 г. ожидали, что он будет куратором Московского университета после М. М. Хераскова; в кругу И. П. Тургенева, давнего его неприятеля, эта перспектива была постоянным предметом обсуждения. В совместном письме Ал. И. Тургенева и А. С. Кайсарова из Геттингена от 26 января

---

[3] Северный вестник. 1804. № 1. С. 17 (подп.: А.:—З.:). Об авторстве см.: *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 80.

[4] Северный вестник. 1804. № 1. С. 29.

[5] Там же. № 3. С. 347; ср.: *Дмитриев И. И.* Сочинения. Т. 2. С. 187.

[6] *Чулицкий В.* И. И. Дмитриев // ЖМНП. 1902. № 4. С. 363.

[7] *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. СПб., 1869. С. 83.

(7 февраля) мы находим одну из ранних эпиграмм на Кутузова — куратора и поэта:

Полсотни эпиграмм, полдюжины сатир,
Пятнадцать мерзлых од, да наизусть псалтирь,
К<утузо>в! вот и все, чтоб быть в Руси актером,
Чтоб быть хоть чем-нибудь, хоть только куратером.[8]

Это, конечно, точка зрения всего карамзинского круга — и не в последнюю очередь Дмитриева. В 1812 г. она отразится в эпиграмме Вяземского: «Картузов куратор, Картузов сенатор, Картузов поэт. . .» Однако в 1803 г. куратором назначили М. Н. Муравьева — и положение стабилизировалось. Тем не менее имя Кутузова как члена университета время от времени появляется в переписке Ал. Тургенева за эти годы — нередко в противопоставлении Карамзину; 9 (21) августа 1803 г. он выражает надежды, что новое царствование будет воздавать почести достоинствам, а не чинам, и что «Карамзин-поручик, верно, будет предпочтен Кутузову — тайному советнику».[9] В январе 1804 г. до геттингенских студентов доходит известие о начале «Друга просвещения», и А. С. Кайсаров, к этому времени уже сильно охладевший к Карамзину, тем не менее разражается презрительной тирадой: журнал Кутузова издается для изгнанья желчи.[10] Ему известно, стало быть, что Кутузов задает тон всему предприятию и что журнал должен носить полемический характер. В этой связи стоит обратить внимание на упоминание в эпиграмме о «полусотне эпиграмм» и «полдюжине сатир» Кутузова, которого в кругу Тургеневых считают записным сатириком. Несомненно, что современникам были известны какие-то полемические сочинения Кутузова, до нас не дошедшие.

Таким образом, у Дмитриева, казалось бы, были все основания ожидать признаков враждебности со стороны нового издания. Однако он был лучше Кайсарова осведомлен о закулисной стороне дела, и, может быть, анекдот, переданный им М. А. Дмитриеву, был придуман задним числом. Во всяком случае в начале 1804 г. он относился к журналу более лояльно. Обращает на себя внимание, что издателем журнала был П. П. Бекетов, двоюродный брат Дмитриева. Более того, Дмитриев и сам принял участие в «Друге просвещения», передав сюда автограф Ломоносова,[11] а в февральском номере поместив свою басню «Амур, Гимен и Смерть»; нет сомнения, что через него издатели получили и стихи В. Л. Пушкина, в это время путешествовавшего за границей.[12] Еще весной 1804 г. его отношения с петербург-

[8] Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911. Вып. 2. С. 54.
[9] Там же. С. 101, 102.
[10] Там же. С. 145—146.
[11] Друг просвещения. 1804. № 1. С. 42; ср.: *Дмитриев И. И.* Сочинения. Т. 2. С. 161; *Кулябко Е. С., Бешенковский Е. Б.* Судьба библиотеки и архива Ломоносова. Л., 1975. С. 120.
[12] *Д<митрие>в.* Амур, Гимен и Смерть: Басня // Друг просвещения. 1804. № 2. С. 108—109 (эта публикация не была учтена в последующих изда-

скими и московскими журналами благополучны; он занимает выжидательную позицию и не вступает в полемики. Он не делает никаких попыток защитить близкого ему В. В. Измайлова, начавшего в мае 1804 г. в своем «Патриоте» полемику о «Рекрутском наборе» Н. Ильина. Когда Д. И. Языков с необычайной резкостью напал на «Журнал для милых» М. Н. Макарова,[13] Дмитриев даже благодарил его за «обличение пачкунов» (II. 189). В мае 1804 г. граф Хвостов на страницах «Друга просвещения» печатно соглашается с основными положениями книги Шишкова, но и здесь ни Карамзин, ни Дмитриев не были прямо затронуты; Хвостов даже оговаривался, что «язык Кантемира» уже устарел для поэзии и что «сокровища из древней кладовой» требуют «нового облика и покроя».[14] В своих теоретических декларациях Хвостов вообще был умерен; позднее он будет учитывать возражения карамзинистов Шишкову, ссылаясь на «вкус», «употребленье» как регулятор стиля и предупреждая против неумеренного введения в современную речь элементов языка «мертвого», т. е. церковнославянского.[15] Однако в развертывавшейся журнальной полемике имели значение не столько декларации, сколько творческая практика и детали литературных и внелитературных взаимоотношений, сейчас едва нами ощущаемые. Вряд ли случайно поэтому, что после мая 1804 г. имена Дмитриева и его сторонников исчезают со страниц «Друга просвещения», а вместо них появляются новые: прежде всего Д. П. Горчакова,[16] а позднее и Н. П. Николева и самого Шишкова — писателей явно антикарамзинского лагеря.

«Друзья просвещения» искали литературной поддержки. Им нужно было имя, которое придало бы журналу безусловный авторитет, — и они обращаются к Державину. В мае 1804 г. Хвостов просит у Державина разрешения перепечатать только что вышедшие отдельно «Колесницу» и «Фонарь»; Державин дает согласие. Оба стихотворения открывают июльскую книжку (первую книжку за второе полугодие) — и издатели спешат оповестить о начавшемся сотрудничестве: в том же номере Хвостов публикует свое послание к Державину. В сентябрьской

нниях Дмитриева); *Пушкин В.* Отрывок из поэмы «Времена года», г. Томпсона // Там же. С. 120—121 (с пометой: «Париж. 8 генваря 1804»); *‹Пушкин В. Л.›* Стихи на заданные рифмы («Чем я начну теперь? Я вижу, что *баран*. . .») // Там же. № 5. С. 131—132 (эта публикация также была впоследствии забыта).

[13] Северный вестник. 1804. № 8. С. 259—261 (подп.: Я — ‹Д. И. Языков›).

[14] *Хвостов Д. И.* Письмо о красоте российского языка // Друг просвещения. 1804. № 5. С. 100—101.

[15] См., например: Полн. собр. стихотворений графа Хвостова. СПб., 1829. Т. 3. С. 149—150. О позиции Хвостова см. также: *Западов А. В.* Д. И. Хвостов и его «Записки» // Литературный архив. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 359—364.

[16] *Горчаков Д. П.* 1) Письмо к Г. Д. И. Х‹востову›; Стансы; Письмо к Ирине Михайловне Спиридовой // Друг просвещения. 1804. № 5. С. 116, 123, 131; 2) Письмо к К. С. Н. Д‹олгорукому› // Там же. № 6. С. 112; 3) Письмо к Михайле Антоновичу Шишкову // Там же. № 7. С. 91.

книжке печатаются державинская ода «На возвращение из Персии. . . графа Зубова», ранее не обнародованная и только что подвергшаяся переработке (под ней дата: «Июня 21 дня 1804 года»), и вслед за нею послание Державина Хвостову «Волхов Кубре»[17] с издательским примечанием: «Хотя сия пиэса сообщена нам от графа Хвостова без имени сочинителя, но всякий легко угадает, что она есть творение преславного Барда, вместе Горация и Анакреонта нашего». Создавалась иллюзия прочных двусторонних связей.

Между тем Дмитриев также поддерживает связи с Державиным и принимает свои меры. Еще в феврале Державин сообщал ему о своем разговоре с Шишковым по поводу критики Карамзина; уклонившись от разбора «грамматических тонкостей», он дал понять Шишкову, что считает его рассуждения «пристрастными», и вызвал неудовольствие.[18] Он, впрочем, сторонится враждебных партий и предпочитает соблюдать выжидательный нейтралитет. Дмитриев учитывает эту позицию и вместе с тем находит тему, которая на какое-то время выводит Державина из равновесия. Он пишет ему о каких-то вновь появившихся стихах, и в их числе о переводах Голенищева-Кутузова из Пиндара. Эта тема не могла быть безразличной Державину, переводившему «Пиндарову олимпическую первую песнь». В мае Дмитриев отправляет Державину письмо с указанием на стихи Кутузова, а 6 июня Державин разражается гневной тирадой: «. . .читал я и все те стихотворения в переводе, о коих вы пишете, и, между нами сказать (что это никуды на сторону не выйдет), весьма удивляюсь, особливо Пиндаровым одам!!! соображая их только с немецким прозаическим переводом! Что же скажут знающие язык греческий? Как то и случилось, что при чтении их некто проворчал:

Пиндар бросал и молнии и громы;
Кутузов же зажег пучок соломы».[19]

Как мы увидим далее, этот эпизод не остался без последствий, и, по крайней мере в отношении Кутузова, Державин полностью стал на сторону Дмитриева. Это было важно: как мы уже говорили, Кутузов был наиболее влиятельным и агрессивным среди московских противников Карамзина. Не исключено, что он сам подал повод к полемике — какими-то сочинениями или разговорами, о которых у нас не сохранилось сведений.

---

[17] *Державин Г. Р.* 1) Письмо к И. И. Дмитриеву от 5 июня // Сочинения. 2-е изд. СПб., 1876. Т. 6. С. 168; 2) Фонарь. Колесница // Друг просвещения. 1804. № 7. С. 1; 3) На возвращение из Персии через Кавказские горы графа В. А. Зубова, 1797 года // Там же. № 9. С. 187; 4) Волхов Кубре // Там же. С. 192; *Гр. Хвостов.* К барду // Там же. № 7. С. 11.

[18] *Державин Г. Р.* Сочинения. 2-е изд. Т. 6. С. 162—163 (письмо И. И. Дмитриеву от 28 февр.).

[19] Там же. С. 168—169.

2

Между тем Дмитриев внимательно следит за развитием литературных событий в Петербурге и за формированием шишковской коалиции, к которой стягивались прежние враги Карамзина. Еще в 1790-е гг. в переписке его с Карамзиным мы находим имя Павла Юрьевича Львова — «львенка», как Карамзин называл его в отличие от Н. А. и, может быть, от Ф. П. Львова. Резко иронический отзыв о нем содержался в письме Карамзина от 18 июля 1792 г.; Львов, писал Карамзин, имеет причины горевать от того, что он «имел несчастье написать „Памелу", „Храм бессмертья" и прочее»; в том же письме он упоминал о какой-то эпиграмме Дмитриева «на трех Львовых». Этот П. Ю. Львов был давним знакомым Дмитриева и вначале выступил как сторонник сентиментального направления и печатался в «Московском журнале», однако Карамзин решительно отказывался продолжать с ним сотрудничество.[20]

В начале века имя П. Ю. Львова вновь является на литературной арене: в 1803 г. в Петербурге выходит его «Храм славы российских ироев» — обширное сочинение, включавшее похвальные слова легендарным и историческим лицам от Гостомысла до Ивана Грозного, Минина и Пожарского, с пышным посвящением Александру I. Книга была построена как аллегорическое «видение» самого автора, которому является богиня Славы, открывающая ему пантеон русских исторических лиц; тем самым он как бы сам брал на себя роль «голоса потомства», рупора Славы.

Эта-то книга, вполне «шишковистская» и по своим идеологическим и литературным установкам, встретила полную поддержку у автора «Рассуждения о старом и новом слоге. . .». 19 марта 1804 г. П. Ю. Львов был избран в Российскую академию на место умершего Н. А. Львова [21] — совпадение, по-видимому, случайное, но дававшее новую пищу сопоставлениям Львова «большого» и «маленького». В августе того же года И. И. Дмитриев с раздражением писал Д. И. Языкову об «анекдоте о карле» в «Северном вестнике», написанном «неприлично», «к стыду нашей литературы». «Так ли должны писать члены Российской Академии? <. . .> Карамзин и даже Измайлов не члены Академии, а, право, написали бы лучше» (II. 187). Этот анекдот, принадлежавший как раз Львову,[22] был, конечно, для Дмитриева только удобным предлогом, чтобы выразить свое отношение к новоявленному члену Академии. Через полгода Державин пишет Дмит-

---

[20] Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866. С. 28, 30. О начальном периоде деятельности Львова см.: *Орлов П. А.* Русский сентиментализм. М., 1977. С. 187—191.

[21] Северный вестник. 1804. № 4. С. 119; Отечественные записки. 1826. Ч. 27, № 77. С. 419.

[22] *Ль‹вов› Па‹вел›.* Ефим Пименов, или Редкой пример братской любви. Истинная повесть // Северный вестник. 1804. № 6. С. 334.

риеву, что «маниньский Львов, но надутый великим самолюбием», забыл все его, Державина, прежние благодеяния, более не ходит к нему, обидевшись на какое-то, по-видимому критическое, суждение. «И правду сказать, как не возмериться и не поднимать носу, когда (как слышу здесь) московская публика превозносит его „Храм великих мужей“».[23]

Ободренный своим избранием и поддержкой, Львов тем временем рвался на высоты российского Парнаса и спешил принять участие в конкурсе на золотую медаль Академии: 12 июля 1804 г. было объявлено об условиях конкурса и темах сочинений: похвальные слова Пожарскому и Минину, Ивану Грозному и рассуждение о начале, успехах и распространении словесных наук в России;[24] срок представления сочинений истекал 1 июля 1805 г., рукописи должны были быть анонимны (под девизом). Львов, живший в Вытегре, опоздал с представлением на несколько дней и прислал слово о Пожарском и Минине за своей подписью; Академия отказалась принять его по процедурным соображениям. Возникла переписка; Львов добивался рассмотрения рукописи в общем порядке. Академия настояла на своем и возвратила Львову сочинение,[25] но дело тем не кончилось: 21 ноября 1805 г. Державин сообщал Дмитриеву, что сочинение Львова о Пожарском и Минине читали в собрании литераторов «от 7 часов вечера до 1 за полночь», минуя вступление и первую часть. «Удивительное изобилие, или, лучше сказать, пространное море велеречия. При всем том есть поразительные места, которые совершенную заслуживают похвалу. Это дом Шереметева, или лавка щепетинных товаров и мебелей прекрасных, на которые глядя столбенеешь, не зная, которую выбрать, и в нерешительности выходишь ни с чем».[26] Отношение Державина к сочинению Львова было более снисходительным, чем у Дмитриева, однако он не отказал себе в удовольствии сочинить эпиграмму, которую процитировал Дмитриеву в том же письме:

Историческо-хвально слово,
О муж витийственный, твое отлично, ново.
Тут красота и блеск
И слово в слово арабеск.

К сожалению, мы не знаем точно, как датируется эпиграмма Дмитриева на «Храм славы», который Львов «свахлял» «из щепочек». Эта эпиграмма, озаглавленная «Пародия. . .» — и в самом деле, пародирующая стиль сочинения Львова,[27] имеет оче-

---

[23] *Державин Г. Р.* Сочинения. 2-е изд. Т. 6. С. 180.

[24] Северный вестник. 1804. № 7. С. 93—95.

[25] *Сухомлинов М. И.* История Российской Академии. СПб., 1878. Вып. 4. С. 164—165.

[26] *Державин Г. Р.* Сочинения. 2-е изд. Т. 6. С. 187—188.

[27] Полное заглавие эпиграммы во вновь найденном автографе — «Пародия на слова: Сотворивший небо и землю, тот, который и проч. рек, сотворил нам бессмертного и — Петра Великого, явился, и творец восплескал

видные точки соприкосновения с державинской, которая также несет в себе пародийный элемент. Само слово «арабеск» взято из «Храма славы». Более того, странная формула «историческохвально слово» есть также имитация львовских многосоставных неологизмов, которые считались отличительной особенностью его стиля. Такого рода неологизмы широко практиковали и Шихматов, и Бобров, и сам Державин, однако даже на этом общем фоне эпитеты Львова воспринимались как неорганичные и искусственные и представали как необходимый элемент его «надутого слога».

Львов стремился следовать Державину, однако Державин, как мы видели, пародирует его лексику. В дальнейшем именно за ним утверждается репутация изобретателя новых и «диких слов», и эта репутация настойчиво поддерживается новыми литературными поколениями.

3

Переписка о Львове вновь выявила хотя и не совпадающие полностью, но все же близкие точки зрения Державина и Дмитриева. Вместе с тем, как и ранее, Державин стремится уклониться от публичного заявления своей позиции. Дмитриев также высказывается только в письмах — к Державину, Языкову и, вероятно, другим своим корреспондентам. 15 сентября 1804 г. он пишет Языкову о новой книге Шишкова «Прибавление к сочинению, называемому Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. . .» (она была представлена в Академию 27 августа 1804 г., о чем было объявлено в «Северном вестнике»): «Непременно желаю видеть продолжение ересей нашего славянофила; на сих днях вступают в продажу „Творения“ Пиндара, перетворенные другом его Кутузовым. Вот обращики из него:

Пиит, в *блистании* картин
Не делай с правдой лжи смешенье,
Тебя поя, Танталов сын,
Я древних не приемлю мненье;
Нептун, бог вод, *тебя любя*,
Похитил в пиршестве *тебя*,
Он с помощью коней своих,
Для неба зря *тебя* готовым,
Подъял *тебя* от стран земных,
Да будешь Ганимедом новым;
Отец *тебя* вотще искал:
Для смертных ты невидим стал и проч.

(Олимп. ода к Гиерону, часть 1-я, стр. 31)».

Помимо Кутузова Дмитриев упоминал еще и о Хвостове — о его оде «Безначалие», которая, «вероятно, уже отправлена и в Петербург»

творению своему. Храм славы сгроможденія П. Ю. Львова». См.: *Степанов В. П.* Заметки о В. Л. Пушкине // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 260—261.

(II. 188—189). Он указывает на потенциальные объекты полемики, но сам предпочитает, как и прежде, оставаться в стороне. Зато 9 октября он сообщает Языкову, что Бекетов не намерен более участвовать в «Друге просвещения» и отказывается даже быть издателем (II. 189). Почти нет сомнения, что этот отказ произошел не без воздействия Дмитриева: еще 9 января 1805 г. он в присутствии Жихарева упрекал своего двоюродного брата в пособничестве «бездарным писателям, довольно назойливым». «Дождит на злыя и благия!» [28] С 1805 г. «Друг просвещения» печатается уже в типографии Ф. Гиппиуса, что и отметил Дмитриев в своей эпиграмме «Во славу троицы певцов. . .», и с первого же номера в нем появляется имя А. С. Шишкова; автор «Рассуждения о старом и новом слоге» начинает сотрудничать здесь систематически.

К началу 1805 г. Дмитриев почти перестает участвовать в современных журналах. С прекращением «Патриота» В. В. Измайлова и со смертью П. И. Макарова в октябре 1804 г. из близких ему журналов остается один «Вестник Европы», перешедший в руки М. Т. Каченовского. Он отказывается от подписки на «Северный вестник» и объясняет это Языкову безденежьем и увеличившимся числом изданий, которые он предпочитает теперь читать в Английском клубе (II. 191). Нет сомнения, что здесь действовали и иные причины: Дмитриев не был удовлетворен «Северным вестником», хотя и не говорил этого Языкову прямо. В августе—сентябре А. А. Писарев (под криптограммой «—») напечатал два больших разбора — рецензий П. И. Макарова в «Московском Меркурии» и старых рецензий Карамзина в «Московском журнале»; хотя отношение его к Карамзину было вполне уважительным, а Дмитриев определялся как единственный, кто «*может спорить с Лафонтеном*», — все же оценка рецензий Карамзина была далеко не безусловной, а к Макарову критик демонстрировал прямо враждебное отношение.[29] Дмитриев запомнил эти статьи и еще в конце октября 1804 г. осведомлялся об их авторе (II. 190); мнения своего он не выразил, однако вряд ли оно было сочувственным. В письмах его о современной журналистике звучат иронические ноты. «Боже мой! сколько журналов! а борзых все еще мало» (II. 190). И о том же пишет ему Державин 21 декабря 1804 г.: московских журналов теперь много, как «прошлого лета грибов», но, как грибы, не все они здоровы для желудка. Дмитриев шутливо попенял Державину, что он «расхулил» московские журналы; в письме от 10 января тот оправдывался, что

---

[28] *Жихарев С. П.* Записки современника. М.; Л., 1955. С. 13.

[29] Рассмотрение всех рецензий, помещенных в ежемесячном издании под названием «„Московский журнал“, изданный на 1797 и 1799 год Н. М. Карамзиным», см.: Северный вестник. 1804. № 8. С. 141. Рассмотрение всех рецензий, помещенных в ежемесячном издании под названием «„Московский Меркурий“, издаваемый на 1803 год», см.: Там же. № 9. С. 294. О принадлежности криптограммы «—» А. А. Писареву см.: Русская критика 1800—1820-х годов. М., 1980. С. 299 (примечание Л. Г. Фризмана).

грибы «не весьма дурное кушанье», но не для его слабого желудка.[30] Вся эта переписка косвенно отразится в более поздней эпиграмме Дмитриева на журналы.

Сам Державин, подобно Дмитриеву, стремился уклониться от непосредственного участия в изданиях, уже образующих литературные лагери: на просьбу Хвостова об участии в «Друге просвещения» на 1805 г. он отвечает письмом, в котором вежливо отклоняет от себя всякие обязательства.[31] В то же время он сообщает Дмитриеву, что писал письмо к Голенищеву-Кутузову о Пиндаровом переводе, «довольно ощутительно» высказав свою неудовлетворенность, «но он, — добавлял Державин, — принял его за чистую похвалу, благодарил меня и слышу, что им еще и хвастается».[32] В заключение Державин сообщал о грядущей «литературной буре» — на петербургскую сцену вышел «Новый Стерн» А. А. Шаховского с пародией на карамзинистов. «Тут-то полетят громы и молнии; штыки нового и старого штиля засверкают, меж коими я, прижавшись в уголку, с почтением пребываю и проч.».[33] Декларируя свой нейтралитет, он сохраняет связи с обоими лагерями. 14 января 1805 г. он посылает Дмитриеву стихи «Память другу» — на смерть Н. А. Львова, прося напечатать в одном из журналов, на которые Дмитриев подписал его; естественно, Дмитриев выбирает «Вестник Европы». 23 января Державин благодарит его за замечания и поправки и посылает дополнительные. Стихи появляются во второй февральской книжке «Вестника Европы» (№ 4) за полной подписью Державина. Как будто желая избежать упреков в явном предпочтении, он отправляет для «Друга просвещения» «Скопихину». При обоих стихотворениях стоит одна и та же дата — «1803 г.», но под стихами, посланными Хвостову, Державин не подписывается: в тексте значится «от неизвестного».[34]

«Друзьям просвещения» между тем, как и прежде, нужны не только стихи, но и имя. Они пытаются восполнить потерю, печатая в том же апрельском номере присланную якобы от «неизвестной особы» «Надпись к портрету Гавриила Романовича Державина»,[35] и вслед за тем Хвостов обращается к Державину с новым письмом, прося об участии в журнале. Державин и на этот раз отвечает уклончиво. Он благодарит за «надпись», которой не вполне доволен: бестактное упоминание о «мраке», покрывавшем российский Парнас до прихода Державина, набрасывало тень на заслуги Ломоносова и еще здравствовавшего Хераскова. На просьбу посылать стихи он отвечает, что намерен издать собрание своих «кропаний» и потому может служить лишь мелочами,

---

[30] *Державин Г. Р.* Сочинения. 2-е изд. Т. 6. С. 179—180.
[31] Там же. С. 180.
[32] Там же. С. 179 (письмо от 22 дек.).
[33] Там же. С. 180—181.
[34] Друг просвещения. 1805. № 4. С. 7.
[35] Там же. С. 30.

«надписями на разные случаи» и «несколькими баснями».[36] Впрочем, для июньского номера он присылает свой шедевр «К снигирю. По кончине князя Суворова», также требуя соблюсти анонимность.[37] Публикация этого стихотворения в «Друге просвещения» была жестом вежливости: Хвостов был в родстве с Суворовым, и в его журнале систематически печатались мемуарные «анекдоты» о полководце.

Таково было положение дел в тот момент, когда шишковисты начинают пересмотр литературных репутаций, в том числе и репутации самого Дмитриева.

4

Уже по переписке Дмитриева с Державиным 1804—1805 гг. мы могли заметить, что вопрос о литературных репутациях назревал, хотя и не затрагивал пока высот российского Парнаса. Факт принятия Львова в Российскую академию в обход Карамзина (что заметил, конечно, не один Дмитриев) был актом почти демонстративным; в меньшей степени, но также демонстрацией было выступление Кутузова с переводами из Пиндара, который традиционно считался эталоном одической поэзии. Группа Шишкова обретала своих «образцовых писателей», и Дмитриев, задетый и оскорбленный неожиданной конкуренцией, вероятно, не без умысла обращал внимание Державина на новоявленных классиков, естественно — быть может, отчасти и сознательно — провоцируя его недовольство, как мы видим, не без успеха. Однако до сего времени проблема не становилась предметом печатного обсуждения; Державин как будто специально предупреждал против этого, ссылаясь на неразвитый вкус публики, который не переделает и «самая лучшая рецензия».[38] Этот устный регистр полемики, отражавшийся в разговорах, переписке и эпиграммах, был не только данью дипломатической осторожности, но имел и некоторое теоретическое обоснование. В начале XIX в. проблема критики, ее форм и допустимых пределов была предметом постоянного обсуждения; преобладала точка зрения, согласно которой критика должна быть мягкой и, исправляя недостатки, обращать преимущественное внимание на «красоты» разбираемого сочинения.[39]

Такова была точка зрения Карамзина, последовательно проводимая им в «Вестнике Европы», и защитником ее выступил в 1804 г. А. А. Писарев в своем разборе рецензий Карамзина и

---

[36] *Державин Г. Р.* Сочинения. 2-е изд. Т. 6. С. 182—183 (письмо от 16 мая).

[37] Друг просвещения. 1805. № 6. С. 186 (с прим.: «Сия пьеса прислана от неизвестного»).

[38] *Державин Г. Р.* Сочинения. 2-е изд. Т. 6. С. 180 (письмо к Дмитриеву от 10 янв. 1805 г.).

[39] *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века. С. 61 и след.

Макарова. В своем противопоставлении критики «научающей» и «осуждающей» (пример первой — Карамзин, второй — П. И. Макаров) Писарев пошел значительно далее Карамзина, решительно отвергая всякий элемент иронии в критической статье. Между тем уже появление книги Шишкова (с пародией на «стиль élégance») и «Нового Стерна» Шаховского продуцировало памфлетные формы литературной борьбы.

Дмитриев и ранее не склонен был разделять ни теоретических установок Карамзина в отношении к критике, ни его терпимости к литературным нападениям и предпочитал резкую полемику, однако в скрытых формах. Его оружием была рукописная эпиграмма или язвительный намек в традициях сатирической журналистики XVIII в. Из теоретических положений Карамзина он принимал, однако, принцип «позитивной критики», поучения образцом и примером: «Пиши, кто умеет писать хорошо: вот самая лучшая критика на дурные книги».[40] В письме к Д.И. Языкову Дмитриев перефразировал эту формулу: «. . .не утерпишь, чтоб не сказать слова два о ваших витязях петербургской литературы. Что они сами? Пускай поставят в образец нам собственные произведения и научат писать лучше» (II. 192).

Все эти теоретические постулаты должны были подвергнуться практической проверке уже в начале нового, 1805 г. В это время Ал. Тургенев, только что приехавший в Москву, сообщает в Геттинген Кайсарову, что Дмитриев в пансионском собрании «твердит беспрестанно Хвостову и Кутузову, которые издают вместе журнал, чтобы они шли учиться благоразумной критике к детям в пансион».[41] Буквально в те же дни Жихарев записывает в дневнике, что Хвостов в разговоре «очень негодовал, что Ив. Ив. Дмитриеву присвоили в Москве название русского Лафонтена» и А. А. Беклешов успокаивал его, называя «нашим Езопом».[42] Этот диалог носил характер почти символический и как бы концентрировал в себе проблематику будущих столкновений: Хвостов требовал пересмотра репутаций, Беклешов иронически сводил это требование к личной конкуренции. Принципиальная полемика материализовалась в антитезе «Дмитриев—Хвостов», «талант и бездарность». Полемика назревала, и, быть может, в преддверии ее «Вестник Европы» печатает статью из Жанлис «Об авторской вражде», где идет речь об авторском самолюбии и о полемике, которая только «писателей без дарований» делает неумолимыми, но не в силах повредить истинному достоинству.[43]

Такова была ситуация в начале 1805 г., когда в первом номере «Друга просвещения» Хвостов напечатал свою «притчу» «Орел и змея» — о даровании, которое «на небеса летит И подлой зависти

---

[40] *Карамзин Н. М.* Письмо к издателю // Вестник Европы. 1802. № 1. С. 7.

[41] Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. С. 328.

[42] *Жихарев С. П.* Записки современника. С. 22.

[43] Вестник Европы. 1805. № 1. С. 38.

презреньем мстит».[44] Этот сюжет уже сам по себе имел литературно-полемический подтекст. Конкретный его смысл от нас сейчас ускользает. Вряд ли Хвостов подразумевал под «орлом» себя самого. Может быть, до него уже дошли недоброжелательные отзывы Дмитриева о кутузовском «Пиндаре». Уже во второй январской книжке «Вестника Европы» как отзвук их появляется эпиграмма Панкратия Сумарокова:

Леандр, наш стиходей, на Пиндара походит
Не слога красотой,
Не мыслей высотой,
Но *особливостью* лишь той,
Что так же, как и тот, не вверх ногами ходит.[45]

Вслед за тем в борьбу вступает сам Дмитриев. Он принимает ту тактику, о которой позднее напишет в письме Языкову, — тактику литературного соревнования. Он отвечает Хвостову переводом той же басни «Орел и змея», возвращая, таким образом, обвинение в зависти «дарованию» и одновременно стремясь преподать ему урок поэтического переложения.[46]

Это был первый, но не единственный случай соперничества Дмитриева с поэтами «Друга просвещения». Он повторил опыт почти сразу же, когда в журнале Хвостова и Кутузова анонимно появилась «Песенка. Подражание французской» («Я счастлив был, когда в невинности приятной. . .»), принадлежавшая перу Хвостова.[47] Она становится известной в апреле, а в мае Дмитриев публикует свой перевод того же оригинала под заглавием «Стансы» («Я счастлив был во дни невинности беспечной. . .») с авторским примечанием: «Эта безделка уже давно мною переведена и известна была моим приятелям; ныне же я решился напечатать ее для того, чтоб не смешали моего перевода с другим, который напечатан от неизвестного, под именем *песеньки*, в четвертой книге (м. Апрель) „Друга Просвещения“ на 1805 год».[48] Читателям вновь представлялась возможность выбрать лучший образец.

Хвостов продолжил эту своеобразную полемику, напечатав в октябрьском номере свою «Мышь-пустынницу».[49] Как мы помним, именно эта басня Лафонтена в дмитриевском переложении («Мышь,

---

[44] Друг просвещения. 1805. № 1. С. 17.

[45] Вестник Европы. 1805. № 2. С. 130 (подп.: У. Ф. Х. Ц. Ч.).

[46] *И. Дм<итриев>*. Орел и змея: (Подр. франц.) // Там же. № 3. С. 220. Любопытно, что, переиздавая свою басню, Хвостов (как это он делал обычно) снял литературно-полемический намек; в примечании он указал, что басня «переделана после басни И. И. Дмитриева на то же содержание» (Полн. собр. стихотворений графа Хвостова. Т. 4. Басни и сказки. С. 135, 301).

[47] Друг просвещения. 1805. № 4. С. 29. Автограф «Песенки» см.: ИРЛИ, ф. 322 (Д. И. Хвостова), № 3, с. 143. См.: *Дмитриев И. И.* Сочинения. М., 1986. С. 511 (примечание А. М. Пескова и И. З. Сурат), — где установлен и французский источник (Г. Буше).

[48] Вестник Европы. 1805. № 10. С. 133.

[49] Друг просвещения. 1805. № 10. С. 12.

удалившаяся от света») была сочтена образцовой и полностью перепечатана в рецензии «Северного вестника». В ноябре в «Друге просвещения» появляется «Пустынник и фортуна» Горчакова — эту басню Дмитриев переводил еще в 1792 г. и включал во все собрания сочинений.[50] Наконец, в двенадцатом, декабрьском номере Хвостов анонимно публикует притчи «Дуб и трость», «Два друга», «Два голубя».[51] Все три сюжета также были уже использованы Дмитриевым; первая и последняя его басни (под тем же названием) считались классической интерпретацией Лафонтена.

До сих пор Хвостов был пассивной стороной в предложенной ему литературной конкуренции — теперь он как будто перехватывает инициативу, предлагая свой образец для сравнения с дмитриевским. Это происходит уже тогда, когда литературное первенство Дмитриева открыто подвергается сомнению в печати.

5

До середины 1805 г. литературная война шла подспудно, обнаруживая себя в отдельных рецензиях и мелких полемических стычках. Даже «Новый Стерн», поставленный на сцене петербургского Малого театра 31 мая 1805 г., вопреки ожиданиям Державина не привел к открытому столкновению.[52] Дело меняется в июне 1805 г., когда Я. А. Галенковский анонимно выступает в «Северном вестнике» с прямым требованием переоценки литературных репутаций. Он призывает отказаться от мысли, что вся русская словесность заключается в Москве «на Никольской улице», где жил Карамзин; требует критически рассмотреть «Письма русского путешественника», «Аглаю», «Наталью, боярскую дочь», которые критикуются от Шотландии до Парижа, и, наконец, произнести беспристрастный суд над «Сочинениями и переводами» Дмитриева. Каков будет этот суд, показывала его стихотворная сатира, приложенная к статье, — перепев капнистовской «Сатиры I»; в ней были задеты Карамзин-историк и «Дамон» — Дмитриев, который «две басенки иль три на русский преложив, Уж думает, что он совместник Лафонтена»; впрочем, Галенковский не пощадил ни Кутузова, ни Шишкова, ни Хераскова, ни даже, кажется, самого себя.[53] Несмотря на этот широкий кри-

[50] Там же. № 11. С. 107.

[51] Там же. № 12. С. 217—222.

[52] Эпиграмма на «погребение» «Нового Стерна» появляется только в 1806 г. См.: Московский зритель. 1806. № 9. С. 39; Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в. Л., 1975. С. 694 (коммент. М. И. Гиллельсона). Полемика о «Новом Стерне» коснулась не столько литературной, сколько социальной проблематики комедии — о женитьбах дворянских детей на крестьянках. См.: *Шаховской А. А.* Комедии; Стихотворения. Л., 1961. С. 804—809 (коммент. А. А. Гозенпуда); История русской критики. М.; Л., 1958. Т. 1. С. 183—184 (статья Н. Л. Степанова).

[53] Северный вестник. 1805. Ч. 6, № 6. С. 295; ср.: Поэты 1790-х—1810-х годов. Л., 1971. С. 486—487, 849; *Лотман Ю. М.* Писатель, переводчик и критик Я. А. Галинковский // XVIII век. М.; Л., 1959. Сб. 4. С. 238—239.

тический адрес, Дмитриев был раздражен статьей и сатирой больше, нежели всеми предшествующими. Он прочитал ее в середине июля и тогда же написал Д. И. Языкову: «Хотел бы знать, кто этот ваш корреспондент, который обещает добровольно клеймить чужие произведения!» Языков уклонился от ответа, и Дмитриев повторил свой вопрос: «Вы позабыли исполнить мою просьбу и дать мне знать, кто писал приговоры свои на нашу братью в прозе, также и кто пародировал начало капнистовой сатиры?» (II. 194). По слухам, он уже предполагает авторство Галенковского. Раздражение его настолько сильно, что он оставляет даже обычный в переписке с Языковым сдержанный тон. «. . .Для чего скрывать свое имя? Вероятно, что такие писачки только и слышны будут в журналах. Вероятно, что и журналы с такою разборчивостью скоро прослывут не журналами, а калашнею, в которую сходится всякая сволочь бранить высших себя и тем отмщать за свое ничтожество» (II. 192—193). Его негодование распространяется и на «Северный вестник», поместивший статью и сатиру, хотя издатель И. И. Мартынов снабдил статью своими критическими примечаниями. Отныне он будет «клясть» «мерзости», помещаемые в журнале Мартынова, — такие, например, как анонимные басни «Голубчик и тетеревочик», «Историки-лжецы» и «Овца и свинья», о которых он упоминает в письме к Языкову (II. 195).[54]

Статья Галенковского была сигналом к открытой полемике. В августе Каченовский в «Вестнике Европы» разражается гневной тирадой: «Никакая статья, оскорбляющая вкус, противная приличностям общежития, возбуждающая омерзение, словом, никакая статья, похожая на критику, или, лучше, на пасквиль, помещенный в одном из периодических наших сочинений, в котором *безыменный* автор изволит забавляться на счет писателей, украшающих Парнасс Российский, и ставить их наравне с безыменными пачкунами — не обезобразит моего журнала».[55] В этом пассаже слышен не только негодующий пафос Дмитриева, но и его фразеология: нападение на «безыменных» писателей и излюбленный Дмитриевым презрительный эпитет «пачкуны». Полемика приобретала конкретный адрес.

В сентябре 1805 г. Шаликов помещает в «Вестнике Европы» «Сказку. (Из Боккалини)», где рассказывается о критике, искавшем ошибки у знаменитого писателя и награжденном за это кучей соломы.[56]

В октябре в «Друге просвещения» печатается перевод «из сочинений г. Трюблета» — о зависти среди сочинителей и о писательской славе.[57]

---

[54] Северный вестник. 1805. № 9. С. 337—338. Первая басня подписана «От неизвестного»; две последние — «Прислано из Киева».

[55] Вестник Европы. 1805. № 16. С. 322—323.

[56] Там же. № 17. С. 52 (Подп.: К. Ш—въ).

[57] Из сочинений г. Трюблета о том, что надобно ученым людям следовать своему дарованию / Пер. А. Болховской (Воронеж) // Друг просвещения. 1805. № 9. С. 210; № 10. С. 36.

В этой общей атмосфере было небезразлично, как поведут себя писатели старшего поколения с общепризнанной репутацией, прежде всего Державин.

6

Как мы видели, издатели «Друга просвещения» не прекращали попыток привлечь Державина в свой журнал и отчасти в этом преуспели. Лето 1805 г. изменило соотношение литературных сил, и Державин не мог об этом не знать. В 1804 г. произошло его знакомство с Галенковским, который потом стал его родственником, женившись на Марии Бастидон; о «Новом Стерне» он сам сообщал Дмитриеву. От полемики Державин устранился, но вместе с тем почти устранился и от участия в «Друге просвещения». В сентябре 1805 г. он отдает сюда эпиграмму «От Тромпетина к Булавкину»; она была напечатана без имени и без всяких примечаний. Так же анонимно публикуется несколько надписей к портретам высочайших особ — в декабрьском номере.[58] Больше в журнале Хвостова и Кутузова Державин не помещает ничего.

То, чего тщетно добивался Хвостов, получает Дмитриев. Во второй сентябрьской книжке «Вестника Европы» печатается «Лето» Державина — стихи, прямо обращенные к Дмитриеву, с прозрачно скрытым именем адресата и столь же прозрачным — автора. «Автор не подписал своего имени, — значилось в издательском примечании, — это и не нужно. Читатели узнают российского барда по напеву».[59] В следующей же книжке появляется и стихотворный ответ Дмитриева, с примечаниями; в конце ноября — новое обращение Державина к Дмитриеву — «Цыганская пляска», где были тонко комплиментарные отсылки к дмитриевским стихам и эпитет «нежного певца», примененный к адресату. Это была та самая двусторонняя поэтическая переписка, на которую вызывал Державина Хвостов: еще в письме от 1 мая, судя по ответу Державина, он напоминал о своем послании к нему и ответе Державина — «Волхов Кубре»; в октябрьском же номере своего журнала, уже зная державинское «Лето», он делает еще одну попытку начать обмен посланиями, печатая обширную «Оду Г. Р. Д. 1804 года».[60] Как мы помним, в 1804 г. на послание «барду» последовал «Волхов Кубре»; теперь же «Ода» вызвала у Державина, скорее, легкую досаду. Она ничуть не уступала предшествующей. Хвостов не менялся; менялось отношение к нему Державина — и мнение Дмитриева играло здесь свою роль. Поэтическое же приветствие Дмитриеву сразу после призыва критически оценить всю его литературную деятельность было, конечно, демонстративным; Державин говорил свое слово в споре о литературных репутациях.

---

[58] Там же. № 9. С. 198; № 12. С. 230.

[59] Вестник Европы. 1805. № 18. С. 107; № 19. С. 202—203; № 22. С. 134—135.

[60] Друг просвещения. 1805. № 10. С. 5.

Приветственное послание оказывалось своего рода декларацией и даже, если угодно, полемикой.

Почти одновременно с Державиным выступает и Хвостов — со стихотворным «Письмом к Павлу Ивановичу Голенищеву-Кутузову, во время пребывания его в деревне, на смерть графа Аполлоса Аполлосовича Мусина-Пушкина», где произносит поэтическую апологию переводам Кутузова из Пиндара. Вне зависимости от субъективных намерений автора его послание в создавшейся обстановке звучало тоже демонстрацией и полемикой:

> Пиндара в древности, причину плесков мира,
> Умела воскресить твоя в России лира. . .
> Присвоя Северу бессмертных сих певцов,
> Кутузов! сам ты стал участник их венцов. . .[61]

Ода Хвостова Державину появляется также в октябре, а уже 6 ноября Дмитриев пишет Державину письмо, обращая его внимание на стихи Хвостова и его друзей и прося воздействовать на них. Вероятно, он не упустил указать Державину на стихи Кутузову, во всяком случае о них он упоминал через неделю в письме Жуковскому: Хвостов, писал он, «кадит Гомеру и Пиндару» и «печет оду за одой» (II. 196).

Державин соглашался нарушить молчание, хотя и без особой охоты; он замечал, что стихи Хвостова и его друзей лучше бы предать «воле божией», так как «публика равнодушно их терпит». «Однако же Дмитрию Ивановичу, при благодарности моей за похвалу его мне, напечатанную в минувшем месяце в „Друге просвещения“, попытаюсь сказать правду. Не знаю, сделает ли запор сия позолоченная крепительная пилюля».[62] Об оде он написал Хвостову в тот же день, 21 ноября, заметив осторожно, что Хвостову не следует торопиться писать и тем более печатать, чтобы не подвергаться критическим нападкам; о журнале же его он отозвался сдержанно-прохладно, что в нем есть «между прочими и полезные вещи».[63] Эта переписка запомнилась Хвостову надолго; через много лет он именно с этой одой связывал слова Державина о присущей ему, Хвостову, лирической «надутости».[64]

15 ноября Дмитриев сообщает Жуковскому, что ждет прямой полемики. «Друзья просвещения присоединили к тричисленному своему лику обер-секретаря Сандунова и с первою рыжею книжкою на будущий год пустят гром на русских путешественников и на все, где только встретят слезу и милое. По всему кажется, что не уйти и мне от их перунов, хотя я ни до слез, ни до сладкого не охотник» (II. 196). Вслед за тем он извещает, что Шаликов объявил об издании «Московского зрителя», но, к сожалению, не имеет помощников.

---

[61] Друг просвещения. 1805. № 9. С. 183.
[62] *Державин Г. Р.* Сочинения. 2-е изд. Т. 6. С. 187.
[63] Там же. С. 188—189.
[64] См.: Поэты 1790-х—1810-х годов. С. 440, 845.

Нет сомнений, что Дмитриев уже готовился к обороне со страниц «своего» журнала. Он понимал прекрасно, что журнал этот не будет достаточно авторитетен, и, вероятно, упоминание о нем в письме Жуковскому делалось не без задней мысли: Дмитриеву, конечно, хотелось бы видеть его в числе сотрудников. В этой связи особое значение приобретает свидетельство А. И. Тургенева в письме к Кайсарову от 9 февраля 1805 г. «Жаль, что тебя здесь нет, — писал Тургенев, а то бы мы, так как нынче в моде издавать журналы, начали бы свой, на что уговаривает меня Дмитриев и предлагает мне, Жуковс‹кому›, Мерзляк‹ову› свой дом для собрания и для работ. Ему хочется этого непременно». Итак, речь идет о новом журнале, «своем» журнале, — видимо, «Вестник Европы» Дмитриев не считает своим до конца. В этом журнале должны принять участие молодые литературные силы (заметим, что двое из приглашенных — будущие «арзамасцы»), и их объединение должно составить полемический фронт. Это совершенно очевидно из последующих строк Тургенева, в которых он предлагает завести «литературную переписку» для печати — если не в Москве, где цензура очень строга, то в Лейпциге. Он просит Кайсарова об ученых и литературных известиях из Германии, а сам обещает доставлять сведения «о здешних глупостях и друзьях просвещения, которые пишутся врагами его, т. е. Кутузовыми и Хвостовыми. . .» «Критика здравая, строгая, беспощадная и полезная — вот цель и план нашей переписки».[65] Тургенев словно пересказывает излюбленные мысли Дмитриева (именно Дмитриева, а не Карамзина) и указывает на его прямых врагов — «Кутузовых и Хвостовых». Но за журнал ни он, ни Жуковский взяться не решаются. «Московский зритель» был паллиативом, но Дмитриев рассчитывал им распоряжаться, и, конечно, не мог не думать о будущих участниках.

В этой ситуации он должен был с особым вниманием и пристрастием присматриваться к новым книжкам «Друга просвещения». В одиннадцатом, ноябрьском номере ему попадается на глаза анонимная (принадлежавшая Хвостову) притча «Барыня и ткачи» с полемической концовкой:

Так рассуждает ввек пиита-самохвал.
Коль вылощит стихи, пускай они не сладки,
Лишь глянец был бы в них, лишь были б гладки,
А там, хотя идей и чувства нет,
Кричит: вот élégance — и я Поэт! [66]

Басня Хвостова была, вероятнее всего, направлена против В. Л. Пушкина — пародировалось его послание «К любимцам муз»,[67] однако Дмитриев отнес этот выпад к себе: он читал «Друга просвещения» с известной установкой.

[65] Архив братьев Тургеневых. Вып. 2. С. 333.

[66] Друг просвещения. 1805. № 11. С. 107, 123, 142. См. также: Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Л., 1959. С. 147, 627—628.

[67] Патриот. 1804. № 4. С. 97. Об этом стихотворении см.: Поэты 1790-х—1810-х годов. С. 663.

24 декабря он пишет Языкову: Хвостовщина объявила явную войну врагам своим, команду над армией вручила Сандунову, который, предводительствуя друзьями просвещения, и выступит с будущего месяца против «Московского зрителя». Он сообщает о распределении сил: «Московский курьер» С. М. Львова — скрытый союзник первой партии, «Вестник Европы» тяготеет ко второй; «Минерва» держит нейтралитет. Сам он тоже намерен остаться в стороне и «зевать на их подвиги» (II. 197).

Вряд ли он был совершенно искренен в этом последнем заявлении. Его симпатии и антипатии совершенно определенны. Он не выступает в печати, но прибегает к другим видам борьбы, прежде всего к эпиграмме.

Есть основания полагать, что большинство эпиграмм Дмитриева на журналы падает именно на конец 1805 г. Притча Хвостова «Барыня и ткачи» вызывает у него совет «на *вкус* слепить сатиру. а там и здравый смысл ухлопать в добрый час». По-видимому, тогда же, в конце года, когда помещались объявления о новых журналах или продолжении прежних, пишется и эпиграмма на «Друга просвещения» — «журнал для толка, а не вкуса», имеющий быть «и впредь в печатне Гиппиуса» «во славу троицы певцов» — Хвостова, Кутузова и Салтыкова.[68] Наконец, в эпиграмме «На журналы» («Как этот год у нас журналами богат. . .») определились те же симпатии и антипатии, которые установились у Дмитриева после статей Галенковского в «Северном вестнике»: в число журналов, предназначаемых для внелитературного употребления, входят и «Вестник для карел» («Северный вестник»), и «Корифей» того же Галенковского, и «Московский курьер» Львова, и, конечно же, «Просвещенья сват», — все, за исключением «Вестника Европы».[69]

Еще в январе 1806 г. он будет жаловаться Языкову, что цензура пропустила притчу на него «Барыня и ткачи» (II. 199). Вообще этот одиннадцатый номер «Друга просвещения» окажется под полемическим обстрелом еще в 1806 г.: в апреле в «Московском зрителе» появится «Анекдот об анекдоте» — о нелепости диалога между Хвостовым и Суворовым, помещенного в ноябре в «Друге просвещения».[70]

В противоположность тому, что Дмитриев писал Языкову, позиция его активна, а не пассивна. Он не только защищается, но и нападает, но особым образом: оставаясь в тени. Некоторые косвенные признаки дают нам право предполагать, что он пустил по рукам свои эпиграммы. В январе он негодует в письме к Языкову, что цензура запретила критическую статью Шаликова против графа Хвостова, и просит вступиться за обиженного жур-

---

[68] *Дмитриев И. И.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1967. С. 356.

[69] Уточненный текст этой эпиграммы по автографу Дмитриева см.: *Степанов В. П.* Заметки о В. Л. Пушкине. С. 261.

[70] Ср.: Руской анекдот // Друг просвещения. 1805. № 11. С. 149 и Анекдот об анекдоте // Московский зритель. 1806. № 4. С. 13.

налиста; одновременно он посылает Языкову свой критический разбор последних двух од Хвостова — «На победу» и «Зима», появившихся в декабрьском номере; Языков предлагает напечатать замечания, но Дмитриев удерживает его: они писаны «не таким тоном, какой требуется для критики, предназначаемой для публики» (II. 200). Это, конечно, памфлетный разбор, рассчитанный на чтение и устную известность. Устная и рукописная литература формировала подспудный слой литературного быта, и лишь изредка на его поверхности появлялись островки печатной полемики. Исследователи ее уже обращали внимание на тот своеобразный факт, что полемисты знали о готовящихся публикациях; так, Дмитриев, сообщая Жуковскому, что противники намерены напасть на «русских путешественников» и на «слезу и милое», имел в виду конкретное произведение: «Оду к милой во вкусе новой литературы», появившуюся в первом номере «Друга просвещения» за 1806 г.; в свою очередь эта «Ода» намекала на «Отрывки путешествия моего по комнатам» Б. К. Бланка, которым еще только предстояло появиться в октябрьском номере шаликовского журнала. Поэтому эпиграмматическая «превентивная война», предпринятая Дмитриевым, была вовсе не излишней: он не предполагал, а точно знал, что с новым, 1806 г. начнется открытая и резкая полемика. Так и случилось. Весь январский номер «Друга просвещения» был наполнен выпадами против «чувствительно-нежного бреда» «модной литературы». В феврале Хвостов печатает завуалированный памфлет на Шаликова «Письмо Петрония к Ювеналу» — своего рода месть за несостоявшееся критическое выступление. Дмитриев первым разгадал намеки, впрочем довольно прозрачные, и надоумил Шаликова. Началась ожесточенная борьба с явными выпадами и скрытыми намеками, которые сейчас уже не всегда можно расшифровать. Печатные издания сохранили нам лишь часть всего этого полемического материала; другая — и, быть может, большая — осталась в списках (в значительной мере утраченных или невыявленных) и даже в устном обиходе.[71]

Такова была эпиграмма Державина «В одежде красной был год прошлый сей журнал», где речь шла о старом «вранье» под обновленной обложкой «Друга просвещения». Под «враньем» Державин понимал «звучную лиру» Хвостова.[72] Такова была и эпиграмма Вяземского «Друзья нынешнего века»; она датируется 1812 г. по первой публикации, но содержание ее ведет нас именно к первому номеру «Друга просвещения» за 1806 г., где было опубликовано письмо некоего «N.E.» с нападками на карамзинистов и одновременно с указанием на «надменность названия» «Друг

---

[71] *Альтшуллер М. Г.* Неизвестный эпизод журнальной полемики начала XIX века: («Друг просвещения» и «Московский зритель») // Русская литература XVIII века и ее международные связи. Л., 1975. С. 100—101, 106. (XVIII век. Сб. 10).

[72] *Державин Г. Р.* Сочинения. 2-е изд. 1870. Т. 3. С. 303; Ср.: Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в. Л., 1975. С. 113, 652—653.

просвещения». Это письмо послужило основанием для кутузовского «Ответа» в том же номере:

Быть *Другом Просвещенья*
Есть то же самое, что свет наук любить,
И нет в названье том желания, стремленья,
Чтоб всех наставить, просветить.[73]

Эпиграмма Вяземского производит впечатление прямого ответа:

Картузов другом просвещенья
В листках провозгласил себя.
О времена! О превращенья!
Вот каковы в наш век друзья! [74]

По-видимому, устная традиция сохраняла детали полемики в течение нескольких лет, и в 1812 г. еще помнили стихи, напечатанные в «Друге просвещения». Спустя более четверти столетия М. Н. Макаров («Авенир Народный») будет вспоминать, что «граф Д. И. Хвостов и П. И. Голенищев-Кутузов, участвуя в журнале „Друг просвещения“, кажется, первые сделали какой-то раздел в нашей московской литературе».[75] Вяземский принадлежал к младшему поколению «Арзамаса»; Жуковский, А. Тургенев, Воейков, Блудов в 1806 г. уже могли сами принимать участие в журнальных стычках — и, как мы видели, Дмитриев недвусмысленно приглашал их к этому.

Тем временем на свет появляется «Московский зритель».

7

В первом номере нового журнала была напечатана своего рода декларация — «Письмо к издателю журнала». Оно не было подписано, но уже П. А. Плетнев в 1847 г. уверенно говорил, что оно принадлежит Дмитриеву, — и эта атрибуция в дальнейшем не оспаривалась. В ее пользу можно привести целый ряд соответствий — как семантических, так и чисто фразеологических — из более поздних дмитриевских писем.

В «Письме. . .» содержалась программа журнала. Дмитриев советовал следить, чтобы журнал был самостоятелен, оригинален и «занимателен», и намечал возможные темы: отечественные нравы и литература («более подлинников, чем переводов, более *местного*»); критика галломании молодых светских людей, и в их числе «новых русских эмигрантов», отъезжающих из корысти «в чужие краи»; состояние художеств; наконец, он обращал особое внимание на «благоразумную критику», беспристрастные и доказательные разборы сочинений.

---

[73] Друг просвещения. 1806. № 1. С. 69—73, 83 (подпись: П. Г. К.).
[74] Санктпетербургский вестник. 1812. № 5. С. 166 (подпись: В.); Русская эпиграмма. С. 265.
[75] Московский наблюдатель. 1835. Август, кн. 2. С. 621.

По-видимому, Шаликов рассматривал «Письмо. . .» как программу, которой надлежит следовать неуклонно. В рецензии на драму С. Глинки «Наталья, боярская дочь» он буквально выполнил несколько ироническую рекомендацию Дмитриева оповестить земляков, что сочинения Карамзина переводятся на иные языки,[76] в статье «О воспитании» сделал примечание о молодых людях, которые, «возвратясь из чужих краев, осмеют все в отечестве, которого они недостойны», и уедут обратно; [77] наконец, в обращении к читателям в последнем номере журнала прямо перефразировал «Письмо. . .»: «Смею надеяться, что читатели снисходительно простят мне многое в уважение сочинений оригинальных, которые составляют половину каждой книжки моего журнала; местных описаний, которые более или менее, но всегда занимательны. . .» [78]

Естественно, что Шаликов не мог пройти и мимо рекомендации создать постоянный критический отдел. Несмотря на дипломатически-бесстрастный тон дмитриевского письма, совершенно ясно, что Дмитриев ориентировал журнал и на полемические выступления. В качестве примера «стихотворной нелепости», заслуживающей строгой критики, приводилась «ода», где вместо «приятного беспорядка» — «галиматья», где нет точности мысли и словоупотребления, «благородства» слога и «метафорического, божественного» языка. Такая ода, наполненная «струнами, перунами, блесками, треском», есть «гадкое рифмосплетение», и ей следует противопоставить «примеры из Горация, Пиндара, Руссо, Державина, Ломоносова и достойных их подражателей». Нет никаких сомнений, что Дмитриев имел в виду конкретные объекты, прежде всего Кутузова и Хвостова, на чьи оды посылал сам Языкову критические замечания. Как мы помним, Шаликов попытался осуществить это требование, но цензура не пропустила его критики, что вызвало беспокойство и возмущение Дмитриева. Однако самое его письмо содержало в себе сильный и мастерски введенный полемический заряд.

«Сколько выходит журналов здесь и в Петербурге, — писал Дмитриев, — но много ли чтецов на них?» Далее в тексте две строки точек, и с абзаца начинается следующая фраза: «Прочих журналов я не читал; итак, остановимся теперь и отдохнем на „Вестнике Европы“». Пропуск, обозначенный точками, совершенно намерен: он показывает, что за первой фразой следовало поименное перечисление петербургских и московских журналов (ср. «Прочих журналов я не читал. . .») с резкой характеристикой, невозможной в печати. Первая фраза — об обилии журналов — и упоминание «Вестника Европы» в последней подсказывали осведомленному читателю, какой текст следовало подставить в лакуну: это была эпиграмма «Как этот год журналами богат. . .»

---

[76] Московский зритель. 1806. № 5. С. 55.
[77] Там же. № 11. С. 10—11.
[78] Там же. № 12. С. 23.

Такое чтение тем более вероятно, что в письмах Дмитриева (а мы имеем дело действительно с письмом, со всеми характерными особенностями эпистолярного стиля Дмитриева, вплоть до излюбленной фразы: «Но довольно: боюсь наскучить. . .») постоянна автоцитация, в том числе и автоцитация эпиграмм (см., например: II. 203). Если, как мы предполагаем, эпиграмма о журналах уже ходила по рукам, то в литературных кругах это место статьи должно было читаться как памфлет.

Таким образом, и без критик Шаликова первая книжка «Московского зрителя» становилась для Дмитриева средством борьбы с литературными противниками. Но он прибегнул к еще более тонким и опосредствованным способам полемики — уже позитивным, и одним из них, как мы предполагаем, стала публикация первых басен Крылова.

О творческой истории крыловских басен, опубликованных в «Московском зрителе», мы знаем не слишком много. По рассказу М. Е. Лобанова, приехав в Москву в 1805 г., Крылов принес Дмитриеву свои басенные опыты; Дмитриев приветствовал их словами: «Это истинный ваш род, наконец вы нашли его».[79] С незначительными вариациями рассказ этот повторяют и другие мемуаристы, добавляя, что Крылов под воздействием уговоров Дмитриева преодолел свое отвращение к басенному «роду» и стал писать басни систематически. Первыми из них были «Дуб и трость» и «Разборчивая невеста», напечатанные в первой книжке «Московского зрителя» с примечанием Шаликова: «Я получил сии прекрасные басни от И. И. Д. Он отдает им справедливую похвалу и желает, при сообщении их, доставить и другим то удовольствие, которое они принесли ему. . . Имя любезного поэта обрадует, конечно, и читателей моего журнала, так, как обрадовало меня».[80] В последующей книжке выходит третья басня Крылова «Старик и трое молодых».[81]

---

[79] *Лобанов М. Е.* Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова. СПб., 1847. С. 48. Ср.: *Плетнев П. А.* Сочинения и переписка. СПб., 1885. Т. 1. С. 344; Т. 2. С. 66; *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. С. 116—117. Свод свидетельств см.: *Каллаш В. В.* И. А. Крылов: Биографический очерк // Крылов И. А. Полн. собр. соч. СПб., 1904. Т. 1. С. LX.

[80] Московский зритель. 1806. № 1. С. 73. Любопытные детали к этому рассказу Шаликов добавил в позднем (1845) письме к Вяземскому: Дмитриев привез к нему басни, сказав при этом известную цитату из Вольтера: «Cherissons le rival qui peut nous surpasser; Montrez moi mon vainqueur et je cours l'embrasser». «Когда Иван Андреевич жил в Москве, — писал Шаликов далее, — то мы очень часто виделись, и он был всегда ко мне ласков. Однажды я заметил его, в большой заботе шагавшего по комнате, спрашиваю о причине, и вот его ответ: „Я хочу посвятить одну басню юной своей приятельнице, Бенкендорфовой, но нахожу, что слово «посвящаю» слишком серьезно для ее лет". „После заглавия басни напишите для такой-то", — сказал я и очень угодил ему, так он и сделал» (*Пухов В. В.* П. И. Шаликов и русские писатели его времени: (По архивным материалам) // Русская литература. 1973. № 2. С. 162).

[81] Московский зритель. 1806. № 2. С. 70.

Здесь были бы существенны точные данные о времени написания басен и шире — о времени общения Крылова с Дмитриевым, но как раз таких данных нет. Известно, что первая книжка «Московского зрителя» была подана в цензуру 17 ноября 1805 г.[82] — через два дня после того, как Дмитриев жаловался Жуковскому, что Шаликов работает без сотрудников. Неизвестно, были ли готовы к этому времени басни, — материалы номера могли поступать в цензуру и после 17 ноября, тем более что часть их была задержана и требовала замены. По рассказу Плетнева, созданию басен предшествовал какой-то период дружеского общения Дмитриева с Крыловым. Это вполне вероятно, если вспомнить, что в 1796—1797 гг. Крылов был уже участником карамзинских изданий и сами басни были написаны для укрепления литературных связей с Дмитриевым. Если это так, то мы вправе предполагать, что публикация их в «Московском зрителе» была фактом сознательной литературной политики. Дмитриев передает их именно Шаликову, испытывавшему недостаток в материале, а не, скажем, в «Вестник Европы», также ему дружественный; он поддерживает тот журнал, который в отличие от «Вестника Европы» считает полностью «своим», и пользуется именем Крылова, уже известного литератора, чтобы придать изданию вес уже начиная с первого номера. Шаликова, конечно, должно было «обрадовать» имя (в первую очередь имя), но дело было не только в нем. Напомним, что в декабрьском номере «Друга просвещения» Хвостов опубликовал свои притчи «Дуб и трость», «Два друга», «Два голубя». Все три сюжета были уже использованы Дмитриевым, и по меньшей мере два из них — первый и последний — считались образцовой интерпретацией Лафонтена. Хвостов, конечно, писал басни вне зависимости от Дмитриева (а иные — и раньше его), но полемика заключалась в факте публикации.

То обстоятельство, что в первом номере «Московского зрителя» появляется вместе с «Разборчивой невестой» «Дуб и трость» Крылова, трудно считать простым совпадением, особенно если учесть уже приведенные нами факты систематической литературной конкуренции Дмитриева и Хвостова. Мы склонны рассматривать этот выбор как сознательный акт позитивной полемики.

То, что Хвостову не были безразличны эти первые крыловские басни, косвенно подтверждается следующим фактом: переиздавая свою притчу «Разборчивая невеста», Хвостов счел нужным сделать примечание, где указывал, что она переведена им около 1785 г. и «напечатана во всех изданиях».[83] Это указание на приоритет как бы наводило читателя на мысль, что Крылов в той или иной степени следовал Хвостову. Но соотносили Крылова не с Хвостовым, а с Дмитриевым.

[82] См.: *Крылов И. А.* Басни / Изд. подготовил А. П. Могилянский. М.; Л., 1956. С. 318.

[83] См.: *Кеневич В.* Библиографические и исторические примечания к басням Крылова. 2-е изд. СПб., 1878. С. 9.

Дмитриев выиграл и на этот раз — и лучше всего свидетельствуют о том факты литературной вражды Хвостова и Крылова, относящиеся к ближайшим же годам. Известная эпиграмма Хвостова о «немытом и нечесаном» «Зоиле — Крылове Иване» распространялась по Петербургу уже в начале февраля 1807 г.[84] Предыстория же этой вражды, как представляется, уходит в литературные отношения дмитриевского кружка.

Понимал ли Дмитриев, что, поощряя Крылова, он создает новую и гораздо более опасную для себя ситуацию соперничества? Трудно ответить на этот вопрос с полной уверенностью. Современники полагали, что он предугадывал последствия и проявил широту и благородство, действуя согласно известной вольтеровской формуле: «Покажите мне соперника, превосходящего меня, и я поспешу его обнять».[85] Это вполне вероятно, хотя мемуаристы оценивали ситуацию 1806 г. уже задним числом, учитывая развернувшийся в 1810—1820-е гг. спор о сравнительных достоинствах Дмитриева и Крылова. В 1806 г. восходящая звезда Крылова-баснописца никак не могла повредить репутации Дмитриева. Что же касается Крылова, то уже в 1806 г. его стремление превзойти своего предшественника на басенном поприще почти не вызывает сомнений. Явственное подтверждение тому — самый выбор сюжета «Дуб и Трость». Показательна творческая история этой басни: Крылов упорно и в течение многих лет работал над ее усовершенствованием, и в этом упорстве П. А. Плетнев видел акт соревнования с «превосходным образцом Дмитриева».[86] Позднее, в 1810-е гг., явственное предпочтение Дмитриева будет задевать Крылова. В. Ф. Кеневич передавал мемуарный рассказ о некоем высокопоставленном ценителе, который, выслушав новую басню Крылова, сказал ему: «„Это хорошо; но почему вы не переводите так, как Ив. Ив. Дмитриев?“ — „Не умею“, — скромно отвечал поэт».[87] Под воздействием этого разговора Крылов якобы написал басню «Осел и Соловей». Рассказ этот вне зависимости от степени его достоверности важен как отражение слухов, за которыми стояла некая реальность. Дело в том, что как раз эта басня показывает чрезвычайную сложность и неоднозначность создавшейся литературной ситуации. В «Осле и Соловье» есть обычно ускользающий от внимания скрытый литературно-полемический план: он заключается в описании соловьиного пения. Крылов включился в целую цепь подобных же описаний, очень хорошо ему известных, потому что он был участником альманаха, где они появились. Эта цепь была начата «Соловьем» Г. Р. Державина, напечатанным в 1795 г. без подписи в «Приятном и полезном препровождении времени», и продолжена в первой книжке

---

[84] См. подробнее: Иван Андреевич Крылов: Проблемы творчества. Л., 1975. С. 168 и след.

[85] См.: И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 60, 84.

[86] Там же. С. 231.

[87] Там же. С. 303.

«Аонид» «Соловьем» Н. М. Карамзина и во второй — «Соловьем» М. Л. Магницкого. В стихах Карамзина был, вероятно, элемент соревнования с Державиным; одический лиризм державинского стихотворения («. . .твой глас отрывный, перекаты От грома к нежности, от нег Ко плескам, трескам и перунам») сменяется у Карамзина описанием «тихого, нежного» пения:

Сперва, как дальняя свирель,
Петь тихо, нежно начинаешь. . .

«Приятный свист и трель» переходят в крещендо сливающихся рулад, вновь затихающих:

Гремишь — и вдруг ослабеваешь;
Журчишь, как томный ручеек. . .[88]

Державин сдержанно отнесся к этому стихотворению, уловив в нем противоположную поэтическую концепцию: «. . .соловей, — писал он Дмитриеву, — *правда ваша*, не весьма громок». Магницкий, печатая свою версию в следующем же выпуске «Аонид», попытался совместить державинскую звукопись с сентименталистской лирической смягченностью; песнь его соловья начинается, как у Карамзина, «приятным, тихим, нежным свистом», который «как будто вдалеке По ветру тонкому несется»; далее следует попытка имитировать Державина:

Великолепный, яркий, громкий,
Пронзающ душу, глас звучит;
Перерывается, в кудрявых свистах вьется,
В раскатах гладких трелей льется;
Переливается, журчит,
Томится, исчезает,
Возносится, стремится,
Со щелком сыплется, дробится
И в тресках дребезжа течет <. . .>
Лес слушает его безмолвно,
Боятся ветры песнь прервать. . .[89]

В это-то своеобразное соревнование и включился Крылов в своей басне 1811 г. Мы легко найдем в ней точки соприкосновения с Карамзиным:

То нежно он ослабевал
И томной вдалеке свирелью отдавался. . .[90]

Конец описания ассоциируется со строками Магницкого:

Затихли ветерки, замолкли птичек хоры
И прилегли стада.

---

[88] *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. Л., 1966. С. 232.
[89] Аониды. М., 1797. Кн. 2. С. 68—69.
[90] *Крылов И. А.* Сочинения. М., 1946. Т. 3. С. 56.

Если угодно, перед нами случай «соперничества», а точнее соревнования, которое могло наносить уколы авторским самолюбиям, но не могло привести к литературному антагонизму, за которым стоит несовместимость литературно-эстетических систем. Возможно, что Крылов и хотел превзойти Карамзина, но превзойти на избранных им же литературных путях.

В литературе уже было обращено внимание на то обстоятельство, что Крылов пришел к своему литературному противнику как своего рода последователь, сознательно заявивший себя сторонником его басенной манеры.[91] В напряженной ситуации конца 1805—начала 1807 г. особенно важно было именно это обстоятельство. Вспомним, что оба противоборствующих лагеря старались обзавестись сильными сторонниками: оба стараются привлечь на свою сторону Державина. Когда это не удается, Хвостов и Кутузов привлекают Горчакова и Николева и, наконец, Капниста. То же самое станет делать «Вестник Европы», когда Каченовский в 1806 г. разойдется с Державиным и Дмитриевым: он станет систематически печатать стихи Хераскова, и Дмитриев это сразу же отметит (*II*. 202).[92] Крылов, искушенный в тонкостях журнальной борьбы, конечно, прекрасно понимал ситуацию; своим обращением к Дмитриеву он заявлял себя не только его последователем, но и сторонником, причем в очень острый момент. Демонстративная поддержка его Дмитриевым также была не только актом литературного признания, но и актом журнальной дипломатии и тактики: в журнале Дмитриева появлялось достаточно известное литературное имя, а басни Крылова, написанные «по Дмитриеву», противостояли, конечно, не басням «учителя», а литературной продукции его антагонистов.

8

В феврале 1806 г. охлаждаются отношения Дмитриева с «Вестником Европы». Формальный повод его размолвки с Каченовским известен: Каченовский поправил несколько стихов в державинской «Цирцее», присланной самим автором, и отложил публикацию второго стихотворения Державина — «Дева за клавесином» (перевод из Шиллера). Д. Н. Блудов рассказывал, что, получив второе стихотворение, Каченовский не был доволен и просил А. Ф. Мерзлякова перевести его заново; Державину же написал, что в редакции есть другой перевод. Державин вспыхнул и отозвался сердитым письмом; чтобы уладить инцидент, Каченовский просил Дмитриева взять на себя вину, объяснив маститому поэту, что «Дева за клавесином» была задержана по его, Дмитриева, совету. Дмитриев не соглашался, и произошел спор, принявший резкие формы. Детали всей этой истории для нас уже не вполне

---

[91] Иван Андреевич Крылов: Проблемы творчества. С. 246 и след.

[92] Ср.: *Херасков М. М.* 1) Солнце // Вестник Европы. 1806. № 3. С. 161; 2) Прошедшее // Там же. № 6. С. 104; 3) Ночное размышление // Там же. № 8. С. 261; 4) Вечность // Там же. № 11. С. 161.

ясны; сохранившиеся свидетельства не во всем совпадают.[93] Перевод Мерзлякова был напечатан во втором январском номере;[94] державинские стихи, по-видимому, должны были появиться вместе с «Цирцеей» в первой февральской книжке, но были напечатаны лишь в апреле.[95] Отсюда как будто следует, что к моменту получения стихов Державина перевод Мерзлякова действительно был в редакции и набирался или был набран; откладывая печатание, Каченовский, конечно, хотел избежать слишком близкого соседства конкурирующих стихов, которое могло бы подать повод к произвольным сравнениям и кривотолкам. В рассказе Блудова, конечно, отразилось позднейшее недоброжелательное отношение к Каченовскому и Мерзлякову, характерное для И. И. Дмитриева после конфликта. Причины же расхождений были, вероятно, более глубокими и не только конъюнктурными. М. А. Дмитриев передавал слова своего дяди в разговоре с Каченовским: «. . .он очень равнодушен к „Вестнику Европы", который вышел уже из рук Карамзина и теперь ему *ни друг, ни брат*».[96] За этой формулой стояло наметившееся расхождение литературных позиций, и более всего разница в отношении к Карамзину. И Каченовский, и Мерзляков настроены к Карамзину скептически, что Дмитриев не мог не ощущать.

В создавшихся условиях ему приходилось самому выступать на журнальном ристалище.

В мартовском номере «Зрителя» он печатает басню «Орел и Каплун». Эта редакция (впоследствии измененная) содержала прямое памфлетное иносказание, причем адресат не вызывал никаких сомнений. Каплун, который, собираясь следовать за орлом, «брякается» «на кровлю, как свинец», и вызывает хохот, есть не просто «отважный без ума», как в последней редакции: это — бездарный поэт, вступивший в соперничество с подлинным:

> Читатель! я хотел в иносказаньи этом
> Представить рифмача с Поэтом.[97]

Речь, несомненно, шла о соперничестве Хвостова с Дмитриевым, о чем нам уже пришлось говорить. Через несколько месяцев Шаликов, всегда несдержанный в полемике, еще более прояснил адрес: в критическом разборе хвостовского перевода из Феокрита он процитировал эту басню: «Благодаря свободе стихотворческой, некоторые слова можно сокращать без всякого преступления; но только Поэту — не рифмачу. . .» [98]

---

[93] См.: *Державин Г. Р.* Сочинения. 2-е изд. Т. 2. С. 536, 541; *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. С. 117—118.

[94] Вестник Европы. 1806. № 2. С. 112.

[95] Там же. № 7. С. 175.

[96] *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. С. 117.

[97] Московский зритель. 1806. № 3. С. 34 (подп. И*). Указание на эту редакцию есть у В. Кеневича (Библиографические и исторические примечания к басням Крылова. 2-е изд. С. 42).

[98] Там же. № 8. С. 64.

Вслед за басней Дмитриев печатает оду «Спокойствие» (из Горация); в созданном контексте последняя ее строфа читалась как автобиографическая и также памфлетная:

Тебя богатство, знатность рода
В червлену ризу облекли,
А мне фортуна и Природа
Послали в дар клочок земли;
Таланта искру к песнопенью
На лад любимых мной творцов
И равнодушие к сужденью
Толпы Зоилов и глупцов.[99]

Непосредственно за этой одой следовала басня В. Л. Пушкина «Пастух и Соловей» — о лягушках, которые не в силах заглушить голос соловья, с моралью:

Пусть истинный поэт на лире воспевает,
Зоилова хула талант не помрачает.[100]

В марте 1806 г. Дмитриев, таким образом, впервые вышел на авансцену как вождь литературной группы и как некий символ, персонификация таланта, преследуемого завистью. Его противники из «Друга просвещения» совершенно таким же образом выдвигают своего главу и наделяют его теми же атрибутами. Этот глава — П. И. Голенищев-Кутузов как переводчик Пиндара. В мартовской книжке мы находим обращенные к нему оду и послание. Ода принадлежала Хвостову и была написана по случаю намерения Кутузова заняться службой по Министерству юстиции и оставить поэзию:

Носитель днесь почтенных уз,
Не оставляй, Кутузов! муз <. . .>
Святую истину вещать
Дерзай Пиндаровой трубою. . .[101]

Едва ли не Хвостову принадлежало и послание, напечатанное анонимно и носившее прямо декларативный характер. Оно содержало апологию Кутузова, преследуемого завистью «сатириков», «Аретинов», «презренных в свете тварей», которые находят удовольствие «терзать и поносить, что в мире есть прекрасно». Повторяется тот же мотив, что и у Дмитриева, — вплоть до парафразы басни об орле и змее, которую, как мы помним, переводил и Хвостов:

. . .истинный поэт и мудрый человек
Свой продолжает путь и зависть презирает.

---

[99] Там же. С. 37. Эта редакция оды (известной как «Подражание Горацию») не учтена в существующих изданиях Дмитриева; разночтения ее с окончательной незначительны, но дают возможность исправить ошибку в тексте (в 6-й строфе «Титон», а не «Титан»).

[100] Там же. С. 38.

[101] *Г. Х<востов>*. Ода Павлу Ивановичу Г. Кутузову // Друг просвещения. 1806. № 3. С. 215. Ср. также: К Музе (самого Кутузова? — *В. В.*) // Там же. С. 323.

Орел, узрев змею, на облака взлетает.
Вот мщение его, других орудий нет;
А казнь завистника — достоинств яркий свет.[102]

Все эти рассуждения — общее место «сатир о сатирах» — в конкретных условиях получали и конкретный смысл. «Завистники», «сатирики» — группа Дмитриева и прежде всего, конечно, он сам. Переводы Кутузова из Пиндара — объект их нападений, который обладает непреходящей поэтической ценностью и потому вызывает «зависть».

Автор послания еще больше конкретизирует свою мысль. В утверждении, что на достойного поэта «Зоилы ядом дышат, Рецензии дают и эпиграммы пишут», слышится автобиографический намек. До Хвостова дошла направленная против него рукописная полемическая литература — может быть, даже те «рецензии», которые Дмитриев посылал Языкову для чтения в рукописи и, конечно, распространения. К сожалению, мы не знаем, о каких именно «эпиграммах» идет речь и была ли создана к этому времени самая ядовитая из дмитриевских эпиграмм на Хвостова — «Подзобок на груди и подогнув колена. . .»

Этот «нижний ярус» литературной борьбы оказывался едва ли не самым важным и эффективным. Он менял характер печатной полемики — и уже в мае 1806 г. в полемических декларациях «друзей просвещения» появляются новые ноты и новый тип «зоила». Он появляется в оде «Гремушка», также принадлежавшей перу Хвостова. Здесь речь идет уже не просто о «завистнике», но хитром насмешнике, вооруженном «скрытым Момуса кинжалом», который «языком копает гробы» для дарований. Он умен и опасен; он вольнодумец и имморалист:

Злоумным жертва брат, отец,
Весы и меч, алтарь, порфира,
Священные все вещи мира. . .

Символическим обозначением такого критика становится уже не Зоил, но Аристофан, несравненно более могущественный. Его оружие — смех — сильнее «громов»; «гремушка» может свергнуть добродетельного Аристида:

Пускай бы злоба угнетала
И зависть люта клеветала,
Их истощились бы огни.
Аристофан смешным представил (Сократа. — *В. В.*)
И выпить яд его заставил,
Насмешкой злой исторгнул дни.[103]

---

[102] К Павлу Ив‹ановичу› Г. Кутузову // Там же. С. 218—220.

[103] Друг просвещения. 1806. № 5. С. 113—115. Полностью переработанную редакцию см.: Лирические стихотворения графа Хвостова. 3-е полное изд. СПб., 1828. Т. 1. С. 246—251. Здесь датировано 1826 г.; в примечании уточнение: «Ода „Гремушка“ была весьма давно написана, хранилась в рукописи у автора и теперь печатается в первый раз в издании сего 1828 г.» (с. 312). Примечание носит явно вуалирующий характер.

Все это получит продолжение позднее, когда Шишков бросит своим противникам обвинение в аморализме и вольнодумстве. Впрочем, Кутузов это делает сейчас же, вслед за Хвостовым. В июньском номере «Друга просвещения» появляется анонимная «Сказка, похожая на быль». Об авторстве Кутузова мы можем говорить почти уверенно, потому что она содержит парафразы из его памфлета в «Иппокрене» (1799):

Домик я найти старался
Лизы бедной, дорогой,
Но напрасно прошатался,
Истерзался я тоской.

Глаз один закрыв рукою,
Я другим слезу ронял,
И слезу мою волною
Ветер свеял и угнал.[104]

Герой стихотворения «Бредон» искал мудрости у «слезливых» писателей. Эта мудрость заключалась в грубой чувственности и в насмешках над творениями, где «твердятся Вечность, истина и бог». Он соблазнил и других — и теперь скитается, разбитый душевно и телесно и терзаемый мучениями совести. Для него один выход — обратиться к богу и бежать «новой мудрости».

В стихотворном памфлете сказано почти все то, что пятью годами позже Кутузов напишет Разумовскому в своих доносах на Карамзина.

Этот идеологический и даже политический аспект полемики не был, конечно, новостью для Дмитриева: в 1806 г. он лишь обнаружился еще раз. Быть может, поэтому Дмитриев и его единомышленники с такой последовательностью стремились разрушить литературную репутацию Кутузова, упорно создаваемую «друзьями просвещения».

Они делают это публично в июньском номере «Московского зрителя» в статье «О творениях Пиндара, переведенных Павлом Голенищевым-Кутузовым, с разными примечаниями и объяснениями на лирическое стихотворство и проч. В двух частях, содержащих оды олимпические и пифические. Москва, в типографии Платона Бекетова, 1804». Статья была напечатана анонимно, принадлежала она П. И. Шаликову, который впоследствии включил ее в собрание своих сочинений.[105]

Статья «О творениях Пиндара» словно собрала в единый фокус все линии и стилистические приемы полемики, выработанные Дмитриевым и его группой. Это саркастический памфлет в форме иронической похвалы.

Стилистический тон ему задал, конечно, И. И. Дмитриев. Еще в начале года он убедился, что прямые критические нападки,

---

[104] Друг просвещения. 1806. № 6. С. 190—195.
[105] *Шаликов П. И.* Сочинения. Ч. I. Проза. М., 1819. С. 93—106.

как в статье Шаликова против Хвостова, почти не имеют шансов попасть в печать. Отправляя Языкову свои разборы, он предупреждает, что для публики их следовало бы писать иным образом. Годом ранее Державин сообщал ему о своей неудачной попытке вразумить Кутузова: критические замечания он высказал в столь корректной форме, что автор счел их за похвалу себе. По-видимому, Дмитриев сделал из этого свои выводы. Мемуары М. А. Дмитриева сохранили нам след интереса его дяди к формулам вежливой двусмысленности; Дмитриев-старший даже выдвигал определенного рода требования к подобным формулам. Так, он бывал недоволен, когда Карамзин отвечал на авторские дары Хвостова похвалами; он предусматривал, что Хвостов будет хвастаться ими (вспомним, что Кутузов «хвастался» державинским письмом), а сторонние читатели примут их за лесть или за чистую монету, — «и то и другое нехорошо». Сам он отвечал Хвостову так: «Ваша ода или басня ничуть не уступает старшим сестрам своим!» «Он и доволен, — заключал Дмитриев, — а между тем это правда».[106] Воспоминания М. А. Дмитриева достоверны. Известно письмо И. И. Дмитриева Хвостову от 31 августа 1815 г., в котором употреблена именно эта формула: «Напрасно вы по скромности *вашей не доверяете вашему гению. Новейшее произведение вашей* музы во всех отношениях не уступает прежним».[107]

В статье о Кутузове формула превращена в прием, выдержанный с редкой последовательностью и искусством. «Перевод классических авторов есть, конечно, важнейшая услуга, какую только можно оказать словесности, а особливо нашей, — начинает критик, — и потому благодарность, которою мы обязаны господину Кутузову, должна быть соразмерна дарованию его и успехам в переводе Пиндара». Игра идет на семантических оттенках: фразовое ударение на словах «важнейшая услуга» создает инерцию смысла в придаточном предложении следствия; «дарование», «успехи» понимаются в абсолютном смысле. При внимательном чтении иллюзия рассеивается; фраза значит: степень нашей благодарности зависит от степени успеха Кутузова. Далее критик начинает демонстрировать читателям эту степень успеха, выписывая архаические и тяжеловесные конструкции из «Предуведомления» якобы для развития своей мысли. «Такой стиль, — замечает он как бы попутно, — кроме всего — приготовляет уже читателя к тем красотам, которые найдет он в переводе». Читателю предоставляется возможность самому определить, хорош или плох

---

[106] *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. С. 122.

[107] Русская старина. 1892. № 7. С. 100. Ср. замечания Вяземского в письме А. И. Тургеневу от 13 (25) июня 1841 г.: «Дмитриев говаривал, что в ответ Хвостову на присылку стихов он никогда не имел духу называть стихов его стихами и всегда писал ему: „Я получил письмо ваше с приложением“» (Остафьевский архив. СПб., 1899. Т. 4. С. 135); ср. то же замечание в письме 1821 г. (Там же. Т. 2. С. 195). Позднее этим полемическим приемом пользовался Пушкин (см. в нашей заметке: «Булгарин и граф Хвостов» // Русская речь. 1987. № 3. С. 31—32).

стиль. Для этого выписываются еще три большие цитаты, причем критик полностью присоединяется к высказанным мыслям, дав возможность читателю еще раз полюбоваться их словесной оболочкой. После этого он переходит к разбору стихов. Тот же прием — выписывание больших фрагментов текста — здесь варьирован: курсивом выделены стилистические и грамматические погрешности. Комментарий критика представляет собою нарочито нелепое их оправдание. «Инверзии или переставки, искусною рукою делаемые, составляют часто истинную красоту в стихотворении: „летящие из уст, чудовища, железных“ (мы не знаем, для чего прежде и после «чудовища» поставлены запятые)! Скажите: „чудовища, летящие из уст железных“ или — если ошибаемся в смысле — „летящие из уст железных чудовища“ — и будет все не то».

«„Витающий на скипетре орел!“ Нельзя живописнее!»[108] Или: «„Сии игры, по Овидию, — говорит г-н Переводчик в Предуведомлении к сим одам, — учреждены самим Аполлоном в воспоминание низложенного змия Пифона“.

Заметьте: „по Овидию“; иной бы сказал „по мнению, по словам Овидия“ — и тем бы растянул фразу».

С особенной охотой критик отмечает очевидные ошибки Кутузова против грамматики и орфоэпии, иронически извиняя их порывами поэтического вдохновения или мнимой малозначительностью. Иногда в попутном, совершенно эпическом комментарии он приводит словоупотребление Кутузова к полному абсурду, варьируя его так, чтобы оно содержало в себе, якобы непроизвольно, ядовитый намек:

«Кто думает себя скрывать
От глаз богов, тот заблуждает. . .

Кажется, надобно *заблуждается*, ибо это глагол возвратный; *заблуждать* глагола нет; но есть, без частицы *за*, глагол *блуждать*».[109]

Одна особенность этой статьи должна обратить на себя наше внимание. Дело в том, что в ней подвергнута подробному разбору как раз та 1-я олимпийская ода к Гиерону, отрывок из которой Дмитриев выписывал для Языкова в сентябре 1804 г., т. е. почти двумя годами ранее. Вряд ли это случайное совпадение. В числе других стихов внимание критика сконцентрировалось и на двенадцати строках, приведенных в письме к Языкову. Как и в письме, подчеркнуто повторяющееся местоимение «тебя» и деепричастие «любя». Комментарий гласит: «Несмотря на то, что в девяти стихах повторено шесть раз *тебя* да однажды *любя*, — неизбежность, в которой очевидно находился поэт или его переводчик, — едва ли чувствуете сие повторение — отчего?

---

[108] Московский зритель. 1806. № 6. С. 75.
[109] Там же. С. 72—73.

Оттого, что нет ни малейшей вялости в стихах; оттого, что механизм очень хорош, — что нет ни одного слова лишнего. Такой пример служит доказательством, что искусству все возможно».[110]

Этот промах Кутузова бросался в глаза; однако Шаликов обратил внимание и на другую неточность в словоупотреблении, также отмеченную в письме Дмитриева двухлетней давности. Там было подчеркнуто выражение «в *блистании* картин». В рецензии оно варьируется неоднократно. «Паче же блистает в сей оде сильная картина огней горы Этны», — выписывает критик предисловие Кутузова к оде и, приведя соответствующий стихотворный фрагмент, восклицает: «Вот та *сильная картина огней горы Этны* — картина, которая наиболее *блистает в сей оде*!» [111] Совпадение еще более разительное, ибо замечание Дмитриева в письме к Языкову не было развернуто.

Трудно сомневаться, что Шаликов писал свой разбор в непосредственном общении с Дмитриевым, который, может быть, и проредактировал его статью. На эту мысль наводит сопоставление ее с другой статьей, несомненно того же автора, «О переводе „Циклопа“ из Феокрита, напечатанном в первой книжке „Друга просвещения“, 1804». В последнем разборе почти буквально воспроизводились схема и полемические приемы статьи о Кутузове, к которой автор даже отсылал читателя («Мы говорили в шестой книжке нашего журнала о пользе, приносимой хорошими переводами классических авторов <. . .> Теперь, не говоря более о пользе, приведем новые примеры. . .»).[112] Иронические похвалы Хвостову иной раз почти текстуально совпадают с похвалами Кутузову, но они более вялы, многословны, пестрят натянутыми и иногда грубыми шутками (так, Шаликов делает намек на «Русского Езопа» и спешит пояснить в подстрочном примечании, что боится, как бы читатели не смешали «фригийского» и «русского Эзопа» «по какому-нибудь сходству между ними»).[113] Все это резко контрастирует с лаконизмом и точностью фразы в первом разборе.

Полемике вокруг переводов Пиндара суждена была и дальнейшая жизнь — притом в более высоких образцах. Выпад Шаликова против Кутузова: «„От ваших пламенных огней Горят умы, сердца людей!“ Кажется, что пламенный огонь пылал в груди поэта-переводчика», — формировал пародийный образ. Вместе с державинским «зажег пучок соломы» он был развит в «арзамасской» пародии Жуковского:

Зрел недавно, как Пиндар,
В воду огнь свой обративши,
Затушил в Москве пожар,
Всю зажечь ее грозивший.

(К Воейкову, 1814) [114]

[110] Там же. С. 71—72.
[111] Там же. С. 76.
[112] Там же. № 8. С. 59.
[113] Там же. С. 64.
[114] *Жуковский В. А.* Стихотворения. Л., 1940. Т. 2. С. 238.

Это, однако, частность; более существенно, что самый тип иронически-похвальной рецензии был подхвачен в «арзамасской» полемике. Статьи Шаликова против Кутузова и Хвостова были генеральной репетицией известной речи Дашкова в честь Хвостова, произнесенной 14 марта 1812 г. в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств.[115] Важно напомнить, однако, что прием был найден не Шаликовым, а Дмитриевым, и в этой связи особое значение приобретает свидетельство М. А. Дмитриева об отношении к речи Дашкова, подлинного ее вдохновителя: «. . .узнавши об этой выходке, как ни смеялся, однако пожурил оратора. . .» [116] Упреки относились не к самой речи, а к неосторожности и недостаточной дипломатичности, результатом которой был открытый конфликт и исключение Дашкова из общества.

Литературные последствия речи Дашкова были, однако, еще более значительны, чем ее непосредственные достоинства. Она стала моделью вступительных речей всех будущих арзамасцев — саркастических «похвальных слов» «покойникам», «халдеям» «Беседы»; уже современники квалифицировали ее как «арзамасскую» речь. Но и этим дело не исчерпывается.

Полемика 1806 г. актуализировала несколько конфликтов и образных тем, которые были в дальнейшем закреплены литературой. Первой из них была оппозиция «талант—завистник». Она, конечно, не возникла заново, но выдвинулась на передний план. Через несколько лет она ляжет в основу легенды об Озерове, созданной в арзамасских кругах: версии о великом поэте, погибшем от козней «зоила» и «завистника»: [117]

Увы! Димитрия творец
Не отличил простых сердец
От хитрых, полных вероломства.
Зачем он свой сплетать венец
Давал завистникам с друзьями?
Пусть Дружба нежными перстами
Из лавров сей венец свила —
В них Зависть тернии вплела;
И торжествует: растерзали
Их иглы славное чело —
Простым сердцам смертельно зло:
Певец угаснул от печали.[118]

Судьбе Озерова будет посвящен и знаменитый памфлет Д. В. Дашкова «Письмо к новейшему Аристофану» (1815), обращенный к Шаховскому.

---

[115] Чтение в Обществе истории и древностей российских. 1861. Кн. 4. Отд. 5. С. 183—186; ср.: Русская литература XVIII века и ее международные связи. С. 105.

[116] *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. С. 213—214.

[117] См. подробнее: *Гиллельсон М. И.* 1) П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 365—378; 2) Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974. С. 7 и след.

[118] *Жуковский В. А.* Стихотворения. Т. 2. С. 141, 495 и след.

Имя Аристофана, как мы видели, также стало семантическим центром в полемике 1806 г. и теперь возникало как своего рода художественное обобщение. Аристофаном Хвостов называл Дмитриева; к имени древнего комедиографа обратились будущие «беседчики», защищаясь от нападений будущих «арзамасцев». В 1808 г. А. А. Шаховской упомянул об Аристофане в статье «Греческая комедия»: «. . .что может извинить его комедию „Облака", в которой он выводит на поругание мудрого Сократа и, не довольствуясь осмеянием его философии, клеветами своими приготовляет, так сказать, мученическую смерть сего добродетельного мужа?» Он возражал Палиссо, пытавшемуся оправдать Аристофана, и упоминал о его «ругательствах» над Эврипидом, Эсхилом и Софоклом.[119] В своем памфлете Дашков обратил все эти характеристики на него самого.

До полемики об Озерове должно было пройти, однако, почти десять лет. В 1806 г. сами «друзья просвещения», как мы видели, несколько раз пытались переадресовать своим противникам обвинения в «зависти»; в августовском номере журнала появилась уже прямая эпиграмма на Дмитриева, как бы резюмирующая эту тему:

Как родился Дамон, не строивал домов,
Не разводил садов,
Не писывал стихов;
Однако сердится всечасно,
Лишь только похвали, что у других прекрасно.
Так что же наш Дамон?
Завидлив, видно, он.[120]

Можно думать, что сам Хвостов был автором прочитанной нами беспомощной эпиграммы: в своем архиве он сохранял записи рассказов о двуличии и завистливости Дмитриева.[121] Конечно, сама по себе эпиграмма не в силах была дискредитировать Дмитриева как личность или литератора, но она совпала с литературной контратакой, в которую были втянуты куда более значительные силы.

В апреле—мае 1806 г. Каченовский выступил с развернутой рецензией на третий том «Сочинений и переводов» Дмитриева. Рецензия была критической; более того, она содержала личные намеки — следствие наметившихся разногласий. Писательский круг безошибочно узнавал, кого разумел критик под «сенатором», высокомерно третирующим независимого журналиста.

Дмитриев был взбешен. По воспоминаниям Н. А. Полевого, он не мог спокойно говорить о рецензии Каченовского и спустя двадцать лет.[122] В майских письмах А. И. Тургеневу и В. А. Жу-

---

[119] *А.* ‹*Шаховской*›. Греческая комедия // Драматический вестник. 1808. № 11. С. 92—93.

[120] Друг просвещения. 1806. № 8. С. 109.

[121] Русская старина. 1890. № 6. С. 678.

[122] Вестник Европы. 1806. № 8. С. 278—300; № 9. С. 42—54. В экземпляре ИРЛИ (шифр 2), принадлежавшем М. Н. Лонгинову, против этого пас-

ковскому он сетует на отсутствие полемических статей в его защиту. Нет сомнения, что ответ Д. Н. Блудова, датированный 28 мая 1806 г., не напечатанный в то время и сохранившийся в бумагах Вяземского, был написан с ведома Дмитриева; в нем находились, в частности, и указания на «личности», допущенные Каченовским, и намеки на его нерусское (украинское) происхождение, якобы послужившее причиной ошибок против русской орфоэпии и фразеологии.[123] Обо всем этом Дмитриев писал Тургеневу и Жуковскому.

Он ответил Каченовскому эпиграммой «Нахальство, Аристарх, таланту не замена», которой, как обычно, дал ход, процитировав ее в письме к А. И. Тургеневу от 18 мая 1806 г. Вероятно, приблизительно в то же время он пишет и эпиграмму на Хвостова «Подзобок на груди и подогнув колена. . .», которую принял на свой счет А. Ф. Мерзляков. До Мерзлякова, конечно, дошел слух, что Дмитриев подозревает его в соучастии с Каченовским; Дмитриев, по-видимому, и не скрывал своего мнения. Во всяком случае он позаботился о том, чтобы оно стало известно прежним ближайшим друзьям Мерзлякова — Жуковскому и А. Тургеневу (II. 202—204).[124]

Вероятно, этот конфликт, усугубившийся еще позднейшими выступлениями Каченовского против Карамзина, способствовал возрождению легенды о «зависти Дмитриева». О том, что она существовала, мы знаем из случайно брошенного замечания Д. В. Веневитинова в письме С. П. Шевыреву от 21 января 1827 г.: «Не пугайтесь гонений ни Дм<итриева>, ни Дав<ыдова> <. . .> Дм<итриев> завистлив, и ему бы хотелось уронить хоть сколько-нибудь Пушкина. Молодых же людей он никогда не похвалит, всегда видя в них соперников».[125]

Здесь не место подробно разбирать вопрос о поздней репутации Дмитриева, несколько пошатнувшейся после его холодного отзыва о «Руслане и Людмиле». Нам важно лишь обозначить характерологическую версию, имевшую хождение в среде сторонников Пушкина и — с другой стороны — бывших учеников Мерзлякова, отлично помнившего давние полемические столкновения.

сажа («Так например, человек малого чина, рассказывая о министре или сенаторе, который, прежде обходившийся с ним приятельски, вздумал бы заговорить повелительно и грозно — может сказать: *он вдруг переменил тон*; и это будет понятно для каждого» — с. 290) рукой Лонгинова помечено: «Намек на Дмитриева». Лонгинов пользовался информацией М. А. Дмитриева; ср.: *Полевой Н. А.* Очерки русской литературы. СПб., 1839. Ч. 2. С. 480.

[123] См. эту статью в приложении к кн.: *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. С. 267—278. См. также наш комментарий к письму Дмитриева к Блудову в кн.: Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 418, 440, 446.

[124] Ср.: *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. С. 123—124.

[125] Лит. наследство. М., 1934. Т. 16—18. С. 689.

Каченовский сумел нанести Дмитриеву удар довольно чувствительный, но он не мог, да, вероятно, и не ставил своей целью разрушить его литературную репутацию. В полемике 1806 г. последнее слово осталось за сторонниками Дмитриева. В июльском номере «Московского зрителя» была еще раз произнесена апология ему — в статье о Лафонтене. Шаликов разбирал басню «Мышь, удалившаяся от света» (о ней неоднократно шла речь выше), к которой сделал примечание: «Пользуюсь переведенною нашим единственным *Лафонтеном*, истинным соперником баснописца французского. Сравните сей перевод с оригиналом — и вы увидите, как гении переводят гениев».[126]

Дмитриев продолжал оставаться тайной пружиной полемики, но сам он окончательно удалился в тень, предоставив поле сражения своим сторонникам. Отзвуки разговоров и устных эпиграмм, вышедших из его салона, впрочем, появлялись в печати. В эпиграмме Б. К. Бланка на Хвостова, появившейся в сентябре в «Московском зрителе», слышится один из таких отзвуков:

Уж переводится, что Хватов написал,
На английский язык, немецкий и французский,
А Гениев вчера заподлинно сказал,
Что переводят и на русский.[127]

Тот же Бланк напечатал и эпиграмму на Кутузова как переводчика Пиндара, а несколько ранее и «баснь» «Павлин и Орел», несомненно направленную против того же адресата. «Павлин» (прозрачно зашифрованное имя Голенищева-Кутузова) равнял себя с Орлом (едва ли не намек на басню «Каплун и Орел»); царь птиц не стал преследовать неудачливого соперника, но отпустил его, чтобы тот царствовал в курятнике. Басня заключалась строчками:

Иной лишь песенку, сонет
иль мадригал
К любезной написал,
А так уж о своем достоинстве
мечтает,
Что с гением себя равняет! [128]

---

[126] Московский зритель. 1806. № 7. С. 38. Отметим примечание, касающееся творческой истории этой басни. К строке «И руки положа на грудь свою крестом» Шаликов сделал сноску: «Я слышал однажды от поэта-переводчика, что он написал махинально *руки* вместо *лапки*; без сомнения так; ибо ничто не обязывало написать *руки*: ни мера, ни просодия; к тому же *лапки крестом* сделало бы очень хорошую противоположность» (с. 52). В последующих изданиях Дмитриев действительно заменил «руки» на «лапки».

[127] *Б** ‹*Бланк Б. К.*›. Эпиграмма. На стихотворения, переведенные на многие языки // Московский зритель. 1806. № 9. С. 27.

[128] Там же. № 11. С. 67; ср.: Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в. С. 206 (№ 577); Московский зритель. 1806. № 6. С. 42.

Это был, по-видимому, уже заключительный этап полемики. В конце 1806 г. прекращают свое существование и «Друг просвещения», и «Московский зритель», и критическая перепалка прекратилась, по крайней мере внешне. Хвостов успел напечатать еще свой перевод «Письма г. Буало к г. Расину», где пытался словами Буало ответить противникам, однако он несомненно чувствовал, что покидает поле битвы отнюдь не победителем. В последнем номере «Друга просвещения» он печатает свое «Преложение псалма 134» со строками, отсутствующими в оригинальном тексте, в которых звучит прямая жалоба:

Они свои насмешки грубы
Распространили на меня,
Свирепы изострили зубы,
Чтоб изгубити день от дня. . .[129]

Включая старые стихи в собрание своих сочинений, он отныне будет перерабатывать их полностью и намеренно изменять даты в примечаниях, чтобы изгладить все следы прежних полемик. Он станет вновь посвящать Дмитриеву комплиментарные послания и восстанавливать отношения с Шаликовым. Тем не менее репутация графомана отныне будет сопутствовать его имени.

Нет сомнений, что и для второго издателя «Друга просвещения» П. И. Голенищева-Кутузова столкновения 1806 г. не прошли бесследно. Он сходит с литературной арены, полностью отдавшись своей деятельности по Министерствам юстиции и народного просвещения, но в его переписке с А. К. Разумовским в 1810—1811 гг. — переписке, стяжавшей себе незавидную славу доносов на Карамзина, — ясно звучат ноты уязвленного литературного самолюбия и литературной вражды. Но еще ранее, переехав в Петербург, он принимает участие в шишковской Российской академии, ставшей ядром будущей «Беседы».

Отзвуки этих полемик начала века прослеживаются в русской литературе еще спустя десятилетия — в ожесточенных спорах «Арзамаса» с «Беседой», в эпиграммах и памфлетах Вяземского и Пушкина против Каченовского, в самом разделении литературных лагерей в начальный период романтического движения. Сквозные образы, полемические приемы, даже биографические легенды, подготовленные устной памфлетной литературой начала века, получат новую жизнь в «Арзамасе». Но она вызвала к жизни и феномены более общего, концептуального характера. Литературная борьба 1800-х гг. представала последующим поколениям как борьба бездарностей против дарований — представление часто полемическое, уходящее своими корнями в литературную конкуренцию, в которой сознательно создавались и ниспровергались литературные репутации. Голенищев-Кутузов, Хвостов, затем Галенковский и Каченовский пытались сбросить с пьедестала

---

[129] Друг просвещения. 1806. № 10. С. 14.

фигуру Дмитриева — и оказались сброшенными сами. Таковы были законы борьбы за приоритет в эстетическом движении. В этой борьбе мощным оружием стала сатира и эпиграмма, пережившая на протяжении 1800—1820-х гг. период своего наивысшего расцвета. Гротескная, символическая фигура Хвостова-Графомана с большой буквы была создана в эти годы с помощью сатирической гиперболы и, если угодно, также была «легендарной». Легенда имела реальные основания — Хвостов не обладал ни поэтическим талантом, ни поэтическим вкусом, однако ни один из графоманов, ему современных (хотя бы Струйский), не оставил своего имени в нарицательном значении. Биография Хвостова-графомана строилась последовательно и целенаправленно; из всей его необозримой поэтической продукции отбирались и передавались из уст в уста именно «примеры галиматьи», как предсказывал в своей эпиграмме Дмитриев; от него ждали стихотворных нелепостей и читали с этой установкой. Едва ли не Дмитриев дал здесь первые стимулы. «Жадничаю читать оду его, — писал он А. Тургеневу 24 октября 1809 г., задолго до появления первых арзамасских пародий. — Для меня нет посредственности: давай мне или самое прекрасное, или самую пакость, и в последнем случае этот рифмач всегда меня интересует» (II. 212—213). «Хвостов портится, — писал Вяземский тому же Тургеневу, словно подхватывая мысль через десять лет, — он должен бредить или молчать: я не заметил ни одного уродливого стиха».[130] «Читал ли „Родовой ковш“ графа Хв<остова>? — спрашивал Тургенев Вяземского 26 октября 1813 г. — Он мне всучил его за обедом у церковного старосты. Он опять становится прелестен».[131] Это уже традиция чтения и восприятия, традиция, восходящая своими корнями к тому, уже забытому времени, когда на весах лежали репутации «рифмача» Хвостова и «поэта» Дмитриева, когда друг против друга стояли две антагонистические литературно-общественные группы, со своими шкалами ценностей, со своими вождями, фаворитами и профанами, — и еще не был до конца ясен исход спора, оставившего свои следы в исторической памяти русской литературы.

---

[130] Письмо от 31 янв. 1820 г. // Остафьевский архив. СПб., 1899. Т. 2. С. 12.

[131] Там же. С. 363.

Н. А. КОПАНЕВ

ПЕТР I — ПЕРЕВОДЧИК

В феврале 1710 г. в отделе «Новости литературы» известного французского периодического издания «Журналь де Треву» («Записки для истории наук и искусств») [1] появилась очень любопытная заметка об успехах русского просвещения начала XVIII в. «Из Московии» сообщалось: «Заботы царя Петра Алексеевича о воспитании у своих подданных воинского духа и литературного вкуса увенчиваются успехами. Победа, одержанная под Полтавой, показывает, насколько московитское войско изменилось после Нарвской битвы. Большое количество полезных книг, созданных на славянском языке или переведенных на этот природный язык Московии, доказывает, что московиты не далеки от того, чтобы с помощью наук снискать себе такую же славу, какую они уже заслужили на ратном поле. Все *эти* книги были напечатаны шрифтами, привезенными из Голландии: первая книга принадлежит самому царю» («le premier est du Czar même»). Далее в заметке шел перечень семи книг, отпечатанных в Москве в 1708—1709 гг. гражданским шрифтом, и первой значилась та, которая «принадлежала самому царю», т. е. была создана, переведена самим Петром I, — «Архитектура» Джакомо Бароцци да Виньолы (Правило о пяти чинех архитектуры Иакова Бароция девигнола. . . М., 1709). Книга была описана в объявлении латинской неточной транслитерацией с последующим переводом на французский язык: «Provoilot opats chinick Architectur Jacowa Baroschia de Vignola. Les règles des cinq ordres de l'Architecture civil tiré de Jaques Barossi de Vignoles, in-folio et in octavo, orné de 46 planches gravées sur le cuivre». На следующий год в том же журнале появилась еще одна заметка о «Московии», в которой также говорилось о Петре I как переводчике: «Вознамерившись воспитать своих подданных, Петр I не ограничился лишь военной стороной дела. Благожелательным отношением он смог привлечь в свое государство известных ученых, он организовал школы, своим приме-

[1] Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts. Trévoux (Lyon); Paris, 1710. Fevrier. P. 352—354.

ром возбудил у подданных любовь к наукам, он приказал перевести и опубликовать множество замечательных книг и не посчитал зазорным для себя перевести некоторые из них» («et lui même n'a pas dédaigné d'en traduire quelques uns»).[2] Оба объявления до настоящего времени не были предметом исследования, а между тем в них речь идет о совершенно незаурядном факте. Оказывается, в 1708—1710 гг., в самый сложный и победоносный период Северной войны, Петр I занимался активной литературной деятельностью, и именно ему принадлежит заслуга перевода «Архитектуры» Бароцци да Виньолы — первой книги по архитектуре на русском языке.

Более тщательное рассмотрение приведенных источников, а также истории перевода и опубликования труда итальянского архитектора доказывает подлинность сведений о Петре I как переводчике. Итак, каким образом в парижском журнале появились свидетельства, которые не сохранились ни в одном другом документе той эпохи, кто был автором этих объявлений? Установлено, что первые благожелательные отклики о России появились в западноевропейских периодических изданиях начала XVIII в. не без участия русского литературного агента барона *Гюйссена.*[3] *Ему же принадлежат и первые «литературные новости* из Московии», помещенные в «Журналь де Треву» в 1706 г.[4] Однако автором интересующих нас заметок 1710 и 1711 гг. был не Гюйссен, а Илья Федорович Копиевич (Копиевский) — один из самых плодовитых литераторов петровского времени, издатель русских книг в Голландии, приехавший в 1708 г. в Россию и принятый на службу в посольскую канцелярию. Установить, что именно он писал статьи для французского журнала, несложно, исходя из содержания самих этих статей. Например, в конце заметки от февраля 1710 г. говорилось, что «Илья Копиевич переводит Квинта Курция на славянский язык», в июне 1710 г. новости из Москвы начинались следующим образом: «Очень высоко оценен элегантный перевод Горация на славянский язык, который царь приказал сделать Илье Копиевичу, одному из своих секретарей, автору славянского перевода Квинта Курция и нескольких других книг».[5] *В объявлении же* 1711 г., *в котором сообщалось* о Петре I как переводчике, Копиевичу было отведено места больше, чем самому русскому царю. О Копиевиче говорилось, что «он лучше, чем кто-либо из подданных Петра I, послужил его литературным намерениям. Царь, видя в этом молодом московите ум и расположенность к наукам, послал его в 1698 г. в Голландию. Произведения, которые он уже опубликовал и подготовил к публикации, являются неоспоримыми доказательствами щедрости его

---

[2] Ibid. 1711. Septembre. P. 1657—1660.

[3] *Пекарский П. П.* Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 1. С. 90—107, 135, 136.

[4] Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts. 1706. Juin.

[5] Ibid. 1710. Juin. P. 1098.

счастливого гения и неустанной преданности работе». Далее в заметке следовал список из 24 произведений, изданных или подготовленных к печати И. Ф. Копиевичем.[6] Этот список больше, чем рассыпанные в журнале похвалы, убеждает в том, что автором всех объявлений был сам Копиевич: такие же перечни книг он имел обыкновение помещать в конце своих работ. П. П. Пекарский описывает три подобных перечня, опубликованные Копиевичем в 1699, 1700 и 1706 гг.[7] То, что автором заметок, напечатанных во Франции, был Копиевич, подтверждается и множеством встречающихся в них филологических и переводческих наблюдений. Например, после объявления о выходе в свет в Москве книг: «Употребление циркуля и линейки» (Геометрия славенски землемерие. . . М., 1708) и «Превращение фигур плоских во иные такова же содержания» (М., 1708) следовало примечание: «Эти названия показывают, что московиты не имели никакого представления о математике и были вынуждены заимствовать из другого языка такие термины, как фигура, круг (циркуль), линия. Заимствование слова флот показывает, в каком состоянии была у них раньше корабельная наука».[8] Однотипное замечание встречаем и в объявлении 1711 г.: «Петр I построил флот из 70 кораблей, управляемых московитами, которые не имели даже в своем языке слова для обозначения понятия флот».[9] То, что автором объявлений был И. Ф. Копиевич — человек, отлично осведомленный обо всем, что писалось и переводилось в России в то время, — объясняет и высокий уровень встречающихся в них атрибуций. Так, например, читатель «Журналь де Треву» уже в 1710 г. мог узнать, что автором книг «Геометрия или славенски землемерие. . .» и «Превращение фигур плоских. . .» был генерал-лейтенант Брюс [10] и что именно кабинет-секретарь царя Михаил Шафиров являлся составителем «Прикладов, како пишутся комплименты разные» (М., 1708).[11] Эти факты лишний раз подтверждают точность атрибуции Петру I перевода «Архитектуры» Бароцци да Виньолы.

История подготовки и издания первой «архитектурной книги» на русском языке добавляет некоторые подробности к портрету Петра I как переводчика. Перевод «Правила о пяти чинех архитектуры», судя по всему, не занял у царя много времени, так как основную часть книги составляли гравюры. Несомненно, что малый объем произведения (всего несколько десятков цельногравированных страниц текста) и послужил одной из причин того, что Петр I сделал перевод сам, а не поручил его кому-нибудь

---

[6] Ibid. 1711. Septembre. P. 1658—1660.

[7] *Пекарский П. П.* Наука и литература в России при Петре Великом. Т. 1. С. 523—526.

[8] Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts. 1710. Fevrier. P. 353. 354.

[9] Ibid. 1711. Septembre. P. 1657.

[10] В тексте объявления названный почему-то Брюном (Bruun).

[11] Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts. 1710. Fevrier. P. 353, 354.

из своих приближенных. 30 ноября 1708 г. книга уже печаталась по указу царя, причем печаталась срочно, под постоянным надзором, о чем мы можем судить по следующему письму И. А. Мусина-Пушкина к Федору Поликарпову: «Изволь книгу архитектурную, которая прислана к вам для набирания речей, для Бога поспешить, ибо именным указом царского величества об оной непрестанно подтверждается со многим подкреплением <. . .> Изволь разсудить, дабы не причтено было к неисправлению, ибо от нас непрестанно о том слова к милости твоей происходят».[12] Старания Мусина-Пушкина не пропали даром: уже 13 декабря 1708 г. Петр I «выправил» первый вариант книги, который сразу же был отослан обратно в Москву.[13] 19 января 1709 г. царь распорядился напечатать 300—400 экз. «архитектурной книги».[14] Печатание продолжалось до августа 1709 г., а в сентябре царь во второй раз пересмотрел перевод, сделал несколько новых поправок и дополнений. Кроме того, он приказал «выправить» перевод «архитектуру Фонтанне с кем-нибудь русским, которой хотя бы немного знал архитектуру <. . .> и, исправя, таких печатать книжек со сто».[15] Хочется отметить, что имя итальянского архитектора Фонтанна появилось в переписке Петра I почти через год после напечатания первого варианта перевода, т. е. он не мог быть переводчиком книги, как это утверждает П. П. Пекарский.[16] Фонтанна лишь пересмотрел перевод Петра I, заменил некоторые итальянские термины на русские и составил своеобразный архитектурный словник, вошедший в окончательное издание под заглавием «Перевод г-на архитектура Фонтанна обретающихся по архитектурной книге итальянских речений на словенское речение». С какого языка был сделан Петром I перевод, установить трудно, так как в его библиотеке имелось 7 переизданий книги Бароцци да Виньолы на четырех языках: голландском, немецком, итальянском и французском.[17]

---

[12] *Голиков И. И.* Деяния Петра Великого. М., 1838. Т. 4. С. 321.
[13] Письма и бумаги Петра Великого. М.; Л., 1948. Т. 8. С. 348.
[14] Там же. 1950. Т. 9. С. 32.
[15] Там же. С. 375, 376.
[16] *Пекарский П. П.* Наука и литература в России при Петре Великом. Т. 2. С. 213.
[17] Библиотека Петра I: Указатель-справочник / Сост. Е. И. Боброва. Л., 1978. С. 108.

А. И. ТОЩЕВ

ПЕТРОВСКИЕ «ВЕДОМОСТИ» КАК ТИП ИЗДАНИЯ

Первопечатная русская газета «Ведомости» выходила без малого четверть века — с декабря 1702 по июль 1727 г. Публикации о газете дореволюционных ученых — русских и зарубежных — за редким исключением носили описательный характер, тем не менее отказывали русскому периодическому органу в самостоятельности: считалось, что он слепо перепечатывал материалы из европейских газет, общественная функция его практически равнялась нулю.[1] Советские ученые доказали тезис о неизбежности и обусловленности появления «Ведомостей», обосновали утверждение об их пропагандистском характере.[2] И все же принципиально важный вопрос о том, были ли «Ведомости» *газетой*, остается до сих пор открытым, вернее, решенным лишь наполовину. Без сомнения, существуют самоочевидные и научно доказанные факты: «Ведомости» были печатными, им предшествовали рукописные «вести-куранты», они обладали определенной периодичностью и довольно высоким тиражом, содержали разнообразный материал о событиях в стране и за рубежом, пытались воздействовать на общественное мнение. Этот ряд признаков позволяет отнести данный вид печатной продукции Петровского времени к разряду газет. А что же дальше?

А дальше начинается «запретная зона», которая прорывается в публикациях в виде оговорок и замечаний в скобках и которая,

---

[1] См.: *Балицкий Г. В.* Зарождение периодической печати в России // ЖМНП. 1908. № 9. С. 1—76; *Каллаш В. В.* Очерки по истории русской журналистики: (К 200-летию нашей периодической печати). М., 1903; *Покровский А. А.* К истории газеты в России // «Ведомости» времени Петра Великого. М., 1906. Вып. 2. С. 3—98; *Якушкин В. Е.* Петровские «Ведомости». — Русские ведомости. 1903. № 2, 2 янв.; *Fabricius A.* Zur Geschichte der Russischen Postwesens. Riga, 1865; *Czarnowski St.* Literatura perjodyczna i jej rozwój. Kraków, 1892—1895. Cz. 1—2.

[2] *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952; *Западов А. В.* Первая русская газета // Русская журналистика XVIII века. М., 1964. С. 3—19; *Рейсер С. А.* «Книги политические, которые продаются в Гаге» // *Быкова Т. А., Гуревич М. М.* Описание изданий гражданской печати. 1708—январь 1725 гг. М.; Л., 1955. Прил. VII. С. 541—563; *Сахаров Л. М.* Исторические условия возникновения первой русской печатной газеты и ее значение // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской. 1964. Т. 148, вып. 10. С. 350—378; *Томсинский С. М.* Первая печатная газета России: (1702—1727). Пермь, 1959; *Черепахов М. С.* Возникновение периодической печати в России. Изд-во МГУ, 1955.

как это ни парадоксально, является господствующей в формировании выводов. Исследователь, знакомящийся с «Ведомостями» впервые или желающий изучить газету «в общем и целом» сразу за 25 лет издания (этой беглостью и грешат многие историки журналистики), начинает перелистывать годовые комплекты газеты и сталкивается с массой явлений, которые на глазах оформляются в систему, и их суть можно выразить лишь одним словом — *непостоянство*.

1) Газета не имела постоянного *заголовка*. Чаще всего это — «Ведомости», как и предписывалось в указе царя от 16 декабря 1702 г.[3] Но нередко встречается название «Ведомость», а с 1725 г. — «Российские ведомости», «Санктпетербургские ведомости». Если собрать все номера с этими заголовками, то они составят лишь 85 % от общего числа публикаций, которые относят к газете. 2) *Формат* первенца русской периодики был почти самым маленьким в Европе — так называемая «осьмушка» (не более 10×15 см). Некоторые номера имели формат в два, четыре и даже в восемь раз больше, печатались с одной стороны листа. 3) Если *объем* номера большинства европейских газет составлял 8 или 12 страниц, то у русской газеты он колебался от 1 до 48. 4) Разным был даже *шрифт*: до февраля 1710 г. газета набиралась церковно-славянскими, или «библейными», литерами, а с этого времени — «гражданскими» и «библейными» попеременно. С 1715 г. в ходу был исключительно «новоизобретенный» шрифт. 5) С 1711 г. для оформления газеты было нарезано 14 гравюр-*заставок* и их копий, различных по размеру, содержанию, качеству исполнения. 6) Тираж также не был установленным раз и навсегда, а изменялся в диапазоне от 30 экземпляров до 4000. 7) *Периодичность* газеты в первые 3 года относительно стабильна — 3—4 выпуска в месяц (в Западной Европе в то время газеты выходили регулярно один или два раза в неделю, например по субботам или по вторникам и субботам, что было связано с работой почты). Позднее «Ведомости» выходили с частотой от одного выпуска в месяц до одного выпуска в год. Были отклонения и в другую сторону. В декабре 1722 г. газета выходила практически через день (!); по 3 раза в неделю — в августе 1719 г., феврале, мае и июне 1720 г., ноябре 1722 г., сентябре 1725 г.; 2 раза в неделю — в мае 1711 г., октябре и декабре 1719 г., августе 1720 г. и т. п. 8) Не было определенного *места издания*. Сначала «Ведомости» печатались в Москве, с 1711 г. — в Москве и Санкт-Петербурге, с 1714 г. — только в новой столице (с перепечаткой отдельных номеров в Москве). В 1722 г. газета вновь переносится в старую столицу, а осенью 1723 г. возвращается на берега Невы. 9) В связи с непостоянством объема номеров различной была и их *цена*. 10) Не имели выпуски порой и строгой *нумерации*. Например, 35 из них вышли с заглавием «Ведомости», но без порядкового номера (кстати, это можно

[3] Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. СПб., 1830. Т. 4. С. 201, № 1921.

сказать практически о каждом десятом оттиске газеты). Но самый трудный вопрос для многих исследователей — наличие в годовых комплектах «Реляций»: 36 из них пронумерованы вперемежку с «Ведомостями» и считаются, естественно, выпусками газеты, хотя иногда имеют отличный от них формат, а около двух десятков «Реляций» не имеют порядковых номеров (такой выпуск может ничем не отличаться, кроме заглавия, от остальных, но по дате публикации занимать промежуточное положение, например между № 24 и № 25 «Ведомостей» за 1725 г.).[4]

Данный ряд можно продолжить примерами менее значительными, но входящими в эту же «систему непостоянства», которая вызывает разногласия при оценке качества «Ведомостей» как газеты. Именно эта сложность первенца русской периодики, его «неправильность», непохожесть ни на одну отдельно взятую европейскую газету того времени, заставляет историков печати обходиться только общими фразами и кочующими цитатами. Здесь же коренится объяснение и того факта, что до сих пор система жанров петровского издания не до конца изучена и уточнена, авторы публикаций пользуются каждый своей терминологией или же ограничиваются двумя-тремя названиями жанров.

Таким образом, внешняя гетерогенность газеты привела к тому, что в достаточной степени разработан только тезис об исторической обусловленности возникновения в России печатного периодического органа. Собственно, единственным выводом новейших историков печати, видимо, следует считать формулировку П. Н. Беркова: «Нельзя забывать, что „Ведомости“ <. . .> не могут быть сравниваемы с более поздними органами прессы».[5] Как мы видели, их нелегко сравнивать и с европейской периодикой первой трети XVIII в. Поэтому и остался в тени вопрос: *какой* именно газетой были «Ведомости» и самое главное — *почему* именно такой газетой?

Несмотря на упомянутое замечание П. Н. Беркова, современные публикации по данной тематике содержат известную долю модернизации, поскольку почти все авторы пишут о «Ведомостях» с современных позиций (о жанрах, сотрудниках редакции, читателях). Нынешние понятия «накладываются» на XVIII в.: то, что подходит под этот трафарет, характеризуется как положительное в «Ведомостях», а то, что не подходит, трактуется упрощенно, без детального анализа.

При восприятии отдаленного от нас временной или эстетической дистанцией произведения «всегда известную трудность представляет начальный момент этого восприятия, когда воспринимающий должен найти к нему „стилистический ключ“».[6] Если

[4] В учетных книгах Московской и Петербургской типографий напечатанные «Ведомости» и «Реляции» указываются то порознь, то вместе.

[5] *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. С. 51.

[6] *Лихачев Д. С.* Система стилевых взаимоотношений в истории европейского искусства и место в ней русского XVIII века // XVIII век. Л., 1975. Сб. 10. С. 7.

объект наблюдения слишком сложен, то этот «ключ» поможет не только определить уже знакомый стиль, но и идти «по линии переключения от стиля к стилю».[7] Это положение академика Д. С. Лихачева очень важно при изучении «Ведомостей», так как он сам указывает, что в XVIII в. совершается переход от моностилевой системы в литературе к полистилистической.[8] О существовании в начале XVIII в. различных стилистических систем в состоянии взаимопроникновения писал и И. П. Еремин.[9]

Газета Петровской поры — эпохи активного формирования нации и национального литературного языка — не могла не отразить явлений, характерных и для газеты, и для литературы в целом. Поэтому целесообразнее рассматривать «Ведомости» не как замкнутую систему (эти попытки не привели и не могли привести к успеху, так как предлагали объяснения вместо поиска причин), а как составную часть русской литературы и шире — культуры.

Специалисты считают, что эпоха Петра I — это период перехода от древнерусской литературы к новой, и определяют его как время русского барокко, которое органично входит в культуру барокко Центральной и Восточной Европы (XVII—XVIII вв.). Упоминавшиеся выше особенности первой русской газеты позволяют пополнить ряд свидетельств о влиянии этого направления в европейском искусстве и литературе на культуру России в первой трети XVIII в.[10]

Западное влияние осуществлялось через литературу-посредника. Для первого десятилетия XVIII в. роль польского языка еще очень велика.[11]

---

[7] Там же. С. 8.

[8] Там же. С. 10.

[9] См.: *Еремин И. П.* Русская литература и ее язык на рубеже XVII—XVIII веков // Начальный этап формирования русского национального языка. Изд-во ЛГУ, 1961. С. 12—21.

[10] Прав был Д. М. Шарыпкин, когда писал, что в эпоху барокко соотношение между деловой, документальной и художественной прозой было иным, и книга, иллюстрированная или просто украшенная виньетками, рассматривалась как произведение искусства (см.: *Шарыпкин Д. М.* Шведская тема в русской литературе Петровской поры // Русская культура XVIII века и западноевропейские литературы. Л., 1980. С. 18; интересные наблюдения см. также: *Морозов А. А.* Эмблематика барокко в литературе и искусстве Петровского времени // XVIII век. Л., 1974. Сб. 9. С. 184—226). Как в этой связи не вспомнить графическое оформление «Ведомостей»: поначалу «библейный» шрифт и книжные концовки, с 1710 г. — новый, «гражданский» набор, с 1711 г. — гравюры-заставки с аллегорическим содержанием и т. п.

[11] См.: История лексики русского литературного языка конца XVII—начала XIX века / Под ред. Ф. П. Филина. М., 1981. С. 59—62; *Лихачев Д. С.* 1) Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 11—13; 2) Своеобразие исторического пути русской литературы X—XVII веков // Литература и социология: Сб. статей. М., 1977. С. 87, 102, 129; *Голенищев-Кутузов И. Н.* Славянские литературы: Статьи и исследования. М., 1973. С. 215; *Соболевский А. И.* Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903. С. 47—51; *Кожинов В. В.* К социологии русской литературы XVIII—XIX веков: (Проблема литературных направлений) // Литература и социология: Сб. статей. С. 149.

Проблема инославянского (преимущественно польского) влияния на русскую культуру в XVII—начале XVIII в. заставляет нас более пристально присмотреться к истории развития периодической литературы Польши. Разработки польских историков печати ценны в том плане, что они касаются проблем рукописных газет, «летучих листков» и т. п., которые получили широкое распространение в Польше в XV—XVII вв. и являются важным звеном в истории развития газеты. По работам польских исследователей журналистики прослеживается процесс становления газеты, ведущей свою родословную от обыкновенного письма. Остановимся лишь на узловых моментах, минуя детали.

На основе частных писем возникли рукописные газеты, которые уже в самом начале отличались от писем «прежде всего периодичностью».[12] В них отсутствовала также смысловая связь между корреспондентом и адресатом, «они принимали черты анонимности».[13] А. Булувна отмечает, что рукописная газета сходна с письмом лишь формально и «отличается от него существенными элементами: содержанием, внутренней структурой, а также общественной функцией».[14] С появлением типографского станка возникли печатные «летучие листки». Это были написанные прозой, рифмованные, представленные в виде диалогов или напыщенных од листки политического, религиозного или сенсационного характера, содержащие материалы на внутренние и зарубежные темы.[15] С течением времени подобные «летучие листки», или «эфемериды», становятся все более похожими на периодическое издание. Наконец, появляется печатная «фактографическая» газета.[16] Вышеизложенное схематически выражается так: **письма—рукописные газеты—печатные «эфемериды» —печатные газеты.**

По другой ветви шел рост полемичности, памфлетности в рукописных, а затем печатных «летучих листках», что в итоге привело к возникновению общественно-политического, сатирического и научного журнала. Но этого вопроса мы коснемся лишь частично. Схема отражает только основные этапы в возникновении газеты.

---

[12] *Kaleta R.* Teodor Ostrowski, «Poufne wieści z oświeconej Warszawy»: Gazetki pisane z roku 1782. Wrocław etc., 1972. S. 8.

[13] Biuletyn Komitetu 300-lecia Prasy polskiej: 1661—1961. Warszawa, 1961. N 11. S. 1.

[14] *Bułówna A., Szczepaniec J.* Katalog gazet pisanych z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Warszawa etc., 1969. S. 55.

[15] *Górski St.* Dziennikarstwo polskie. Warszawa, 1905. S. 10; *Zawadzki K.* Szestnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące // Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego. 1972. T. 11. Z. 1. S. 5—37; Biuletyn. . . S. 3; *Kętrzyński W.* Gazeta polska z początku XVIII wieku: (Poczta Królewiecka 1718—1720) // Przewodnik naukowy i literacki. Lwów, 1880. S. 184—192; *Łojek J.* Zarys historii prasy polskiej w latach 1661—1831. Warszawa, 1972. S. 5—7; *Młynarski Z.* Zarys historii prasy polskiej. Łódź; Warszawa, 1956. Cz. 1. S. 4.

[16] См.: *Biuletyn.* . . S. 6; *Łojek J.* Zarys historii. . . S. 11. О развитии газеты из письма см. также: *Бюхер К.* Зачатки периодической печати // Возникновение народного хозяйства. СПб., 1912. С. 157—176.

Рукописные газетки и печатные «эфемериды», как известно, продолжали существовать еще около 200 лет после появления первой печатной еженедельной газеты.

На базе письма возникли в XV—XVII вв. также и *реляции*, преимущественно военные. Конрад Завадский выделяет письма и реляции как наиболее распространенные формы «летучих листков» XVI в. По содержанию эти «эфемериды» подразделяются на четыре наиболее заметные группы: военные дела, особа короля и королевская семья, дела политико-религиозные, сенсационные сообщения.[17] Не следует отождествлять «летучий листок» с реляцией, так как первое представляет собой вид печатной продукции, а второе — лишь форму ее. По этой же причине не является реляция и жанром (например, жанр фельетона может проявиться и в форме интервью, делового документа, стихотворения и т. п.). Реляция — это официальный документ, первоосновой которого является письмо. Поэтому в ней сочетаются элементы разговорной речи и официального (делового) языка.[18] Забегая вперед, отметим, что в свете этих данных заметна генетическая связь «Ведомостей» с «эфемеридами» в Польше XVI—XVII вв.: та же военная тема, эпизоды из жизни коронованных особ (это присуще и всей западной прессе того времени). Однако заметны и отличия: политико-религиозные сообщения встречаются реже, сенсационные — тем более. К тому же газета выходит не только по случаю важного или необычного события (есть, кстати, и такие) и заключает в себе не одно-два, а десять-двадцать сообщений, имеет бо́льший объем. Но остались в «Ведомостях» письма и реляции как дань объективным законам развития периодики и заимствованного опыта литературы славянского соседа. Частично это отразилось еще в рукописных «вестях-курантах» XVII в., составлявшихся для царя и бояр. Важно отметить, что многие письма в русской газете принимали уже вид заметок. реляции печатались и отдельно, и включались в состав «Ведомостей», нумеровались, снабжались гравюрой-заставкой. Иногда в Москве выходила «Ведомость», а в Петербурге этот же номер имел заглавие «Реляция» (1711), порою бывало и наоборот (1713).

Письмо стало исходным пунктом не только для информации или реляции. Установлено, что письмо дало начало в России XVII в. различным «видениям», посланиям, сказаниям, «отпискам», «подметным письмам». «Роль эпистолярных жанров как формы публицистики чрезвычайно возрастает во второй половине XVII в.», — указывает А. С. Елеонская.[19] К эпистолярной публицистике тесно примыкает и устная публицистика — речи, проповеди (с одной стороны, протопоп Аввакум, с другой — Симеон Полоцкий, позже Стефан Яворский и Феофан Прокопович).

---

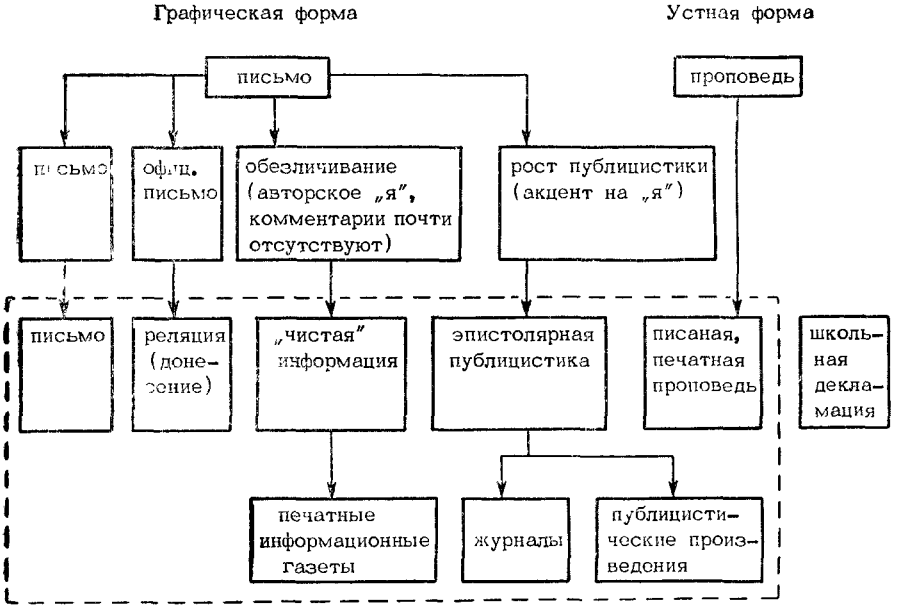
[17] См.: *Zawadzki K.* Szestnastowieczne gazety ulotne polskie. . . S. 18—20.

[18] См.: *Kaleta R.* Teodor Ostrowski, «Poufne wieści z oświeconej Warszawy». S. 8—9.

[19] *Елеонская А. С.* Русская публицистика второй половины XVII века. М., 1978. С. 11.

Все исследователи «Ведомостей» отмечают, что в газете публиковалось много писем царя, донесений русских дипломатов, реляций военачальников; тем самым авторы, даже безапелляционно причисляющие «Ведомости» к чисто информационным органам, помимо своего желания утверждают наличие в газете и некоторой публицистичности — письма ведь писали конкретные люди и отправляли их конкретным лицам. Русской эпистолярной публицистике XVII в. созвучна и европейская «летучая» печатная продукция — листовки, брошюры, плакаты научно-полемического и памфлетного содержания. Вполне естественно, что первые научные журналы XVII—начала XVIII в. имели архаические черты, унаследованные именно от газет.[20] В России до журналов было еще далеко, но форма полемической «перестрелки» была знакома еще с XVI в. «Вести-куранты», составлявшиеся в Посольском приказе вплоть до 1701 г., через перевод или пересказ зарубежных оригиналов отражали состояние иностранной периодики, а «такие виды сообщений, как письма, трактаты и памфлеты были обычными в иностранных газетах XVII в.».[21]

Теперь мы можем объединить оба направления развития письма в XV—XVII вв. и выразить это схемой:



[20] *Маркушевич А. И.* Сосуществование печатных и рукописных материалов в процессе развития науки // Рукописная и печатная книга. М., 1975. С. 51—66.

[21] Вести-куранты: 1600—1639 гг. / Под ред. С. И. Коткова. М., 1972. С. 3. См. также: *Lankau J.* Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie: 1513—1729. Kraków, 1960.

Пунктиром выделены те источники, которые в начале XVIII в. могли быть использованы при создании «Ведомостей» Для полноты представления о языковом пласте русской первопечатной газеты необходимо добавить следующее В Петровскую эпоху намного усиливается процесс разрушения диглоссии (сосуществования языков церковнославянского и древнерусского), происходит ломка и взаимодействие соответствующих жанровых систем. Славянизмы проникают в эпистолярную, публицистическую, научную, переводную литературу. Эти же сферы все больше обслуживает и язык деловой письменности, а также заимствованная лексика. Слова народной речи (в том числе и экспрессивные) нередки в мемуарной, переводной литературе, указах и официальных письмах, ораторской речи.[22] Количество новых жанров резко увеличивается за счет введения в литературу форм деловой письменности, фольклора, опыта переводной литературы.[23] Элементы различных языковых систем все чаще смешиваются в пределах одного произведения, а значит, есть возможность подобного смешения и в пределах одного жанра. Этим и объясняется в «Ведомостях» разнородность лексики не только в крупных материалах, но даже в хроникальных сообщениях, состоящих всего из 3—4 строк.

Анализ текстов «Ведомостей» за 1702—1727 гг. полностью подтверждает правомерность составленной нами схемы, хотя она и не претендует на завершенность. Мы уже можем по крайней мере объяснить, случайны ли в газете письма Петра I и русских дипломатов, реляции военачальников, «вдруг» ли появляются на страницах газеты пересказ проповеди митрополита Стефана Яворского и небольшие заметки о подобных же проповедях (1719. № 2, 5; 1721. № 7 и др.). Можем также найти обоснование формы «открытого письма» у международного фельетона (1720. № 50) и формы «книжного списка» у памфлета (1723. № 3). Влиянием инославянской, в основном польской, культуры (и как источника, и как посредника) объясняется в значительной мере и эклектичность первой русской газеты, т. е. сочетание черт собственно газеты и «эфемерид», которых в русском печатном опыте не было.[24]

За последние 35 лет предпринимались попытки обнаружить в «Ведомостях» материалы, которые можно было бы отнести к определенному газетному жанру. Например, утверждали, что в газете первой четверти XVIII в. происходило зарождение таких жанров, как «заметка, статья, отчет, военная реляция, очерк,

---

[22] См.: История лексики русского литературного языка. . . С. 31—40.

[23] См.: *Лихачев Д. С.* 1) Поэтика древнерусской литературы. С. 56—108; 2) Своеобразие исторического пути русской литературы X—XVII веков. С. 115—123.

[24] Если быть точным, то печатные «эфемериды» развивались в России параллельно с газетой. Но явление это резко отличается от европейского образца — обладает меньшей стихийностью, массовостью, количеством мест издания, т. е. собственно «летучестью».

фельетон, библиография».[25] В этом ряду почему-то отсутствуют самые мелкие «кирпичики» газетного жанрового состава — хроника и информация, в которых газете не отказывали дореволюционные исследователи. «Библиография» — это не жанр, а вспомогательная литературоведческая наука. Не существует и такого газетного жанра, как «военная реляция». Реляция не зарождалась в газете, а издавна существовала как документ.[26]

А. В. Западов справедливо указывает, что газетные жанры «только зарождались в массе информационных заметок „Ведомостей", однако их будущие контуры удается кое-где уловить».[27] С. М. Томсинский оперирует такими категориями: сообщения, проповедь-аннотация, своеобразная статья, большой материал до 300 строк текста, военный обзор, статья-памфлет, «занимательный материал, призванный развеселить читателя».[28]

Большинство современных историков печати все же единодушны в том, что материалы «Ведомостей» — это в основном информационные заметки и что «образцы публицистики <. . .> лежат еще за пределами газеты».[29] Б. И. Есин добавлял: «Среди информационных заметок <. . .> иногда блеснет ирония, полемическая фраза или дифирамб царю».[30]

А. И. Станько в очень обтекаемой форме говорит о проявлении «тенденций к отпочкованию» почти всех ныне существующих газетных жанров, о присутствии в «Ведомостях» публицистики, умудряясь при этом не привести ни одного доказательства. И в то же время автор утверждает, что петровская газета была информационной и в ней преобладала заметка.[31]

Все исследователи без исключения не определяют того критерия, которым они пользовались при жанровой дефиниции материалов газеты. Именно отсутствием критерия информационности и публицистичности можно объяснить разногласия по данному предмету.

Выше мы установили, в чем же заключалась сложность газеты, из каких источников черпали «Ведомости» сведения. Поэтому теперь намного легче определить и критерий оценки жанрового

---

[25] Сборник материалов к изучению истории русской журналистики XVIII века / Под ред. Б. П. Козьмина. М., 1952. С. 37. См. также: *Соболев В. П.* Возникновение периодической печати в России и развитие русской журналистики XVIII века. М., 1957. С. 10, 13, 14.

[26] Именно это дало повод П. Н. Беркову написать: «В „Ведомостях" следует различать два основных типа материалов: информационные сообщения и официальные документы — реляции, речи и т. п.» (*Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. С. 50).

[27] *Западов А. В.* «Ведомости» // История русской журналистики XVIII—XIX веков. М., 1973. С. 19.

[28] *Томсинский С. М.* Первая печатная газета России. С. 60, 61, 40, 158, 75.

[29] *Западов А. В.* Первая русская газета. С. 16.

[30] *Есин Б. И.* Русская дореволюционная газета: 1702—1917 гг.: Краткий очерк. М., 1971. С. 12.

[31] *Станько А. И.* Русская периодическая печать XVIII века. Изд-во Ростовского ун-та, 1979. С. 78—82.

состава публикаций газеты. Уже по характеру источников можно предположить, что «идеальная информация» вряд ли будет преобладать в «Ведомостях».

При определении жанров мы будем придерживаться установок польского теоретика печати И. Тетелёвской. Ее «концепция зависимости функции от структуры высказывания и возможность расшифровки последнего по определенной, данной структуре» кратко состоит в следующем. Материалы различных жанров выполняют 5 функций: сообщения (информация), понятийного представления (материалы научные, научно-популярные), представления-воображения (репортаж), воздействия (публицистическая статья), выражения, или изображения (фельетон).[32] Здесь можно, конечно, поспорить насчет определений, но наиболее ценным нам представляется положение исследовательницы о том, что «каждое журналистское высказывание выполняет две, три, а может быть, и больше из указанных функций. Однако всегда одна из них является доминирующей, и она-то, собственно, позволяет различить и классифицировать определяемое ею высказывание».[33] Поэтому чистой информацией (имеется в виду информация как жанр) И. Тетелёвская считает такую, которая имеет самый короткий комментарий автора. В чистой информации целевая установка выражена, в основном, подбором и расстановкой фактов. Исследовательница выделяет также беллетризованную и комментированную информацию (в зависимости от объема комментария). Взаимосвязь структуры сообщений и выполняемых ими функций поможет нам при изучении текстов «Ведомостей» определить степень их публицистичности. Таким образом, публицистическими материалами для нас будут такие, которые имеют обширный комментарий, рассуждения и определяемые логическими доводами доказательства.

В определении информационных и публицистических жанров газеты и их элементов мы используем в совокупности следующие положения: 1) печатные «летучие листки» обычно сочетали в себе элементы, типичные для двух и более тематических групп (К. Завадский); 2) журналистский материал выполняет две, три и больше функций, но доминирующей, как правило, является одна из них (И. Тетелёвская); 3) крупные жанры могут включать первичные в определенной пропорции, но при этом почти всегда первичные жанры подчиняются идейной направленности всего произведения (Д. С. Лихачев). Изложим выводы, сложившиеся в результате анализа номеров газеты за 25 лет ее существования.

Петровская газета, как заимствованная форма литературы, уже в силу своей специфики должна была реагировать на изменения своего времени немного быстрее, чем любое отдельное произведение, — реагировать содержанием, системой жанров, направленностью. Наметились сдвиги в положении России среди европей-

---

[32] *Tetelowska I.* Szkice prasoznawcze. Kraków, 1972. S. 153—154.
[33] Ibid. S. 155.

ских государств, появились новые задачи — изменяется и система жанров. Возникновение этой системы и ее обособление в древнерусской письменности началось еще в «вестях-курантах». Однако опыт «курантов» и соседних литератур потенциально обладал бóльшим разнообразием, чем это использовали на первых порах «Ведомости». Здесь сказалась и избирательность газеты по отношению к своему и главное чужому опыту (иными словами, фрагментарность, ограниченность влияния), и обусловленность этого выбора конкретными социально-политическими ситуациями в России и Европе первой трети XVIII в.

В 1702—1707 гг. в газете преобладают *хроника*, *информация*, *заметка*. Интересно отметить, что многие заметки тяготеют к событийному *репортажу* — в них дается зримая картинка, о действиях русской армии повествуется в 3-м лице, но обязательно с местоимением «наш»: «наши переправились», «наши разбили» (что позже в репортаже превратится в авторское «мы», «я»).

Хроники исчезают из газеты в 1708—1709 гг., когда русские солдаты и партизаны вели бои на своей территории. Преобладает заметка, сохраняющая в некоторых случаях репортажность, но о гуманности к шведам, как это делалось прежде, уже не упоминается.

В 1710—1713 гг. жанр хроники (в основном зарубежной) возвращается на страницы «Ведомостей». В заметке же намечается тяготение к корреспонденции. Если раньше о жестокостях русских воинов по отношению к неприятелю сообщалось извиняющимся, оправдывающимся тоном, то теперь, после Полтавы, комментарий в заметках становится более обширным, аналитическим, объясняются причины тех или иных действий русской армии, обосновывается правомерность решений русского командования. Материал 15-го номера газеты за 1710 г., озаглавленный «О взятии Выборга», можно без оговорок назвать корреспонденцией. В этом же году появляется *объявление* о книгах — «Реестр книгам гражданским» (хотя некоторые исследователи склонны считать его библиографическим обзором).

Следующее пятилетие (1714—1718 гг.) характерно тем, что из газеты исчезают и хроника, и информация зарубежного происхождения, подавляющее большинство материалов представляет собой заметки от русских военачальников и послов в Дании, Голландии, в империи Габсбургов. В это время именно на территории Дании, Померании, Пруссии и в Балтийском море решался вопрос о том, как скоро закончится Северная война. Россия занимает выжидательную позицию, делает ставку на истощение шведской экономики длительной войной и пытается заключить мир дипломатическим путем. Поэтому газетные заметки (не аналитического плана, но побуждающие к анализу) касаются главным образом военных действий русских и их неторопливых союзников в Финляндии и на южном побережье Балтики от Риги до Зунда. Один из номеров этого периода принадлежит к жанру *прямого отчета* (так называемый отчет «из зала суда»).

В 1719—1721 гг. обостряются отношения между Россией и Великобританией вплоть до дипломатического разрыва и реальной угрозы со стороны последней уничтожить молодой русский флот на Балтике. Это дало новый толчок в развитии газеты. Резко увеличивается количество номеров, появляется много хроникальных сообщений и информаций из иностранной периодики, чаще используется жанр *отчета* в оригинальных описаниях празднеств, дипломатических приемов и т. п. Во время разрыва с Англией появляется *фельетон* на международную тему в форме письма «некоторой персоны» к другу (1720. № 50), в котором делаются выпады против Швеции и Англии. Через 4 месяца публикуется на 23 страницах ответ друга «персоне», этот материал — уже в жанре аналитической *статьи* (опубликована отдельной брошюрой). Характерная черта данного периода: однотипность оригинальных сообщений (о спуске очередного корабля, приеме послов, слушании царем литургий, праздновании именин и торжественных дат) помогает в выработке словесного клише — *стандарта*, по которому и строятся информации с использованием синонимических конструкций и лексических синонимов. Часто встречается и негативная разновидность стандарта — *штамп* (в сообщениях меняются лишь цифры, даты или имена, остальной текст повторяется почти слово в слово). Но в то время, естественно, это воспринималось не как штамп, а как «образец» — собственно, из его структуры и развился стандарт за счет вариантности лексики и синтаксиса (им мы пользуемся и сегодня).

После события огромной важности — заключения Ништадтского мира — газета переводится на «мирные рельсы» и заполняется обычно переводными хроникальными сообщениями, информациями и заметками. Оригинальные материалы появляются в 1722—1724 гг. всего в 8 номерах (если включить сюда и 4 выпуска Сенатской типографии об аудиенциях персидского посла). В феврале 1723 г. в форме библиографического обзора публикуется *памфлет* «Книги политические, которые продаются в Гаге», где приводятся переделанные или вымышленные названия книг. Материал был направлен против Франции, Англии, затрагивал Голландию, Швецию, Польшу, Испанию и др.

Во время царствования Екатерины I (1725—1727) в газету вновь приходят оригинальные сообщения, но они носят уже не общегосударственный характер, как при Петре I, а число придворных. Жанры русских публикаций — заметка (кое-где с репортажным уклоном), отчет, реже — информация. В 1726 г. появляется *передовая статья* «Рефлекция, или рассуждение» о том, что после смерти Петра курс, взятый им, не изменился и Екатерина продолжает его дело. Номер этот, правда, в продаже не был.

Вот как в общих чертах формировалась система жанров русской периодики. Здесь мы применяли современную терминологию для того, чтобы проследить именно зарождение и становление жанров (и их элементов), которыми мы пользуемся по сей день

и которые получают дальнейшее развитие. Термины XVIII в. — «ведомости», «куранты», «письмо», «реляция» — не могут дать полного и ясного представления о газетных публикациях. На примере «Ведомостей» мы видим, как ведущую роль играл то один, то другой жанр, — в зависимости от целевой установки газеты в каждый конкретный период. Причем историческая закономерность такова, что элементы аналитических жанров не могли развиться в газете, пока шведской армии не было нанесено сокрушительное поражение в Полтавской баталии. Точно так же и жанр фельетона не мог появиться прежде разрыва с Англией и приобретения русскими господства на Балтике, а жанр памфлета обязан своим появлением тому факту, что Россия стала могущественным государством, против которого боялись открыто выступить столь сильные державы, как Англия, Франция, Австрийская империя.

Отметим еще один факт. Среди сохранившихся номеров газеты мы находим 2 «журнала»: «Диариуш, или Поденная записка» (1711) и «Журнал, или поденная записка о походе генерал-лейтенанта Лесиа» (1721). Они не относятся к специальным «юрналам» — реляциям. Это и не предшественники русского журнала, здесь слово это употреблено в своем прямом значении: в переводе с французского оно значит «дневник», «ежедневная запись» или, как говорили в прошлом, «поденная записка». Данная форма публикаций газеты, как и «экстракты из писем», «трактаты о вечном мире» со Швецией и Персией, также указывает на связь с «летучей» периодикой, образцы которой проникли на Русь через заимствованный опыт. Но характерно, что первый номер (за 1711 г.) является самостоятельным выпуском, а последний напечатан уже в виде приложения к № 26 за 1721 г. Принцип «дневника», наблюдаемый нами в записках князя Б. И. Куракина, «Походных журналах Петра Великого», в газете используется довольно часто: например, в сообщениях 1720 г. о бытности в Санкт-Петербурге польского посла Хоментовского, о морских прогулках царя. В первом случае материалы ближе к жанру отчета, а во втором — к путевым заметкам, так как Петр из столицы путешествует со свитой и иноземными послами в Петергоф, Кронштадт, Ораниенбаум и т. д.

Особого внимания заслуживает проблема публицистичности выступлений газеты, поскольку она (публицистичность) не исчезает в номерах, где собственно публицистические жанры отсутствуют. За счет чего же публицистическое начало ощущается во многих выпусках «Ведомостей»? Прежде всего благодаря подбору фактов. С иностранными источниками дело обстояло таким образом, что известия извлекались сразу из нескольких разных газет или ряда номеров одной газеты. Для печати отбиралась порой лишь десятая часть материала, а при переводе (или пересказе) она уменьшалась еще в два-четыре раза. То, что подбор фактов осуществлялся с классовых позиций в отношении оригинальных материалов, ясно a priori и подтверждается текстами. Например,

«Объявление о затмениях» от 16 апреля 1706 г. исследователи обычно относят к «расширению читательского кругозора», не обращая внимания на странность и уникальность данного объявления. Оказывается, что незадолго до солнечного затмения, ожидавшегося 1 мая, Петр I писал военачальникам и Ф. А. Головину, редактировавшему «Ведомости», чтобы «о сем затмении поразславить в народе», потому что «когда люди про то наперед ведают, то уже не есть чудо».[34] Выходит, мы имеем дело не с простым информированием, а с воздействием, что по теории И. Тетелёвской относится к разряду публицистики.

Заряд публицистичности содержат в петровской газете не только отдельные жанры, но и их совокупность; нередко материалы приобретают более важное звучание в окружении остальных материалов номера. Так, № 2 от 21 января 1707 г. заключает в себе несколько сообщений об измене польского короля Августа II и его встрече с Карлом XII. Между этими заметками вставлено письмо самого Августа, где он отрицает факт сепаратного мира со шведами, называет это «ложи и клеветои», уверяет в своей дружбе и проч. Комментария номер не содержит, хотя заметна явная попытка русской газеты в столкновении фактов показать истинное лицо предавшего союзника. Но, как мы отмечали выше, аналитичность пришла в газету только после Полтавы.

В качестве примера интересен номер от 1 июля 1719 г.; он в сущности представляет собой единое публицистическое целое. Исследователи этого не учитывали, дробили его на самостоятельные, якобы не зависящие друг от друга части. Композиция этого выпуска такова: отчет о праздновании дня Петра и Павла в Петербурге, заметка о том, как сам Петр отпраздновал свои именины «при Ангуте», аннотация на книгу П. П. Шафирова «Рассуждение о Свейской войне», 9 заметок со всех концов России и в конце выпуска — 9 мелких информаций из-за рубежа, отделенных отбивкой от остального текста. Все историки печати отмечают публицистический характер речи митрополита Стефана Яворского и репортажность повествования в отчете о празднестве. Но публицистика не обрывается с окончанием пересказа проповеди. За описанием торжества, где «вся чувства насладилися», следуют слова: «Ко оной торжественной радости не укоснили сюда и от его величества благие ведомости». После этого идет сообщение о том, как монарх отпраздновал именины у Гангута. Автор данной публикации постепенно от фактов переходит к обобщениям, делая это довольно искусно. Далее, логически вытекая из предыдущего, закономерно продолжая сказанное автором, идет аннотация на книгу Шафирова. Однако анализ текста показывает, что это все-таки не аннотация, а всего лишь цитата. Во-первых, основной корпус ее представляет собой полное название книги (очень про-

[34] *Голиков И. И.* Деяния Петра Великого. 2-е изд. М., 1837. Т. 2. С. 212; *Терещенко А.* Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России. СПб., 1837. Ч. 1—3. С. 210.

странное, что унаследовано от книги др. вышерусской). Во-вторых, заглавие книги окружено двумя-тремя предложениями, списанными практически слово в слово с начальных страниц произведения. Автор газетного материала умело переводит разговор на современные события, и после цитаты следует абзац о том, что «о протчих здесь древних и новых, благих духовних и мирских делах, слава богу, весьма видимо», затем — о том, что «купеческие и мануфактурные, и всякие рукодельные дела зело успевают». И далее — 9 русских информации, которые подобраны так тонко, с таким расчетом, что во всех сообщениях чувствуется продолжение разговора, если не о деяниях самого Петра, то о делах, им вдохновленных. Этому способствуют различные переходы, связывающие воедино текстовые части выпуска газеты, обобщения, переключение разговора из истории в современность. Автор номера неизвестен, но по стилю и некоторым другим данным им мог быть директор петербургской типографии М. П. Аврамов.

Таким образом, мы ощущаем иностранное (в том числе инославянское) влияние на «Ведомости», проявляющееся в газете как типе издания и как формирующейся системе жанров периодической литературы. В то же время заметна избирательность газеты в плане политическом, тематическом, жанровом в соответствии с запросами господствующего класса в конкретной ситуации. Желая добиться максимального воздействия на читателя, составители газеты публикуют материалы аналитического характера, публицистических жанров, а также порою верстают материал таким образом, что информационные жанры в определенной пропорции и последовательности составляют единое публицистическое целое строгой направленности и большого эмоционального заряда. В этом умении видна оригинальность и самобытность первопечатной русской газеты. По принципу преломления европейского барокко газета близка архитектуре Петровского времени — та же «относительная простота, утилитарность, деловитость, скромность декора»;[35] барочная аллегоричность за 3—4 года выветривается из гравюр-заставок «Ведомостей». Но в «интерьере» газеты (как и в петровской архитектуре) наблюдается большая сложность и пестрота — в языке, стиле, композиции материала.

Рост экономического и политического могущества России — самого крупного из славянских государств — несомненно повлиял на возникновение в августе 1718 г. польской газеты «Почта Кролевецка» в Кенигсберге (просуществовала до конца 1720 г.), а в феврале 1719 г. — газеты «Чешский почтальон» в Праге (выходила до 70-х гг. XVIII в.). Для польских ученых является загадкой появление газеты в Восточной Пруссии в то время, когда в Польше Северная война приглушила газетное дело с 1705 до 1729 г. Конечно, поляков Восточной Пруссии интересовала

---

[35] *Алешина Л. С.* Ленинград и окрестности. Справочник-путеводитель. М., 1980. С. VIII—IX.

прежде всего их собственная судьба, во многом зависевшая от русско-шведских мирных переговоров. Надежда на братскую помощь, чувство родства культур сыграли не последнюю роль в возникновении газеты неподалеку от России, которая стала уже диктовать свою волю европейским государствам. Подобные же чувства несомненно испытывали и в Чехии. Это усиливалось тем фактом, что в Праге с 1716 по 1721 г. находились русские переводчики, занимавшиеся переводом книг по праву, административному устройству государств, а также пытавшиеся с 1717 г. вербовать славян для работы в новых для России учреждениях — коллегиях. И польская, и чешская газеты были частными, тем не менее примечательно, что издание газеты владельцы мотивировали одинаково: народ не может обойтись без газеты на своем родном языке.

Я. Г. СОЛОДКИН

ЛЕТОПИСЬ «О РАЗОРЕНИИ РУССКОМ» В ТРУДАХ В. Н. ТАТИЩЕВА

(К изучению творчества В. Н. Татищева как писателя русской истории)

Летопись «О разорении русском» послужила одним из основных источников для В. Н. Татищева при освещении истории России второй половины XVI—начала XVII в. Ученый неоднократно ссылается на нее в своих сочинениях; отмечена она и в каталоге библиотеки В. Н. Татищева, составленном в 1752 г., вскоре после смерти историка. Обычно считается, что представленная в этом каталоге библиотека погибла во время пожара в татищевском имении. Из разысканий В. С. Астраханского явствует, что судьба последнего книжного собрания выдающегося ученого неясна, возможно, часть его рукописной коллекции сохранилась.[1] Тем не менее летопись «О разорении русском», которую В. Н. Татищев явно выделял среди других повествовательных источников о Смутном времени, считал подлинным сокровищем, известна лишь по упоминаниям в трудах крупнейшего историка России первой половины XVIII в.

В. И. Корецкий, посвятивший этому памятнику ряд исследований, считает его название авторским.[2] Более вероятно, что оно дано В. Н. Татищевым. В письмах он именует его «Историей» «о разорении российском» и «о втором разорении росиском» (втором — очевидно, после монголо-татарского нашествия), а в каталоге последней библиотеки В. Н. Татищева отмечена «История о разорении русском».[3] Ученый называл Смуту «разорением русским» (или российским), «великим российским разорением»,

---

[1] *Астраханский В. С.* К вопросу о судьбе библиотеки и архива В. Н. Татищева // Книготорговое и библиотечное дело в России в XVII—первой половине XIX в. Л., 1981. С. 89—94. Впрочем, аргументы исследователя не в равной мере убедительны. Так, он полагает, что никакого пожара в Болдине не было с момента смерти ученого до 1824 г., когда составлялась опись татищевского имения, поскольку в этой описи ветхость болдинских строений не объясняется последствиями пожара (Там же. С. 89, 90). Но они могли обветшать и после пожара, за несколько предшествовавших 1824 г. десятилетий, в течение которых хозяева не проявляли о них особых забот.

[2] *Корецкий В. И.* Мазуринский летописец конца XVII в. и летописание смутного времени // Славяне и Русь. М., 1968. С. 289.

[3] *Пекарский П.* Новые известия о В. Н. Татищеве. СПб., 1864. С. 59; Материалы для истории Академии наук. СПб., 1895. Т. 7. С. 492; *Андреев А. И.* Переписка В. Н. Татищева за 1746—1750 гг. // Исторический архив. М.; Л., 1951. Т. 6. С. 286.

«разорением Русского государства», «разорением в Руси», «московским разорением», писал, что государство переживало тогда «крайнее разорение».[4] В. Н. Татищев часто употреблял выражения «разорение государства», «вред государству», «государственный вред»,[5] причем и тогда, когда еще не располагал уникальной летописью. Поэтому нельзя приписывать эти выражения ее составителю, как делает В. И. Корецкий.[6] Недаром в первоначальных вариантах одного из примечаний ко второй части «Истории Российской» В. Н. Татищев писал о том, что «первый в Руси вольный выбор (царя. — *Я. С.*) к великому государства разорению приключился», ссылаясь на иностранных авторов; позже он дополнил ссылку указанием на Авраамия Палицына и автора рассматриваемой летописи.[7]

В сентябре 1741 г. В. Н. Татищев сообщал нижегородскому губернатору о своем намерении заехать в Макарьевский монастырь, чтобы получить у тамошнего старца древний летописец или снять с него копию. В. И. Корецкий не исключает, что речь шла об «Истории», и ученому удалось тогда же достать ее.[8] Однако о приобретении этой летописи В. Н. Татищев писал в Академию наук только 9 июля 1745 г.[9] К тому же он говорит о древнем летописце, тогда как «Историю» следует приурочить к началу XVII в., т. е. содержавшая ее рукопись, если только не являлась конволютом, была во времена В. Н. Татищева отнюдь не старинной. В этой

---

[4] *Татищев В. Н.* 1) Избранные труды по географии России. М., 1950. С. 107, ср. С. 200; 2) История Российская. М.; Л., 1966. Т. 6. С. 326, 354, 356, 382, 383, ср. С. 342, 346; 1968. Т. 7. С. 154, 257, 335, 393, ср. С. 152; 3) Избр. произведения. Л., 1979. С. 148, 390, 394. Историк писал «о разорении Росси» и по другому поводу: *Татищев В. Н.* История Российская. М.; Л., 1964. Т. 3. С. 301, примеч. 10—10; Т. 4. С. 452.

[5] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 2. С. 263—264, 270, 298, ср. С. 310, примеч. 4—4; Т. 3. С. 238, 248, 256, 260, 266, 292, примеч. 1—1; С. 296, примеч. 14—14, ср. С. 251—252, 266 и др.; Т. 4. С. 466; Т. 6. С. 282, 300, 307, 310, 313, 318, 325, 347, 351, 352, 360, 384, ср. С. 282, 327, 336, 346, 352, 381; Т. 7. С. 163, 193, 309 и др.

Корецкий В. И. «История Иосифа о разорении русском» — летописный источник В. Н. Татищева // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1973. Вып. 5. С. 279, 280. Заметим, что о «разорении» страны в начале XVII в. писали многие публицисты. См., например: Временник Ивана Тимофеева. М.; Л., 1951. С. 96, 98, 115, 121, 125, 147, 155, 158, 163; *Демин А. С.* Отрывки из неизвестных посланий и писем XVI—XVII вв. // ТОДРЛ. М.; Л., 1965. Т. 21. С. 192. В более позднем Бельском летописце Смута определяется как «разоренье над Московским государством» (ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 242).

[7] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 2. С. 298; Т. 4. С. 395; *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 271.

[8] *Корецкий В. И.* Первое письмо В. Н. Татищева о создании «Истории Российской» // Древняя Русь и славяне. М., 1978. С. 441—442; *Клосс Б. М., Корецкий В. И.* В. Н. Татищев и начало изучения русских летописей // В. Н. Татищев и изучение русского летописания. М., 1981. С. 10—11. (Летописи и хроники. 1980 г.).

[9] Материалы для истории Академии наук. Т. 7. С. 492—493. Это отмечал и В. И. Корецкий (*Корецкий В. И.* Мазуринский летописец. . . С. 284; ср.: *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 251).

связи вызывает сомнения мысль В. И. Корецкого о возможности использования уникальной летописи в татищевском «Лексиконе Российском»,[10] тем более что работа над ним прервалась в июле 1745 г.[11]

В сочинениях В. Н. Татищева находим 15 прямых ссылок на «Историю о разорении русском», причем 4 из них полностью или частично дублируют друг друга.[12] В трех случаях ученый атрибутировал летопись патриарху Иову, 10 раз — его келейнику монаху Иосифу, а дважды — им обоим вместе. Указания В. Н. Татищева на авторство Иова обычно считаются ошибочными, так как в имевшейся у него рукописи текст «Истории» был доведен до воцарения Михаила Романова (1613 г.), а первый русский патриарх умер в 1607 г. Можно, однако, полагать, что Иов принимал участие в создании летописи «О разорении русском», в частности описал события времени Ивана Грозного и Федора Ивановича; Иосиф же продолжил его труд повествованием о «царстве» Бориса Годунова и перипетиях лихолетья.[13]

Согласно второй редакции «Предъизвесчения» к «Истории Российской», в летописи Иова—Иосифа «весьма кратко» были описаны «некоторые дела» последних 24 лет царствования Грозного и «довольно пространно» — последующие события, «до избрания царя Михаила»; причем из письма В. Н. Татищева к И.-Д. Шумахеру известно, что конец произведения не сохранился.[14] Внимание ученого привлекли сообщения «Истории» об опричнине. Со ссылкой на Иосифа В. Н. Татищев рассматривал «бывшие в опришнине» дела как пример судебного произвола.[15] Летописец излагал «увещевание» царя митрополитом Филиппом, в котором о «подражании» Ивана IV «древним» государям говорилось иначе, чем в указе 1556 г. о кормлениях и службе.[16] Очевидно, Филипп, страстный противник опричнины, не считал Грозного последователем прежних «благочестивых» правителей.

В примечаниях ко второй части «Истории Российской» В. Н. Татищев обращал внимание на переданный Иосифом «ответ» Ивана IV ватиканскому послу А. Поссевино, в котором осуждалось «папежское обладание над» государями.[17] В «Примечаниях

---

[10] *Корецкий В. И.* Формирование крепостного права и Первая крестьянская война в России. М., 1975. С. 61.

[11] *Андреев А. И.* Труды В. Н. Татищева по географии России // Татищев В. Н. Избранные труды по географии России. С. 23.

[12] В. И. Корецкий насчитывал у В. Н. Татищева 14 таких ссылок.

[13] *Солодкин Я. Г.* По поводу «Истории о разорении русском» Иова—Иосифа: (Заметки о летописании) // ТОДРЛ. 1979. Т. 33. С. 439—440.

[14] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 1. С. 84; *Андреев А. И.* Переписка В. Н. Татищева за 1746—1750 гг. С. 286. Это свидетельство косвенно подтверждается тем, что в «Собрании законов древних русских» (редакция начала 1750 г.) В. Н. Татищев сетовал на отсутствие «истории обстоятельной» времени Грозного (*Татищев В. Н.* История Российская. Т. 7. С. 313).

[15] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 7. С. 311.

[16] Там же. С. 334.

[17] Там же. Т. 2. С. 230; Т. 4. С. 412. В известных посланиях Грозного Поссевино об этом не говорится. См.: Памятники дипломатических сношений

на Сибирскую историю» Г. Ф. Миллера ученый со ссылкой на «Историю» писал о пожаловании Строгановых именитыми людьми за лечение Бориса Годунова (в конце царствования Грозного).[18] В. Н. Татищева заинтересовало и свидетельство Иосифа о том, что Годунов «наиболее ласкал» того, кого намеревался погубить, «а погубя, со слезами лицемерно сожалел и тяжкою клятвою свою невинность утверждал». «Доднесь никто не знает», — продолжал патриарший келейник, — сколько людей тайно истребил Борис, где они и «как украдены».[19]

В. Н. Татищев объявляет Смуту результатом избрания на царство Бориса Годунова. По его утверждению, об этом свидетельствуют иностранные писатели, в том числе П. Петрей, а также «наши» Иосиф и Авраамий Палицын.[20] В двух последних редакциях «Собрания законов древних русских» В. Н. Татищев указывает, что Иосиф связывал падение Годуновых и разорение страны с закрепощением крестьян и холопов.[21] Интерес к социальным проблемам, придававший «Истории» особую значимость в глазах В. Н. Татищева, сказывается и в сообщении о том, что холопы подали «челобитье», «чтоб не быть рабами»; правительство Василия Шуйского было вынуждено издать закон «для утишения великого в холопех смятения».[22] Согласно Иосифу, вельможи письмами поощряли Лжедмитрия I к вторжению в Россию.[23] Враждебно относившийся к аристократии В. Н. Татищев не преминул подчеркнуть это обстоятельство. Ссылкой на «Историю» сопровождается замечание ученого о том, что во время семибоярщины поляки и шведы отторгли многие «пределы» России.[24] Ука-

Древней России с державами иностранными. СПб., 1871. Т. 10. С. 226; *Поссевино А.* Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983. С. 101—103.

[18] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 7. С. 438. В действительности это случилось в 1610 г.

[19] Там же. С. 385.

[20] *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 271. На самом деле Палицын осуждал не избрание Годунова на трон, а процедуру его воцарения (*Черепнин Л. В.* Земские соборы Русского государства в XVI—XVII вв. М., 1978. С. 140). Петрей также не считал лихолетье следствием «выбора» на престол Бориса, которого он изображает хорошим царем (*Петрей де Ерлезунда Петр.* История о великом княжестве Московском. М., 1867. С. 177—178, 185—186).

[21] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 7. С. 367, 382.

[22] Там же. Т. 1. С. 361.

[23] Там же. Т. 7. С. 388—389. Ссылку В. Н. Татищева на Иосифа В. И. Корецкий распространяет и на известие о связях будущего самозванца с П. Ф. Басмановым, предшествующее приведенному сообщению (*Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 257—258). Думается, осторожнее будет относить ее лишь к последнему свидетельству, хотя принадлежность сведений о знакомстве Басманова с Г. Отрепьевым Иосифу не исключена.

[24] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 1. С. 367. На этом основании В. И. Корецкий утверждает, будто Иосиф порицал ограничение самодержавия аристократией (*Корецкий В. И.* Мазуринский летописец. . . С. 289). Скорее данное замечание следует трактовать в том смысле, что в «Истории» осуждался переход верховной власти к «вельможам» (царя в период семибоярщины фактически не было). В этом отношении летопись «О разорении русском» перекликается с хронографом второй редакции.

зывая на уникальность ряда свидетельств Иосифа, В. Н. Татищев в 1745 г. извещал И.-Д. Шумахера о своем намерении прокомментировать его труд с целью издания летописи.[25] По-видимому, ее имел в виду В. Н. Татищев, когда отмечал, что Иов и Курбский в письмах упоминают о неученом монахе, духовном отце Грозного, ставшем виновником бедствий того времени[26] (вероятно, ученый намекал прежде всего на опричнину). Видимо, к летописи Иова—Иосифа следует отнести и указание В. Н. Татищева на «светскую Историю», согласно которой митрополит Филипп убеждал Ивана IV и его окружение в необходимости и полезности увещеваний.[27] Вспомним, что В. Н. Татищев, со ссылкой на Иосифа, упоминал об «увещании» царя Филиппом.

Итак, В. Н. Татищева заинтересовали сообщения «Истории» об уговорах митрополитом Грозного и послании царя к Поссевино, созвучном мыслям самого ученого. Его политические взгляды находили обоснование и в приводимых летописцем фактах причастности аристократии к авантюре Лжедмитрия I, ее бессилия перед лицом иноземных захватчиков. Настроениям В. Н. Татищева соответствовал и тезис Иосифа о пагубности «вольного выбора» царя (если только он правильно передал его). Особую ценность в глазах ученого имели свидетельства «Истории» о перипетиях закрепостительной политики Бориса Годунова, которую, подобно летописцу, он считал причиной народного движения, потрясшего «Российское государство».

Вслед за В. И. Корецким можно полагать, что летопись Иова—Иосифа легла в основу одного из фрагментов татищевской «Вы-

---

[25] Материалы для истории Академии наук. Т. 7. С. 492—493. По утверждению А. И. Юхта, В. Н. Татищев подготовил «Историю» к печати (*Юхт А. И.* Связи В. Н. Татищева с Академией наук // Проблемы истории общественной мысли и историографии. М., 1976. С. 359). Сведений об этом, однако, не имеется. Учтем также, что в письме к И.-Д. Шумахеру от 30 марта 1749 г. В. Н. Татищев соглашался отдать летопись в библиотеку Академии наук (*Андреев А. И.* Переписка В. Н. Татищева за 1746—1750 гг. С. 286).

[26] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 7. С. 334. Далее ученый называет этого духовного наставника Грозного безумным и злостным чернецом (Там же. С. 338). Видимо, он имел в виду Вассиана Топоркова, «за молитвою и советом» которого, по словам Курбского, царь начал преследования знати (Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1981. С. 115, 177, ср. С. 412, примеч. 42; см. также: *Скрынников Р. Г.* Начало опричнины. Л., 1966, С. 98—99, 141, примеч. 1; *Шмидт С. О.* К истории переписки Курбского и Ивана Грозного // Культурное наследие Древней Руси: Истоки; Становление; Традиции. М., 1976. С. 149). Курбский, однако, не называет Топоркова духовным отцом Грозного и неученым церковником. Возможно, в данном случае, как и при изложении взглядов Палицына и Петрея на причины Смуты, В. Н. Татищев допустил неточность.

[27] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 2. С. 251. Из показаний Таубе и Крузе известно, что Филипп, часто беседуя с царем наедине, убеждал его прекратить бессмысленные репрессии (*Рогинский М. Г.* Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе // Русский исторический журнал. 1922. № 8. С. 42). Но источники не содержат сведений о том, что митрополит внушал Грозному мысль о необходимости увещеваний и противопоставлял его прежним государям. См.: *Зимин А. А.* Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. С. 237, 248, 252—254; *Скрынников Р. Г.* Начало опричнины. С. 383—385.

писки из гистории с начала царства царя Феодора Иоанновича. . .» (подготовительного наброска четвертой части «Истории Российской»), посвященного смерти датского королевича Иоганна, жениха Ксении Годуновой. Этот фрагмент открывается фразой «Повествует един гисторик тако».[28]

Все оригинальные сообщения В. Н. Татищева о предыстории Смуты и самом лихолетье В. И. Корецкий относит к сочинению Иосифа.[29] Известно, однако, что кроме перечисленных в «Предъизвесчении» к «Истории Российской» «Нового летописца», сочинений Палицына и Иова—Иосифа в распоряжении ученого имелись хронограф «до 1613», сборник материалов «от 1552 до 1643», «Поход Пожарского к Москве и неколико дел царя Михаила», «универсалы» Лжедмитрия I, грамота царя Василия Иову и ответное послание бывшего патриарха. В 1735 г. В. Н. Татищев писал в Академию наук, что располагает «Половой» от эпохи Ивана IV до времени Алексея Михайловича, сочинениями о Минине и Пожарском, о польской интервенции начала XVII в.[30] Судя по работам В. Н. Татищева, ему также были известны многочисленные иностранные сочинения, посвященные Смуте;[31] грамота Федора Ивановича и соборное определение о поставлении Иова патриархом; уложение царя Бориса, которое представляло собой скорее «историю», чем свод законов; выборгский договор между Россией и Швецией (1609 г.); «Утвержденная грамота» о воцарении Михаила Романова; «Рассуждение» П. П. Шафирова о причинах «Свейской войны», в котором был помещен ряд документов начала XVII в.;[32] письма В. В. Голицына и П. П. Лапухова, осуж-

[28] *Татищев В. И.* История Российская. Т. 6. С. 290; *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 253—255. При этом В. И. Корецкий находит, что В. Н. Татищев предпочел в данном случае «Историю» «Новому летописцу» потому, что в последнем было использовано сочинение Иосифа. Этот тезис вызывает серьезные сомнения. У В. Н. Татищева не встретим и намека на то, что он признавал зависимость «Нового летописца» от «Истории».

[29] *Корецкий В. И.* 1) Работа В. Н. Татищева над источниками по истории крестьянского закрепощения // Вопросы истории. 1971. № 9. С. 36; 2) Формирование крепостного права. . . С. 44; *Буганов В. И. и др.* Некоторые проблемы изучения русского летописания на современном этапе // Проблемы источниковедения истории СССР и специальных исторических дисциплин: Статьи и материалы. М., 1984. С. 14. Правда, однажды В. И. Корецкий отметил, что помимо «Нового летописца» и «Истории» в «Выписке. . .» использованы и другие источники, но далее свел ее содержание к данным двух названных летописей (*Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 252, 256—257, ср. С. 268).

[30] *Пекарский П.* Новые известия о В. Н. Татищеве. С. 58, 60; *Клосс Б. М., Корецкий В. И.* В. Н. Татищев и начало изучения русских летописей. С. 9. В. И. Корецкий сам отметил знакомство В. Н. Татищева с хронографами (*Корецкий В. И.* Мазуринский летописец. . . С. 285).

[31] *Татищев В. И.* История Российская. Т. 2. С. 298; Т. 6. С. 308, 313, 320, 323, 337, 355, 368 и др.

[32] Там же. Т. 6. С. 286, 324, 337, 368, 385; Т. 7. С. 151, 425, ср. С. 420. В 1741 г. В. Н. Татищев писал, что отправленные им «в провинцию» геодезисты собрали «немало весьма» «древних писем, нужных до гистории по 121 (т. е. 1613. — Я. С.) год» (*Попов Н.* В. Н. Татищев и его время. М., 1861. С. 441).

дающие царя Василия; тобольский летописец Станкевича, повествующий о событиях рубежа XVI—XVII вв.,[33] Степенная книга, где Лжедмитрий II именовался Андроником.[34] Использовал В. Н. Татищев и устную традицию, в частности рассказы своего деда и других лиц, живших в первой половине XVII в.[35] Поэтому возведение всех известий Татищева за конец XVI—начало XVII в. к летописи Иова—Иосифа представляется неверным. К тому же оригинальные сведения о событиях этого времени встречаются в работах В. Н. Татищева, написанных до приобретения им «Истории» (записка 1730 г., «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ»).

Наличие у В. Н. Татищева многообразных источников о Смуте подтверждается и тем обстоятельством, что в различных трудах он подчас неодинаково пишет об одном и том же событии. Так, по утверждениям В. Н. Татищева, умирающий Федор Иванович то завещал «царство» Ф. Н. Романову, то заявил боярам, что вопрос престолонаследия «есть не в его, а в божией воли и их рассмотрении».[36] Согласно В. Н. Татищеву, М. В. Скопин-Шуйский то предъявил царю письма Ляпунова с предложением ему трона, то «изодрал» их.[37] Вначале ученый считал, что битва, решившая участь Шуйского, произошла у Борисова; затем он правильно называет ее Клушинской.[38]

Учтем также, что нередко В. Н. Татищев, излагая свидетельства источников, вносил собственные добавления фактографического или поясняющего характера.[39] К примеру, он дважды замечает, что Лжедмитрий I обещал передать Речи Посполитой те города, которые впоследствии был вынужден уступить ей Михаил Федорович, комментирует факт перенесения в Москву останков царевича Дмитрия.[40]

---

[33] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 7. С. 389, 438. О летописце Станкевича, вероятно утраченном, см.: *Андреев А. И.* 1) Труды В. Н. Татищева по географии России. С. 8; 2) Очерки по источниковедению Сибири. 2-е изд. М.; Л., 1960. Вып. 1. С. 195, 231—232.

[34] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 6. С. 318, ср. С. 386, примеч. 11—11; Т. 7. С. 156. Такая Степенная книга нам неизвестна.

[35] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 7. С. 425. Ученый, по всей вероятности, имел в виду М. Ю. Татищева (*Кушева Е. Н.* К истории холопства в конце XVI—начале XVII веков. С. 76).

[36] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 2. С. 298; Т. 4. С. 395; Т. 6. С. 287.

[37] Там же. Т. 2. С. 310, примеч. 4—4; Т. 4. С. 416; Т. 6. С. 330, 335.

[38] Там же. Т. 4. С. 59; Т. 6. С. 336, 337, 342.

[39] *Пештич С. Л.* 1) Русская историография XVIII века. Л., 1961. Ч. 1. С. 237—250; 2) Необходимое дополнение к новому изданию «Истории Российской» В. Н. Татищева (т. I—VII. Изд. АН СССР, 1962—1968) // Проблемы истории феодальной России. Л., 1971. С. 215—222.

[40] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 6. С. 291, 295, 311. Кстати, В. И. Корецкий признает, что В. Н. Татищев мог дополнять данные источников «от себя» (*Корецкий В. И.* 1) «История Иосифа о разорении русском». . . С. 262; 2) Формирование крепостного права. . . С. 43).

В. И. Корецкий полагает, что уникальная летопись повлияла даже на стиль В. Н. Татищева. По его утверждению, оттуда в работы выдающегося ученого попало слово «паки», якобы ставшее к середине XVIII в. архаизмом.[41] Но оно часто встречается и в тех произведениях В. Н. Татищева, где нет следов знакомства с «Историей», в том числе созданных до 1745 г.[42] Вместе с тем, по мысли В. И. Корецкого, В. Н. Татищев изменял выражения Иосифа. Так, ему кажется естественным, что в перечне «чинов» летописец подчеркивал приоритет духовенства. В. Н. Татищев же, считает В. И. Корецкий, на первое место выдвигал светскую знать.[43] Однако, указывая социальные категории, В. Н. Татищев нередко называл вельмож вслед за «духовными», в том числе и тогда, когда уже знал «Историю».[44] О том, что ученый передавал текст летописи своими словами, может свидетельствовать такой факт. Со ссылкой на Иосифа он сообщает о послании Грозного к Поссевино, в котором царь «изобразил», как «папежское обладание» над государями «ему противно». В другой связи В. Н. Татищев писал, что государи, ограничивавшие власть попов и чуждые суеверий, «духовным всегда противны». Далее, по его словам, договор об избрании польского королевича Владислава на московский престол содержал условия, которые «были противны» этому соглашению.[45] Наконец, в подготовительных материалах к четвертой части «Истории Российской» употребляются термины и географические названия, вошедшие в оборот с XVIII в.: В. Н. Татищев нередко именует дворянство шляхтой (шляхетством), говорит о «стане» (*сословии*), крепость Орешек именует «Слюсенбургом», а «Каяну» — Финляндией.[46]

---

[41] *Корецкий В. И.* Работа В. Н. Татищева над источниками по истории крестьянского закрепощения. С. 38. Впрочем, исследователь находит, что В. Н. Татищев был далек от буквальной передачи летописного текста, осовременивал его (Там же). См. также: *Корецкий В. И.* 1) «История Иосифа о разорении русском». . . С. 255, 258, 272, 284, 285; 2) Формирование крепостного права. . . С. 54.

[42] См., например: *Татищев В. Н.* 1) Избр. труды по географии России. С. 93, 108, 219; 2) Избр. произведения. С. 42, 65, 81, 120, 133, 147, 148, 221, 278, 284, 363, 372, 381, 390; 3) История Российская. Т. 7. С. 150, 156, 158, 174—178, 214, 243, 255, 257 и др.

[43] *Корецкий В. И.* Работа В. Н. Татищева над источниками по истории крестьянского закрепощения. С. 38. Заметим, что, перечисляя сословные группы, духовенство называли в первую очередь и многие светские авторы начала XVII в. См., например: Повести о князе Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском // Памятники древней письменности и искусства. Б. м., 1904. Вып. 156. С. 24, ср. С. 25; Временник Ивана Тимофеева. С. 30, 31, 53, 131, 133, 144, 154, ср. С. 60, 96. 134, 166; ПСРЛ. Т. 34. С. 201, 219. Ср.: Акты подмосковных ополчений и Земского собора 1611—1613 гг. М., 1911. С. 64, 65, 128, 129, 137.

[44] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 3. С. 249, 299, примеч. 11—11; Т. 6. С. 311, 339, 365, 368, 369, 382, 383, 387, примеч. 1—1; Т. 7. С. 151, 152.

[45] Там же. Т. 2. С. 230; Т. 3. С. 254; Т. 4. С. 412; Т. 6. С. 342, ср. С. 282, 311, 330, 342, 381, 384.

[46] Там же. Т. 6. С. 285, 314, 324, 350, 368, 375, 378, 382, 385, ср. С. 386.

Формулы «некоторые (другие) сказывают (сказуют, повествуют)», наличествующие в татищевской «Выписке. . .», В. И. Корецкий раскрывает как указания на труд Иосифа.[47] Неясно, однако, почему в данных случаях ученый употребляет множественное число, тогда как обычно, ссылаясь на того или иного автора, он пишет «сказует», а если на нескольких, то «сказуют», «сказывают», «согласуют», «повествуют».[48]

С точки зрения В. И. Корецкого, В. Н. Татищев, в силу своего антиклерикализма, сокращал текст «Истории», в частности опускал сентенции религиозного порядка, не воспроизвел известия о скитаниях Г. Отрепьева по монастырям и низложении Иова.[49] Но исследователь сам ссылается на рассказ В. Н. Татищева о переходах будущего самозванца из одной обители в другую.[50] События начала XVII в. порой объясняются Татищевым в духе провиденциализма; по их поводу он не раз высказывал замечания теологического характера. Например, появление Лжедмитрия I В. Н. Татищев считал небесной карой Борису Годунову за смерть королевича Иоганна, выступление второго самозванца стало в его оценке божественным наказанием за «клятвопреступления» и другие грехи царя Василия; падение и смерть Шуйских, а также разорение страны явились под пером В. Н. Татищева карой свыше за гибель Скопина. По словам ученого, Василий Шуйский заявил о самоубийстве царевича Дмитрия, не боясь страшного божьего суда, а Марина Мнишек уповала «на власть божескую».[51] Далее, если следовать представлениям В. И. Корецкого о мотивах сокращения В. Н. Татищевым летописного текста, то непонятно, почему в набросках четвертой части «Истории Российской» сообщаются многочисленные данные о судьбах церкви в период Смуты, что неоднократно отмечает сам исследователь.[52]

Неубедительными являются и почти все допущения В. И. Корецкого насчет того, какие из «татищевских известий» за конец XVI—начало XVII в. восходят к «Истории», если прямые ссылки на нее отсутствуют.

Согласно В. И. Корецкому, по «Истории» В. Н. Татищев описал погребение королевича Иоганна, так как это описание содержит детали, которые должны были заинтересовать церковника. Но подобный рассказ читаем в Пискаревском летописце, вышедшем

---

[47] *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 253.

[48] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 6. С. 318, 351, 361, 380, 386, примеч. 2; Т. 7. С. 211, 277—278, 417—419, 424—429, 431. О точности В. Н. Татищева в этих случаях может свидетельствовать такой факт. Он писал, что Степенная книга «называет» сына Марины Мнишек Федором Андроникновым, другие же «называют» его казацким атаманом (Там же. Т. 7. С. 156).

[49] *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 258, 264.

[50] Там же. С 258, 266.

[51] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 2. С. 310, примеч. 4—4; Т. 4. С. 416; Т. 6. С. 284, 290, 300, 301, 311, 331, 336, 345, 381, ср. С. 352.

[52] *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 256, 266, 275, 282, 283.

из светских кругов.[53] В тех фрагментах «Выписки. . .», которые В. И. Корецкий относит к летописи Иосифа, смерть королевича датируется то 20, то 28 октября 1602 г.,[54] т. е. неясно, какая дата имелась в «Истории».

Совершенно непонятно, почему В. И. Корецкий считает, что если патриарший келейник сообщал о переписке бояр с самозванцем, значит, по его летописи В. Н. Татищев характеризовал Василия Шуйского, и если Иосиф указывал на причастность Бориса Годунова к смерти датского принца, на истребление им царского рода и многих бояр, следовательно, из его сочинения ученому стало известно о нежелании Ирины Годуновой видеть брата до конца ее дней.[55] Не более убедителен и тезис В. И. Корецкого, будто В. Н. Татищев подчеркивал главенствующую роль Шуйских в событиях 1584 г. вслед за Иосифом, ибо тот проявлял к Шуйским особый интерес.[56] Последнее наблюдение не подтверждается фактами, да и сам исследователь отмечает, что в «Истории» уделялось внимание также Голицыным, Романовым, Ф. И. Мстиславскому.[57]

Согласно «Выписке. . .», Борис Годунов с печалью донес царю об угличском деле и советовал произвести тщательный розыск, хотя царевич Дмитрий был убит по его «научению». Поскольку правитель в этом случае поступил коварно, а его коварство подчеркивалось в «Истории», В. И. Корецкий находит, что данное известие заимствовано В. Н. Татищевым оттуда.[58] Но в «Выписке. . .» не раз прямо говорится о коварстве Бориса Годунова.[59]

В. Н. Татищев замечает, что, организуя крестный ход к Новодевичьему монастырю 22 февраля 1598 г., патриарх действовал «по побуждению доброхотов Годунова». В. И. Корецкий относит это наблюдение к летописи Иосифа, хотя тут же пишет, что воцарение Бориса представлено в ней делом рук Иова.[60] Можно, однако, всерьез сомневаться в том, что келейник патриарха, сохранивший в своей «Истории» его «политические рассуждения», признавал зависимость поступков Иова от настояний «доброхотов Годунова», тем более что патриарх являлся сторонником канди-

---

[53] ПСРЛ. Т. 34. С. 203.

[54] *Корецкий В. И.* 1) «История Иосифа о разорении русском». . . С. 255—257; 2) Формирование крепостного права. . . С. 44—45.

[55] *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 270, 275.

[56] Там же. С. 279.

[57] Там же. С. 261, 270, 273, 279—281.

[58] Там же. С. 277.

[59] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 6. С. 282, 286, 288. Ученый отмечал также коварство Василия Шуйского и М. И. Татищева (Там же. С. 298, 300, 332, ср. С. 310). Коварство Бориса Годунова подчеркивалось в ряде публицистических сочинений начала XVII в. См., например: *Буганов В. И. и др.* «Повесть како отомсти» — памятник ранней публицистики Смутного времени // ТОДРЛ. 1974. Т. 28. С. 242—243; Временник Ивана Тимофеева. С. 46, 47, 72—74.

[60] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 6. С. 287; *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском» . . . С. 275.

датуры Бориса. Наконец, сам В. Н. Татищев неоднократно оперирует выражением «доброхот» и производными от него.[61]

Недоказанным представляется и суждение В. И. Корецкого о том, что Иосиф преувеличивал роль В. В. Голицына в событиях Смуты, поэтому следует не согласиться с его мнением, будто по «Истории» В. Н. Татищев писал о попытках этого и других бояр навязать Шуйскому «крестоцеловальную запись» в 1606 г. Необоснованно и утверждение о том, что из уникальной летописи В. Н. Татищеву стало известно о приглашении на «царство» Ирины Годуновой после смерти Федора Ивановича, о согласовании Лжедмитрием I плана истребления знати с П. Ф. Басмановым и В. Ф. Мосальским, об обращении восставших против «расстриги» к его мнимой матери М. Ф. Нагой.[62]

По В. И. Корецкому, из «Истории» В. Н. Татищев узнал о том, что Б. Я. Бельский был сослан царем Борисом не из подозрительности (о чем ученый писал ранее, ссылаясь на «некоторых»), а потому, что тот признался духовнику в причастности («по научению Годунова») к смертям Грозного и Федора Ивановича; духовник Бельского передал это патриарху, последний — царю, который распорядился немедленно сослать своего бывшего единомышленника.[63] В. Д. Назаров не без оснований сомневается в том, что о признании Бельского, окончательно компрометирующем Бориса, В. Н. Татищеву стало известно из летописи Иосифа. Данный эпизод характеризует Иова с отрицательной стороны (он фактически одобрил нарушение духовником тайны исповеди), келейник же был его доверенным лицом.[64] Оспаривая этот довод, В. И. Корецкий указывает на то, что Иосиф писал уже после ссылки Иова в Старицу (келейник не разделил этой участи) и, будучи искренне верующим человеком, не считал возможным скрыть неблаговидные действия патриарха.[65] Но глубокая религиозность вовсе не исключала тенденциозности, они вместе определяли образ мысли летописца, тем более близкого к высшим церковным кругам. Далее, в черновом наброске о царствовании Шуйского В. Н. Татищев рассматривает Иова как человека «умного и богобоязного».[66] Возможно, эта оценка сложилась у него на основании

---

[61] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 6. С. 298, 313, 352, 381.

[62] *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 267, 268, 270, 272.

[63] Там же. С. 275. Сообщая о ссылке Бельского из-за подозрительности Годунова, В. Н. Татищев замечает, что он скончался в тюрьме (*Татищев В. Н.* История Российская. Т. 6. С. 289, 376). Источник этого известия неясен (в действительности Бельский погиб в 1611 г., будучи казанским воеводой).

[64] *Назаров В. Д.* «Новый летописец» как источник по истории царствования Лжедмитрия I // Летописи и хроники. 1973 г. М., 1974. С. 301, примеч. 8. По верному наблюдению автора, критическое отношение к Иову заметно и в ряде других известий, которые В. И. Корецкий склонен относить к «Истории».

[65] *Корецкий В. И.* Смерть Грозного царя // Вопросы истории. 1979. № 9. С. 98.

[66] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 6. С. 310. В другом черновике, посвященном царствованию Шуйского, этих слов нет, хотя тексты данного раздела почти совпадают (Там же. С. 300).

уникальной летописи. Наконец, патриарх Гермоген (как предполагает В. И. Корецкий, Иосиф принадлежал к его окружению) отнюдь не старался очернить Иова.

В. Н. Татищев сообщает о попытке бояр ограничить власть Бориса Годунова при его воцарении. Это известие является припиской на полях «Выписки. . .», поэтому В. И. Корецкий возводит его к летописи Иосифа.[67] На наш взгляд, оснований для такого вывода явно недостаточно. В частности, одна из приписок в той же «Выписке. . .» воспроизводит титул Федора Ивановича из его грамоты о поставлении Иова патриархом, источниками еще двух приписок служат показания польских историков Кобержицкого и Пясецкого. Дополнением к основному тексту набросков о царствовании Шуйского является замечание о том, что выборгский договор 1609 г. «в розсуждении Шафирова о войне шведской точно внесен». В одной из приписок речь идет о том, что Марине Мнишек было невозможно управлять Россией, «яко женщине», в другой — что разрушение нижегородского Печерского монастыря в 1596 г. произошло «не от землетрясения, но от подмытия водою» горы, на которой он стоял.[68]

По свидетельству В. Н. Татищева, «мужики» тайно кормили Ивана и Михаила Романовых, сосланных царем Борисом в Пермский край и Сибирь, а также Ксению Ивановну Романову (иноки-ню Марфу), томившуюся в Заонежском погосте; наследники этих крестьян «доднесь» податей не платят.[69] Источником этих сведений В. И. Корецкий считает «Историю». Но В. Н. Татищев мог слышать рассказы о помощи «мужиков» ссыльным Романовым, об этом пишет сам В. И. Корецкий, поэтому его ссылка на отмену в 1720 г. податных льгот потомкам спасавших родню будущего царя крестьян [70] неубедительна. Далее, В. Н. Татищев указывает, что эти льготы сохранились «доднесь». Последнее было бы неуместно под пером Иосифа, писавшего в самом начале царствования Михаила Федоровича, когда налоги с потомков упомянутых крестьян (или даже их самих) могли не взиматься в течение лишь нескольких лет. В этой связи отметим, что, согласно В. Н. Татищеву, «доднесь» видны окопы, устроенные Лжедмитрием II в Тушине, и доныне — укрепления, сооруженные московскими воеводами после сражения на Ходынке; ученый сообщает о том, какие учреждения помещаются «ныне» в бывшем дворце Бориса Годунова

---

[67] *Корецкий В. И.* 1) «История Иосифа о разорении русском». . . С. 273; 2) Введение // Стояти заодно. М., 1983. С. 397.

[68] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 6. С. 286, 287, 324, 329—331, 352.

[69] Там же. С. 289. В. И. Корецкий, излагая это сообщение В. Н. Татищева, пишет только о сибирских крестьянах.

[70] *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 281. В. Н. Шишонко были опубликованы предания о помощи крестьян находившимся в ссылке Романовым, записанные уже в 1880 г. См.: Пермская летопись с 1263 по 1881 г. Первый период. Пермь, 1881. С. 148—149. Ср.: Там же. Второй период. 1882. С. 30.

и в построенных при нем каменных палатах.[71] Часты у него и ссылки на явления, бытующие «доднесь».[72]

Известие В. Н. Татищева об устройстве Лжедмитрием I в царском дворце «папежинской церкви» В. И. Корецкий приписывает Иосифу, как духовному лицу.[73] Но сетованиями по поводу нарушения самозванцем норм православия полны многочисленные публицистические произведения Смутного времени, возникшие в светской среде (ряд повестей о «расстриге», «окружные» грамоты Шуйского, «посольская» повесть 1606 г., «Временник» дьяка Тимофеева, один из источников Пискаревского летописца).

По мысли В. И. Корецкого, из летописи Иосифа В. Н. Татищев почерпнул сведения о том, что Иов, сначала отказав, потом все же написал «разрешительную» грамоту, освобождавшую царя Василия и весь русский народ от «грехов», вызвавших бедствия Смуты. С точки зрения исследователя, эти сведения перекликаются с известием Латухинской степенной книги (якобы тоже восходящим к «Истории») об отказе опального Иова благословить своего преемника Игнатия, ставленника Лжедмитрия I.[74] Это явная натяжка. Сам В. И. Корецкий считает данное известие Латухинской степенной книги легендарным. Учитывая близость Иосифа к первому русскому патриарху, его осведомленность в делах, вершившихся в высших церковных сферах, вряд ли можно относить приведенное свидетельство к «Истории». Далее, в библиотеке В. Н. Татищева имелась переписка между царем Василием и Иовом насчет «разрешительной» грамоты. Последняя была составлена Иовом совместно с Гермогеном. Наконец, рассказывая о написании «разрешительной» грамоты, В. Н. Татищев ссылается на Петрея.[75]

К летописи «О разорении русском» В. И. Корецкий возводит характеристику М. И. Татищева как «человека острого ума», хотя аналогичную оценку Ирины Годуновой он считает татищевской.[76] Заметим, что автор «Истории Российской» часто употреблял это и подобные выражения («человек преострого ума», «остроум-

---

[71] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 6. С. 289, 305, 321, 376, ср. С. 311; Т. 7. С. 444, примеч. 23—23.

[72] Там же. Т. 2. С. 201, 204, 216, 222, 223, 255, 266, 294, примеч. 85—85, 312, примеч. 48—48; Т. 3. С. 261, 269, 300, примеч. 1—1 к гл. 28 (30) и др.

[73] *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 266.

[74] Там же. С. 270, 271. См. также: *Корецкий В. И.* К вопросу об источниках Латухинской степенной книги // Летописи и хроники. 1973 г. С. 334, 335.

[75] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 6. С. 310.

[76] *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 272, 280. По В. И. Корецкому, из «Истории» В. Н. Татищев почерпнул сведения и о том, что М. И. Татищев оповестил Василия Шуйского о плане «расстриги» перебить бояр и вернулся во дворец накануне восстания против самозванца (Там же. С. 267). Возможно, однако, что ученый знал об этом из фамильных преданий, например воспоминаний М. Ю. Татищева. Быть может, из этого источника замечательному историку стало известно и то, что митрополит Исидор «очень дружно жил» с М. И. Татищевым в бытность того новгородским воеводой, а М. И. Татищева «заколол один ножем» (*Татищев В. Н.* История Российская. Т. 6. С. 324, ср. С. 306).

ный» или «острый» человек, «острота ума»), причем и в то время, когда еще не располагал сочинением Иова—Иосифа,[77] поэтому, на наш взгляд, их следует приписать В. Н. Татищеву.

В. И. Корецкий склонен думать, что из летописи Иосифа в наброски В. Н. Татищева о царствовании Шуйского попало известие об участии 10 тысяч запорожцев в сражении на Вырке.[78] Этот вывод представляется нам сомнительным. В тех же татищевских набросках говорится о наличии 8 тысяч запорожцев в отряде пришедшего к Лжедмитрию II Лисовского, причем со ссылкой на иностранных историков (Петрея, Пясецкого, Лудольна). Подобное указание, только на труды Лудольна и Пуфендорфа, заключает рассказ В. Н. Татищева о событиях под Брянском в конце 1607—начале 1608 г., когда поляки и запорожцы были разбиты воеводой В. Ф. Мосальским.[79] Да и сам В. И. Корецкий отмечал, что Иосиф был далек от приказных людей,[80] у которых мог бы узнать подробности боя на Вырке.

Со своей стороны, выскажем предположение о том, что из «Истории» В. Н. Татищеву стало известно время крестного хода к Новодевичьему монастырю, устроенного Иовом с целью побудить Бориса Годунова принять скипетр (22 февраля «поутру рано»).[81] Возможно, этот источник лежит в основе и татищевского рассказа о судьбе Гермогена в период оккупации Москвы. Согласно наброскам о «междуцарствии», в начале марта 1611 г. («в великий пост») патриарх был заключен в Чудове монастыре и провел там две недели, причем враги ничего от него не добились. Тогда они решили перебить москвичей во время традиционного «хода с вербою», для чего выпустили Гермогена из заточения. Церковный праздник, однако, не состоялся, и оккупанты снова заключили патриарха в Чудов монастырь, теперь уже в темницу, лишили Гермогена сана, а на его место возвели Игнатия Грека.[82] Под 7106 (1598) г. В. Н. Татищев сообщает, что за разгром сибирского хана Кучума тарским воеводам и служилым людям были пожалованы «золотые, а Строгоновым великие земли в Перми».[83] Это известие, служащее дополнением к основному тексту «Выписки. . .», быть может, тоже восходит к летописи Иова—Иосифа, где, как мы помним, говорилось о получении Строгановыми права «писаться» с отчеством.

---

[77] *Татищев В. Н.* 1) Избр. произведения. С. 394; 2) История Российская. Т. 2. С. 286, примеч. 46; Т. 6. С. 282, 322, 349, ср. С. 290—291; Т. 7. С. 162, 172, 182, 230, 309, 383, 393.

[78] *Корецкий В. И.* О формировании И. И. Болотникова как вождя крестьянского восстания // Крестьянские войны в России XVII—XVIII веков: Проблемы; Поиски; Решения. М., 1974. С. 131.

[79] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 6. С. 319, 320.

[80] *Корецкий В. И.* «История Иосифа о разорении русском». . . С. 260.

[81] *Татищев В. Н.* История Российская. Т. 6. С. 287, ср. С. 375—376.

[82] Там же. С. 348. Этот рассказ читаем и в черновике данного отрывка, но без хронологических определений (Там же. С. 382).

[83] *Татищев В. Н.* История Российская. Т.6. С. 288.

Итак, летопись «О разорении русском», которую В. Н. Татищев явно выделял среди повествовательных источников о Смуте, во многом определила его интерес к социальным проблемам отечественной истории конца XVI—начала XVII в. Из нее он почерпнул и сведения об отдельных событиях политической борьбы той эпохи, а также времени опричнины. Уникальную летопись нельзя считать единственным источником оригинальных сообщений В. Н. Татищева о Смуте и ее предыстории. Рассмотрение характера и приемов использования сочинения Иова—Иосифа в работах крупнейшего русского писателя-историка второй четверти XVIII в. позволяет полнее оценить их значение и как научных трудов, и как литературных произведений.[84]

---

[84] О значении татищевских трудов как литературных памятников см.: *Лихачев Д. С.* Можно ли включать «Историю Российскую» Татищева в историю русской литературы? // Русская литература. 1971. № 1. С. 65.

А. В. ВОЗНЕСЕНСКИЙ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ВАРИАНТ ИЗДАНИЯ «ДРЕВНЕЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ» М. В. ЛОМОНОСОВА

В 50-е гг. XVIII в. М. В. Ломоносов обратился к изучению российской истории. Результатом его изысканий стали, во-первых, «Краткий российский летописец», изданный в 1760 г., и, во-вторых, «Древняя российская история» (1766). Оба труда Ломоносова вызвали интерес читающей публики.[1] «Краткий российский летописец» переиздавался в XVIII в. еще дважды (в 1766—1767 и 1775 гг.),[2] а также был переведен на немецкий (Я. Я. Штелином: Копенгаген; Лейпциг, 1765; этот перевод был в 1767 и 1771 гг. переиздан в Риге) и английский (Лондон, 1767) языки.[3] «Древняя российская история», текст которой также еще дважды печатался в XVIII в., хотя и в составе «Полного собрания сочинений» (СПб., 1784—1787 и 1794),[4] переводилась на немецкий (Г.-Л. Х. Бакмейстером: Рига; Лейпциг, 1768) и французский (М. Эйду: Париж; Дижон, 1769; два переиздания: Париж, 1773 и 1776) языки.[5]

Оба исторических труда Ломоносова имели интересную историю издания. «Краткий российский летописец», как уже упоминалось, трижды публиковался в России в XVIII в., причем все три его издания появились в свет с одинаковыми выходными данными: СПб., при Имп. Академии наук, 1760. В этом случае проявилась издательская практика XVIII в., по которой нередко не давались указания на переиздание, для того, вероятно, чтобы публика в нем могла узнавать прежнее, имевшее спрос издание.

---

[1] Д. В. Тюличев находит возможным говорить о «широкой популярности» исторических работ Ломоносова. См.: *Тюличев Д. В.* Издание и распространение научных трудов Ломоносова при его жизни // Ломоносов: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1961. Т. 5. С. 325.

[2] *Шамрай Д. Д.* О тиражах «Краткого российского летописца с родословием» // Литературное творчество М. В. Ломоносова: Исследования и материалы. М.; Л., 1962. С. 282—284.

[3] *Тюличев Д. В.* Издание и распространение научных трудов Ломоносова. С. 327.

[4] *Быкова Т. А.* Литературная судьба переводов «Древней российской истории» М. В. Ломоносова // Литературное творчество М. В. Ломоносова. С. 239.

[5] *Тюличев Д. В.* Издание и распространение научных трудов Ломоносова. С. 328. Существует весьма обоснованное мнение, что эти три издания представляют собой одно, трижды пущенное в продажу, всякий раз — с новым титульным листом. См.: *Быкова Т. А.* Литературная судьба. . . С. 244.

«Древняя российская история» была выпущена в свет уже после смерти Ломоносова, хотя почти весь текст ее был отпечатан еще при его жизни. Работу над «Древней историей» Академическая типография вела в 1758 г., однако в марте 1759 г. Ломоносов, не удовлетворенный избранной им формой примечаний, забрал рукопись для переработки. В 1763 г. печатание «Древней истории» начинается заново и продолжается уже до 1766 г.[6] Посмертный выход «Древней российской истории» заставил внести некоторые изменения в книгу. Был перепечатан ее заключительный лист, и на последней странице вместо указания «Конец второй части» появилось указание «Конец». Кроме того, исторический труд Ломоносова сопроводили предисловием «К читателю» (оно не подписано), которое было составлено историком Шлёцером на немецком языке и в переводе С. Башилова помещено в издании. Со слов самого Шлёцера известно, что предисловие переделывалось,[7] но сведений о том, в чем состояла переделка, не было. Как представляется, новая находка в фонде Научной библиотеки ЛГУ позволяет ответить на этот вопрос.

В собрании библиотеки хранятся три экземпляра «Древней российской истории» Ломоносова, среди которых имеются два варианта этого издания, т. е. с замененным и незамененным последним листом. Наибольший интерес вызывает третий экземпляр, поступивший в библиотеку в составе собрания П. И. Люблинского, правоведа, профессора ЛГУ и библиофила. Титульный лист, предисловие и оглавление, а также последний лист, который приплетен к книге за последним листом первоначального варианта, носят следы корректуры. Ряд изменений, имеющихся на этих листах и касающихся в основном написаний прописных или строчных букв в словах, находит параллель и в окончательном печатном варианте. Еще большего внимания достойно предисловие в этом экземпляре. Текст его отличен от текста предисловия в других экземплярах и, видимо, представляет собой первоначальный, еще не исправленный вариант. Этот вариант не был опубликован в примечаниях к Полному собранию сочинений Ломоносова, не был он известен также и публикаторам материалов к биографии великого русского ученого, поэтому представляется необходимым привести его полностью.

«Сочинитель сея книги покойный статский советник Михайло Васильевич Ломоносов, издал уже в 1760 году краткой Российской летописец, который принят был с немалым удовольствием. Потом, положив намерение сочинить пространную историю российского народа, собирал со тщанием из разных как российских, так и иностранных писателей все, к объяснению оныя служащее, и положил

[6] *Тюличев Д. В.* Издание и распространение научных трудов Ломоносова. С. 327; *Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века. Л., 1965. Ч. 2. С. 180—187.

[7] *Шлёцер А. Л.* Нестор: Русские летописи на древне-славенском языке / Пер. с нем. Д. Языков. СПб., 1809. Т. 1. С. гмз. По мнению Т. А. Быковой, предисловие переделывалось в Академии. См.: *Быкова Т. А.* Литературная судьба. . . С. 239.

доброе начало окончанием первыя сея части содержащия житие осьми первых великих князей, князивших на российском престоле от 862 до 1054 года.

Полезный сей труд содержит в себе древния, темныя и самыя ко изъяснению трудныя российской истории обращения, однакож сочинитель конечно привел бы оной ко окончанию, ежели бы преждевременная смерть добраго сего предприятия не пресекла. Сочинитель в минувшем 1765 году апреля 4 дня преставился, и, к немалому сожалению, в оставшихся после его письмах ни предисловия к сей первой части, ни продолжения следующих, не нашлося».

При сравнении этого текста с его исправленным вариантом заметна стилистическая правка: вместо «князей, *князивших* на российском престоле» — «*сидевших*»; «труд содержит <. . .> самыя ко изъяснению трудныя российской истории *обращения*» — «*части*»; «продолжения <. . .> *не нашлося*» — «*не найдено*». Изменена и разбивка текста на абзацы: два абзаца в первоначальном варианте превратились в три в окончательном.

Однако исправления, внесенные во второй вариант, носят и иной характер. Так, названное в первом варианте «не найденным» предисловие Ломоносова к этому изданию уже не упоминается во втором. О специальном (помимо «Вступления»)[8] предисловии к «Древней российской истории» самого автора никаких сведений нет, в связи с чем упоминание Шлёцера о нем можно расценивать как ошибочное предположение, которое впоследствии и было исправлено.

Изменения коснулись и оценки труда Ломоносова. Упоминание о том, что он собрал для написания «Древней российской истории» «все, к объяснению оныя служащее», заменяется осторожным указанием на собирание им того, «что ему полезно казалось к познанию состояния России прежде Рурика».

Но наиболее важным кажется разночтение, которое, видимо, отражает историографические споры середины XVIII в. В первоначальном варианте предисловия отмечается использование Ломоносовым трудов «как российских, так и иностранных писателей», в исправленном — только иностранных.

Историков XVIII в. очень волновали источниковедческие проблемы. Этот вопрос поднимался, к примеру, при обсуждении диссертации Миллера «Происхождение имени и народа российского».[9] Актуальным он был и в столкновениях Ломоносова со Шлёцером. На обвинение в плохом знании русского языка, в неспособности читать и использовать древние русские книги (реакция на желание Шлёцера написать русскую историю)[10] Шлёцер ответил, хотя и много лет спустя, обвинением Ломоносова в не-

[8] Древняя российская история от начала российскаго народа до кончины великаго князя Ярослава Перваго или до 1054 года, сочиненная Михайлом Ломоносовым. СПб., 1766. С. 1—4.

[9] *Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века. Ч. 2. С. 224.

[10] *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1955. Т. 9. С. 411—413 (перевод: С. 414—416).

знании иностранных источников,[11] полемизируя при этом со свидетельством самого Ломоносова об использовании им «российских и иностранных древних книг» при написании «Древней российской истории».[12] Насколько же важным был для Шлёцера в 1760-е гг. этот вопрос, говорит его упрек составителю Никоновской летописи в том, что тот «совсем не знал иностранной литературы».[13] Тем не менее в предисловии к «Древней российской истории» Шлёцер повторяет уже упомянутое свидетельство Ломоносова об использовании им и русских и иностранных сочинений. Причина изменения (произведенного Академией? просто корректором?), в результате которого оказывается, что Ломоносов читал лишь иностранные источники, достаточно сложна, не объясняется однозначно и поэтому требует дополнительных изысканий. В то же время представляется, что именно это изменение текста, касавшееся вопроса, столь волновавшего в те времена Шлёцера, могло быть одним из оснований, заставивших его через много лет (немецкое издание «Нестора» выходило в 1802—1809 гг.) упомянуть об изменении написанного им предисловия к «Древней российской истории».

Экземпляр, содержащий неизвестный печатный вариант предисловия, примечателен еще и большим количеством маргиналий, сделанных одним и тем же почерком XVIII в. Маргиналии содержат дополнения из ряда источников (в том числе и цитаты из летописи), пояснения к переводу отдельных нерусских слов; в некоторых местах текст перечеркнут. Эти записи сделаны главным образом на немецком языке, хотя цитаты приводятся на греческом и русском, ряд слов — на латинском и французском языках. Анализ маргиналий не является предметом нашего сообщения и требует специального исследования. Тем не менее наличие первоначального варианта титульного листа, предисловия и оглавления, записи на полях, свидетельствующие об ученой работе их неизвестного автора, позволяют предположить, что описанный экземпляр «Древней российской истории» мог принадлежать человеку, который имел отношение к изданию этого труда Ломоносова и в то же время был вынужден по обязанности работать с его текстом, например Г.-Л. Х. Бакмейстеру, переводчику «Древней российской истории» на немецкий язык, или даже самому А. Л. Шлёцеру.

---

[11] Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлёцера, им самим описанная: Пребывание и служба в России, от 1761 до 1765 г.: Известия о тогдашней русской литературе / Пер. с нем. с примеч. и прилож. В. Кеневича. СПб., 1875. С. 196—198 (СОРЯС. Т. 13).

[12] *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 413, 415. Под «иностранными» понимались главным образом византийские и древнегреческие сочинения (см.: *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. Т. 9. С. 428—429), хотя Ломоносов обращался и к западноевропейским источникам (см.: *Пештич С. Л.* Русская историография XVIII века. Ч. 2. С. 183. Но, цитируя отзыв Ломоносова, Шлёцер выделяет слово «иностранные» курсивом и ставит после него вопросительный знак в скобках (Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлёцера. . . С. 198).

[13] Руская летопись по Никонову списку. СПб., 1767. Ч. 1. До 1094 года. С. [10].

С. С. ЦЕРЛЮК-АСКАДСКАЯ

ЛЕОНАРД ЭЙЛЕР КАК ТЕОРЕТИК МУЗЫКИ
(Суждения и оценки)

В трудах, посвященных истории русской музыкальной культуры XVIII в., до сегодняшнего дня почти не затрагивался вопрос развития науки о музыке в Петербургской Академии наук. Лишь А. Оссовский в одной из своих статей [1] сделал краткий обзор академических работ в области музыкознания, и в дальнейшем эта тема подробной разработки нигде не получала. Это тем более удивительно, что многие петербургские академики исследовали и обсуждали различные проблемы, прямо или косвенно относящиеся к теории музыки.

Подобная область академических исследований не была исключительным явлением для науки этого периода. Как известно, на протяжении многих веков по традиции, восходящей еще к Пифагору, музыка считалась наукой, а не искусством. При этом теоретическое знание о музыке ставилось значительно выше практических умений, и соответственно рассматривалось место musicus'а-теоретика и cantor'а-практика в иерархии различных видов музыкальной деятельности.[2] Художественным свидетельством подобных взглядов может послужить стихотворение, принадлежащее перу ученого монаха VIII в. Беды Достопочтенного:

> Musicorum et cantorum magna est distantia:
> Isti dicunt, illi sciunt, quae componit musica,
> Nam qui facit, quod non sapit, diffinitur bestia.[3]

---

[1] См.: *Оссовский А. В.* Музыкально-эстетические воззрения, наука о музыке и музыкальная критика в России в XVIII столетии // Оссовский А. В. Избр. статьи; Воспоминания. Л., 1961. С. 19—107. То же в кн.: *Оссовский А. В.* Воспоминания; Исследования. Л., 1968. С. 128—212.

[2] См.: *Reimer E.* Musicus and Cantor. Zur Sozialgeschichte eines musikalischen Lehrstücks // Archiv für Musikwissenschaft. 1978. H. 1. S. 1—32.

[3] «Громадно различие между музыкантами и канторами:
Последние лишь провозглашают, первые же знают, что заключает в себе музыка.
Воистину делающий то, чего он не понимает, называется скотом».

Перевод автора статьи. Оригинал приводится по книге Д. Золтаи «Этос и аффект» (М., 1977. С. 129), где ошибочно стихотворение отнесено к XI в. В ряде изданий это стихотворение приписывается другому, более позднему автору — знаменитому Гвидо д'Ареццо, который на самом деле лишь заимствовал его из более раннего источника.

Эпоха барокко в этих вопросах во многом еще следовала за средневековыми представлениями. Так, В. Татаркевич [4] приводит классификацию И. Г. Альстеда (1630), который делил знания (disciplina) на теоретические, или науки (scientia), и производительные, или искусства (ars). При этом в разряд наук попали архитектура (scientia bene aedificandi) и музыка (scientia bene canendi). Наиболее явственно такого рода консервативные тенденции ощущались в научных академиях.

По этой же традиции и теоретическая, и практическая музыка трактовалась как точное знание, требующее для своего выражения соответствующего математического аппарата. Не случайно в эпоху средневековья музыка входила в число семи свободных искусств в составе квадривиума точных наук (арифметика, геометрия, астрономия, музыка), а не тривиума гуманитарных (грамматика, риторика, логика). На протяжении многих веков — от Пифагора до И. Кеплера и А. Кирхера — огромное значение для теоретической мысли о музыке имело направление, развивающее теорию музыки как раздел математического знания, а начиная с XVII в. в эту область науки проникают и натурфилософские воззрения (Р. Декарт, М. Мерсенн).

Изложенные выше взгляды на характер музыкально-теоретического знания господствовали в Петербургской Академии наук, как и в других подобных ей европейских научных учреждениях академического типа. Ученым этой эпохи не была свойственна узкая специализация, и поэтому мы нередко встречаем в научных публикациях математического, физико-математического и физического классов Петербургской Академии работы, непосредственно соприкасающиеся с областью теории музыки или даже прямо относящиеся к ней.

Наиболее значительным явлением в этой области следует признать труды Леонарда Эйлера (1707, Базель, Швейцария—1783, Санкт-Петербург, Россия). Деятельность этого выдающегося ученого составляет эпоху в развитии многих наук. Известный в первую очередь своими математическими достижениями, Эйлер оставил также фундаментальные исследования в области физики, астрономии, баллистики, судостроения, топографии и ряда других областей научного знания. Кроме того, ему принадлежит ряд ценных инженерных изобретений. О грандиозном объеме научного наследия Эйлера может дать представление тот факт, что полное собрание его сочинений, издание которого начато в 1907 г. в Швейцарии и продолжается по сегодняшний день, по плану рассчитано на 72 тома большого энциклопедического формата с общим количеством работ свыше 800.

Значительный период научной деятельности и жизни Леонарда Эйлера связан с Россией. Двадцатилетним юношей он был приглашен в незадолго до того учрежденную Петербургскую Академию

---

[4] *Tatarkiewicz W.* Historia estetyki. Wrocław; Kraków, 1960, T. 3. Estetyka nowożytna. S. 371.

наук, где быстро прошел путь от адъюнкта до академика. Эйлер нашел в России вторую родину, отдав немало сил становлению русской науки и воспитанию кадров русских ученых. Своей плодотворной деятельностью он содействовал росту авторитета Петербургской Академии наук в международном масштабе.

В конце царствования Анны Иоанновны, и особенно в последующий период, положение академии и академиков резко ухудшилось. Правительство не уделяло Академии наук должного внимания, и время от времени возникал вопрос о том, не прекратится ли вообще существование данного учреждения.

Поэтому в 1741 г. Эйлер оставил Россию и принял приглашение Фридриха II возглавить математические классы Берлинской академии наук. Но наряду с основной своей деятельностью в Германии Эйлер не прекращал работы для Петербургской Академии, сохранив звание ее почетного члена и систематически публикуя свои исследования в ученых записках академии. В течение всех лет пребывания в Берлине он руководил образованием нескольких самых способных русских студентов, рекомендованных из Петербурга. За ученым даже была сохранена пенсия.

Настойчивые приглашения русского правительства и многочисленные трения с Фридрихом II стали причиной того, что летом 1766 г. Леонард Эйлер покинул Германию и вернулся в Россию — на этот раз уже навсегда. До последнего дня жизни он сохранил феноменальную работоспособность, для которой не стала препятствием даже полная слепота, наступившая с 1770 г. Еще при жизни Эйлер был признан одним из самых выдающихся научных умов своей эпохи, и много лет после его смерти эйлеровские научные труды печатались в ученых записках Петербургской Академии наук.

Выше уже упоминалось о том, что деятельность Эйлера охватывала различные области знания. Но в центре его интересов находились проблемы математики и ее возможных приложений в других, преимущественно естественных, науках. Тем не менее труды по теории музыки никак нельзя назвать случайным эпизодом в научной биографии Эйлера.

Большинство рукописей Эйлера после смерти ученого хранились в Архиве Петербургской Академии наук (ныне Ленинградское отделение Архива АН СССР). В составе эйлеровского фонда сохранилось немало рукописей по теории музыки. Наиболее ранние из них, которые по времени относятся еще к годам обучения Эйлера в Базельском университете, содержатся в его записных книжках.[5] Это план развернутого исследования по теории музыки и наброски фрагментов этого исследования, расчеты строев и т. д. Кроме того, в архиве Эйлера сохранились две неопубликованные

---

[5] См.: ЛО Архива АН СССР, ф. 136, оп. 1, № 129, 135.

ранние работы по теории музыки: «Трактат о музыке» [6] и «Семь глав теории музыки».[7] Последняя из них является, по-видимому, неоконченным вариантом трактата «Опыт новой теории музыки», опубликованного в 1739 г. в Петербурге.[8] «Трактат о музыке», вероятно, хронологически наиболее ранняя попытка Эйлера создать труд по теории музыки, так как в большей степени отличается от окончательного замысла. Можно предположить, что именно об этом исследовании идет речь в известном письме Эйлера к Иоганну I Бернулли от 25 мая 1731 г.[9] Обе рукописи, как и материалы записных книжек, требуют расшифровки, перевода и специального изучения, поэтому делать окончательные выводы о ценности их содержания пока было бы преждевременным. Но весьма показательно, что Эйлер, который заносил на бумагу обычно лишь до конца продуманные результаты своих размышлений и большинство своих работ писал набело, практически без подготовительных рукописных материалов (чем и можно отчасти объяснить гигантское количество его трудов), с большой тщательностью готовил свой трактат по теории музыки и неоднократно возвращался к этой работе, стремясь найти наиболее адекватное выражение своим мыслям. Трактат был одним из первых крупных трудов молодого петербургского академика, и можно предположить, что с его публикацией были связаны определенные надежды.

Однако надеждам этим не суждено было осуществиться. Из всех многочисленных отраслей научного знания, в которых работал Эйлер, область теории музыки оказалась единственной, где специалисты-современники отказали ему в успехе. Даже те немногие, кто находил интересными отдельные положения трактата, все же не решались публично поддержать его концепцию в целом.

Эйлер пробовал заинтересовать «Опытом новой теории музыки» математиков, но встречного интереса они не проявили. Математическое толкование теории музыки в их глазах перестало быть

---

[6] См.: Там же. № 241 («Tractatus de musica»).

[7] См.: Там же. № 242 («Theoriae musicae capita septem»).

[8] См.: *Eulero Leonhardo.* Tentamen novae theoriae musicae ex certissimis harmoniae principiis dilucide expositae. Petropoli, 1739. В литературе прошлого века неоднократно встречаются упоминания о существующих якобы ранних изданиях трактата в 1729 и 1734 гг. Источниками их являются, по-видимому, кч.: *Forkel J. N.* Allgemeine Litteratur der Musik. Leipzig, 1792 (где на с. 247 говорится об изданиях трактата 1729 и 1734 гг.), а также: *Fetis F. J.* Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique. Paris, 1860—1864. V. 3 (где на с. 136 утверждается существование издания 1729 г.). Позднее об издании 1729 г. неоднократно упоминает в различных книгах Г. Риман, а следом за ним и многие другие авторы, пользовавшиеся его трудами как источниками. Однако эти два издания 1729 и 1734 гг. никогда не существовали и являются мифом. В третьей части «Каталога изданий Императорской Академии наук» (Пгр., 1916) на с. 45 (по № 333) единственной датой издания трактата указан 1739 г.

[9] См.: *Enestrom G.* Der Briefwechsel zwischen Leonhard Euler und Johann I Bernoulli // Bibliotheca Mathematica. Leipzig, 1903. F. 3, Bd 4. S. 383—386.

актуальным, и умы математиков были заняты иными проблемами.[10]

Работая над трактатом, Эйлер адресовал его все же в первую очередь музыкантам, и именно их непонимание огорчало его больше всего. Не без оснований полагая, что основную массу читателей-музыкантов оттолкнула от его труда необычная манера изложения, обилие чисел и таблиц (они воспринимались как анахронизм, воскрешающий традиции античных и средневековых музыкальных трактатов), Эйлер в группе статей, опубликованных в 60—70-х гг. XVIII в., несколько изменил форму изложения.[11] Это относится к мемуарам «Очерк о смысле некоторых диссонансов» и «Об истинном характере современной музыки», напечатанным в Берлине,[12] «Об истинных основаниях гармонии», изданным в Петербурге,[13] а также к «Письмам к немецкой принцессе»,[14] где в популярной форме затрагивается немало вопросов музыкальной теории. Но ожидаемого признания взгляды Эйлера все-таки не получили. Большинство музыкантов, писавших о его работах как при жизни ученого, так и после его смерти, оценивали результаты эйлеровских исследований отрицательно.

Хотя критики усматривали в музыкально-теоретических трудах Эйлера лишь негативный пример, определенный интерес эти работы все же вызвали — возможно, в связи с тем ореолом, которым было окружено имя Эйлера в естественнонаучных кругах. Уже через несколько лет после публикации «Опыта новой теории музыки» начальные три главы трактата были переведены на немецкий язык и опубликованы в «Musikalische Bibliothek» с пространными комментариями Л. Мицлера.[15] Язвительные замечания Мицлера во многом определили восприятие работы Эйлера теми, кто знакомился с ней в этом частичном немецком переводе.

---

[10] Уже в XX в. выдающийся советский математик академик Н. Лузин высказался об этой работе следующим образом: «Для математиков там было слишком много музыки, а для музыкантов — слишком много математики» (Социалистическая реконструкция и наука. 1933. № 8. С. 8—9).

[11] Исследователь музыкально-теоретического наследия Эйлера Х. Р. Буш утверждает, что в мемуарах 60—70-х гг. Эйлер отказался от определения степени благозвучия — краеугольного камня концепции «Tentamen» (см.: *Busch H. R.* Leonhard Eulers Beitrag zur Musiktheorie. Regensburg, 1970. S. 109). Это не соответствует истине. В поздних статьях Эйлер не пересматривал проблем, которые уже были рассмотрены в «Tentamen», а обратился к другим частным вопросам, которые разрешались вполне в духе первоначальной концепции.

[12] См.: *Euler L.* «Conjecture sur la raison de quelques dissonances généralement reçues dans la musique» et «Du véritable caractère de la musique moderne» // Mémoires de l'académie des sciences de Berlin. 1766. P. 165—199.

[13] См.: *Euler L.* De harmoniae veris principiis per speculum musicum repraesentatis // Novi commentarii academiae scientiarum Petropolitanae. 1774. P. 330—353.

[14] См.: *Euler L.* Lettres. . . à une princesse d'Allemagne. Berlin, 1768—1772. Vol. 1—3. Русский перевод: *Эйлер Л.* Письма о разных физических и философических материях, писанныя к некоторой немецкой Принцессе: В 3 ч. СПб., 1768—1774.

[15] См.: *Mizler L.* Musikalische Bibliothek. Leipzig, 1746. Bd 3.

Через сто лет после первой петербургской публикации «Опыта» трактат и мемуар «Об истинных основаниях гармонии» в переводе на французский язык, а также два мемуара 1766 г. были изданы в Брюсселе.[16] Этот же текст был положен в основу парижского издания 1865 г.[17] В последний раз все музыкально-теоретические работы Эйлера были напечатаны уже в XX в. в швейцарском издании полного собрания сочинений Леонарда Эйлера [18] — согласно принципам этого издания, на языке оригинала.

Эйлеровская концепция теории музыки зиждется на рационалистическом понимании благозвучия как результата упорядоченности музыки, причем оптимальными считались «разумно простые» отношения между ее элементами. Ведущее понятие эйлеровского трактата — степень благозвучия [19] — существовало как эстетическая категория в литературе о музыке по меньшей мере с середины XVII в. Однако Эйлер вложил в этот термин более конкретное музыкально-теоретическое содержание (об этом речь будет идти ниже), понимая в то же время благозвучие и как мерило воплощения в музыке универсального принципа гармонии, и как фоническую характеристику различных элементов звуковысотной структуры и звуковысотной организации в целом. Эйлер не дал четкого определения этого понятия, и содержание его можно установить лишь исходя из контекста. Отсутствие авторского определения привело к тому, что в данное понятие критиками нередко вкладывался совсем не тот смысл, какой предполагался Эйлером.

Первоначально Эйлер намеревался создать общую теорию композиции, охватив в ней все элементы музыки — высоту звука, ритм, громкость и т. д. Но в процессе работы он был вынужден сузить свой замысел до исследования звуковысотной организации, так как только в этой области акустические основания музыки позволяли наглядно и точно представить отношения между звуками. Поэтому степенью благозвучия оказались охвачены только звуковысотные отношения.

Как известно, соотношение звуков по высоте может быть выражено не только общепринятой нотной записью, но и математически — через отношение чисел. Это позволило Эйлеру придать идее «разумной простоты» вполне осязаемый и конкретный вид. Чем большим числом, по Эйлеру, выражается наименьшее общее кратное принятых во внимание звуков, тем сложнее они для восприятия и, следовательно, относятся к более далекой степени благозвучия.

Эйлер придавал универсальное значение математико-акустическим основаниям музыки, полагая, что они исчерпывающе объясняют и многочисленные вопросы организации звуковысотной

---

[16] См.: *Euler L.* Oeuvres complètes. Bruxelles, 1839. V. 5.
[17] См.: *Euler L.* Musique mathématique. Paris, 1865.
[18] См.: *Euler L.* Opera omnia. Lipsiae et Berolini, 1926. Ser. 3, vol. 1.
[19] gradus suavitatis (*лат.*).

структуры, и закономерности ее восприятия, и ее эстетическую оценку. На это последовало очень резонное возражение музыкантов-практиков, адресованное не только Эйлеру, но и всем ученым, занимавшимся исследованиями музыки на акустической основе. XVIII в. не располагал техническими средствами, которые позволили бы воплотить в звуках результаты подобных вычислений. Поэтому вычисления эти воспринимались музыкантами как бессмысленное теоретизирование, уводящее читателя в сторону от насущных проблем теории музыки. При всем искреннем стремлении Эйлера послужить своими исследованиями музыкальной практике в музыке они не могли реализоваться.

Недоверчивое отношение музыкантов к исследованиям Эйлера было усилено его совершенно не соответствовавшими духу времени взглядами на цели и задачи музыкального искусства. Объявить в век Просвещения единственной целью музыки услаждение слуха означало вызвать в свой адрес град язвительных замечаний, что и удалось Эйлеру в полной мере.

Абсолютное большинство читателей ошибочно восприняли степень благозвучия как синоним консонантности и в связи с этим указывали на ряд несоответствий между табличными данными и общепринятыми понятиями о консонировании и диссонировании. Злополучные таблицы степеней, прокомментированные на основании ошибочного понимания благозвучия, стали основным источником предубеждения критики против музыкально-теоретических работ Леонарда Эйлера. В самом деле, если смотреть на эти таблицы как на таблицы консонансов, то невозможно понять, как к одной и той же седьмой степени благозвучия могут быть причислены консонантная большая терция (4/5), натуральная септима (1/7), которая находится на границе между консонансами и диссонансами, и большая нона (4/9), которая воспринимается как безусловный диссонанс. Объяснить это можно только тем, что эти таблицы являются не таблицами консонансов, а таблицами степеней благозвучия.

Это заблуждение, возникшее сразу же после выхода трактата в свет, сохраняется в литературе о музыкально-теоретическом наследии Эйлера вплоть до последних публикаций.[20] Остается только удивляться, почему такая подмена понятий прошла мимо внимания столь многих критиков, так как ученый недвусмысленно указал, что понятия эти не тождественны. По Эйлеру, выяснение степени благозвучия позволяет определить границу, разделяющую консонансы и диссонансы, лишь «до некоторой степени».[21] В его трактовке степень благозвучия — это акустико-математическая характеристика красочных закономерностей звуковысотности, определяющая меру приятности и простоты оценки при восприя-

---

[20] См.: *Busch H. R.* Leonhard Eulers Beitrag. . .; *Vogel M.* Die Musikschriften Leonhard Eulers // *Euler L.* Opera omnia. Zürich, 1960. Ser. 3, vol. 11. S. XLIV—LX.

[21] См.: *Euler L.* Opera omnia. Ser. 3, vol. 1. P. 249.

тии. Эйлер четко указал: «Отличие консонансов и диссонансов не только в большей или меньшей легкости их оценки, но оно также и в системе композиции. Созвучия, применение которых менее удобно (т. е. связано со стилистическими требованиями подготовки и разрешения. — *С. Ц.-А.*), названы диссонансами, даже если они более легки для оценки, чем те, которые помещают среди консонансов».[22]

Следовательно, меру консонантности Эйлер ставит в зависимость и от музыкально-психологических причин, связывает ее со стилистическими нормами. Тем самым позиция его в этом вопросе намного превышает уровень исследований XVIII в. и приближается к современному его пониманию.[23] Небезынтересно заметить, что экспериментальные исследования восприятия фонизма интервалов и аккордов, проведенные в конце XIX в., подтвердили данные Эйлера, полученные путем теоретических рассуждений.[24]

Числовые выражения математической и акустической характеристик у Эйлера совпали, так как отношения количества колебаний равны отношениям длины струн. Дальнейшее развитие акустики показало, что для разрешения проблемы консонантности имеют значение и многие другие факторы, в том числе — биения и комбинационные тоны. К моменту выхода в свет трактата «Опыт новой теории музыки» эти явления еще не были известны науке, а подлинное их значение было осознано намного позже.

Немногочисленные положительные отклики на таблицу степеней благозвучия сопровождались замечаниями по ее усовершенствованию. Ж. Ф. Рамо в связи с постулируемой им идентичностью октав предлагал считать октавы по благозвучию равными примам.[25] Ж. А. Серр полагал, что таблица интервалов должна быть скорректирована введением обратных величин (т. е. обращений) в их числовом обозначении.[26] Но такие доброжелательные мнения отнюдь не определяли общей картины — подавляющее большинство выступлений было выдержано в весьма критических тонах.

Эйлер считал, что должен существовать единый принцип, гармонически организующий звуковысотные отношения как по горизонтали, так и по вертикали. О наличии такого принципа в музыке свидетельствует благозвучие. С точки зрения благозвучия

---

[22] Ibid.

[23] См.: *Медушевский В. В.* Консонанс и диссонанс как элементы музыкальной знаковой системы // VI Всесоюзная акустическая конференция: Тезисы докладов. М., 1968; *Холопов Ю. Н.* Консонанс // Музыкальная энциклопедия. М., 1974. Т. 2. Стб. 914—917.

[24] См.: *Meinong A., Witasek St.* Zur experimentellen Bestimmung der Tonverschmelzungsgrade // Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. 1897. XV. S. 189—205.

[25] См.: Extrait d'une réponse de M. Rameau à M. Euler sur l'identité des octaves // Mercure de France. 1752. Décembre. P. 6—31.

[26] См.: *Serre J. A.* Essais sur les principes le l'harmonie. Paris, 1753

исследуется звуковысотная вертикаль (интервалы, аккорды и неаккордовые сочетания), а также горизонталь (лады и тональные планы). В обоих направлениях Эйлер рассматривает все возможные уровни, фиксируя в математических выражениях их качественные различия.

Интерпретация звуковысотной организации как структурной иерархии с качественно различными уровнями, впервые в теории музыки примененная Эйлером, находит свое продолжение во многих современных музыковедческих исследованиях. Результаты ряда работ, в основу которых положена такая методика, показывают перспективность и плодотворность такого подхода.

По Эйлеру, благозвучие не зависит от одновременности или разновременности звучания принятых во внимание звуков. Следовательно, определение благозвучия можно трактовать и как методологический прием познания звуковысотной организации: ведь отношения колебаний и длин струн не изменятся от того, взяты звуки одновременно или последовательно. Этот методологический принцип некоторыми критиками был ошибочно понят как онтологический постулат. Ф. Фетис назвал приведенное выше утверждение чудовищным для всякого музыканта (прозрачный намек на немузыкальность Эйлера!), так как все звуки музыкального произведения, взятые одновременно, не могут быть столь же благозвучны, как при обычном звучании.[27]

Мысль об общих основаниях горизонтальных и вертикальных звуковысотных связей вновь возникла в музыкальной практике начала XX в.

Ее последовательным воплощением стало творчество композиторов нововенской школы, а теоретической платформой — теория додекафонии, сформулированная Й. Хауэром и А. Шенбергом в различных вариантах в конце 10-х—начале 20-х гг. нашего столетия и развитая позже в трудах других композиторов и музыковедов.

Эйлер был противником равномерной темперации строя, хотя тенденции развития музыкального языка объективно требовали ее введения. Формирующаяся мажоро-минорная система с ее разветвленными внутритональными и межтональными связями для реализации заложенных в ней возможностей делала неизбежным равенство двенадцати полутонов в октаве.

Прогрессивно мыслящие практические музыканты ощущали это веление времени и имели немало сторонников в среде теоретиков. Напомним, что за 15 лет до выхода в свет трактата Эйлера первый том «Хорошо темперированного клавира» Баха был уже завершен, хотя это эпохальное произведение, творчески утверждавшее равенство всех тональностей квинтового круга и следовавшую из него равномерную темперацию строя, было полностью опубликовано лишь в конце XVIII в. Эйлеровские заверения о не-

---

[27] См.: *Шевалье Л.* История учений о гармонии. М., 1932. С. 87.

пригодности нового строя, мотивированные значительными отклонениями от естественных отношений между звуками, не могли не вызвать раздражения у тех, кто усматривал в окончательном утверждении равномерной темперации самую актуальную задачу эпохи, разрешение которой гарантировало бы стабильную основу для развития музыкального языка на долгий период времени.

Противники Эйлера были безусловно правы перед своим временем, музыкально-практические и музыкально-теоретические проблемы которого им приходилось разрешать. Леонард Эйлер, достаточно далекий в своей повседневной деятельности академика от насущных проблем практических музыкантов (хоть и безусловно стремившийся обратить свои труды к их пользе), явно недооценил силу возможной реакции. Не случайно отдельные высказывания в рецензиях находились почти за гранью корректности.

Но надо отдать должное и Эйлеру. Пусть он не смог создать музыкально-теоретической концепции, которая бы отвечала чаяниям его современников в той степени, в какой это удалось Рамо, признанному еще при жизни не только великим композитором, но и великим музыкальным теоретиком. Но ему в известной степени удалось большее. Проницательным умом гениального ученого Эйлер предугадал будущие пути развития музыкального языка и наметил принципиально новые возможности для теории музыки.

Отвергая равномерную темперацию строя, Эйлер больше склонен был видеть перспективы его эволюции во введении в число строеобразующих интервалов седьмого обертона — натуральной септимы. При этом ученый сознавал, что такое нововведение неизбежно повлекло бы за собой изменение всей музыкальной системы. Мысль о натуральной септиме как следующем шаге на пути эволюции строя впервые была высказана Г. В. Лейбницем в известном письме к Х. Гольдбаху,[28] и до Эйлера она активных сторонников не находила.[29] Интервал этот воспринимался слухом как непривычный, хотя тем, кто интересовался акустическими закономерностями, было хорошо известно о его существовании.

Противниками музыкально-теоретической концепции Эйлера было высказано по этому поводу немало контрдоводов. В конечном счете все они сводились к практической неупотребительности натуральных септим. Но у данной точки зрения нашлись и свои защитники, и уже при жизни Эйлера были сделаны попытки использовать седьмой обертон. Дж. Тартини в Италии [30] и И. Кирнбергер в Германии [31] ввели натуральную септиму в нотную запись (Кирн-

---

[28] См.: *Kortcholt Ch.* G. W. Leibnitii epistolae ad diversos <. . .> auctores. Lipsiae, 1734. V. 1. P. 240.

[29] Темперацию с учетом натуральной септимы ранее разработал Кристиан Гюйгенс, но музыканты сочли ее неприемлемой из-за сильных погрешностей в звучании квинт.

[30] См.: *Tartini G.* Trattato di musica secondo la vera scienza dell'armonia. Padova, 1754. Экземпляр своей книги Дж. Тартини выслал Эйлеру в Берлин.

[31] См.: *Kirnberger J. Ph.* Clavierübungen. 4. Sammlung. Berlin, 1766.

бергер по буквенной системе обозначил этот звук «i»). К. Фаш, основатель Берлинской певческой академии, создавал четырехголосные хоры с участием новой ступени. Кирнбергеру принадлежит инициатива добавления в один из берлинских органов регистра микстур, дающего звучание седьмого обертона. Видный специалист той эпохи по органам и органостроению аббат Фоглер рекомендовал этот опыт к распространению. По сегодняшний день во многих современных инструментах можно услышать микстуры с натуральной септимой, обогащающие звуковую корону органа.[32]

В течение столетия попытки введения натуральной септимы в музыкальную практику не находили продолжения. В классической мажорно-минорной системе и равномерно-темперированном строе чуждая им ступень не приживалась. Но ситуация изменилась к концу XIX в., когда устоявшаяся европейская система звуковысотной организации стала претерпевать радикальные изменения.

Именно тогда гармонические комплексы с участием натуральной септимы стали вызывать интерес у композиторов, придававших большое значение красочной стороне гармонии, и эта тенденция все больше усиливается в современной музыке. Вследствие этого гармония натурального звукоряда снова привлекла внимание музыковедов. В Нидерландах сформировалась композиторская школа, использующая в своем творчестве строй с участием натуральной септимы. Октава в нем имеет 31 ступень. Теоретиком и пропагандистом данного направления выступает А. Д. Фоккер, который постоянно указывает на труды Эйлера как отправную точку в поисках упомянутой группы музыкантов.[33]

Следовательно, общественное музыкальное сознание эволюционирует в направлении включения этого интервала в музыкальную практику, что связано, как и предвидел Леонард Эйлер, с изменениями не только строя, но и всей существующей системы звуковысотной организации.

Важнейшим компонентом теории Эйлера стало положение о необходимости учитывать особенности музыкального восприятия при рассмотрении проблем звуковысотности. Эта принципиально новая идея определяет собой содержание эйлеровских исследований, все время как бы находясь на втором плане изложения. Специальной статьи или хотя бы отдельной главы по этому вопросу ученый не написал, и об этом приходится только сожалеть, так как мысли брошенные им вскользь, отличаются редкой глубиной и в дальнейшем стали предметом пристального внимания со стороны специалистов.

Следует особо выделить сделанное впервые в специальной литературе предположение о приблизительности звуковысотного вос-

---

[32] Вопрос о натуральной септиме в музыке обстоятельно рассмотрен в кн.: *Vogel M.* Die Zahl sieben in der speculativen Musiktheorie. Bonn, 1955.

[33] См.: *Fokker A. D.* Neue Musik mit 31 Tönen. Düsseldorf, 1966. В книге приведена библиография предшествующих работ А. Д. Фоккера и перечень произведений композиторов упомянутого направления.

приятия и допустимости отклонения от математически точных отношений. В этом проявилась проницательность и широта взглядов Эйлера, не свойственные до тех пор ученым, которые занимались исследованиями музыки на акустической основе. Высота звука трактовалась ими как строго рассчитанная точка звучания, не допускающая никаких изменений, хотя реальные условия бытования музыки во все времена постоянно предоставляли примеры прямо противоположного характера.

Выход за пределы точечно-математической трактовки высоты звука и признание возможности отклонений от строго рассчитанной высоты, как и другие вопросы музыкального восприятия в эйлеровских работах, прошли мимо внимания современников и были забыты на много лет. Лишь во второй половине XIX в. наука о музыке созрела для постановки этих вопросов во всей их сложности. Аналогичные мысли — вероятно, вне зависимости от Эйлера — вновь возникли в теории «широких звуков» и «идеальных зерен» классика немецкого музыкознания Г. Римана.[34] Риман в этом вопросе в отличие от Эйлера пошел ложным путем и разработал идеалистическую концепцию восприятия высоты звука, утверждавшую незыблемость звукоточек и фальшивость звуковых зон. После длительного обсуждения в специальной литературе проблема получила разрешение в трудах и экспериментах советского ученого Н. А. Гарбузова, который обосновал зонную природу различных видов музыкального слуха, в том числе и звуковысотного.[35] Открытие и экспериментальное подтверждение факта существования звуковых зон положило конец многовековому отрыву музыкальной акустики от практики живого музицирования.

Современники увидели в музыкально-теоретических трудах Эйлера лишь математико-акустическое обоснование закономерностей звуковысотной организации, содержащее немало спорных и даже неприемлемых, с их точки зрения, положений. Принципиально новый подход Эйлера к проблеме звуковысотности, ориентированный на изучение звуковысотных красочных закономерностей и включавший вопрос о восприятии музыки, остался совершенно незамеченным. Последняя мысль, которую в XVIII в. еще нельзя было экспериментально подтвердить, не приобрела в глазах современников никакой ценности, хотя именно она определяла собой содержание эйлеровских работ в области теории музыки.

Выше уже указывалось, что и другие фундаментальные положения музыкально-теоретической концепции Эйлера были тенденциозно или превратно истолкованы критиками. В письме к Гольдбаху от 25 апреля (6 мая) 1747 г. Эйлер с грустью сетовал на рецен-

---

[34] См.: *Riemann H.* Katechismus der Akustik. Leipzig, 1891. Русский перевод: *Риман Г.* Акустика с точки зрения музыкальной науки. М., 1898.

[35] См.: *Гарбузов Н. А.* Зонная природа звуковысотного слуха. М.; Л., 1948. Величина зоны уточнена в работе: *Банин А. А.* Некоторые вопросы теории музыкального слуха: VI Всесоюзная акустическая конференция. Тезисы докладов. М., 1968.

зии, авторы которых плохо обосновывали свои выводы и недостаточно вникли в его труды.[36]

Общественное музыкальное сознание в XVIII—XIX вв. усматривало в звуковысотных связях преимущественно их ладовую сторону, почти полностью игнорируя важнейший красочный аспект гармонии, которому уже в XX в. было присвоено наименование фонического. Поэтому по прошествии двух с лишним столетий можно понять неизбежность многих отрицательных оценок современников, которые в пылу полемики нередко упускали из поля зрения даже ценные стороны эйлеровской теории, не вступавшие в противоречие со взглядами критиков. Намного труднее оправдать тот факт, что в течение двух веков, которые прошли после смерти Эйлера, негативное отношение к его трудам сохранилось у большинства музыковедов. Находясь в плену традиции, сложившейся в прижизненной критике Эйлера, они повторяют давно изжившие себя аргументы и не пытаются заново соотнести их с содержанием эйлеровских трудов.

Тем не менее в процессе развития теории музыки многие идеи, впервые намеченные в исследованиях Эйлера, были развиты или заново «открыты». Нередко авторы позднейших работ даже не догадывались, кому принадлежит приоритет в данном вопросе, или ссылались только на своих непосредственных предшественников, не указывая, что для тех исходным пунктом послужили работы Эйлера.

Эволюционировал язык музыкального искусства, совершенствовалась экспериментальная база науки. Параллельно и в тесной связи с этими процессами развивалась и теоретическая мысль. Пришло время, когда на повестку дня теории музыки стали те проблемы, которые остались непонятыми в трудах Эйлера. Это было велением времени, и полузабытые исследования петербургского академика неизбежно должны были привлечь внимание специалистов. Решающую роль сыграло то обстоятельство, что традиционная теория музыки, мощным импульсом для которой на протяжении полутора столетий были работы Рамо, оказывалась все чаще неспособной объяснять новые явления музыкального искусства.

Первым авторитетным подтверждением научных заслуг Эйлера в области теории музыки стала книга Г. Гельмгольца.[37] Достаточно показательно, что этот шаг сделал ученый — представитель естественных наук. Внимание Гельмгольца привлекли именно те положения эйлеровской музыкально-теоретической концепции, которые были полностью проигнорированы при жизни автора.

---

[36] См.: Leonhard Euler und Christian Goldbach: Briefwechsel 1729—1764. Herausgegeben und eingeleitet von A. P. Juškevič und E. Winter. Berlin, 1965. S. 273.

[37] См.: *Helmholtz H. von.* Die Lehre von der Tonempfindungen als phisiologische Grundlage für die Theorie der Musik. Braunschweig, 1863. Русский перевод: *Гельмгольц Г.* Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки: Пер. с нем. М. Петухова. СПб., 1875.

В своем труде Гельмгольц прямо указал, что разрабатывает идеи Эйлера об особенностях восприятия высоты звука с учетом новых данных, полученных акустикой, физиологией и музыковедением за период времени, прошедший после смерти Эйлера, и показал, каким образом ухо воспринимает различие в отношениях колебаний.

Исследования Гельмгольца послужили фундаментом для развития важной ветви музыкально-теоретической науки, представленной уже на первом этапе такими значительными фигурами, как А. Эттинген и Г. Риман.[38] Кроме того, к работам Гельмгольца постоянно обращались впоследствии все, кто занимался вопросами музыкального слуха и восприятия музыки в целом.

Уже в XX в. отдельные музыковеды стали внимательно вникать в наследие Леонарда Эйлера. Первые положительные оценки его трудов были вызваны поразительным совпадением эйлеровской теории с результатами исследований физиологии и психологии музыкального восприятия, проведенных в конце XIX—начале XX в.[39] Это послужило стимулом к новому рассмотрению музыкально-теоретических сочинений Эйлера. Появились публикации, авторы которых стремились объективно разобраться в замыслах Эйлера, хотя первоначально это касалось только частных вопросов.[40] Приятно констатировать, что самая ранняя, хотя и не очень подробно аргументированная положительная оценка эйлеровской концепции как таковой была дана в нашей стране, где прошла большая часть жизни выдающегося ученого. А. Самойлов в статье «Натуральные числа в музыке» [41] призвал музыкантов внимательнее изучить труды Эйлера, так как видел в них идеи, способные стимулировать развитие современной музыкальной науки.

Новая волна интереса к Эйлеру поднялась за рубежом после лекции голландского математика Б. ван дер Поля, прочитанной в Гарлеме в 1942 г. и затем опубликованной в виде статьи.[42] К 250-летию со дня рождения Л. Эйлера о его музыкально-теоретических трудах была написана статья М. Фогеля,[43] а в 1970 г. издана книга Х. Р. Буша,[44] которые по сегодняшний день остаются

[38] Это не помешало, однако, Риману подвергнуть труды Эйлера резкой критике, основанной на ошибочном отождествлении благозвучия с консонантностью. См.: *Riemann H.* 1) Musiklexikon, 4. Auflage. Leipzig, 1894. Art. «Euler»; 2) Grundriß der Musikwissenschaft. Leipzig, 1908. См. также: *Oettingen A. J. von.* Harmoniesystem in dualer Entwickelung. Dorpat; L ipzig, 1866.

[39] См.: *Auerbach F.* Die Grundlagen der Musik. Leipzig, 1911. S. 183—184.

[40] См.: *Knapp M.* Leonhard Eulers Stellung zur «modernen» Musik 1766 // Schweizerische Musikzeitung und Sängerblatt. Zürich, 1911. S. 13—14, 27—28, 39—40, 63—64.

[41] См.: *Самойлов А.* Натуральные числа в музыке // Мелос. СПб., 1918. Кн. 2. С. 3—49.

[42] См.: *Pol B. van der.* Music and Elementary Theory of Numbers // Music Review. 1946. Vol. 7, N 1. P. 1—25. То же: *Pol B. van der.* Selected Scientific Papers. Amsterdam, 1960. Vol. 2. P. 1101—1125.

[43] См.: *Vogel M.* Die Musikschriften Leonhard Eulers. . .

[44] См.: *Busch H. R.* Leonhard Eulers Beitrag zur Musiktheorie. Regensburg, 70.

самыми подробными исследованиями наследия Эйлера в области теории музыки.

И тем не менее в зарубежной литературе до сих пор нередко высказываются совершенно абсурдные и противоречащие здравому смыслу отрицательные оценки концепции Эйлера. Отчасти это объясняется некоторыми существенными просчетами в упомянутых выше статье М. Фогеля и книге Х. Р. Буша, отчасти — устоявшейся традицией критики в отношении Эйлера. Сыграло свою роль и то обстоятельство, что немногочисленные издания трудов Эйлера по теории музыки выходили либо очень давно, либо ничтожными тиражами, а латынь, на которой написано большинство из них, становится все менее распространенным в музыковедческой среде языком. Что же касается отечественной литературы, то в ней и вовсе отсутствует сколько-нибудь подробная характеристика эйлеровского наследия. Поэтому издание перевода исследований Леонарда Эйлера в области теории музыки является необходимым и актуальным не только для справедливой оценки трудов этого ученого, но и для выяснения подлинного исторического значения работ по теории музыки, осуществленных под эгидой Петербургской Академии наук.

М. П. ЛЕПЕХИН

«ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ О РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЯХ» Н. И. НОВИКОВА

(Некоторые проблемы изучения)

Более двух веков отделяют нас от появления первого историко-литературного справочника, напечатанного на русском языке; [1] более века — от выхода в свет первого исследования о нем.[2] За это время «Опыт» неоднократно рассматривался в сводных трудах по истории русской литературы XVIII в., отечественного литературоведения, критики, библиографии и историографии. В монографических исследованиях о Новикове (А. И. Незеленов, Н. С. Тихонравов, В. А. Боголюбов, Г. В. Вернадский, Г. П. Макогоненко, Л. А. Дербов) «Опыту» уделялось немного места — композиционно он представлялся в виде переходной ступени между деятельностью Новикова-сатирика и Новикова-историка. Даже в последней монографии о Новикове,[3] во многих отношениях претендующей на итоговость оценок, «Опыт» не является объектом специального рассмотрения. Исключение составляет лишь книга И. Ф. Мартынова,[4] где относительная полнота рассмотрения «Опыта» непосредственно связана со сравнительно более узкой тематикой исследования и представляет собой тезисное изложение сделанных ранее автором выводов.[5]

Переиздание «Опыта» в собрании избранных произведений Новикова,[6] а также публикация его сатирических сочинений, куда вошли отдельные статьи (133 из 317) «Опыта»,[7] не могут заменить

---

[1] Опыт исторического словаря о Российских писателях / Из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий и словесных преданий собрал Николай Новиков. СПб., 1772. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте: Опыт.

[2] *Сухомлинов М. И.* Н. И. Новиков, автор исторического словаря о русских писателях // Записки имп. Академии наук. 1865. Т. 6, кн. 2. С. 230—261; Т. 7, кн. 1. С. 114—115.

[3] *Monnier A.* Un publiciste frondeur sous Catherine II Nicolas Novikov. Paris, 1981 (Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves. Vol. 59).

[4] *Мартынов И. Ф.* Книгоиздатель Николай Новиков. М., 1980.

[5] *Мартынов И. Ф.* «Опыт исторического словаря о Российских писателях» Н. И. Новикова и литературная полемика 60—70-х годов XVIII века // Русская литература. 1968. № 3. С. 184—191.

[6] *Новиков Н. И.* Избр. соч. / Подготовка текста, вступ. статья и коммент. Г. П. Макогоненко. М.; Л., 1951. С. 277—370. Уточнение дат жизни отдельных писателей принадлежит П. Н. Беркову (Там же. С. XL).

[7] *Новиков Н. И.* Смеющийся Демокрит / Сост. и автор вступ. статьи А. В. Западов; Примеч. В. А. Западова. М., 1985. С. 246—329.

его научного издания с постатейным комментарием; вопрос этот имеет уже более чем вековую давность,[8] и успешное разрешение его во многом способствовало бы решению ряда проблем, неизбежно возникающих в ходе изучения «Опыта». Недостаточная изученность некоторых из них, а также сделанные ранее излишне категорические выводы и вызвали появление настоящей статьи.

Прежде всего следует остановиться на причинах появления «Опыта». Что же побудило отставного поручика «заняться приведением в порядок „литературного хозяйства" России»? [9] Очевидно, что говорить об анонимном лейпцигском «Известии о некоторых русских писателях» (1767) [10] и об «Антидоте» Екатерины II (1770) [11] как об основном поводе к написанию «Опыта» нельзя. Причины появления «Опыта» были достаточно разнообразны, его можно даже рассматривать если не как своеобразное подведение итогов начавшегося в 1762 г. издательского бума, то как закономерное следствие этого процесса, сущность которого достаточно подробно и объективно объяснена А. Н. Севастьяновым.[12] «Известие» же явилось лишь внешним побудительным фактором, на что указывал и сам Новиков (Опыт. С. [11]).

Что же касается конкретного противопоставления, то представляется совершенно справедливым указание Д. Д. Шамрая на то, что «Опыт» был противопоставлен не столько «Известию», сколько «Антидоту».[13] Написанный Екатериной II в традиционной форме «противоядия» на незадолго до того появившееся сочинение аббата Ж. Шаппа д'Отероша «Путешествие в Сибирь»,[14] полного клеветнических измышлений о России, анонимно изданный «Антидот» был призван опровергнуть главный вывод недоброжелателя об отсутствии в России собственных талантливых писателей и ученых, реабилитировать русскую культуру в глазах зарубежного читателя. Екатерина II сообщила в «Антидоте» сведения о наиболее известных русских писателях, составленные, однако, крайне

---

[8] См.: Отечественные записки. 1867. № 5. С. 354—378 (рецензия Н. С. Тихонравова на переиздание «Опыта» П. А. Ефремовым в «Материалах для истории русской литературы»). Ответ Ефремова см.: Там же. № 6. С. 177—180.

[9] *Макогоненко Г. П.* Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века. М.; Л., 1951. С. 171.

[10] Nachricht von russischen Schriftstellern nebst einem kurzen Bericht vom russischen Theater // Neue Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste. Leipzig, 1768. Bd 7. 1-tes Stück. S. 188—200; 2-tes Stück. S. 382—388. Мы цитируем «Известие» по переводу М. И. Михайлова: Известие о некоторых русских писателях // Материалы для истории русской литературы / Изд П. А. Ефремова. СПб., 1867. С. 129—160.

[11] Antidote, ou Examen du mauvais livre superlement imrimé, intitulé: Voyage en Siberie. СПб., 1770. Т. 1—2. Мы цитируем «Антидот» по переводу П. И. Бартенева. См.: Осьмнадцатый век. М., 1869. Кн. 4. С. 225—463.

[12] *Севастьянов А. Н.* Рост образованной аудитории как фактор развития книжного и журнального дела в России: (1762—1800). М., 1983.

[13] *Шамрай Д. Д.* Из истории цензурного режима Екатерины II: 1762—1783: Архивно-библиографические разыскания. Л., 1947. (ГПБ, ф. 1105, № 40, л. 52—54).

[14] *Chappe d'Auteroche J.* Voyage en Siberie. Paris, 1768.

субъективно. Подтверждение конкретной направленности «Опыта» именно против «Антидота» наглядно отражено в сопоставительном анализе статей о В. П. Петрове из «Антидота», «Опыта» и статьи С. Г. Домашнева «О русских писателях».[15] Однако абсолютизировать полемический пафос «Опыта» не следует прежде всего потому, что цели, которые перед собой ставили лейпцигский аноним (познакомить западноевропейского читателя с достижениями современной русской литературы) и Екатерина II (защитить русскую культуру от хулы иностранца), едва ли могли находиться в противоречии с замыслом Новикова (составить возможно более полный историко-литературный справочник). Субъективизм отдельных оценок «Известия» или «Антидота» также не может рассматриваться в качестве причины создания «Опыта». Скорее всего, роль решающего толчка сыграло то, что в отличие от лейпцигского анонима и Екатерины II для Новикова русская литература не была лишенным исторических корней детищем петровской эпохи, а представала во всем своем многовековом историческом развитии.

В предисловии к «Опыту» Новиков объяснил его появление тем, что «все европейские народы прилагали старание о сохранении памяти своих писателей: а без того погибли бы имена всех в писании прославившихся мужей», но лишь «одна Россия по сие время не имела такой книги, и, может быть, сие самое было погибелию многих наших писателей, о которых никакого не имеем мы сведения» (Опыт. С. [11—12]). Новиков поместил в «Опыте» статьи о 54 писателях X—XVII вв.; по сравнению с «Известием» время возникновения русской литературы сместилось более чем на семь веков: от Феофана Прокоповича до летописца Нестора. Столь обширное хронологическое расширение границ истории русской литературы поколебало основную концепцию написанных с позиций просвещенного абсолютизма «Известия» и «Антидота», в которых зарождение русской литературы связывалось с деятельностью Петра I. Удар нанесен был и по утверждениям недоброжелательно настроенных к России иностранцев об отсутствии у русской литературы многовековой истории. 17 % писателей допетровской Руси от общего числа помещенных в «Опыте» — эта цифра говорила за себя достаточно красноречиво.

Другим направлением полемики «Опыта» с «Известием» явилась демонстрация всесословного характера русской литературы: если в «Известии» подавляющее большинство рассматриваемых писателей были дворянами, а трое духовных писателей принадлежали к высшему духовенству, то в «Опыте» число подобных высокопоставленных лиц не превышает 50 человек, а остальную часть словника (куда вошло 315 имен) [16] составляют небогатые дворяне,

---

[15] *Мартынов И. Ф.* «Опыт исторического словаря о Российских писателях» Н. И. Новикова. . . С. 189.

[16] Традиционно указываемое их число 317 нуждается в пересмотре: Иоанн Кослович и В. П. Петров упомянуты дважды.

духовенство, разночинцы. Более демократична и композиция «Опыта». В начале «Известия» помещены статьи о четырех лицах, чья роль в создании русской литературы представляется автору решающей (Феофан Прокопович, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков), далее следуют два духовных деятеля (Гедеон Криновский и Платон Левшин), а затем идут сведения об остальных 36 писателях в хронологическом порядке, не всегда, впрочем, последовательно выдержанном. В самом тексте «Известия» имеется указание на некоторую иерархичность подобной композиции — так, при характеристике И. А. Дмитревского указано: «Его до́лжно поставить непосредственно после Елагина» (несомненно, эта помета представляет собой маргиналию, попавшую в основной текст в ходе перевода на немецкий язык). Что же касается «Опыта», то все авторы расположены там в алфавитном порядке, невзирая на чины и литературные заслуги.

Свой замысел о необходимости сбора сведений о всех живших в России писателях Новиков последовательно претворял в жизнь: «Я старался собирать имена всех наших писателей, но при отпечатании моей книги получил я еще о многих известие, а сие самое подает мне надежду, что еще многия откроются» (Опыт. С. [14]). Источники сведений были достаточно разнообразны. Высказано предположение о том, что «Новиков не был единственным автором всех биографических очерков».[17] При отсутствии документального подтверждения (прежде всего — автографа «Опыта») едва ли когда-нибудь эта гипотеза превратится в доказанный факт; тем не менее уже сейчас можно говорить о коллективном накоплении сведений и об единоличном итоговом авторском тексте «Опыта».

Что же послужило материалами для «Опыта»?

Прежде всего это были знания Новикова о современной ему русской литературе и ее главнейших деятелях; в тех же случаях, когда собственных знаний не хватало, Новиков обращался за помощью к сведущим людям. Так, много сведений о писателях, и в особенности о стихотворцах, доставил ему А. П. Сумароков [18] — очевидно, именно ему принадлежат сведения о М. Г. Собакине, И. И. Шишкине и других литераторах послепетровского и елизаветинского времени. Согласно указанию П. И. Кёппена, большинство сведений об историках было предоставлено Новикову Г. Ф. Миллером, а о духовных писателях — Н. Н. Бантышом-Каменским,[19] которому, как установил М. И. Сухомлинов, принадлежит, например, помещенная в «Опыте» пространная статья о его дяде — архиепископе Амвросии Зертис-Каменском.[20] Из

---

[17] *Мартынов И. Ф.* «Опыт исторического словаря о Российских писателях» Н. И. Новикова. . . С. 190.

[18] См.: *Евгений* [*Болховитинов Е. А.*]. Словарь русских светских писателей. М., 1845. Т. 2. С. 187.

[19] Материалы для истории просвещения в России / Сост. П. И. Кёппен. СПб., 1819. Вып. 1. С. 30.

[20] *Сухомлинов М. И.* Н. И. Новиков, автор исторического словаря о русских писателях. С. 244—246.

устных источников особо следует отметить автобиографию Ф. Эмина, сообщенную последним Новикову и составившую самостоятельную статью. В доказательство собственной непричастности к сообщению столь удивительных сведений, которые тем не менее оказались достоверными, Новиков в начале статьи упомянул об их происхождении; во всех же остальных случаях этого сделано не было. Возможно, что именно ввиду столь обширной помощи со стороны других лиц Новиков редко выносил критические оценки от своего имени, но чаще опирался на мнение «знающих людей».

Далее следует упомянуть письменные источники — как рукописные, так и печатные. Новиков был достаточно хорошо знаком с отечественными рукописными памятниками, собранными в библиотеке Академии наук в Петербурге: именно благодаря изучению хранящихся там рукописей он смог сообщить сведения о таких древнерусских писателях, как Иосиф Волоцкий, Кирилл Белозерский, Карион Истомин, митрополит Адриан, Авраам Палицын, Андрей Лызлов, Юрий Крижанич, а также о деятелях петровской и елизаветинской эпохи — А. С. Шеине, В. И. Геннине, Симоне Тодорском, М. Котельникове, И. А. Шлаттере, П. Крекшине, И. Рассохине, И. Унковском, В. Шишкове; эта сторона деятельности Новикова вскоре нашла свое продолжение в «Сокровище российских древностей» и «Древней российской вивлиофике». Как показала Г. Н. Моисеева,[21] существенную помощь Новикову в его исторических изысканиях оказывали А. И. Богданов, М. В. Ломоносов, И. С. Барков и С. С. Башилов. Если о прямом сотрудничестве этих лиц в «Опыте» говорить нельзя (они скончались соответственно в 1766, 1765, 1768 и 1770 гг.), то участие М. М. Щербатова, знакомого с Новиковым с 1767 г., можно предположить с большой долей уверенности.

Современная Новикову рукописная литература также не была обойдена его вниманием. «Именно желанием представить как можно разнообразнее и интереснее участие „народа“ в создании русской литературы и объясняется то, что Новиков перечислил в своем „Словаре“ тех писателей, которые не выступили со своими печатными работами и ограничивались только одними рукописями. Впрочем, может быть, для того времени грань между печатной и рукописной литературой не была столь резкой, как впоследствии».[22] Новиков сообщал не только об авторах широко распространенных рукописных сочинений, например о И. С. Баркове, но и о писателях малоизвестных. Ряд сведений «Опыта» в настоящее время имеет характер первоисточника — это либо имена тех, чьи рукописи давно утрачены (например, Н. В. Раздеришин), либо даже сами тексты (стихи И. Рудакова); Новиков крайне сожалел, что к моменту составления «Опыта» уже были утеряны стихи Ф. Г. Волкова.

---

[21] *Моисеева Г. Н.* Литературные и исторические памятники Древней Руси в изданиях Н. И. Новикова // ТОДРЛ. М.; Л., 1970. Т. 25. С. 276—293.

[22] История русской критики. М.; Л., 1958. Т. 1. С. 93.

Не подлежит сомнению то, что Новиковым была просмотрена большая часть современной ему печатной литературы. Так, заметка об И. Ильинском почти дословно была заимствована Новиковым из статьи В. К. Тредиаковского «О древнем, среднем и новом стихотворстве российском».[23] Краткие сведения об авторах Новиков брал из изданий их сочинений, однако сопоставительный анализ показывает, что далеко не все они были просмотрены им de visu: так, характеризуя одописца И. Селецкого, Новиков не отметил того, что поэт являлся также и торопецким купцом, в то время как сведения об этом содержатся на титульном листе обоих изданий его оды. Если бы он описывал это издание de visu, то не преминул бы упомянуть еще об одном талантливом человеке из «третьего сословия». Подобные примеры не единичны. Имеющиеся в «Опыте» сведения о таких современных Новикову третьестепенных литераторах, как И. Верещагин, И. Грачевский, И. Грешищев, П. Денбовцев, П. Жуков, А. Иваненко, У. Михайловский, А. Назарьев, А. Перепечин, Вас. Приклонский, М. Прокудин, В. Романов, И. Стефанович, ректор Новгородской семинарии Транквиллин, А. Тиньков, Ф. Харитоновский, В. Чертков, Ф. Юдин и другие не содержат, как правило, ничего нового по сравнению с помещенными на титульных листах их сочинений (а зачастую не включены даже эти сведения).

В показе богатого исторического прошлого и общенационального характера русской литературы состоит коренное отличие «Опыта» от «Известия» и «Антидота»; на фоне всеобщих доброжелательных оценок разница в конкретных характеристиках творчества отдельных писателей не сразу бросается в глаза (за исключением В. П. Петрова). Всех исследователей неизменно удивляла чрезмерная благожелательность большинства критических отзывов Новикова. «Но как критическое рассмотрение издаваемых книг и прочего есть одно из главнейших намерений при издании сего рода листов и поистине может почитаться душою сего тела, то и испрашиваем мы у просвещенныя нашея публики, да позволится нам вольность благодарныя критики. Не желание осуждать деяния других нас к сему побуждают, но польза общественная; почему и не уповаем мы сею поступкою нашею огорчить благоразумных писателей, издателей и переводчиков; тем паче, что во критике нашей будет наблюдаться полная умеренность и что она с великой строгостию будет хранима во пределах благопристойности и благонравия. Ничто сатирическое, относящееся на лицо, не будет иметь места <. . .> но единственно будем говорить мы о книгах, не касаясь нимало до писателей оных»,[24] — так писал Новиков пять лет спустя, но те же принципы были им уже

---

[23] Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие. 1755. Июнь. С. 490.

[24] Санктпетербургския ученыя ведомости на 1777 год Н. И. Новикова / Изд. А. Н. Неустроева. СПб., 1873. С. 5—6.

положены в основу построения системы критических оценок в «Опыте».

В. Г. Белинский рассматривал «Опыт» Новикова как «богатый факт собственно литературной критики того времени: его тоже нельзя миновать в историческом обзоре русской критики».[25] Тем не менее Белинский, довольно сдержанно отозвавшийся о содержащихся в «Опыте» критических оценках, все же оказался наиболее доброжелательно настроенным исследователем, ибо мнение о неспособности Новикова к строгости суждений было распространено уже при жизни последнего.[26] М. И. Сухомлинов, впервые предложивший различать фактографическую и критическую стороны «Опыта», признавая огромную ценность первой, про вторую писал: «Мягкость отзывов, доходящая до бесцветности, происходила не от недостатка таланта или энергии в отношении к разбираемому предмету», объясняя это тем, что «личное убеждение сохранять память литературных деятелей и не омрачать их укоризнами»[27] было главным для Новикова. Действительно, с последним трудно не согласиться при чтении его похвальных отзывов о сочинениях, оставшихся ему неизвестными: «О сей истории ничего заключительного сказать не можно, потому что она мне неизвестна. Впрочем, за труд сей превеликой достоин похвалы» (Опыт. С. 150); «Сказывают, что сочинил он трагедию и начал писать Российскую историю, и которые, по известиям, весьма хороши, но он их в свет не выдал» (Опыт. С. 205). Окончательный же приговор критическим оценкам Новикова был произнесен А. И. Незеленовым: «Литературная критика — единственная точка, на которой Новиков стоит не выше своего поколения».[28]

Преимущественная доброжелательность составителя «Опыта» объясняется прежде всего его намерением представить русскому читателю в возможно более полном и беспристрастном виде многое сверх того, что читатель европейский уже получил в кратком и пристрастном изложении. Подчеркнутая нейтральность характеристик была обусловлена не только патриотизмом Новикова и его желанием на лучших образцах воспитывать молодых литераторов, но и справочным характером издания. Следует отметить, что доброжелательность как основу критики исповедовал в то время не один Новиков.[29]

Очень важное замечание было высказано в свое время П. Н. Берковым: «В кажущемся однообразии похвальных оценок Новикова есть своя система, и достаточно последовательная».[30] Но эта си-

---

[25] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 6. М.; Л., 1955. Т. 6. С. 321.

[26] *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1854. С. 16.

[27] *Сухомлинов М. И.* Н. И. Новиков, автор исторического словаря о русских писателях. С. 235—236.

[28] *Незеленов А. И.* Н. И. Новиков — издатель журналов 1769—1785 годов. СПб., 1875. С. 176.

[29] Ср.: *Мартынов И. Ф.* Журналист, историк и дипломат XVIII века Григорий Леонтьевич Брайко // XVIII век. Л., 1977. Сб. 12. С. 232—235.

[30] История русской критики. Т. 1. С. 93.

стема была рассмотрена ученым лишь применительно к драматическим произведениям. П. Н. Берков также разделил на четыре группы основные категории оценок «слога»: 1) оценки, относящиеся к характеристике «чистоты» «слога» и «стихотворства», т. е. к степени стилистической выдержанности, степени точности соблюдения правил стилевого комбинирования церковнославянского и русского языков в литературной практике, — *чистый*, *исправный*; 2) оценки содержательности и значительности тематики произведений, находящих свое выражение в «стиле» и «слоге» — *твердый*, *важный*; 3) оценки степени соответствия «слога» содержанию произведения: в случае удачного разрешения этой сложной проблемы Новиков определял «слог» как *текущий*, *свободный*, *плавный* или *гладкий* (в сторону понижения соответствия); 4) оценки собственно вкусового характера, т. е. характеризующие впечатление, производимое «слогом» воспринимаемого произведения, — *изрядный*, *весьма изрядный*, *приятный*, *нежный*; последнее определение должно было означать наивысшую оценку.

К сожалению, проведенный П. Н. Берковым филигранный критический анализ «слога» не был им применен к системе критических оценок сочинений. Исследователь писал: «Если можно в чем упрекнуть Новикова, так это в сравнительно небольшом количестве определений, применявшихся им в различных случаях; всего этих определений не более 20, и потому получается впечатление однообразия и даже бедности критического словаря Новикова».[31] Действительно, при чтении «Опыта» поражает однообразие критических оценок: *изрядное*, *весьма много похваляется*, *не худое*, *весьма изрядное*, *довольно похваляется знающими людьми*, опять *изрядное*, еще раз *изрядное* и т. д. Однако эти же оценки, расположенные в определенном порядке, дают довольно любопытную картину их конкретного употребления. Все они могут быть разделены на две группы: 1) собственная оценка сочинения Новиковым; 2) какой меры похвалы это сочинение достойно. При всей своей условности такое деление позволяет отнести к первой группе 19 определений, ко второй — 45 определений.

Вопрос о построении Новиковым в «Опыте» законченной системы критических оценок крайне важен, ибо с ними приводятся сведения о 187 авторах (что составляет 59 % от общего их числа); как правило, оценки удостаиваются современники Новикова. Произведенные подсчеты свидетельствуют о том, что Новиков был очень тонким стилистом и всячески старался избегать повторения одинаковых определений:

единичное употребление — 31 определение;
употребляется 2—3 раза — 18 определений;
употребляется 4—10 раз — 9 определений;
употребляется более 10 раз — 3 определения.

Наличие определенной системы можно видеть и в конкретных определениях, данных сочинениям четырех литературных про-

[31] Там же.

тивников Новикова: «не весьма удачны» (Ф. Я. Козельский), «вообще достойны похвалы» (В. Г. Рубан), «приняты довольно изрядно» (В. И. Лукин), «некоторыми много похваляются» (В. П. Петров); в них Новиков применил сочетание двух излюбленных словесных элементов своих определений, причем нетрадиционностью сочетания их друг с другом (например, *много похваляются* и *некоторыми*) резко снижал итоговый уровень оценки.

В пользу выдвинутого нами предположения о своеобразной иерархичности «Опыта» говорит и один мелкий, но заслуживающий внимания факт: определением *преизрядное* помечено 4 медицинских сочинения (С. Леонтович, Ф. Тихорский, С. Фиалковский, А. Шафонский), медицинские же сочинения остальных авторов (М. Крутень, К. Рожалин, И. Тимковский, М. Трохимовский) вообще даны без каких-либо оценок, что может свидетельствовать о сознательном вычленении этих произведений Новиковым из созданной им системы литературно-критических оценок.

Если система критических оценок сочинений в основном отталкивается от двух первичных определений *изрядное* и *достойно похвалы*, то наиболее расхожими определениями качеств сочинителей являются *острый* и *ученый*. Соотнесение большинства определений друг с другом указывает на преимущественное стремление к окказиональности каждой конкретной оценки, чем достигается точность соответствия конкретной характеристики определяемому лицу: «человек острый и отважный» (И. С. Барков), «острый и словесный человек» (П. Буслаев), «праводушный и добронравный муж, друг нелицемерный» (И. Ильинский). Для лиц, особо чтимых Новиковым, употребляются сложные построения, призванные с самого начала убедить читателя в необходимости особого уважения к данному автору: «муж высокого ума, острого разсуждения, твердой памяти и добродетельного жития, искусный в физике и математике, а наипаче всего ревнитель к пользам России» (Я. В. Брюс); «муж великого, обымчивого и проницательного разума», «основательного и здравого разсуждения и редких дарований, украшенных многим учением и прилежным чтением наилучших книг» (Ф. Г. Волков).

Воспитательное предназначение «Опыта» по-разному проявлялось на его страницах. Уже в самом начале большинства статей приводится обстоятельное перечисление достоинств рассматриваемого автора: *человек ученый и просвещенный*, *муж острый и ученый*, *муж разумный и просвещенный*, *человек ученый и благоразумный* и т. д. После подобной характеристики обычно следовало указание на ту область знания, в которой сочинитель *был искусен* — как правило, в иностранных языках. Следует отметить, что и в оценке достоинств самого сочинителя так же, как и в определениях, относящихся к качеству его сочинений, можно наблюдать своеобразное иерархическое построение, низшей ступенью которого явилось помещение имени автора без какой-либо последующей оценки, если далее особо не оговаривалось, что сведения об авторе Новикову известны не были. Так, например, в заметке о П. А. Алек-

сееве Новиков подчеркнуто воздержался от характеристики его самого и его трудов, ограничившись их перечислением. Преднамеренность подобного поступка очевидна при сопоставлении данной статьи со статьей об Д. С. Аничкове, полной восторженных отзывов о личности и сочинениях последнего. С именем Аничкова традиционно связывается диссертация «Разсуждение из натуральной богословии о начале и произшествии натурального богопочитания», подвергшаяся преследованиям именно вследствие доноса Алексеева; сама же диссертация определяется в «Опыте» как «сочинение, весьма много похваляемое за свободное и важное сей материи объяснение» (Опыт. С. 13).

В какой же степени критические оценки «Опыта» соответствовали мнению «знающих людей»? На этот вопрос можно попытаться ответить, сопоставив отзывы Новикова с более ранними рецензиями на труды рассматриваемых авторов. В предшествовавшей «Опыту» периодике библиографический отдел имелся лишь в двух изданиях — в «Собрании лучших сочинений» (1762) и в «Ежемесячных сочинениях, к пользе и увеселению служащих» (существовал лишь в 1763—1764 гг.). На труды упоминаемых в «Опыте» лиц в первом журнале была опубликована одна рецензия (И. Г. Рейхеля на перевод Д. И. Фонвизиным романа Ж. Террасона «Геройская добродетель, или Жизнь Сифа»).[32] Во втором журнале были даны отзывы на сочинения и переводы Д. С. Аничкова, И. С. Баркова, В. Ф. Братищева, Гавриила Шапошникова, А. Д. Кантемира, Ф. Я. Козельского, М. В. Ломоносова, В. И. Лукина, А. А. Нартова, С. Я. Румовского, П. И. Рычкова, Ф. И. Соймонова, В. К. Тредиаковского, Д. И. и П. И. Фонвизиных, М. М. Хераскова, И. А. Шлаттера, Ф. Эмина. Список имен хоть и невелик, но достаточно представителен.

Явно неодобрительные оценки на страницах «Ежемесячных сочинений» отсутствуют.

На фоне общей благожелательной информативности отзывов можно выделить рецензию на «Нравоучительные басни» Ф. Эмина: «Прежде господин Эмин думал забавлять свет похождениями, а ныне к пользе нравоучительной больше приближался, написав басни, и к каждой приобщив учительное наставление. Трудолюбие и легкость писания господина Эмина обещает ему много полезных переводов российскому обществу»,[33] а также сухую заметку о выходе 9-го тома «Римской истории» Ш. Роллена в переводе Тредиаковского: «Из новых книг, при Академии наук напечатанных, нет важней Римской истории».[34] Также следует остановиться на отзыве о «Начальных основаниях металлургии» Ломоносова, в котором этот труд сравнивается с работами зарубежных ученых и делается следующий вывод: «. . .и то не меньше хвалы достойно,

---

[32] Об этой рецензии см.: *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952. С. 152—154.

[33] Ежемесячные сочинения. . . 1764. Сентябрь. С. 276.

[34] Там же. Март. С. 264—265.

естьли кто, умеющий избирать полезнейшие из иностранных книг, оные сообщает Российским согражданам своим, и всякого, хотя и не ученого, о предлагаемом некоторое понятие себе доставить приглашает <. . .> Надлежит себе представить, как то и титул показывает, что здесь описываются только первыя основания весьма пространной науки, которыя каждая часть составляет из иностранных писателей больше книги». Далее следует пересказ оглавления.[35] Новиков же в «Опыте» рассматривает Ломоносова и Тредиаковского как выдающихся деятелей русской литературы; исключительно теплый отзыв дан и об Эмине.

В какой мере руководствовался Новиков при написании «Опыта» большим количеством самых разнообразных библиографических сведений на страницах «Ежемесячных сочинений»? Все, что относилось к истории русской литературы, было им учтено; что же касается сведений о произведениях нелитературного характера и переводов, принадлежавших упоминаемым в «Опыте» авторам, то Новиков, как правило, пренебрегал теми точными библиографическими сведениями, которые сообщал журнал. Тем не менее в некоторых случаях данные на страницах «Ежемесячных сочинений» и «Опыта» сведения и оценки совпадают почти дословно.[36] Однако эти сведения настолько кратки, а оценки настолько общи, что их мог сделать и сам Новиков, без посредства «Ежемесячных сочинений» (ср., например, статью о В. Братищеве).[37]

Отличие «Опыта» от всех ему предшествовавших и последовавших за ним словарей писателей состоит в том, что автор использовал его для полемики против своих литературных противников, среди которых находилась и сама российская императрица.

Имя Екатерины II не было включено Новиковым в словник «Опыта». Вопрос о причине подобного пропуска впервые был поднят Г. П. Макогоненко,[38] однако предложенная им аргументация «дерзкого акта» Новикова вызвала разноречивые отклики.[39] Противоположная точка зрения была сформулирована А. В. Западовым: «В XVIII веке уравнение в одном ряду ее императорского величества и наборщика академической типографии, безвестного семинариста и бывшего турецкого подданного, каким был, например, Федор Эмин, не могло придти в голову составителю, пусть в этой роли выступал и отважный Николай Новиков».[40]

---

[35] Там же. 1763. Ноябрь. С. 454—459.

[36] Выше уже отмечалось, что ряд сведений о поэтах первой половины XVIII в. был почти дословно заимствован Новиковым из статьи Тредиаковского «О древнем, среднем и новом стихотворстве российском».

[37] Ср., например: Ежемесячные сочинения. . . 1763. Сентябрь. С. 267 и Опыт. С. 18.

[38] *Макогоненко Г. П.* Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века. С. 177—181.

[39] Ср.: *Гудзий Н. К.* Книга о русском просветителе XVIII века // Большевик. 1951. № 21. С. 72; *Плотников М. И.* «Опыт исторического словаря о Российских писателях» Н. И. Новикова как одна из первых работ русской критики XVIII века // Учен. зап. Тульского пед. ин-та. 1953. Вып. 4. С. 197.

[40] *Западов А. В.* Новиков. М., 1968. С. 102.

естьли кто, умеющий избирать полезнейшие из иностранных книг, оные сообщает Российским согражданам своим, и всякого, хотя и не ученого, о предлагаемом некоторое понятие себе доставить приглашает <. . .> Надлежит себе представить, как то и титул показывает, что здесь описываются только первыя основания весьма пространной науки, которыя каждая часть составляет из иностранных писателей больше книги». Далее следует пересказ оглавления.[35] Новиков же в «Опыте» рассматривает Ломоносова и Тредиаковского как выдающихся деятелей русской литературы; исключительно теплый отзыв дан и об Эмине.

В какой мере руководствовался Новиков при написании «Опыта» большим количеством самых разнообразных библиографических сведений на страницах «Ежемесячных сочинений»? Все, что относилось к истории русской литературы, было им учтено; что же касается сведений о произведениях нелитературного характера и переводов, принадлежавших упоминаемым в «Опыте» авторам, то Новиков, как правило, пренебрегал теми точными библиографическими сведениями, которые сообщал журнал. Тем не менее в некоторых случаях данные на страницах «Ежемесячных сочинений» и «Опыта» сведения и оценки совпадают почти дословно.[36] Однако эти сведения настолько кратки, а оценки настолько общи, что их мог сделать и сам Новиков, без посредства «Ежемесячных сочинений» (ср., например, статью о В. Братищеве).[37]

Отличие «Опыта» от всех ему предшествовавших и последовавших за ним словарей писателей состоит в том, что автор использовал его для полемики против своих литературных противников, среди которых находилась и сама российская императрица.

Имя Екатерины II не было включено Новиковым в словник «Опыта». Вопрос о причине подобного пропуска впервые был поднят Г. П. Макогоненко,[38] однако предложенная им аргументация «дерзкого акта» Новикова вызвала разноречивые отклики.[39] Противоположная точка зрения была сформулирована А. В. Западовым: «В XVIII веке уравнение в одном ряду ее императорского величества и наборщика академической типографии, безвестного семинариста и бывшего турецкого подданного, каким был, например, Федор Эмин, не могло придти в голову составителю, пусть в этой роли выступал и отважный Николай Новиков».[40]

---

[35] Там же. 1763. Ноябрь. С. 454—459.

[36] Выше уже отмечалось, что ряд сведений о поэтах первой половины XVIII в. был почти дословно заимствован Новиковым из статьи Тредиаковского «О древнем, среднем и новом стихотворстве российском».

[37] Ср., например: Ежемесячные сочинения. . . 1763. Сентябрь. С. 267 и Опыт. С. 18.

[38] *Макогоненко Г. П.* Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века. С. 177—181.

[39] Ср.: *Гудзий Н. К.* Книга о русском просветителе XVIII века // Большевик. 1951. № 21. С. 72; *Плотников М. И.* «Опыт исторического словаря о Российских писателях» Н. И. Новикова как одна из первых работ русской критики XVIII века // Учен. зап. Тульского пед. ин-та. 1953. Вып. 4. С. 197.

[40] *Западов А. В.* Новиков. М., 1968. С. 102.

Содержащиеся в «Опыте» отзывы о Екатерине II были полны внешней почтительности: «Ныне наступило то время, в которое неусыпным попечением премудрыя нашея императрицы исправляются погрешности предков наших. Под благополучным владением Екатерины Великая Россия вступила на такий степень величества, что все иностранные народы щастию ея завиствуют и удивляются» (Опыт. С. [14]; см. также стихи Рудакова — Опыт. С. 194). Свидетельства спора Новикова с Екатериной II следует искать не в отсутствии попытки сознательного нарушения литературного этикета, какой явилось бы включение имени императрицы в словник «Опыта», а в тех методах скрытой полемики, которая с ней велась на его страницах.

Примененные Новиковым формы полемики отличались разнообразием: это и продолжение начатой ранее на страницах «Смеси» прямой полемики (отзыв о В. П. Петрове), и упоминание запрещенного имени (Арсений Мацеевич), и похвальный отзыв о сочинении, вызвавшем преследования со стороны Синода (Д. С. Аничков). Вопрос о «случайной» поэзии был выражением гражданской позиции Новикова-критика и в плане скрытой полемики с Екатериной II может рассматриваться с большой долей условности, тем более что прямо полемизирует с «Антидотом» лишь отзыв о В. П. Петрове.

Внимание авторов всех посвященных «Опыту» работ неизменно останавливалось на статье о В. П. Петрове, однако идейная направленность ее привлекала их более, чем мастерство Новикова-полемиста,[41] хотя вполне вероятно, что именно в двучленном построении этого отзыва и был заключен основной заряд новиковской сатиры. Екатерина II так отзывалась о Петрове: «Сила поэзии этого юного автора уже приближается к силе Ломоносова, но у него более гармонии; слог его в прозе исполнен красноречия и приятности».[42] Статья же Новикова подчеркнуто отталкивалась от этой оценки: «Петров Василий — титулярный советник и при кабинете ее императорского величества переводчик, много писал стихов, из которых „Ода на карусель", поэма „На победу российского воинства", оды „На победу российского флота на Хиосе в Морее" и „На прибытие его сиятельства графа Алексея Григорьевича Орлова"; также письма к генерал-маиору и кавалеру Потемкину так, как и другие его оды, эпистолы, надписи, случайные стихи некоторыми много похваляются и напечатаны в различных годах в Санктпетербурге. Он перевел с латинского на российский

---

[41] См., например: *Шляпкин И. А.* Василий Петрович Петров, «карманный» стихотворец Екатерины II (1736—1799): (По новым данным) // Исторический вестник. 1885. № 11. С. 391—393; *Макогоненко Г. П.* Николай Новиков и русское Просвещение XVIII века. С. 179—180; Возникновение русской науки о литературе. М., 1975. С. 112—113. Наиболее же показателен в данном отношении раздел «Новиков и Петров» в кн.: *Monnier A.* Un publiciste frondeur sous Catherine II Nicolas Novikov. P. 341—343.

[42] Осьмнадцатый век. Кн. 4. С. 128.

язык Вергилиевой *Енеиды* первую песнь, которая также напечатана. Вообще, о сочинениях его сказать можно, что он напрягается идти по следам российского лирика; и хотя некоторые и называют его уже вторым Ломоносовым, но для сего сравнения надлежит ожидать важнаго какого-нибудь сочинения и после того только заключительно сказать, будет ли он второй Ломоносов или останется только Петровым и будет иметь честь слыть подражателем Ломоносова» (Опыт. С. 162—163). Хотя проведенный И. Ф. Мартыновым сопоставительный анализ и показал, что отзыв Новикова о Петрове был направлен именно против «Антидота»,[43] все же начало полемики следует отодвинуть на год ранее — в 1769 г. в журнале «Смесь» был помещен следующий довольно прозрачный отзыв: «Некоторый господин пуще всего избаловал известного нам умника, сказав, что он больше имеет способностей, нежели известный нам лирик. Но я смело скажу, дай Боже, чтоб сей господин мог порядочно разуметь того лирика, не только определять цену его знанию, но и его аттестовать; по-моему, сходнее сказать, что муха равна со слоном, нежели сравнить нескладныя и на удачу писанныя его сочинения с одами славнаго нашего стихотворца».[44] Если «вопрос о том, кому принадлежит „Смесь“ и кто был ее издателем, останется нерешенным вопросом в истории нашей литературы за неимением прямых библиографических указаний»,[45] то вопрос о сотрудничестве в «Смеси» Новикова никогда сомнения не вызывал,[46] и более чем вероятна принадлежность вышеприведенного отзыва именно ему.

Непосредственно после цитированной выше статьи «Опыта» следует заметка еще об одном Василии Петрове, который «был в Московской академии студентом и писал стихи, из коих некоторые напечатаны в московском ежемесячном сочинении „Доброе намерение“, изданном 1764 года. Ныне он дьяконом» (Опыт. С. 163). Единственное указание на то, что статья о Петрове состояла из двух частей и это «было сделано, вероятно, с полемической целью», высказывалось в виде предположения П. Н. Берковым.[47] Вполне вероятно, что дробление статьи на две части представляло собой понятный современникам выпад против поэта и разделение жизни Петрова на московский и петербургский периоды, возможно, явилось гротескным противопоставлением двух поэтов Петровых (вернее, прошлого и настоящего одного и того же поэта): сына священника, прилежного студента Славяно-греко-латинской академии, участника поэтического кружка разночинных студентов Московского университета, ориентирующихся на творчество

---

[43] *Мартынов И. Ф.* «Опыт исторического словаря о Российских писателях» Н. И. Новикова. . . С. 189.

[44] Смесь. 1769. Л. 17. С. 132.

[45] *Булич Н. Н.* Сумароков и современная ему критика. СПб., 1854. С. 239; см. также статью В. Д. Рака в настоящем сборнике.

[46] *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. С. 251.

[47] Там же. С. 145.

М. М. Хераскова, — с одной стороны; с другой же — официального придворного поэта, «карманного стихотворца» Екатерины II, пожалованного уже к тому времени дворянством. В подобном случае выпад Новикова имел намерение воскресить в памяти читателей начало жизненного пути Петрова (в пользу этого предположения говорит то, что заметка о Петрове — придворном стихотворце помещена без каких-либо биографических сведений). Современники уже забыли об участии Петрова в «Добром намерении», где им было помещено два весьма посредственных стихотворения,[48] а начало его поэтического творчества связывалось (*согласно легенде, распространяемой самим Петровым и прочно* вошедшей в историко-литературный обиход) с написанной им по совету Н. Н. Бантыша-Каменского «Одой на великолепный карусель, представленный в Санкт-Петербурге 1766 года», принесшей автору мгновенную известность, расположение Екатерины II, официальное признание лучшим из современных поэтов и прочное положение в свете. Представляется маловероятным незнание Новиковым биографии своего литературного противника; несмотря на неразработанность вопроса о их личных (внелитературных) взаимоотношениях, укажем на их общего друга Н. Н. Бантыша-Каменского — одного из главных поставщиков историко-литературного материала для «Опыта». Версия об «Оде на великолепный карусель» как отправной точке литературного творчества Петрова, усиленно распространявшаяся им самим на протяжении всей жизни,[49] привела к тому, что стихи из «*Доброго намерения» не вошли в оба собрания его сочинений*, каждое из которых (как, впрочем, посмертные публикации стихов Петрова) открывается «Одой на великолепный карусель». Если в первом собрании сочинений Петрова (1771) эти стихи не могли появиться из-за официального характера издания (оно содержало лишь торжественные оды в хронологической последовательности), то отсутствие их в подготовленном вдовой поэта Е. Петровой посмертном собрании его сочинений (1811) (куда вошли такие подчеркнуто неофициальные стихи Петрова, как «На смерть собачки», «На карася», «На гору в родах» и др.) можно рассматривать либо как строгое следование традиционной версии о начале поэтического пути Петрова,[50] либо (что нам представляется более вероятным) как незнание Е. Петровой всех стихотворных произведений своего мужа (едва ли она была осведомлена о его литературном дебюте на страницах «Доброго намерения»); в пользу

---

[48] Описание ненастья // Доброе намерение, 1764. Декабрь. С. 531—532 (подпись: Василей Петров, студент Московской академии); Преложение псалма 85 // Там же. С. 539—540 (подпись: МАС Василей Петров); последнее представляет собой своеобразное соревнование с А. Перепечиным, поместившим переложение того же псалма: *Перепечин А.* Молитва // Там же. Октябрь. С. 447.

[49] *Петров Я. В.* Жизнь Василия Петровича Петрова // Соревнователь просвещения и благотворительности. 1818. Ч. 1. С. 125.

[50] *Шляпкин И. А.* Василий Петрович Петров. С. 383.

последнего предположения свидетельствует и то, что хронологический принцип построения в данном издании соблюден не везде, и желавшая издать сочинения покойного мужа с возможной полнотой Е. Петрова могла бы избрать для двух стихотворений место, сохранив при этом первенство «Оды на великолепный карусель». О необходимости пересмотра традиционной точки зрения о начале поэтического пути Петрова писал Л. Г. Бараг: «Из зрелости „Оды на карусель" можно заключить, что ей должны были предшествовать другие стихотворные опыты, но они до нас не дошли».[51]

Как уже отмечалось,[52] возможно, что сатирический смысл имело не столько гротескное противопоставление двух периодов жизни Петрова, сколько крайне обидная для придворного поэта фраза «ныне он дьяконом». Петров осознал характер нанесенной ему обиды и в «Послании к . . . из Лондона» отнес *дьякона* к остальным включенным в «Опыт» людям «подлого» происхождения.[53] Сопоставление, тем более обидное для Петрова, что кроме него в «Опыте» упомянуты еще три дьякона — сам же Петров дьяконом никогда не был, а, напротив, духовная карьера его складывалась самым благополучным образом: своими талантами он достиг того, что, еще будучи студентом Славяно-греко-латинской академии, уже был назначен в ней учителем пиитики и риторики. В ту пору подобная практика была обычной лишь для Киевской академии. Во всех же остальных учебных заведениях почти все учительские места находились в распоряжении ее выпускников,[54] и, чтобы получить преподавательское место, будучи студентом, не связанным с Киевской академией, нужно было быть личностью незаурядной.

Мог ли Новиков не отождествить скромного студента Славяно-греко-латинской академии и блестящего придворного одописца?

Вероятно, мог, если учитывать распространенность подобного ономастического сочетания, перегруженность Новикова трудами в то время и, наконец, гипотезу об «Опыте» как о коллективном произведении (хотя бы на уровне помощи Новикову в расписывании периодики). В пользу этого предположения может также свидетельствовать слабое знакомство Новикова с творчеством сотрудников «Доброго намерения». Так, про С. В. Веницеева сказано, что у него «печатных сочинений нет», в то время как они были напечатаны в том же «Добром намерении»; из сотрудников «Доброго намерения» в «Опыт» не вошли И. Слатвинский, В. Пустовойтов, А. Костровицкий; в статьях о Ф. Г. Карине, М. И. Пермском и С. В. Веницееве не упоминается об их сотрудничестве в «Добром намерении». Привлечение внимания к участию Петрова в данном издании было значимым для Новикова. Следует также

---

[51] *Бараг Л. Г.* О ломоносовской школе в русской поэзии XVIII века: Василий Петров // Учен. зап. каф. лит. и яз. Минского пед. ин-та им. М. Горького. 1940. Вып. 1. С. 71—72.

[52] Поэты XVIII века. Л., 1972. Т. 1. С. 594—595.

[53] Сочинения В. Петрова. СПб., 1811. Ч. 3. С. 115—116.

[54] *Харлампович К. В.* Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. 1.

отметить, что почти о всех материалах, помещенных в «Добром намерении», Новиков отозвался достаточно сдержанно. Сочинения А. Перепечина и А. Вершницкого, например, упомянуты вообще без какой-либо оценки, причем про последнего сказано, что он «сочинял разные случайные стихи»; «весьма не худы», «изрядны» и «довольно похваляются» сочинения В. Д. Санковского, но сочинения П. И. Фонвизина просто «изрядны», зато стихи В. Г. Рубана, несмотря на явно «случайный» характер, «заслуживают похвалу».

Могут ли две статьи относиться к двум разным лицам? Подобная точка зрения была высказана Г. П. Макогоненко и П. Н. Берковым при переиздании «Опыта» [55] (про однофамильца-дьякона там было сказано, что он скончался после 1787 г., но источник данной датировки указан не был), а также в комментарии к вышеприведенным стихам Петрова.[56] Это предположение объективно подтверждается лишь отсутствием двух стихотворений из «Доброго намерения» в собрании сочинений Петрова — довод достаточно уязвимый, особенно учитывая то, что по словам П. Н. Беркова «самые же стихи таковы, что не оставляют сомнения в принадлежности их В. П. Петрову».[57] Решающим доводом в пользу данной гипотезы было бы обнаружение сведений о втором поэте Василии Петрове, бывшем в 1764 г. студентом Славяно-греко-латинской академии. В. П. Петров окончил ее одновременно с В. Д. Санковским в 1760 г. — с редактором «Доброго намерения» его связывала многолетняя дружба. Несмотря на предпринятые нами поиски, второго В. Петрова, удовлетворявшего бы искомым требованиям для атрибуции ему двух стихотворений из «Доброго намерения», нам найти не удалось. В историографии русской журналистики вопрос традиционно решается в пользу В. П. Петрова.[58]

Существует также мнение А. Д. Галахова,[59] согласно которому авторство заметки о Петрове принадлежит не Новикову, а Сумарокову. Тем самым единственный в «Опыте» подчеркнуто отрицательный отзыв объясняется недоброжелательным отношением Сумарокова к поэту, в котором современники видели преемника литературного противника Сумарокова. С подобным мнением трудно согласиться прежде всего из-за отсутствия какого-либо документального подтверждения слов Галахова. Следует отметить и беспристрастие, с которым в «Опыте» повествуется о литературной борьбе Ломоносова, Сумарокова и Тредиаковского.

---

[55] *Новиков Н. И.* Избр. соч. С. 334—335.

[56] Поэты XVIII века. Т. 1. С. 504.

[57] *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. С. 145.

[58] *Неустроев А. Н.* Историческое разыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703—1802 гг. СПб., 1875. С. 98—99; *Чернышева Т. П.* Московский журнал 1764 г. «Доброе намерение» // Вопросы русской литературы. М., 1959. С. 47. (Учен. зап. Моск. гор. пед. ин-та. Т. 98).

[59] *Галахов А. Д.* История русской словесности, древней и новой. 3-е изд. М., 1897. Т. 1. С. 501.

Новиков рассматривал «Опыт» не только как справочное издание, но и как сочинение воспитательное, наполненное примерами для подражания (биографии С. П. Крашенинникова, И. П. Кулибина, М. В. Ломоносова и др.). В творчестве Ломоносова, Сумарокова и Тредиаковского он видел в отличие от современников не их личные распри, а прежде всего то, чем каждый из них обогатил русскую литературу.

Вопрос о воспитательном значении «Опыта» всегда был в центре внимания посвященных ему исследований. Единственное, на что до сих пор не было обращено внимания, — это краткость сообщаемых Новиковым сведений о ряде проповедников елизаветинского времени, среди которых он увидел бы много достойных подражания примеров. Предельно краткие сведения о них были обусловлены исключительно скудостью биографического материала или почти полным его отсутствием даже о таких крупных проповедниках, как Петр Гребнецкий, Кирилл Ляшевецкий, Маркелл Родышевский и загадочный «иеромонах Панкратий» (Чарнусский? — *М. Л.*), сведения о которых в «Опыте» не выходят за рамки тех, что были сообщены в заглавиях проповедей. Это свидетельствует о незнании в то время Новиковым материалов синодального архива. Между тем сочинения этих авторов Новиков ценил настолько, что закупил в академической книжной лавке остатки тиражей их проповедей и сам распространял их до конфискации у него «сомнительных книг» в 1787 г.[60]

Нравственное воспитание читателей положительными примерами составило одну из важнейших целей «Опыта» Новикова. «Благородная натура этого человека постоянно одушевлялась высокою гражданскою страстию — разливать свет образованности в своем отечестве».[61] Издание «Опыта» Новиков воспринимал как свой долг перед Россией: «Не тщеславие получить название сочинителя, но желание оказать услугу моему отечеству к сочинению сея книги меня побудило» (Опыт. С. [11]).[62]

---

[60] *Лонгинов М. Н.* Новиков и московские мартинисты. М., 1867. С. 040, 044—046.

[61] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 9. С. 651.

[62] После сдачи в производство данной статьи издательством «Книга» в конце 1987 г. было осуществлено факсимильное издание «Опыта». В приложении был дан также постатейный комментарий, принципы построения которого (дополнительные сведения о писателе по сравнению с обобщенными в «Опыте») не снимают вопроса о необходимости комметированного издания «Опыта» с указанием источников сведений Новикова.

Н. П. МОРОЗОВА

КНИГА ИЗ БИБЛИОТЕКИ ГОГОЛЕЙ

(К вопросу об употреблении термина *поэма* в русской литературе)

В составе книжного собрания Череповецкого краеведческого музея Вологодской области хранится роман М. М. Хераскова «Кадм и Гармония» (Изд. 2-е. Ч. 1—2. М., тип. И. Зеленникова, 1793) [1] из библиотеки Гоголей. Книга в сафьяновом переплете, с тисненным на корешке названием, иллюстрированный фронтиспис и последний лист утрачены. Сохранившиеся владельческие записи рассказывают во многом ее историю. Первая по времени — «Из книг Степана Лукашевича» — сделана на форзаце почерком XVIII—начала XIX в., позднее перечеркнута. Степан Лукашевич — дальний родственник и сосед Гоголей по имению. В «Малороссийском родословнике» В. Л. Модзалевского о нем сказано: «Степан Васильевич (Лукашевич) в службе с 1771 г.; коллежский канцелярист (1782); 29 июня 1782 г. — войсковой товарищ; то же в 1783 г.; подсудок Хорольского поветового суда (1803); за ним наследственных Хорольского у‹езда› в хут‹оре› Лукашовке, где и живет м. п. 42, ж. п. 61 душа (1798)».[2]

Книга была приобретена в московской книжной лавке, о чем свидетельствует графический знак на внутренней стороне верхней крышки переплета: «Из лавки И. В. Попова, на Ильинке в гостином новом дворе». Иван Васильевич Попов (ум. в 1836 г.) — писатель, переводчик, арендатор Университетской типографии и издатель-книгопродавец.[3]

О последующей истории книги узнаем из «Автобиографической записки» М. И. Гоголь, рассказывающей: «Муж мой никогда не вспоминал, чтоб я продолжала начатые мною науки. Он не говорил ни на каком языке, кроме латинского, и не желал, чтоб и я знала их, с тех пор я никогда не принималась за иностранные книги; а русские мы с ним всегда читали, когда имели свободные часы от хозяйственных дел и оставались одни, что бывало очень

---

[1] Каталог русских книг гражданской печати XVIII в. Череповецкого краеведческого музея / Сост. Н. П. Дробова. Череповец, 1980. № 442.

[2] *Модзалевский В. Л.* Малороссийский родословник. Киев, 1912. Т. 3. С. 211.

[3] См.: *Мезьер А. В.* Словарный указатель по книговедению. М., 1931. Ч. 2. С. 72.

редко. Помню, как он где-то достал очень старинную книгу „Кадм и Гармонию", и мы с ним вместе читали».[4]

Рассказ М. И. Гоголь как одно из немногих свидетельств о конкретных произведениях, составлявших круг чтения в Васильевке, нашел отражение в беллетристике.

На его основе в повести А. Полторацкого «Детство Гоголя» создан эпизод, в котором родители писателя, приехав после свадьбы в Васильевку, «вышли к Долине Спокойствия, и тут Василий Афанасьевич начал было читать Маше героическую повесть Хераскова „Кадм и Гармония" <. . .> Машино сердце забилось от страха: она тотчас вспомнила жуткую сумароковскую трагедию с кинжалом. И теперь, естественно, ждала от мужа поступков неожиданных и непоправимых. А между тем в голосе чтеца не слышалось трубных звуков. Василий Афанасьевич, читая, негромко ворковал, как воркует голубок, выстилая гнездышко для своей голубки. . .»[5]

Дальнейшая судьба книги отражена во второй по времени и последней владельческой записи: «„Кадм и Гармония" принадлежит курскому мещанину Василию Михайлову сыну Лагочеву в Санкт-Петербурге, подарена в знак изкренности его благородием Николаем Васильевичем Гоголем Яновским и учителем патриотическаго института благородных девиц июня 28 дня 1833 года».

Пока не удалось, к сожалению, найти каких-либо сведений о Василии Михайловиче Лагочеве и выяснить, случайный или не случайный характер носил подарок. Возможно, Гоголь познакомился с курским мещанином В. М. Лагочевым осенью 1832 г. по пути из Васильевки в Петербург, когда из-за поломки экипажа «принужден был прожить целую неделю в Курске, в этом скучном и немом Курске».[6]

Июнь 1833 г. Гоголь провел на даче в Петергофе, откуда неоднократно приезжал в Петербург в поисках новой квартиры. 24 июня 1833 г. он писал матери: «Пишу к вам в самый жаркой день. Такая ли жара и у вас, как у нас? Термометр показывает 24 и даже 25 градусов в тени. Я очень редко теперь живу в городе, в котором душно, как в бане. Солнце тиранствует, а не греет. Пользуясь тем, что многие оставили город, я ищу теперь себе другую квартиру, потому что старая надоела мне до смерти».[7] Вероятно, в один из таких приездов и была подарена книга.

Следующим свидетельством ее истории служит поставленный на титульном листе штамп библиотеки Череповецкого института народного образования (1919—1921 гг., позднее — педагоги-

---

[4] *Гоголь М. И.* Автобиографическая записка // Русский архив. 1902. Кн. 4. С. 715.

[5] *Полторацкий А.* Детство Гоголя / Авторизованный пер. с украинского М. Зощенко. Л., 1956. С. 62.

[6] *Гоголь Н. В.* Собр. соч. М.; Л., 1940. Т. 10. С. 242 (письмо П. А. Плетневу от 9 октября 1832 г.).

[7] Там же. С. 272. О петербургских адресах Гоголя этого периода см.: *Гиллельсон М. И. и др.* Гоголь в Петербурге. Л., 1961. С. 307.

ческий техникум, учительский и педагогический институт). В 1930 г. значительная часть ее редкого фонда была передана Череповецкому краеведческому музею. Как показывает анализ владельческих записей,[8] основным источником поступления этих книг в институтскую библиотеку были частные собрания Череповецкого и в незначительной степени соседних с ним уездов. По-видимому, последним владельцем книги был один из местных книголюбов.

Трудно однозначно ответить на вопрос, входил ли роман Хераскова «Кадм и Гармония» в круг чтения Гоголя в 1830-е гг., имело ли вообще место сознательное обращение Гоголя к творчеству Хераскова. Приведенная выше история книги из библиотеки Гоголей (помимо возможности широкого типологического сопоставления прозы двух авторов) [9] не исключает подобного обращения. Последнее может иметь значение для изучения проблемы авторского определения жанра «Мертвых душ».

При исследовании данной проблемы в тени остался вопрос о существовании в русской литературе определенной традиции употребления термина «поэма» по отношению к роману и о возможной ориентации Гоголя на эту традицию. Между тем именно к ней относятся романы Хераскова, и в первую очередь «Кадм и Гармония». Во время работы над этим романом перед писателем встали проблемы выбора жанровой формы и ее терминологического определения. Им посвящено предисловие к роману, отразившее авторские представления о жанре эпической поэмы и сущности поэзии. Считая жанровой доминантой содержание произведения, Херасков не связывает понятия «эпическая поэма», «эпический писатель», «стихотворец» только со стихотворной формой. Исходя из этих представлений он не относит, например, «Телемака» Фенелона к жанру эпической поэмы, но самого автора уподобляет «величайшим пиитам», поскольку «в прозе его вся важность высокого стихотворства погруженна <. . .> Не одни стихи, но наипаче изобретения, естественность, украшения, привлекательность слога, убедительное нравоучение и остроумие стихотворца составляют».[10] Жанр своего произведения Херасков определяет термином «повесть».

В целом взгляды писателя на проблемы, затронутые в предисловии к «Кадму и Гармонии», близки эстетике сентиментализма. Более последовательно и четко, с эстетических позиций сентиментализма, отвечает на эти вопросы Н. М. Карамзин в рецензии

---

[8] Каталог русских книг гражданской печати XVIII в. Череповецкого краеведческого музея / Сост. Н. П. Дробова; Каталог русских книг гражданской печати 1801—1825 гг. из фондов Череповецкого краеведческого музея / Сост. Н. П. Морозова. Череповец, 1983.

[9] См.: *Гончаров С. А.* Жанровая структура «Мертвых душ» Н. В. Гоголя и традиции русской прозы: Автореф. дис. . . . канд. филол. наук. Л., 1985.

[10] *Херасков М. М.* Кадм и Гармония, древнее повествование. 2-е изд. М., 1793. Ч. 1. С. 5.

на «Кадма и Гармонию», напечатанной в 1791 г. в «Московском журнале».

Косвенным свидетельством обращения Гоголя в 1830-е гг. к этому «первому образцу монографической рецензии в истории русской критики» [11] (помимо постоянного и глубокого интереса к творчеству Карамзина вообще) [12] может служить начатая им в 1834 г. по совету Пушкина работа над «Историей русской критики», черновиков которой, к сожалению, не сохранилось.

По поводу жанра «Кадма и Гармонии» Карамзин в названной выше рецензии пишет: «Почтенный автор в предисловии своем говорит, что *Кадм* его есть не поэма, а простая повесть, но когда повесть есть не история, а вымысел, то она, кажется, есть Поэма — эпическая или нет, но все поэма — стихами или прозою писанная, но все Поэма, которая по общепринятому понятию на других языках означает всякое творение вообразительной силы. Таким образом, Комедия, Роман есть Поэма».[13] Это высказывание, находящее параллели и в европейской эстетической мысли, отражает важные положения эстетики Карамзина: отсутствие непроходимой грани между прозой и поэзией, несущественность формальных признаков при определении жанра; единство художественной природы не только прозы и поэзии, но и драматургии. Подобные эстетические взгляды были органичны для мировоззрения Карамзина: в своем творчестве он впервые смог возвысить прозу до уровня поэзии.

Аналогичные идеи характерны и для эстетики Гоголя, в частности они находят отражение в «Учебной книге словесности для русского юношества». Творчество как Карамзина, так и Гоголя формировалось в эпохи, отмеченные полемикой по поводу места прозы и поэзии в литературе. Если в конце XVIII—начале XIX в. приоритет в этом отношении принадлежал поэзии и приходилось отстаивать художественные достоинства прозы, то в 1830-е гг. положение изменилось в пользу последней, и уже поэзия нуждалась в защите.

Оба писателя оказались в центре этих полемик и заняли во многом сходную позицию, заключавшуюся в стремлении как своим творчеством, так и теоретическими высказываниями, использованием жанровых определений показать равнозначность обеих форм, необязательность их противопоставления и существования четких границ между ними.

Карамзинское определение термина «поэма» не было в 1790-е гг. и не стало позднее общепринятым, но по отношению к романам

---

[11] *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. М.; Л., 1952. С. 510—512.

[12] См.: *Смирнова Е. А.* Гоголь и идея «естественного» человека в литературе XVIII века // Русская литература XVIII века: Эпоха классицизма. М.; Л., 1964. С. 280—293.

[13] *Карамзин Н. М.* О книгах // Московский журнал. 1791. Ч. 1. С. 85—86.

Хераскова оно получило жизнеспособность. Так, В. А. Жуковский в «Конспекте по истории русской литературы», составленном в 1826—1827 гг., говорит о Хераскове: «Он писал также поэмы в прозе, все такие же слабые, как и его произведения в стихах».[14]

Возможно, ориентация на представляемую романами Хераскова, в частности «Кадмом и Гармонией», традицию употребления термина «поэма» в совокупности с другими обстоятельствами могла повлиять на Гоголя в выборе жанрового определения «Мертвых душ».

---

[14] Тр. Отдела новой русской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом). М.; Л., 1948. Т. 1. С. 305.

К. Ю. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ

К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСКОМ СТАНОВЛЕНИИ Н. А. ЛЬВОВА
(По материалам черновой тетради)

Исследователи жизни и творчества замечательного русского поэта XVIII столетия Н. А. Львова (1751—1803) располагают лишь незначительным числом рукописей, так как архив писателя не сохранился. Особенное значение поэтому приобретает изучение всякого, на первый взгляд даже малоценного для истории литературы документа. В связи с этим наш интерес привлекла находящаяся в рукописном отделе Пушкинского Дома «Путевая тетрадь № 1» Н. А. Львова, полученная в дар от М. Д. Беляева 16 сентября 1921 г.[1] Однако название, данное хранителями, неточно, ибо подавляющее число записей имеет чисто литературный характер. Тетрадь дважды привлекала внимание исследователей. Так, в 1922 г. Б. И. Коплан установил, благодаря найденному в ней черновику, что автором идиллии «Вечер», напечатанной в первой части «Собеседника любителей российского слова» (1780), был Н. А. Львов. Им же подтверждена догадка Н. С. Тихонравова о принадлежности поэту «чужих басен» в собрании произведений И. И. Хемницера и опубликован текст «Эпиграммы» («На рынке было то иль на дворе гостином»).[2] Л. И. Кулакова в статье «Творчество Н. А. Львова 1770-х—начала 1780-х годов» [3] использовала ряд стихотворных текстов, находящихся в этой тетради.

Главная цель данной статьи — выявление круга произведений европейской литературы, привлекших внимание Н. А. Львова в 1770-е гг., а также публикация его неизвестных стихотворных и прозаических текстов.

Сразу же нужно отметить обращение к «Путевой тетради № 1» позднейших переписчиков произведений Н. А. Львова — на л. 51 над экспромтом «Катерине Ал‹ексеевне› Дьяковой» есть позднейшая запись «не вписано»; по-видимому, этот документ был в руках составителей рукописного тома, объединяющего самые разнообраз-

---

[1] ИРЛИ, шифр 16.470 / CIV620, 133 л. Далее ссылки на рукопись приводятся в тексте с указанием листа; тексты даются в современной орфографии.

[2] *Коплан Б. И.* К истории жизни и творчества Н. А. Львова // Изв. АН СССР. Сер. 6. 1927. № 7—8. С. 699—726.

[3] *Кулакова Л. И.* Творчество Н. А. Львова 1770-х—начала 1780-х годов // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1974. Вып. 1. С. 45—54.

ные сочинения Н. А. Львова, созданные на протяжении всей жизни поэта (сохранился в фонде Г. Р. Державина в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде).

Большая часть записей «Путевой тетради № 1» датирована, но нарушение их хронологической последовательности указывает на то, что она заполнялась несистематически. Самая ранняя заметка датирована 9 декабря 1771 г., самая поздняя — 9 марта 1781 г.

Таким образом, перед нами материал, относящийся к первому десятилетию пребывания Н. А. Львова в Петербурге. Ограниченные средства, которыми располагал поэт, очевидно, стали причиной его проживания в домах друзей и родственников — М. Ф. и Ю. Ф. Соймоновых, П. В. и М. В. Бакуниных.

Как нами установлено, с января 1770 по 10 июля 1775 г. поэт служил в Преображенском полку, одновременно в качестве курьера совершая поездки за границу (в Гамбург, Копенгаген и Этин), что значительно расширило кругозор молодого человека. С 5 июня 1776 г. по 10 марта 1782 г. поэт находился на службе в Коллегии иностранных дел (в служебных документах отмечено знание им немецкого, французского и итальянского языков).[4] Известно о двух командировках за границу в это время — в Лондон, Мадрид и Париж в 1776—1777 гг., а также в Вену, Пизу, Флоренцию и Венецию летом 1781 г.

Литературные занятия Н. А. Львова начались вскоре после приезда в Петербург — в 1771 г. поэт вместе с Н. П. Осиповым, Петром и Николаем Ермолаевыми издает рукописный журнал «Труды четырех разумных общников»,[5] объединяющий главным образом переводы стихотворений французских писателей эпохи классицизма.

В начале 1770-х гг. завязываются дружеские отношения между Н. А. Львовым и И. И. Хемницером, в середине десятилетия к ним примыкают В. В. Капнист, М. Н. Муравьев, Ф. П. Львов — так постепенно формируется литературный кружок, с деятельностью которого Г. Р. Державин связывал благотворный перелом в своем творчестве.

Осенью 1777 г. Н. А. Львов переводил «Инков» Мармонтеля; к сожалению, этот текст до нас не дошел.

К 1778 г. относится крупная удача Н. А. Львова-драматурга — создание пьесы «Сильф, или мечта молодой женщины»; по-видимому, она написана для домашних спектаклей в доме видного сановника екатерининского царствования Петра Васильевича Бакунина Меньшого. Известно, что в этих представлениях прини-

---

[4] Служебный аттестат Н. А. Львова // АВПР, ф. ВКД, оп. 2/6, ед. хр. 1563, л. 4—5.

[5] *Кокорев А. В.* «Труды разумных общников»: (Рукописный журнал Н. А. Львова и др.) // Учен. зап. Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской. 1960. Т. 86, вып. 7. С. 3—46.

мали участие И. А. Дмитревский, Н. А. Львов, сестры Дьяковы. Одна из них, Мария Алексеевна, позднее вышла замуж за поэта, второй он посвятил следующий шуточный экспромт:

КАТЕРИНЕ АЛ‹ЕКСЕЕВНЕ› ДЬЯКОВОЙ

Катерина,
ты причина,
что лишен мужчина
чина,
был детина,
стал скотина.
О! Судьбина!

(л. 51; без даты) [6]

Для истории дружеских отношений с Бакуниными важна помета «1774, авгу‹ста› 8, у Бакуниных» над стихотворением «Увы! что в свете есть зляй муки. . .» (л. 71, об.), представляющим собой текст любовной песни в духе сумароковской школы. Любопытно пренебрежительное отношение автора к своему детищу, о чем свидетельствует приписка внизу: «на скору руку».

Видимо, для домашнего театра была сочинена Н. А. Львовым «Кантата на три голоса», датированная 5 июня 1775 г. (л. 83, об.—87). Аллегорические действующие лица (Мир, Марс, Россия) воспевают победу войск Екатерины II над турками, наступление мира, «златого века», «вожделенных дней». «Кантата» написана ямбами (количество стоп в ариях варьируется), по своим художественным достоинствам она ничем не выделяется из массы панегирической литературы того времени.

В доме Петра Васильевича Бакунина Меньшого, очевидно, произошло знакомство поэта с Д. Г. Левицким, дружбу с которым он пронес через всю жизнь. Замечательный живописец создал портреты тех, кто входил в ближайшее окружение Н. А. Львова: М. Ф. Полторацкого и его жены, братьев Бакуниных, А. А. Безбородко, А. Р. Воронцова и др.[7]

«Путевая тетрадь № 1» дает интересный материал для истории взаимоотношений поэта и художника, однако нужно констатировать, что он не был в должной мере использован исследователями, ряд вопросов до конца не прояснен. Нет единодушия в датировке двустишия «К моему портрету, писанному г. Левицким»:

Скажите, что умен так Л‹ьвов› изображен?
В него искусством ум Левицкого вложен.

В. Э. Вацуро относит его к 1777 г.,[8] а составители двухтомника «Поэты XVIII века» — к 1774 г.[9] Мы склоняемся в пользу второго мнения.

[6] См. также: ГПБ, ф. 247, ед. хр. 37, л. 89.
[7] Д. Г. Левицкий: Каталог. Л., 1987. 142 с.
[8] *Хемницер И. И.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1963. С. 348.
[9] Поэты XVIII века. Л., 1972. Т. 2. С. 195 (Библиотека поэта, большая серия).

К сожалению, при воспроизведении этого двустишия современными издателями игнорируется автоэпиграмма Львова, следующая в рукописи за ним, что приводит к нарушению авторского замысла: становится неясным, почему поэт отказал себе в уме. Автоэпиграмма указывает истинную причину состояния Львова в момент, когда его рисовал Левицкий:

ЭПИГ‹РАММА› НА МЕНЯ,
ТО, ЧТО МНЕ ГОЛОВУ ВСКРУЖИТЬ МОЖЕТ

Что Л‹ьвов› умен,
то правда так,
но Л‹ьвов› влюблен,
то Л‹ьвов› дурак.

(л. 71, об.)

Четверостишие перекликается с автоэпиграммами других членов львовского кружка (прежде всего, Капниста) и позволяет, хотя отчасти, восстановить атмосферу шуток и самоиронии, присущую этому творческому содружеству.

С портретами Д. Г. Левицкого, видимо, связаны четыре французских стихотворения на л. 15. Три из них — «Pour mon Portrait» («На мой портрет»), «Autre» («Другое»), «Pour le Portrait de Ma‹chinca›» («На портрет Ма‹шиньки›») — автографы Н. А. Львова, четвертое, по всей видимости, — автограф И. И. Хемницера с правкой Н. А. Львова («Vers pour mettre au bas du portrait de M-r de Lwoff» («Стихи к портрету Н. А. Львова»).

Необходимо сразу же отметить, что на обратной стороне портрета Марии Алексеевны Дьяковой, написанного Д. Г. Левицким, воспроизведено без названия четверостишие «Pour le Portrait de Ma‹chinca›».[10] Прежде его атрибутировали Л. Ф. Сегюру, чье стихотворение находится здесь же, чуть ниже. Исследователи считали, что перед ними восьмистишие, принадлежащее перу французского поэта-дилетанта, их не насторожил тот факт, что катрены написаны разными размерами и отмечены смысловой и интонационной законченностью. Вряд ли можно сомневаться, что автором первого четверостишия был Н. А. Львов, поклонник, а позднее муж М. А. Дьяковой. Приведем текст еще одного стихотворения Н. А. Львова, обращенного им к своему портрету:

POUR MON PORTRAIT

1779 март. 6-го

De L‹woff› on voit les traits sous ce pinceau fidèle,
Mais pour connaître encore son coeur et son esprit;
Il faut s'en informer chez Rousseau son modele,
Chez l'amour, chez Sapho, chez Flore et chez les Ris.

(л. 15)

(На мой портрет. 1779 март. 6-го. Мы видим нарисованные этой верной кистью черты Л‹ьвова›, но чтобы еще понять его сердце и его дух, нужно для этого обратиться к Руссо, его образу, к Любви, к Сапфо, к Флоре, к Смехам).

[10] Д. Г. Левицкий: Каталог. С. 48.

Как представляется, этот катрен обращен к известному портрету Н. А. Львова, датируемому концом 1770-х гг.[11] Опираясь на цитируемое стихотворение, время создания можно указать более точно — 1779 г. Двустишие же «К моему портрету, писанному г. Левицким», видимо, обращено к первому, не дошедшему до нас портрету.

Значительный интерес для характеристики окружения Н. А. Львова представляют две эпиграммы, написанные в один день. Первая из них, адресованная Александру Семеновичу Хвостову (1753—1820), литератору и острослову, двоюродному брату Д. И. Хвостова, сохранилась в устной традиции. Я. К. Грот отмечал, что о ней ему говорил Д. Н. Блудов, но мог вспомнить лишь последний стих: «Да лень». В искаженном виде она была сообщена издателю сочинений Державина А. П. Кожевниковым и напечатана в комментариях.[12] Публикуем текст стихотворения по автографу:

1779, февраля 10

Краской каждого своею
ты, Хвостов, нас трех списал,
а чрез то ты нам сказал:
«Вот как кистью я владею,
я за трех за вас умею
означать и свет и тень,
это видите вы сами,
и могу тремя быть вами,
да лень».

(л. 42)

К сожалению, послание А. С. Хвостова «Три портрета», обращенное к Капнисту, Хемницеру и Львову, ответом на которое является эпиграмма Н. А. Львова, остается до сих пор неизвестным.

Н. А. Львов несомненно показывал тетрадь друзьям — так, на л. 79 находятся французские стихи, внесенные сюда В. В. Капнистом, как это явствует из подписи. Капнисту также посвящен экспромт Львова, написанный 10 февраля 1779 г.:

Ты, Капнист,[13] меня просил,
Чтоб в бессмертие стихом тебя вместил,
Но всех на то не станет сил,
ты был
и будешь мил.

(л. 60, об.)

Сколь ни важны приводимые выше материалы, наибольшее значение для истории становления художественного дарования

---

[11] Там же. С. 52.

[12] Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1866. Т. 3. С. 414.

[13] В рукописи вместо имени Капниста стоят литеры «В. К.».

Н. А. Львова имеет изучение его переводческих опытов, а также выявление тех произведений западноевропейской литературы, с которыми поэт познакомился в 1770-е гг.

Первым по времени (8 декабря 1772 г.) в «Путевой тетради № 1» нужно назвать перевод заключительной части поэмы Ф. Вольтера «Естественный закон» («Poème sur la loi naturelle», 1752), так называемой «Молитвы» (опубликован П. Р. Заборовым).[14] Восьмистишие Вольтера, выражающее противоречивые чувства человека, утратившего веру, но страшащегося смерти и загробных мук, насчитывает в переводе Львова 10 строк. Если первый стих сжато и верно передает мысль Вольтера — русское «гласит» содержит в себе противоположные значения (хотя эффект оксюморона утрачен), которые выражены французским поэтом двумя глаголами («O Dieu qu'on méconnaît, o Dieu qui tout annonce»), то второй стих добавлен переводчиком от себя. В целом перевод, верно отражая замысел Вольтера, значительно уступает в художественной выразительности оригиналу.

К 1773—1774 гг. относятся литературные опыты Н. А. Львова, которые он сам обозначил как переводы «из Петрарка». Первое четверостишие с названием «Di Petrarca. Felice chi vi mira» («Счастлив, кто вами любуется»), написано, судя по помете, 24 апреля 1773 г. (л. 64, об.; см. также черновик на л. 132). Приведем его текст:

Счастлив, прекрасная, кто на тебя взирает,
Но тот счастливее, тобой кто воздыхает;
Счастливейшим из всех, того должно назвать,
Кто, воздыхав, тебя заставил воздыхать.

Просмотр имеющихся в библиотеках Москвы и Ленинграда изданий Ф. Петрарки, с целью выявления источника перевода, не дал положительного результата, да и по своему характеру стихи более сообразуются с прециозной литературой XVII—XVIII вв., чем с творческим наследием Ренессанса. Это позволяет сделать предположение, что русский поэт пользовался в своей работе каким-то, скорее всего французским, изданием, выступившим в качестве посредника.

Исследование других переводов из Петрарки лишь подтвердило данную гипотезу. На л. 31—33 находятся следующие отрывки:

1) «Пр‹имер› письмоводства. Опыт вол‹ь›ного переводу из Петрарка. Сонет 1. Solo e pensoso» (прозаический перевод, опубликованный А. Глумовым).[15]

2) Сонет 2-й. «Erano i capei d'oro» (перечеркнутый черновик стихотворного перевода).

---

[14] Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 г. Л., 1976. С. 84.

[15] *Глумов А.* Н. А. Львов. М., 1980. С. 13.

3) Сонет 2-й. «Erano i capei d'oro» (сверху заглавия помета рукой Н. А. Львова: «Перевел с италиянского 1774 году авгу‹ста› 31»; внизу — стихотворный текст). Этот текст полностью не публиковался, поэтому мы считаем необходимым привести его здесь:

Ее власы тогда приятно развивали,
Зефир, играя, их прекрасно завивал,
И в взоре нежности тогда ее сияли,
В том взоре, что днесь уж одним и взглядом стал.

Не знаю, зрел ли я, или то зреть мне мнилось,
Я нежность на лице ее красящу зрел,
И дивно ль, что мое вдруг сердце вспламенилось,
Все пламя я любви в душе моей имел.

Ее походка, стан божественны казались,
Не смертного слова мне в слух мой ударялись,
Я зрел небесный дух иль солнцем был прельщен.

И коль не такова она, как мне явилась,
Не можно от того, чтоб рана исцелилась,
Хоть бросивый стрелу лук был бы опущен.

(л. 32)

4) «Canzone. Chiare, fresche e dolci aque. . .» (за этим заглавием следует 17 прозаических строк на русском языке).

5) «Lettres de Pétrarque» (далее отрывок из 12 александрийских стихов лирического содержания на французском языке, обращенных к Лауре).

В ходе разысканий нами было обращено внимание на описание одного из изданий в 135 томе каталога французской национальной библиотеки в разделе «Apocryphes» (к сожалению, этой книги нет в библиотеках СССР, и ознакомиться с ней не удалось):

«Lettres de Pétrarque à Laure, suivie de remarques sur ce poète et de la traduction de quelques-unes de ses plus jolies pièces [par Nicolas-Antoine Romet]. Paris, 1765. 40 p.».

Здесь же в аннотации сообщалось: «Это издание содержит перевод сонетов „Solo e pensoso“, „Erano i capei d'oro“, „Lieti fiori“, „La Gola e'l sonno“, „Pomni ove'l sol“ и канцоны „Chiare, fresche e dolci aque“. „Письмо Петрарки“ — создание Н. А. Роме».[16]

Во Франции XVIII столетия итальянского лирика эпохи Ренессанса переводили очень мало (резко возрос интерес к этому поэту лишь в начале XIX в.), не было и двуязычных изданий. Доводы хронологии, наличие в книге Н. Роме сочиненного им письма Петрарки к Лауре и тех же самых сонетов, что и в «Путевой тетради № 1», а также ряд косвенных соображений утверждают нас в мысли, что Н. А. Львов пользовался именно этим изданием. Однако окончательный вывод невозможен без знакомства с книгой Роме.

[16] Catalogue général des livres imprimés de la bibliothèque nationale. Paris, 1936. T. 135. P. 122.

13 августа 1773 г. русским поэтом был выполнен перевод реплики Агамемнона из трагедии Ж. Расина «Ифигения» (действие первое, явление первое), ранее не публиковавшийся:

Блажен, кто счастием посредственным доволен,
Свободен бремени, чем знатной отягщен;
В степени мрачном быв спокоен, здрав и волен,
Где к счастию живет, судьбой он сокровен.

(л. 64, об.)

Строго говоря, точно переведен лишь первый стих, остальные три — свободное развитие Н. А. Львовым моралистического положения. 4 марта 1774 г. была переведена ода Ж.-Б. Руссо «На начало года» («Sur un commencement d'année»), названная Н. А. Львовым следующим образом: «Ода го‹сподина› Руссо на начатие нового года, а сия на окончание ос‹ь›мнадцатилетия моего» (л. 69—70, об.). Она состоит из пятнадцати катренов и должна быть признана одним из наиболее удачных ранних опытов поэта. Хотя порой Н. А. Львов отступает от подлинника, большая часть оды передана очень точно — фактически дословно переведены, к примеру, катрены 3 и 7. Однако стремление восемнадцатилетнего поэта к буквализму иногда осуществляется в ущерб смыслу русского текста, что особенно наглядно проявилось в пятом катрене:

En vain, par les murs qu'on achève,
On tâche à s'immortaliser;
La vanité qui les élève
Ne sauroit les éterniser.

Коль тщетно смертной помышляет
Чрез зданье стен бессмертным стать,
Та тщетность, их что созидает,
Не может вечность им придать.

(напрасно стараются себя обессмертить стенами, которые созидают; суета, которая их воздвигает, не сумеет их увековечить).

Без знакомства с подлинником читателю, особенно современному, не совсем ясен смысл второго стиха (под зданием стен имеется в виду их созидание; таким образом, авторская мысль заключается в том, что возведение дворцов и мемориалов не может стать вечным памятником их строителям).

Образцом буквального перевода, не лишенного высоких достоинств, может служить мадригал французского поэта XVII в. Н. Прадона (1632—1698) в переложении Н. А. Львова. Четверостишие Прадона обращено к Катарине Бернар (1662—1712), писательнице, родственнице Т. Корнеля и возлюбленной Б. Фонтенеля. В «Путевой тетради № 1» под датой «30 мая 1774 г.» помещен французский катрен и его перевод:

PRADON Á MADEMOISEL‹LE› BERNARD

Vous n'écrivez que pour écrire,
C'est pour vous un amusement,

Moi qui vous aime tendrement
Je n'écris que pour vous le dire.

ПРАДОН К МАДЕМУАЗЕЛЬ БЕРНАР

Вы пишете, лишь чтоб писать,
Забавою сие считая;
Но я пишу, вас обожая,
На то, чтоб вам лишь то сказать.

(л. 70, об.)

23 марта 1778 г. Н. А. Львовым был набросан перевод оды Сапфо (л. 38), сохранившейся в VIII главе позднеантичного трактата «О возвышенном», приписываемого Лонгину. Крупнейший теоретик французского классицизма Н. Буало перевел его, что способствовало росту интереса к древнегреческой поэтессе. Подавляющее число переводов этой оды на европейские языки в XVII—XVIII вв. выполнено с французского.

Через три дня, 26 марта 1778 г. Н. А. Львовым с учетом помет на первой редакции, принадлежащих, видимо, И. И. Хемницеру, записан окончательный текст перевода оды Сапфо (опубликован А. Глумовым),[17] отличающийся большей близостью к французскому источнику.

С переводом Сапфо Н. А. Львова вскоре были ознакомлены друзья поэта — видимо, тогда в свои дневники его текст внес М. Н. Муравьев,[18] а 30 октября 1778 г. помечен перевод этого стихотворения, выполненный М. Н. Муравьевым.[19] Вряд ли есть основания говорить о творческом соревновании двух поэтов, но неоспорим тот факт, что перевод Н. А. Львова способствовал возникновению интереса его друга именно к оде Сапфо.

Переходя к обзору прозаических отрывков, необходимо указать что тетрадь, находящаяся в ИРЛИ, хранит следы знакомства Н. А. Львова с творчеством таких различных писателей (выписки, пометы, фиксация имен и названий произведений), как Софокл, Эврипид, Геродот, Гораций, Катулл (все, видимо, через призму французских переводов), Ф. Ларошфуко, Ж. Лафонтен, Т. Корнель, Ф. Фенелон (многочисленные выписки из итальянского перевода «Приключений Телемака»), Ж.-Б. Мольер, Ж.-Ж. Руссо, Гудар де ла Мотт, Ж. Сен-Фуа, Ж. Ф. Мармонтель, Ш. Полиссо, Т. Тассо, Т. Круделли, П. Метастазио, А. Поуп, Д. Юм, Х.-Ф. Геллерт (выписки из французского перевода его басен), Лопе де Вега и др.

Следует перечислить наиболее значительные анонимные отрывки, признанные нами по тем или иным причинам переводными (имена действующих лиц, реалии, топонимы, неопределенные авторские указания): «О сложении женщин» (л. 9); ‹«Исторический набросок»› (л. 12),[20] «Сирский царь» (л. 66); «Сочинитель

[17] *Глумов А.* Н. А. Львов. С. 28.
[18] ГПБ, ф. 499, ед. хр. 37, л. 26.
[19] *Муравьев М. Н.* Стихотворения. Л., 1967. С. 250.
[20] Названия в угловых скобках даны мною.

„Des lettres sur les ballets“» (л. 66, об.—67); «Doux pais» (л. 130, об.); а также стихотворения: «La corvée» (л. 34); «„Un amour mercenaire“ 1776 авг. 12» (л. 36); «‹Герой›» (л. 65); «Сон» (л. 65, об.—66); ‹отрывок идиллии, написанной александрийским стихом› (л. 132, об.—133). Часто Н. А. Львов делал выписки на языке оригинала, а рядом переводил их; французская фраза порой оканчивается по-русски.

Видимо, переводом является следующее стихотворение в «Путевой тетради № 1» (источник его установить не удалось):

ПОЦЕЛУЙ

23 апр‹еля› ‹17›73-го

Пылающей души, когда я в утешенье,
тебя, красавица,[21] с восторгом целовал,
Коли поступок сей хоть мало огорченье
тебе, прекрасная, невинно приключал,
Карай меня за то и дерзость отомсти,
что сделал я тебе, мне тем же заплати.

(л. 64, об.; см. черновик на л. 132)

Но в центре внимания Н. А. Львова в эти годы был эпистолярный роман — видимо, его форма, позволяющая в наибольшей степени раскрыть внутренний мир персонажей, привлекала молодого поэта. На л. 49, 99, об., 101 (1), 117 находятся выписки из романа Ж.-Б. д'Аржанса «Еврейские письма» и «Кабаллистические письма». Кроме того, как нами установлено, прозаический отрывок «Письмо 79. От кабаллиста Абукибака к прилежному Бен-Киберу» (л. 17—19, об.) — перевод из «Кабаллистических писем» д'Аржанса.

Произведением же, которому посвящено наибольшее количество записей, стали «Персидские письма» Ш.-Л. Монтескье. Материал, связанный с увлечением Н. А. Львова этим эпистолярным романом, относится к августу 1775 г., его можно разделить на следующие группы: 1) выписки на французском языке (л. 71, 92, 92, об.); 2) отрывки, сопровождаемые переводом (л. 48, об., 91, 127, об.); 3) переводы значительной части письма (CXXXVI — л. 110—112, об.; CXXXVII — л. 113 —113, об.); 4) перевод писем полностью (CLVII — л. 92, об.—93, об.; CXVII — л. 104—107, об.); 5) подражания «От Узбека к Заши в Испагань» (л. 94—96); «От Узбека к Рокслане» (л. 96, об.—98, об.); «Рика к Зелисе» (л. 101 (1), об.—104); «Невольник к Цефизе в сераль» (л. 108—109, об.); «Рика к Узбеку из Варшавы» (л. 115—116).

Тесная связь переводов и подражаний требует их совокупного рассмотрения.

Первым было переведено «Письмо CLVII. Заши к Узбеку». В нем Заши сообщает своему мужу об издевательствах над ней новоназначенного евнуха, подозревающего ее в неверности. От-

[21] Первоначальный вариант — «времян краса».

ветом на него является подражание Львова «От Узбека Заши в Испагань» (л. 94—96), аналогий содержанию которого у Монтескье нет. Узбек Львова пишет не как самовластный правитель сераля, а как не верящий в измену жены влюбленный, в душе которого борются противоречивые чувства. Главным для русского поэта оказывается противопоставление внутренних побуждений героя обязанностям, налагаемым на него высоким общественным положением: «Трепещу я сам истины! если тебя уличат, Заши, лишусь я твоих прелестей, но ты сердца моего не лишишься — я отмщу тебе как султан, но как любовник буду наказан. Хотя потом невинность твоя окажется, величество сана моего воспрепятствует мне к тебе возвратиться, султан унизится, когда любовник восторжествует» (л. 95). Воспоминания Узбека о первой встрече с Заши, угрозы, напоминающие скорее мольбы, и т. д. — все это результат развития Львовым одной из ситуаций «Персидских писем».

Тот же интерес к миру человеческих переживаний обнаруживает подражание «От Узбека к Рокслане».[22] Сравнение с любимой открывает Узбеку глаза на притворство французских женщин, этой же темы касается Монтескье в письме XXV, но любовные воспоминания, составляющие большую часть послания восточного путешественника к жене, в «Персидских письмах» подобных аналогий не имеют.

Третье подражание Львова — «Рика к Залисе» (л. 101 (1), об.—104) во многом сходно с сатирическими картинами, которые рисовал Монтескье, но образ молодого «светского» человека, подавляющего всех своим громким голосом, более сообразуется с нравами тогдашнего Петербурга, где соседствовали европейская образованность и крайнее невежество, чем с Парижем эпохи Регентства.

Тема самоотверженной любви невольника к жене повелителя раскрывается в его письме к Цефизе (л. 108—109, об.), чье имя у Монтескье не встречается. Львова, очевидно, увлекла возможность показать чувства героя, который не в силах скрыть губительную страсть и потому осмеливается писать.

Переводы Н. А. Львова точны, они выполнены разговорным языком образованного общества того времени и верно передают мысли автора. Пожалуй, выбор только одного выражения в письме CLVII следует признать неудачным: «. . .подлая и дерзкая душа взяла надо мною поверхность» («Son âme insolante et servile s'est élevée sur la mienne»). Эта фраза дает возможность самых различных толкований, тогда как Монтескье имелась в виду власть евнуха над Заши.

Завершая обзор литературных материалов, содержащихся в «Путевой тетради № 1» Н. А. Львова, можно констатировать, что объектом тщательного изучения для молодого поэта была литература французского классицизма XVII—XVIII вв. Значительное

[22] Сохраняем написание Львова, у Монтескье — *Roxane*.

влияние на него оказала также традиция малых жанров, культивировавшихся в европейских салонах того времени, что очевидно при анализе львовских загадок (они еще ждут своего публикатора — см. л. 78—79), мадригалов, эпиграмм и т. д. Однако в центре внимания поэта были произведения, отразившие интерес их авторов к внутреннему миру человека (стихотворения Петрарки, эпистолярные романы д'Аржанса и Монтескье), что прямо связано с формированием литературы русского сентиментализма.

Переводческая практика 1770-х гг. отмечена стремлением к буквализму, лишь через 20 лет писатель выступил с самостоятельной теорией передачи иноязычных текстов, которая во многом предварила искания русских литераторов начала XIX в.

Среди оригинальных текстов поэта, находящихся в «Путевой тетради № 1», больше всего стихотворений, написанных в жанре любовной песни (л. 35—36, 60 и др.). По своему стилю они близки произведениям сумароковской школы. Сочувственная цитация стихов А. П. Сумарокова и М. М. Хераскова (л. 23—24) подтверждает наше убеждение, что лирика именно этих поэтов, ставшая провозвестницей русского сентиментализма, была главным творческим ориентиром Н. А. Львова в 1770-е гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ

23 августа 1778

КАК МЫ БУРИ ИСПУГАЛИСЬ

Из тонких южных туч [1]
блеснул со страхом луч
в потемки гордой ночи,
и мрачну нощи мочь
прогнал сияньем прочь
и ослепил нам очи,
так что ночная тень
стала нам в страхе день.

(л. 40)

ОДА ГО‹СПОДИНА› РУССО НА НАЧАТИЕ НОВОГО ГОДА, А СИЯ НА ОКОНЧАНИЕ ОС‹Ь›МНАДЦАТИЛЕТИЯ МОЕГО

1

Светило, мир [2] что освещает
и бренну смертных жизнь делит,
и круг воздушной [3] свой кончает
и новой бег зачать спешит.

2

С какою скоростью незнатно
окончился прошедшей тот,
равно с такою невозвратно
пройдет и наступивший год.

3

Все кончится, всем управляет
едино время, бег премен,
и часом, что другой сменяет,
в ничто час каждой обращен.

4

Лучшайший день, день лета ясна,
проходит, к нам не возвратясь,
година хлебна и прекрасна,
чтобы скончаться, началась.

[1] *Отмененный вариант*: Собой из тонких туч.
[2] Мир *надписано над первоначальным* шар.
[3] *Вслед за зачеркнутым* и ныне бег свой.

5

Коль тщетно смертной помышляет,
чрез зданье стен бессмертным стать,
та тщетность, их что созидает,
не может вечность им придать.

6

Природы царь, что быть гордится,[4]
не может рок сей избежать,
здесь мигу начинать родиться,
ничто, как умирать зачать.

7

Почто же в жизни толь кратчайшей
заботами себя тягщить,
почто терять день проходящий
для должного равно пройтить?

8

Коль смертных может рок плачевной
вмиг свет затмить твоим очам,
употребим сей миг, толь бренной,
он больше не придет уж к нам.

9

Достойна плача часть такая!
блаженство в жизни кто алкал,
и, счастье в поте созидая,
сам чрез себя несчастным [5] стал.

10

В надеждах льстительных теряет
лучшайшу в жизни часть своей,
надежде мнимой посвящает
именье настоящих дней.

11

Безумной! ты определяешь
себе сам бедственной [6] предмет,
ведя жизнь, в бедстве умираешь,
жить часу в жизни не нашед.

12

Не стану я так мыслить ложно,
не льстит мя прелесть вся сия,
не тот мой час, где жить мне должно,
но жизнь мне тот, в котором я.

13

О днях прошедших помышляю,
не ропщу, не жалею сих,
вперед которых дожидаю,
без страха жду и просьбы их.

14

Употребим свое стяжанье [7]
которо верно чтим своим,
чтоб то вкушати ожиданье [8]
владеть нас не лишало им.

15

Прошедший час ничто уж боле,
ты рок имеешь с ним один,
но настоящей в нашей воле
ему лишь смертной господин.

⟨17⟩74.III.4.

(л. 69—70, об.)

ОТ УЗБЕКА К ЗАШИ В ИСПАГАНЬ

подражание Монтескье ⟨не датировано⟩

Ужасная повесть! Как, Заши, твоя прелесть была дерзким взорам подлого стража подвержена? Трепещу, Заши! Какое ужасное преступление навлек на тебя сей страж, сто крат для меня бесчестнейший! Или твоя добродетель?. . Ах! Заши, бойся любви, бойся сей горячей мстительницы, бойся мужа, которой несчастием своим тебя накажет.

Когда я тебя в Смирне увидел, я тогда себя увидел пленником; шесть

---

[4] *Первоначально*: Что царь природы быть гордится.
[5] *Вместо* плачевным.
[6] *Более ранний вариант*: себя мучительной.
[7] *Над первоначальным* именье.
[8] *Первоначально*: Чтоб им владеть приготовленье.

лет с восхищением носил я сии оковы, когда красота твоя в заключении возрастала, не полагался на верность моих подданных, часто сам, да, сам часто, робким взором надсматривал я тайно, в безопасности ли твоя добродетель. Уверясь в том, надежен о тебе, отлучился и коль неоцененное мнил я приобресть сокровище по моем в Испагань возвращении; неужели мечта то будет, неужели к посрамлению моему порвешь ты мои узы и, неверная, лишишь меня сладкого плена, возвратишь мне тягостную свободу?

Ужасна будет для самой тебя сия измена! С высоты величества и славы престола, к чему ты была определена, в бездну нищеты я тебя повергну. Тяжкая неволя будет твой удел, слезы и плач — упражнение, стыд и поношение — мука чувствительной души, а что более? роптание страстного любовника!

Трепещу я сам истины! если тебя уличат, Заши, лишусь я твоих прелестей, но ты сердца моего не лишишься — я отмщу тебе как султан, но как любовник буду наказан. Хотя потом невинность твоя окажется, величество сана моего воспрепятствует мне к тебе возвратиться, султан унизится, когда любовник восторжествует.

Ласкаюсь я еще, если б не суетно я ласкался! Может, одна только твоя ветреность, одно слово вольное, один громкий смех были наказания сего виною: тигр, срегущий добродетель, чужд сокровища, им хранимого. Лишенный человечества, не внемлет он человеколюбия криков. Он, может, принял резвость за любовной восторг, примету преступления, излил на тебя всю жестокость его бесчувственности. Может, вспоминая, он что был, хотел тебе напомнить, что он не есть уже более, или, может, душа его, чужда нежным любви движениям, тайное имеет удовольствие торжествовать над предметами оных.

Всего я скорей надеюсь, нежели твоей измены. Верность всех моих рабов может мне быть подозрительно<й> прежде, нежели я о твоей усумнюся. Но и как не так, кроме стражи, обязывающей тебя быть добродетельною, сколько других причин испорченность твою хранить тебе изготовляют: величество престола персидского, сияние диадемы, твое великодушие, благодарность против меня, моя любовь и твое благополучие! Подумай, Заши, лишась ее, чего ты лиши<шь>ся. Я не лишусь больше, как твоей красоты. . . но если ты и всего на свете лиши<шь>ся, больше ли моей будет твоя утрата?

(л. 94—96)

ОТ УЗБЕКА К РОКСЛАНЕ

Подражание
из Парижа 1775 авгу<ста> 19

Тягостны стали мне наконец фр<анцузские> женщины. Их живность по тех пор меня веселила, поколе она мне беспритворною казалась; но я их лучше узнал. Шутливой нрав, веселое лицо, смех и беспрестанное движение, кое они живностию называют, суть притворные орудия, коими они мужчин к себе привлекают. Победа их над нами совершенно сей счастливой истребляет в них характер, а нас выводит о нем из заблуждения.

Когда кажется, что мы услугами и покорностию приобрели право наслаждаться их веселым обхождением, то находим задумчивость, негодование, скуку. . .

Брак в Европе есть конец взаимных любви попечений, женщина замужем не старается уже мужу своему нравиться, уповая, что закон, коим он обязан любить ее, должность сию за нее исполнит.

Какое сравнение, Рокслана! Твоя живность с живностью парижской прелестницы, в которой движения глаз, слова, даже и до чувств — все хитрость и все искусство. В тебе ж природа их внушает; склонность располагает их, а любовь их употребляет, любовь приобретая.

Когда вспомню я тот восторг, в которой красота твоя меня повергала, все любовники кажутся мне несчастливы, потому что они тебя не знают.

Вспомни, как на бархатной софе, ароматами наполненной, нашла ты меня полуспящего, стыдливость мешала тебе разбудить меня, ты на меня

глядела, но потом любовь устами твоими меня встать заставила, биения сердца и зыблющаяся грудь твоя являли сильное оной движение, ты упала ко мне в объятия, слов недоставало к изображению твоих мыслей, я слышал только голос, но жар в глазах твоих изображал мне твои мнения, любовь мне их толковала.

Я отдался в твою волю, ты моей была подвержена, приятной поцелуй был возвещателем нежных желаний. Мы ими были преисполнены, им повиновались, и сколько красота твоя над душою моею всегда владычествовала, толико моя любовь тогда господствовала над твоею, ты была бессильна, я был победителем, но торжествовал, будучи побежденным.

Считаю я минуты моего в Париже пребывания, и та последняя, в которую я тебя увижу, будет первая моего удовольствия. Ах! Рокслана, надобно иногда быть на несколько отлученну от того, кого любишь, чтобы лучше восчувствовать; с тех пор, как я с тобою расстался, всякая минута горести для меня новую в тебе рождает приятность. И сколько их протекло, столько новых красот, увидев тебя, надеюсь я в тебе увидеть.

Будь здорова, Рокслана, будь довольна, да не помрачит печаль твоей прелести, и болезнь не истребит любовного в тебе жару, мою любовь только оной погасить долженствует. Лишение утех на несколько времени послужит тебе лучше их восчувствовать, время, которое я не был с тобою, дань сию тебе долженствует. Прости, Рокслана.

Из Парижа от 12 луны Сафара 1775.

(л. 96, об.—98, об.)

НЕВОЛЬНИК К ЦЕФИЗЕ В СЕРАЛЬ

от 26 авг<уста>

Какое ужасное состояние, Цефиза. Я должен убегать тебя и духом быть с тобою непрестанно, видеть тебя всегда и не сметь глядеть на тебя, показывать тебе холодность, когда пламя любви в глазах моих изображается. Несказанное мучение! но должное для твоей непорочности! Она требует, чтобы уничтожить вредные слухи о твоей славе. Да, Цефиза, я на это согласен, охотно хочу я жертвовать моим удовольствием твоему спокойствию.

Тебя беспокоят неистовые сии слова, кои ты слышишь! Неужели, думаешь ты, они для меня нечувствительны? Нет, они столько меня разят, что я собственным моим спокойствием твое составить осуждаюсь.

Знаешь ты, сколько твоя беседа меня утешает, сколько слова твои над душою имеют власти, подумай же, сколь несносно для меня будет их лишение! И тогда, когда глаза мои уверили тебя о моей к тебе преданности, и поступки о движении моего сердца, когда приобрел я несравненное удовольствие целовать твою руку, горестное удовольствие, коего приятность муку мою теперь составляет.

Нет, Цефиза... Я буду доволен, коль удостоверен буду, что ты спокойна, я стану советовать моей страсти говорить с моим сердцем и его движения уговорить. «Утешайся, — скажу я ему, — твоим стена<ни>ем, оное цена цефизиного покоя». «Ты любишь, — скажу я тогда сам себе, — и Цефиза любит... А не<до>вольно ли сей непорочной любви, чтобы наградить тебя за твое страдание?»

Но если благотворной случай даст свободу мне с тобою увидеться там, где строгие глаза надзирателей не встревожат нашу нежность, позволишь ли ты мне, Цефиза, подойти к тебе, сказать тебе одно слово и бы<ть> довольну?

Любовь от препятствий раздражается. Чувствую я, Цефиза, силу сей истины, вчера я был перед тобою и не воздержался, что<б> не взглянуть на тебя, тогда жар, которой я в сердце моем имею, получа сугубую силу, на лице моем изобразился, ты то приметила, а мне все хитрости были потребны, чтобы от других утаить его.

Я скрывал, однако, мои мнения, и видели к тебе мою холодность. Но да не возмутит, Цефиза, она твоего духа, не подумай, что она истинна, нет, сила моей любви толь велика, что я ни скрыть, ни изъяснить не могу ее.

(л. 108—109, об.)

И. В. НЕМИРОВСКИЙ

ШВЕЙЦАРСКАЯ ТЕМА В «ВЕСТНИКЕ ЕВРОПЫ» Н. М. КАРАМЗИНА

Важную роль швейцарской темы в творчестве Н. М. Карамзина отмечали многие исследователи.[1] Для писателя просветительской ориентации, каким был Карамзин, Швейцария представлялась той идеальной страной, где интересы личности гармонично сочетались с общественным благом.[2] Здесь, на лоне прекрасной и суровой природы, сохраняются древние добродетели, что, по мнению Монтескье, и является залогом нормальной жизнедеятельности любой республики. Определенную роль в идеализации образа Швейцарии для Карамзина и писателей-сентименталистов играло и то, что ее уроженцем был Ж.-Ж. Руссо.[3]

Отношение Карамзина к Швейцарии не было одинаковым на протяжении его жизненного и творческого пути. В 90-е гг. оно с наибольшей полнотой проявилось в «Письмах русского путешественника», где Швейцария противопоставлялась как феодальной Германии, так и революционной Франции.[4] Но уже в «Письмах. . .», *несмотря на приподнятый тон описания* («*мир и тишина царствуют* в счастливой Швейцарии»),[5] слышатся нотки обеспокоенности Карамзина за судьбу страны, которая далеко не во всех частях так счастлива и богата, как хотелось бы русскому путешественнику. От его взгляда не укрывается, что в Женевской республике «поселяне беднее, нежели в Бернском и Цирихском кантоне»,[6] спокойный патриархальный быт Берна и Цюриха противопоставлен жизни Женевы и Лозанны, уже подверженной влиянию революционной Франции. И все-таки при этом Карамзин далек

---

[1] См.: *Берков П. Н., Макогоненко Г. П.* Жизнь и творчество Н. М. Карамзина // Карамзин Н. М. Избр. соч. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 45—47; *Данилевский Р. Ю.* Россия и Швейцария. Л., 1984. С. 104—116.

[2] См.: *Орлов П. А.* «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина как произведение русской просветительской литературы XVIII в. // Вестн. МГУ. Филология. 1977. № 2. С. 19—20.

[3] См.: *Лотман Ю. М.* Руссо и русская культура XVIII в. // Эпоха Просвещения. Л., 1967. С. 268—269.

[4] *Сиповский В. В.* Н. М. Карамзин как автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899. С. 240 и след.; *Иванов М. В.* Мир Швейцарии в «Письмах русского путешественника» // XVIII век. Л., 1975. Сб. 10. С. 296—302.

[5] *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 105.

[6] Там же. С. 156.

от того, чтобы придавать существующим межкантональным противоречиям слишком серьезное значение. «Да будет их (женевцев. — *И. Н.*) Республика многия, многия лета прекрасною игрушкой на земном шаре», — так заканчивает Карамзин свой рассказ о путешествии по Швейцарии.

Если в «Письмах русского путешественника» швейцарская тема изучена довольно хорошо, то значительно реже подвергалась анализу эволюция отношения Карамзина к Швейцарии. Между тем именно в последний период писательской деятельности Карамзина, во время работы в «Вестнике Европы», после длительного перерыва швейцарская тема вновь заняла то место в его творчестве, которое она имела в начале 90-х гг.

Политические новости из Швейцарии занимают ведущее место во внешнеполитическом разделе «Вестника Европы» за 1802 г. Впервые о событиях в этой стране говорится в 1-м номере журнала в полностью приведенном Карамзиным «Изображении состояния Французской республики, представленном консулами Законодательному совету», подписанном Наполеоном. Оценка внутреннего положения Швейцарии, данная здесь первым консулом: «Гельвеция осталась в буре без кормчего»,[7] — полностью вошла в обзор швейцарских событий, данный Карамзиным в 3-м номере «Вестника Европы»: «Потомки Телевы имеют нужду в великом человеке, который мог бы решительно действовать на умы и соединять их в одну волю; но Бонапарте справедливо сказал, что Швейцария осталась на волнах без кормчего» (III. 101). В других номерах журнала, где также были помещены известия из Швейцарии (IX. 75; X. 177; XVI. 321—323), внутриполитическое положение страны характеризовалось как спокойное в целом, но нестабильное. Исключение составило «Письмо из Берна», где утверждалось, что «Гельвеция, испытав разные Конституции, после долговременного волнения утвердила, наконец, правление, которое кажется ей лучшим и сообразнейшим с пользою разных частей ее» (XVI. 321).

В 17-м номере журнала появляется первое сообщение о событиях, которые с этого времени неизменно будут приковывать внимание Карамзина: о гражданской войне между большими и малыми кантонами Швейцарии. В 20-м номере, в «Письме из Берна от 14 сентября» положение страны оценивалось так: «Сия несчастная страна представляет теперь все ужасы междуусобной войны, которая есть действия личных страстей, злобного и безумного эгоизма» (XX. 322). В этом же очерке сформулировано то, что Карамзин считал главной пружиной гражданской войны: столкновение политических интересов аристократов Берна с интересами демократического большинства других кантонов. При этом аристократы, и прежде всего Рудольф фон Эрлах, изображаются как

---

[7] Вестник Европы. 1802. № 1. С. 92. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением номера (римской цифрой) и страницы (арабской цифрой).

возмутители крестьянской массы, а сама гражданская война показана как крестьянский бунт: «Между тем начался бунт в Аргау и в Бадене. Вооруженные крестьяне, под начальством Эрлаха, бывшего знатного аристократа в Берне, завладели Баденом, Бругом и Ленцбургом; даже и бернские крестьяне бунтуют, требуя учреждения всеобщей демократии <. . .> Базель от 18 сентября. Слышно, что вооруженные крестьяне взяли Арбург и прямо идут к Берну; говорят даже, что и Берн захвачен ими. Если так, то у нас нет правительства. С часу на час ожидаем французов <. . .> Эрлах, возмутитель крестьян, называющий себя генералом и восстановителем старой Конституции, недолго будет храбровать. Фамилия Эрлах была издревле славнейшею и богатейшею в Бернском кантоне. Она отличалась всегда особенною привязанностию к аристократии» (XX. 323—324).

Следующий репортаж из Швейцарии продолжает обзор гражданской войны в том же стилистическом ключе и с теми же смысловыми акцентами. Главным действующим лицом событий остается здесь генерал Эрлах, хотя о фактическом руководителе конфедератов — Алоизе Рединге — и говорится как об «истинной душе мятежников». Но и тогда указывается на то, что «подкрепляют его прежние бернские аристократы, которые хотят возвратить утраченную власть и знатность; народ же есть только слепое их орудие» (XXI. 74).

Итак, аристократы во главе крестьянских армий, по мнению автора репортажей, главные виновники «падения Швейцарии» и вторжения в страну французских войск.

Но вот с помощью иноземной армии в стране устанавливается относительное спокойствие и встает вопрос о выработке нового законоположения взамен отмененной Конституции. Размышляя о том, кто мог бы стать его создателем, Карамзин так характеризует генерала Эрлаха: «Генерала Эрлаха, второго (после А. Рединга. — *И. Н.*) актера сей новой революции, знаем мы только как автора дурной книги, изданной лет за десять перед сим: не такие люди решают судьбу государств, не такие умы дают мудрые законы» (XXII. 156).

Обзор швейцарских событий 1802 г. заключает статья «Гельветическое правительство возвратилось с честью из Лозаны в Берн. . .» (XXIII. 246—248). Отношение автора репортажей к такому финалу гражданской войны неоднозначно. Хотя его антипатии к «друзьям Рединга или конфедератам» очевидны, заключительный эпизод междуусобных волнений рисуется так: «Когда Бонапарте велел объявить сейму, что он уничтожается, то Рединг отвечал: „Мы не будем противиться французам, но у нас есть оружие, которое сам Бонапарте уважает: справедливость и потомство!“ Ответ трогательный, если истинная любовь к отечеству говорила устами сего гражданина» (XXIII. 246).

Для того чтобы иметь возможность соотносить содержание швейцарских публикаций «Вестника Европы» с общественной позицией самого Карамзина (это в конечном счете и является задачей

настоящей работы), необходимо установить степень участия писателя в их создании. В этом отношении вопрос значительно облегчен тем, что центральная статья цикла (из 20-го номера) признана своею самим Карамзиным и под заглавием «Падение Швейцарии» вошла в собрание его сочинений.[8] Кроме того, установлена принадлежность Карамзину следующих статей швейцарского цикла: «Мы угадали, что новая швейцарская Конституция будет недолговечна. . .» (X. 177), «Гельвеция, испытав разные Конституции. . .» (XVI. 321), «Уверяют, что швейцары наконец во всем согласны. . .» (XXII. 155—161), «Президент Швейцарского сейма, славный Алойс Реминг. . .» (XXIV. 330—335).[9] Таким образом, из ключевых статей швейцарского цикла не установлено авторство только статей «Швейцары, к несчастью и стыду своему, исключительно занимают теперь внимание Европы. . .» (XXI. 73—78) и «Гельветическое правительство возвратилось с честью из Лозаны. . .» (XXIII. 246—248). Стилистическая и тематическая соотнесенность их с другими статьями этого цикла очевидна. При этом, поскольку стилистические особенности статей не являются предметом нашего рассмотрения, мы не настаиваем на оригинальном происхождении швейцарских корреспонденций и допускаем наличие неизвестных нам их зарубежных источников.[10] Более существенным представляется то, что во всех статьях о Швейцарии осуществлен единый принцип отбора материала, безусловно отражающий авторскую волю Карамзина: все многообразие событий гражданской войны сводится к крестьянским волнениям, причем главной фигурой очерков становится не А. Реминг, а бернский аристократ Рудольф фон Эрлах (1749—1810), чья реальная роль в происходивших событиях была значительно скромнее той, которую приписал ему Карамзин.[11]

В историю Швейцарии Р. Эрлах вошел не только как генерал гражданской войны, но и как писатель, автор трех книг: «Le Code du bonheur» (Geneve, 1783), «La moraliste aimable» (Amsterdam, 1788), «Précis des devoirs des souverains» (Lausanne, 1791). Трудно предположить, какую именно из них Карамзин называет «дурной книгой, написанной лет за десять перед сим». Да и сам выбор Эрлаха в качестве главного действующего лица швейцарских очерков был бы необъясним, если бы не трехкратное упоминание фамилии Эрлах в «Письмах русского путешественника», где она характеризуется как «знатнейшая в Бернском кантоне» [12] (ср.: «Фамилия

---

[8] *Пономарев С. И.* Материалы для библиографии литературы о Н. М. Карамзине. СПб., 1887. С. 19—21.

[9] Там же.

[10] Просмотренная нами «Gazette national ou Le moniteur universal» за сентябрь 1802 г. не содержит ни одного политического известия из Швейцарии.

[11] См.: История народного законодательства и демократии в Швейцарии. СПб., 1900. С. 72—75; История швейцарского народа. СПб., 1902. Т. 3. С. 109; История XIX века / Под ред. Лависса и Рамбо. М., 1938. Т. 1. С. 452.

[12] *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. С. 132.

Эрлах была издревле славнейшею и богатейшею в Бернском кантоне» (XX. 324)). В «Письмах. . .» содержатся два мрачных сюжета о роде Эрлахов, а сам род, видимо, олицетворял для Карамзина «бернский аристократизм <. . .> самый строжайший в Швейцарии», когда «некоторые фамилии присвоили себе всю власть в Республике; из них составляется Большой Совет и Сенат <. . .> все прочие жители не имеют участия в правлении. Число сих аристократических или господствующих фамилий беспрестанно уменьшается; они могут сообщить свои права другим фамилиям, но это редко бывает».[13]

Итак, швейцарские репортажи Карамзина — это пристрастный рассказ, отражающий не только, а порой и не столько действительное течение событий, сколько симпатии или антипатии самого Карамзина. Тенденциозный характер «Вестей из Швейцарии» особенно очевиден при сравнении того, что печаталось в «Вестнике Европы», со швейцарскими корреспонденциями «Политического журнала», единственного русского журнала, который по обилию швейцарских новостей может быть сравним с «Вестником Европы».

«Политический журнал» хотя и уделяет определенное внимание крестьянским волнениям в кантонах (1801. III. 16), гораздо более подробно и тщательно характеризует внешнеполитическое положение страны, а внутреннее отнюдь не сводит к противостоянию больших и малых кантонов и к крестьянским волнениям (1802. I. 288; III. 66, 152, 244; IV. 211). Главное, что занимает «Политический журнал», это взаимоотношения Швейцарии с прилегающими странами, прежде всего с Францией. Внутри республики журнал выделяет несколько противоборствующих сил, подробно характеризуя лидеров каждой из них. Имя Эрлаха при этом не упоминается (1802. IV. 111).

Заметное место занимает швейцарская тема в газете «Московские ведомости», которая, без сомнения, находилась в поле зрения Карамзина. Здесь с января по декабрь 1802 г. появляется около пятидесяти корреспонденций из Швейцарии; в период с октября по начало декабря новости из «славной Гельвеции» присутствуют практически в каждом номере газеты. Рассказ о крестьянских волнениях содержится в таких обзорах событий в Швейцарии, как «В Кантоне Леманском действительно обнаружилась ужасная междуусобная война. . .» (XL, 14 июня. 696—697), в известиях из Цюриха от 14 сентября и из Берна от 14 и 15 сентября (LXXXVI, 25 окт. 1126—1128). Да и другие сентябрьские известия из Швейцарии содержат в себе тот или иной материал о крестьянских волнениях, при этом неоднократно упоминается имя генерала Эрлаха. И все-таки основной акцент сделан на межкантональном характере гражданской войны. Причем, если «Ведомости» стараются помещать репортажи, рассказывающие о событиях с разных точек зрения (и с точки зрения конфедерата, стоящего на стороне А. Рединга, и с точки зрения сторонника единой Швейцарии, привер-

[13] Там же. С. 133.

женца Гельветического правительства), то «Вестник Европы» Карамзина излагает события предельно односторонне. Симпатии Карамзина явно на стороне правительства Гельвеции, пользующегося поддержкой Франции (бернские конфедераты ориентировались на Англию). Столь односторонняя точка зрения Карамзина шла вразрез с официальной позицией, которую занимала Россия по отношению к гражданской войне в Швейцарии. Русский посол во Франции решительно возражал против вторжения в Гельвецию французских войск, однако вторжение все-таки произошло и решило исход гражданской войны в пользу федерального правительства.

Чем же определен столь специфический интерес Карамзина к крестьянским волнениям в Швейцарии и к той роли, которую играла в них старинная аристократия? Задаваясь этим вопросом, необходимо вспомнить следующее замечание Ю. М. Лотмана: «Анализ статей „Вестника Европы“ Карамзина и изучение редакторских принципов последнего убеждает нас в том, что весь помещаемый в журнале материал посвящался обсуждению в косвенной форме остро актуальных, а иногда и опасных в цензурном отношении вопросов внутренней жизни России тех лет».[14]

Одним из самых важных вопросов общественной жизни России 1801—1802 гг. был крестьянский вопрос. В мае 1801 г. сам император Александр I предложил проект закона, запрещающего продажу крестьян без земли. Законопроект встретил сильное сопротивление. Государственный совет напоминал, что «волнения 1767 и 1796 гг. произошли по менее основательным предлогам и выражал опасение, чтобы крестьяне, а особенно толпы праздных и по большей части буйных дворовых, приняв установление сие за уменьшение или совершенное уничтожение прав помещичьих, не возмечтали, что сим сделались вольными».[15]

Поддерживали императора только его ближайшие друзья, чуть позже составившие «Негласный комитет», и А. Р. Воронцов, покровитель А. Н. Радищева, единственный из екатерининских вельмож, оставшихся в правительстве, разделявший антикрепостнические устремления нового императора. К марту 1802 г. Воронцов, как считают многие исследователи, вместе с Радищевым, или, по крайней мере не без его влияния, составил новый проект закона, запрещающего продавать крестьян без земли.[16]

Ситуацию этого времени большинство дворян воспринимало как попытку самодержавия покуситься на одно из важнейших прав русского дворянства — право неограниченного владения кре-

---

[14] *Лотман Ю. М.* Эволюция мировоззрения Карамзина // Учен. зап. Тартуского ун-та. 1957. Вып. 51. С. 149.

[15] Цит. по: *Семевский В. И.* Крестьянский вопрос в России. . . СПб., 1888. Т. 1. С. 240.

[16] См.: Там же; *Туманов М.* Радищев // Вестник Европы. 1904. Кн. 2. С. 685—689; *Семенников В. П.* Радищев: Очерки и исследования. М., Пг., 1923. С. 135; *Павлов-Сильванский Н. П.* Предисловие // Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М., 1905. С. 291.

постными. Г. Р. Державин так охарактеризовал графа С. П. Румянцева, автора одного из крестьянских проектов: «Румянцев выдумал (смею сказать, из подлой трусости угодить государю) средство, каким образом сделать свободными господских крестьян. Он представил проект, столкнувшись наперед, смею сказать, с якобинскою шайкой — Чарторыжским, Новосильцевым и пр.».[17]

Антидворянский характер предполагаемых реформ хорошо понимали и сами молодые друзья императора. Граф П. А. Строганов, в ответ на осторожное замечание Ф.-Ц. Лагарпа о том, что антикрепостнические проекты могут вызвать возмущение дворян, отвечал так: «Оно (русское дворянство. — *И. Н.*) составилось из множества людей, приобретших дворянство только службою и не получивших никакого воспитания, которых все мысли направлены к тому, чтобы не постигать ничего выше воли императора; ни право, ни закон, ничто не может породить в них мысль о малейшем сопротивлении <. . .> Чего не сделано было в прошедшее царствование против этих людей, против их личной безопасности? Если когда-нибудь представлялся повод бояться чего-либо, то именно в эту эпоху. Приходило ли им это на мысли? Напротив, всякая мера, клонившаяся к нарушению прав дворянства, выполнялась с изумительной точностью».[18]

Летом 1802 г., в самый разгар споров по крестьянскому вопросу, Карамзин выступил с программной статьей «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», где с предельной ясностью сформулировал свое отношение к развернувшейся полемике: «Сельское трудолюбие награждается ныне щедрее прежнего в России, и чужестранные писатели, которые беспрестанно кричат, что земледельцы у нас несчастливы, удивились бы, если бы они могли видеть их возрастающую промышленность и богатство многих; видишь так называемых рабов, входящих в самые торговые предприятия, имеющих доверенность купечества и свято исполняющих свои коммерческие обязательства! Просвещение истребляет злоупотребление господской власти, которая и по самим нашим законам не есть тиранская и ограниченная. Российский дворянин дает нужную землю крестьянам своим, бывает их защитником в гражданских отношениях, помощником в бедствиях случая и натуры: вот его обязанности! За то он требует от них половины рабочих дней в неделю: вот его право!» (XII. 316).

Как видно из приведенного отрывка, статья Карамзина направлена отнюдь не только против «иноземных писателей». В споре самодержавия с дворянством по крестьянскому вопросу Карамзин был явно на стороне дворянства, утверждая его автономию в отношениях с крестьянами.

Параллельно с крестьянским вопросом в русском обществе активно обсуждалась проблема ограничения самодержавного

---

[17] *Державин Г. Р.* Собр. соч. СПб., 1881. Т. 6. С. 259.

[18] Цит. по: *Семевский В. И.* Крестьянский вопрос в России. . . Т. 1. С. 243—244.

правления. В июне 1801 г. эта тема была публично поставлена на обсуждение самим императором в запросе о правах Сената. Одновременно русское дворянство присматривалось к деятельности только что созданного Государственного совета и с недоброжелательным интересом следило за работой «якобинской шайки» — Негласного комитета.

В феврале 1802 г., в пору собраний Негласного комитета, в «Вестнике Европы» было напечатано «Письмо из Константинополя», где, описывая беспорядки и безначалие, царящие в Турции, Карамзин утверждал: «Турецкое правление есть уже не древнее деспотическое, на темном Алькоране и воле султана основанное, но совершенная аристократия <. . .> Намерение их (советников султана. — *И. Н.*) состояло в том, чтобы ограничить власть великого везиря, и чтобы султан поручил внутреннее правление Государственному совету, или Дивану, который до того времени не мог ничего делать сам собою». Последняя часть письма содержит уже явную проекцию на русские события, в частности на деятельность Негласного комитета и на отношения, которые существовали между его членами еще до воцарения Александра I: «Гуссейн (один из членов Совета. — *И. Н.*), будучи невольником при Селиме (султане. — *И. Н.*), когда он в достоинстве наследника содержался под стражей, приобрел еще тогда любовь его [19] <. . .> Сии турецкие аристократы не смеют употребить жестоких средств для хранения порядка, а слабыя не помогают <. . .> Войска и янычары не чувствуют большой ревности сражаться за 10 аристократов, ни мало не заслуживших любви народной» (IV. 81—83).

В дальнейшем Карамзин более явно выразил свое крайне негативное отношение к попыткам «аристократии» ограничить самодержавную власть. В «Записке о древней и новой России» (1811) писатель посвятил этому вопросу следующие строки: «В самом деле, можно ли и какими способами ограничить самовластие в России, не ослабив спасительной царской власти? Умы легкие не затрудняются ответом и говорят: „можно, надобно только поставить закон еще выше государя“. Но кому дадим право блюсти неприкосновенность этого закона? Сенату-ли? Совету-ли? Кто будут члены их? Выбираемые государем или государством? В первом случае они — угодники царя, во втором, во втором захотят они спорить с ним о власти, — вижу аристократию, а не монархию».[20]

Швейцарские статьи «Вестника Европы» с их главной темой — аристократы во главе крестьянских мятежей — также содержат параллели к русским событиям, затрагивая одновременно два основных вопроса, волновавших общество: о крепостном праве

---

[19] Явная параллель с взаимоотношениями между императором и Адамом Чарторыжским, одним из членов Негласного комитета. Дружба между ними возникла, когда Александр был еще наследником, а Чарторыжский являлся «заложником» при русском дворе после подавления польского восстания 1794 г.

[20] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 46—47.

и об ограничении самодержавия. На примере страны, которая еще недавно представлялась писателю идеалом государственного устройства, Карамзин показывает, до чего, с его точки зрения, могут довести безудержная вольность и аристократические тенденции.

Адресация швейцарского цикла очень широка: статьи отражают общую обеспокоенность Карамзина направлением правительственных реформ. Вместе с тем представляется, что статьи имели и конкретных адресатов. К их числу следует отнести друга и покровителя Радищева графа А. Р. Воронцова, в начале александровского царствования пожалованного канцлером. Г. Р. Державин так характеризовал роль Воронцова в это время: «Все окружающие государя были набиты конституционными французским и польским духом, как то: граф Чарторыжский, Новосильцев, Кочубей, Строганов, а паче всех и как атаман их — граф Воронцов».[21]

Действительно, в начале 1802 г. позиция Воронцова по крестьянскому вопросу и по ряду других государственных проблем превосходила по своей радикальности позиции членов Негласного комитета.[22] Сочувствовавший Воронцову граф Адам Чарторыжский писал о нем совсем в «карамзинском» духе: «В нем (Воронцове. — *И. Н.*) осталась закваска той старой либеральной русской аристократии, которая хотела, призывая на престол императрицу Анну, *ограничить ее власть*».[23]

О недоброжелательном интересе, который испытывал Карамзин к деятельности Воронцова, свидетельствует «Записка о древней и новой России», где подробно разбирается, конечно, nomina sunt odiosa, «Мнение о непродаже крестьян без земли» (1802) Воронцова. Главным аргументом в пользу своего законопроекта Воронцов считал возможность таким образом пресечь незаконную и насильственную продажу крестьян в рекруты.[24] На это Карамзин замечает следующее: «Зачем богатство родителю, когда оно не спасает любезного сына? Правда, откупщики радуются, но отцы семейств плачут <. . .> Несчастные владельцы лишились средства сбывать худых крестьян; ленивый, невоздержанный исправился бы в строгой школе воинской. Пример также имел спасительное действие».[25]

Аргументы Карамзина направлены не только против «Мнения. . .» Воронцова, но и против главы «Городня» из «Путешествия. . .» Радищева, на которую ориентировался Воронцов при составлении своего «Мнения. . .».[26]

---

[21] *Державин Г. Р.* Собр. соч. Т. 5. С. 787.

[22] *Предтеченский А. В.* Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века. М.; Л., 1957. С. 105.

[23] *Чарторыжский Адам.* Мемуары. М., 1912. Т. 1. С. 267.

[24] Архив Государственного совета. СПб., 1878. Т. 3. С. 779—780.

[25] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. С. 77—78.

[26] *Семевский В. И.* Крестьянский вопрос в России. . . Т. 1. С. 240.

Г. Д. ОВЧИННИКОВ

САВЕЛИЙ ФЕРЕЛЬЦТ — АВТОР «ПУТЕШЕСТВИЯ КРИТИКИ»

Имя Савелия Ферельцта, автора замечательного антикрепостнического произведения «Путешествие критики, или Письма одного путешественника, описывающего другу своему разные пороки, которых большею частию сам был очевидным свидетелем» в историю русской литературы вошло сравнительно недавно.

Изданная анонимно в Москве в типографии С. Селивановского в 1818 г. (хотя цензурное разрешение получено в 1810 г.) книга Савелия Ферельцта, будучи библиографической редкостью, почти столетие оставалась вне круга изучаемой литературы.

Впервые на нее обратил внимание в 1911 г. Н. П. Сидоров, который в очерке «Крепостные крестьяне в русской беллетристике» писал: «В прямом родстве с сатирической журналистикой и „Путешествием" Радищева, как по подбору фактов и манере рисунка, так и по идейному освещению, по страстному обличению ужасов крепостного состояния, стоит до сих пор не обращавшая на себя внимания замечательная книга неизвестного автора (С. фон Ф.) „Путешествие критики"».[1] Изложив содержание анонимного произведения, Сидоров сделал вывод: «Можно положительно утверждать, что это сатирическое путешествие как бы поднимает ту нить, которая выпала из рук Радищева».[2] Радищевские традиции «Путешествия критики» были отмечены также литературоведом В. Е. Евгеньевым-Максимовым.[3]

Несомненно, в изображении крепостнической России конца XVIII—начала XIX в. «Путешествие критики» перекликается с радищевским «Путешествием из Петербурга в Москву». Однако это не дает оснований зачислять Савелия Ферельцта в ученики Радищева, как то делают вслед за Н. П. Сидоровым и В. Е. Евгеньевым-Максимовым некоторые современные литературоведы.[4]

---

[1] *Сидоров Н. П.* Крепостные крестьяне в русской беллетристике // Великая реформа. М., 1911. Т. 3. С. 242—243.

[2] Там же. С. 245.

[3] *Евгеньев В.* [*Максимов В. Е.*]. Писатели — борцы с крепостной неволей. СПб., 1914. С. 41—42.

[4] См.: *Кокорев А.* «Путешествие критики» — социальная сатира писателя-радищевца // Сочинение С. фон Ф. «Путешествие критики». М., 1951. С. 19; *Смолянов И. Д.* «Путешествие критики» / Соч. С. фон Ф. М., 1818; Памятник русской сатирической публицистики начала XIX века // Вестник МГУ. Сер. общественных наук. 1952. Вып. 4. № 11. С. 84; *Орлов В.* Радищев и русская литература. Л., 1952. С. 116; *Бегунов Ю. К.* «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. М., 1983. С. 88.

В отличие от «Путешествия из Петербурга в Москву» в «Путешествии критики» нет критики самодержавия, отсутствует в нем и тема крестьянского восстания.[5] Савелий Ферельцт прежде всего ученик русских просветителей, продолжавший и развивавший традиции новиковских журналов, Фонвизина, Крылова, различных образцов сатирической литературы XVIII в.

В 1951 г. «Путешествие критики» было переиздано издательством Московского университета. Тогда же было документально установлено имя автора: им оказался учитель Владимирской гимназии Савелий Карлович фон Ферельцт.

Между тем биография Савелия Ферельцта не изучена с достаточной полнотой до сих пор: неизвестны ни точная дата его рождения и год смерти, ни обстоятельства и время приезда в Россию, не выявлено полностью и литературное наследие писателя. Все это затрудняет дальнейшее, более глубокое изучение «Путешествия критики».

В Государственном архиве Владимирской области нами обнаружены документы, позволяющие восполнить некоторые пробелы в биографии писателя. Согласно послужному списку от 28 июля 1820 г. и краткой автобиографии, Савелий Ферельцт родился в 1771 г. в г. Аугсбурге (Германия) в семье «природного дворянина», генерал-лейтенанта, «коим в 1774-м году обще с родительницею его вывезен в Россию». Вскоре по приезде в Москву родители Савелия Ферельцта «волею Божею» скончались, и сироту отдали на воспитание в Москве в католический монастырь, где он «обучался французскому, немецкому, российскому языкам и прочим наукам». Образование было продолжено «в частном пансионе господина профессора Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. Всего упражнялся в науках двенадцать лет».[6]

Интересно отметить, что несколько лет Савелий Ферельцт имел паспорт «для свободного проживания в России» на другое имя. 10 ноября 1790 г. при выдаче паспорта в Московском губернском правлении «с обозначением его фамилии ошиблись» — записали Франц Каверіус Верхольцт. Ошибка была исправлена только в марте 1797 г., когда Ферельцт получил «от родственников своих данную предкам его курфюрством Баварского из столичного города Минхина по высочайшему повелению его светлости Папы Императора Римского, жалованную на дворянство грамоту, по коей точно значится фамилия их фон Ферельцт».[7]

Вынужденный самостоятельно зарабатывать на жизнь, Савелий Ферельцт в 1792 г. приезжает из Москвы во Владимирскую губернию. Здесь в г. Муроме и Муромской округе он обучает «новым

---

[5] Сравнительный анализ «Путешествия критики» с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева см. в кн.: *Макогоненко Г. П.* Радищев и его время. М., 1956. С. 722.

[6] Государственный архив Владимирской области, ф. 243, оп. 1, д. 23, л. 468; ф. 449, оп. 1, д. 1-а, л. 2; далее — ГАВО.

[7] Там же, ф. 40, оп. 1, д. 464, л. 61.

языкам во многих дворянских домах», а с 1797 г. живет в г. Меленки, где занимается воспитанием детей уездного предводителя дворянства Н. Названова.[8] Летом 1803 г. его имя встречается уже среди жителей города Суздаля.[9]

14 марта 1804 г. Савелий Ферельцт поступает во Владимирское главное народное училище преподавателем французского языка. 7 апреля того же года на имя директора народных училищ Владимирской губернии поступило от Ферельцта следующее прошение: «Прошлого 1803 года июня 16-го дня, в поданном его сиятельству господину тайному советнику, Владимирскому гражданскому губернатору князю Ивану Михайловичу Долгорукову прошении, объявил я желание завести и содержать в городе Владимире пансион, обязуясь обучать в оном благородное юношество французскому и немецкому языкам по правилам грамматическим, а для обучения истории, географии, математике, закона христианского, российской грамматике и рисованию иметь учителей из Владимирского главного народного училища или имеющих на звание свое аттестаты. Вследствие чего по предписанию Владимирского приказа общественного призрения, и был я испытуем в присутствии вашем господами учителями Владимирского главного народного училища и секретарем того приказа Могилевским, первыми — в знании учебного способа, а последним — французского и немецкого языков, и хотя имел честь получить от них одобрительные свидетельства, но дозволения на заведение и открытие пансиона мне не дано. Посему, зная, что многие господа дворяне по одиннадцатилетнему моему пребыванию в здешней губернии желают мне доверить воспитание детей своих, и прошу ваше высокоблагородие о даче мне на заведение такого пансиона дозволения».[10]

К прошению приложен план пансиона для детей «мужеска пола, обученных уже читать и писать по-российски», с условиями приема и расписанием занятий.[11] План Ферельцта представляет интерес сам по себе, как ценный документ из истории русского просвещения начала XIX в.

С открытием во Владимире гимназии 4 августа 1804 г. Ферельцт поступает в нее преподавателем новых языков. При этом ему было поставлено особое условие: «Учитель французского и немецкого языков фон-Ферельцт тем с большею ревностью и прилежанием обязан обучать оным в гимназии, что содержит частный пансион. Ибо малейшее его в оной нерадение подаст вероятный повод к заключению, что он, руководствуясь корыстолюбивыми видами, желает ко вреду гимназии умножить число учащихся в своем пансионе, через что может он лишиться не только выгод и преимуществ, с учительским званием сопряженных, но и права содержать

---

[8] Там же, л. 60.
[9] Там же. ф. 449, оп. 1, д. 1-а, л. 2, об.
[10] Там же, л. 13—13, об.
[11] Там же, л. 14—14, об.

пансион. Таковые же следствия иметь будет и внезапное его намерение прежде определения на место его других учителей оставить нынешнюю свою должность в гимназии».[12]

Поставленное Ферельцту условие требует объяснения. В первые годы XIX в. гимназии в России были бесплатными (до 1817 г.) всесословными учебными заведениями. Социальный состав, например, Владимирской гимназии в 1804—1820 гг. был довольно демократичен — бóльшую часть учеников составляли дети обер-офицеров, приказнослужителей, купцов и мещан.[13] Дворянство избегало гимназий, предпочитая воспитывать своих детей дома или же помещать их в привилегированные специальные учебные заведения. Поэтому гимназии испытывали недостаток как в учениках, так и в преподавателях.

В 1806 г. Савелий Ферельцт принял русское подданство и приписался к Владимирскому дворянству, хотя в дворянские родословные книги не был внесен «за неутверждением» департаментом Герольдии правительствующего Сената.[14]

По своим служебным делам Савелий Ферельцт был тесно связан с Московским университетом. В документах ГАВО его имя неоднократно упоминается как отсутствующего во Владимире «по делам в Москве».[15] Некоторые преподаватели Владимирской гимназии были выпускниками Московского университета, как, например, учитель натуральной истории, поэт А. И. Урываев (1789—1819).[16] Долгие годы директором гимназии был Д. И. Дмитревский (1763—1848), в прошлом переводчик университетской типографии Н. Новикова. Ему принадлежит, кстати, перевод первого тома известной книги П. С. Марешаля «Путешествие Пифагора» (М., 1804). Из литераторов, живших в те годы во Владимире, Савелий Ферельцт мог быть знаком с В. С. Подшиваловым (1765—1813) и поэтом И. М. Долгоруковым (1764—1823), служившим в 1802—1812 гг. во Владимире гражданским губернатором. По примеру открытой тогда в Петербурге «Беседы любителей российского слова» Долгоруков учредил у себя дома литературные вечера. Членами долгоруковской «Беседы» были и некоторые преподаватели гимназии.

Будучи членом учительской корпорации, Ферельцт действовал очень активно. 4 марта 1806 г. педагогический персонал гимназии на общем собрании под председательством директора имел «ученое прение» о том, «могут ли ученики из класса в класс, судя по их способности, переходить и по воле их чему хотят обучаться». На «ученом прении» голоса педагогов разделились, Ферельцт

---

[12] *Страхов П.* Исторический очерк Владимирской губернской гимназии. Владимир, 1891. Вып. 1. С. 28.

[13] Там же. С. 61.

[14] *Трегубов М.* Алфавитный список дворянских родов Владимирской губернии. Владимир, 1905. С. 243.

[15] ГАВО, ф. 245, оп. 2, д. 109, л. 23.

[16] Автор стихотворного сборника «Произведение пера моего» (М., 1805).

выступил против перехода учеников из класса в класс и самовольного выбора предметов. Однако противоположное мнение получило перевес благодаря голосу директора гимназии Цветаева, который потребовал только сделать в постановлении общего собрания оговорку, что «ежели ученик захочет, оставя какой-либо класс, перейти в другой, то должно сие учиниться с ведома директора».[17]

В 1808 г. в типографии Московского университета Савелий Ферельцт напечатал учебное пособие «План географии, или Практическое изъяснение терминам и естественным изображениям географическим». Учебник был представлен им в училищный комитет при Московском университете с просьбой ввести его как руководство в гимназиях. Комитет, хотя и выразил удовлетворение, что «учителя свободное от трудов время употребляют на полезное дело», однако автору отказал. Такое решение для Ферельцта было, по всей вероятности, неожиданным, так как в то время в гимназиях, кроме географических карт и глобусов, никаких других учебных пособий по географии не существовало. А издание «без одобрения» совсем не пошло в продажу, и только покидая службу в гимназии, Ферельцт отослал тираж в дар Московскому университету с просьбой распространить его по гимназиям Московского учебного округа, за что он «получил благодарность от г-на попечителя Московского учебного округа князя Оболенского».[18] Кроме «Плана географии» в делах Московского цензурного комитета А. Могилянским обнаружено упоминание о другом учебном пособии, составленном Ферельцтом, — «Собрании грамматических терминов», поступившем на рассмотрение комитета 25 ноября 1810 г. Учебник напечатан не был. В этом «российском сочинении» было 22 полулиста.[19]

В феврале 1809 г. Савелий Ферельцт составил проект обложения денежным сбором всех вольнопрактикующих учителей, не исключая даже наемных дядек, которые, по словам автора, «пользуясь нарочитыми выгодами, не приносят за оные ни малейшего пожертвования правительству».[20] Предполагая, что число таких лиц по всей империи достигает 50 тысяч и что нормальный оклад в среднем составляет более 400 рублей в год, Ферельцт высчитал, что 20 % обложение налогом может дать по крайней мере миллион рублей, которые необходимо употребить на содержание бедных учеников гимназий. Проект Ферельцта, представленный в Московский университет, произвел там настолько сильное впечатление, что сочли необходимым отправить его в Петербург

---

[17] *Страхов П.* Исторический очерк Владимирской губернской гимназии. Вып. 1. С. 74.

[18] ГАВО, ф. 243, оп. 1, д. 23, л. 468.

[19] *Могилянский А.* Из истории русской прогрессивной литературы начала XIX века // Русская литература. 1966. № 3. С. 95.

[20] *Страхов П.* Исторический очерк Владимирской губернской гимназии. Вып. 1. С. 154.

в Главное правление училищ, которое не согласилось даже в принципе с идеей обложения каким-либо налогом вольных педагогов. Приведем те возражения, которые были сделаны:

«1) домашние учители, учительницы и дядьки воздают государству личными способностями и трудами, коими приготовляют для пользы оного граждан;

2) они, не составляя по сим занятиям особенного класса граждан, а принадлежа к известным каким-либо званиям и состояниям, пользующимся особливыми правами, преимуществами и обязанностями, не могут быть подвергнуты сим новым повинностям;

3) ежегодный вычет 20-й доли доходов обременителен, особливо для получающих малое жалованье и когда сверх того имеют жительство в местах, где статьи содержания дороги;

4) расчет автора проекта относительно сумм, основанный на числе сих учителей, учительниц и дядек неверен, и число их несравненно менее 50 тысяч, когда положить в оное даже и тех, кои за воспитание получают самое маловажное награждение, или и вовсе ничего, исключая содержание».[21]

По этим причинам проект Ферельцта не был признан заслуживающим уважения. Однако такой взгляд на дело вскоре изменился. Высочайшим указом от 25 мая 1811 г. был установлен 5 % сбор с содержателей частных пансионов.[22]

2 октября 1812 г. во Владимирскую духовную консисторию на имя епископа Владимирского и Суздальского Ксенофонта поступило прошение от учителя 10-го класса Ферельцта: «Исповедуя по сие время закон Римско-католический, возымел я сердечное желание присоединиться к религии Греко-российского исповедания, к которому принадлежит все мое семейство, по видам чего испрашиваю на то ваше архипастерское благословение».[23] 15 февраля следующего года Савелий Ферельт принял православие в Воскресенской церкви г. Владимира. Восприемниками были «епископ Владимирский и Суздальский Ксенофонт и жена фельдмаршала, графиня Анна Павловна Каменская».[24]

Проработав во Владимирской гимназии шестнадцать лет, Савелий Ферельцт 22 декабря 1820 г. выходит в отставку. 26 января следующего года его избирают дворянским заседателем во Владимирский уездный суд, а по окончании трехлетия, 1 января 1824 г., — дворянским заседателем в палату гражданского суда. После 1826 г. он нигде больше не служил и постоянно проживал в имении своей жены в сельце Горки, неподалеку от Владимира, лишь иногда выезжая «по делам» в Москву.[25] В метрической книге

---

[21] Там же. С. 154—155. Полностью проект С. К. Ферельцта опубликован в указанной выше (см. сноску 19) статье А. Могилянского (С. 93—94).

[22] Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 31. С. 663—664.

[23] ГАВО, ф. 556, оп. 108, д. 484, л. 1.

[24] Там же, л. 3, об.

[25] Там же, ф. 244, оп. 1, д. 377, л. 26; ф. 245, оп. 2, д. 109, л. 23.

Троицкой церкви с. Ставрова Владимирского уезда за 1838 г. записано, что 7 января в сельце Горки скончался «коллежский асессор Савелий Карлов фон-Ферельцт от чахотки, 66 лет. Похоронен близ Троицкой церкви».[26]

Основная литературно-педагогическая деятельность Савелия Ферельцта прошла во Владимирской губернии. Несомненно, что в основу «Путешествия критики» легли наблюдения и впечатления от пребывания писателя в 1792—1802 гг. домашним учителем «во многих дворянских домах», что и дало ему богатый материал для сатирического изображения провинциального общества. На основании новых фактов биографии Савелия Ферельцта можно расшифровать названия городов, по которым проходил маршрут героя книги, «молодого человека», «сына генерал-лейтенанта»: из Москвы («М.») через уездные города Владимирской губернии Муром («М.») и Муромскую округу, Ковров («К.») и Меленки («М.»).

Не рассматривая подробно, какие реальные события провинциальной жизни тех лет нашли отражение в «Путешествии критики», отметим лишь один небезынтересный факт. Рассказывая в XII письме своей эпистолярной книги об одном «удивительном браке»,[27] Савелий Ферельцт подробно описал свою неудачную женитьбу на муромской помещице, «вдове флота лейтенанта Прасковье Луниной».[28] В том же письме упоминает он о «неизвестном писце, выпустившем в свет драму под заглавием *Вероломная жена, или Сила корыстолюбия*, которая содержит подробное описание сего удивительного брака». Изложив сюжет «сего удивительного брака», совпадающий с подлинным эпизодом из своей жизни, Ферельцт далее пишет: «Некоторые утверждают, что ее сочинил сам муж Зелии, от которого она отреклась. Однако ж он сам мне сказывал, что он и не читывал ее никогда».[29]

Упоминание анонимной пьесы кажется нам не случайным, вполне вероятно, что она принадлежит перу автора «Путешествия критики». Хотя Ферельцт говорит о пьесе как о «вышущенной в свет» и просит «любезного друга» ему ее доставить, но издание с таким заголовком отыскать не удалось: оно отсутствует во всех фондах крупных библиотек СССР, не значится в библиографических справочниках; не зафиксирована пьеса и в «Репертуаре дра-

---

[26] Там же, ф. 556, оп. 111, д. 372.

[27] *С. фон Ф.* Путешествие критики. М., 1951. С. 72—75.

[28] 25 сентября 1797 г. во Владимирское губернское правление из Суздальской духовной консистории поступила бумага следующего содержания: «Минувшего июля 6 дня сего года присланным к Виктору епископу Суздальскому и Владимирскому дворянин Савелий Карлов сын фон-Ферельцт из Мурома письмом между прочим представил, что жена его, муромская помещица, вдова флота лейтенанта Прасковья Лунина дочь, по первому мужу Епищева, называет его, фон-Ферельцта, незаконным мужем и намерение имеет сочетаться законным браком с поручиком Алексеем Степановым сыном Кравцовым, просит учинить о сем рассмотрение». (ГАВО, ф. 40, оп. 1, д. 267, л. 1).

[29] *С. фон Ф.* Путешествие критики. С. 74.

матических трупп Петербурга и Москвы 1801—1825 гг.».[30] По-видимому, драма Ферельцта «Вероломная жена, или Сила корыстолюбия» так же, как и другая его пьеса «Сифроа и Жинивия, или Изобличенная невинность», разрешенная к печати и постановке 8 октября 1797 г.,[31] издана не была. Содержание последней неизвестно.

В настоящей статье мы рассмотрели биографические материалы о писателе, хранящиеся в ГАВО. Вполне вероятно, что документы о Савелии Ферельцте, литературная деятельность которого достойна дальнейшего изучения, находятся также и в других архивах.

---

[30] История русского драматического театра. М., 1977. Т. 2. С. 449—542.

[31] *Рогожин В. Н.* Дела «Московской цензуры» в царствование Павла I как новые материалы для русской библиографии и словаря русских писателей, вып. 1. 1797 // СОРЯС. СПб., 1903. Т. 72. С. 5, 31 второй пагинации.

В. А. ЗАПАДОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ЧАСТЬ «РАССУЖДЕНИЯ О ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ» Г. Р. ДЕРЖАВИНА

«Рассуждение о лирической поэзии» сам Державин издать полностью не успел. При жизни автора были напечатаны две первые части трактата и небольшие фрагменты из третьей. В таком виде «Рассуждение» печаталось в дореволюционных изданиях, в том числе академическом,[1] по которому недавно воспроизведено в сборнике избранной прозы Державина.[2] При этом отдельные отрывки и фрагменты двух неопубликованных частей текста трактата неоднократно использовались в работах ряда советских исследователей и некоторых публикациях.[3]

История создания «Рассуждения о лирической поэзии» подробно рассмотрена в предыдущем сборнике «XVIII век», там же впервые напечатана «Часть 3-я».[4]

Таким образом, более чем через 170 лет после смерти Г. Р. Державина в данном сборнике завершается публикация его итогового литературно-теоретического труда.

Предлагаемая публикация представляет собой воспроизведение последней редакции 4-й части «Продолжения о лирической поэзии» (хранится в РО ГПБ, ф. 247, № 5, с. 102—132; л. 133 — вставка на л. 132) в том виде, какой принял текст после работы над ним автора, но без приложения — таблицы «Меры горацианских стихов. . .», составленной Александром Котельницким.

Исключением является абзац, начинающийся на с. 304 словами «О которых о всех находится достаточное изъяснение у г-на Тредьяковского. . .» и кончающийся словами «. . .нежели беспрерывным парением и глубокими мыслями». Этот абзац печатается в первоначальной редакции потому, что, во-первых, отсутствует (несмотря на четырех- или пятикратную переделку) четко

---

[1] Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1872. Т. 7. С. 546—611. Дальнейшие ссылки на это издание в примечаниях к «Части 4-й» введены в текст с пометкой «Гр.», указанием тома и страницы.

[2] *Державин Г. Р.* Избранная проза. М., 1984.

[3] Имеются в виду работы Г. А. Гуковского, Л. И. Кулаковой, В. А. Западова, Г. П. Шторма, Г. Н. Ионина и др., а также издания: *Державин Г. Р.* Стихотворения. Л., 1981; *Западов В. А.* Русская литература последней четверти XVIII века: Хрестоматия. М., 1985.

[4] См.: *Западов В. А.* Работа Г. Р. Державина над «Рассуждением о лирической поэзии» // XVIII век. Л., 1986. Сб. 15. С. 229. В приложении (С. 246—280): *Державин Г. Р.* Продолжение о лирической поэзии. Часть 3-я.

определяемый окончательный текст, неясны его границы; во-вторых, переделывал данный абзац Державин по совету Евгения Болховитинова — Евгений же свои возражения фактически снял. Однако, поскольку при переделках Державин формулировал очень интересные, принципиально важные мысли, которых нет в других местах трактата, постольку последующие редакции фрагмента помещены в примечаниях. В других случаях варианты не публикуются.

Орфография и пунктуация публикуемого текста приближены к современным нормам. Подстрочные примечания, означенные звездочками (астерисками), принадлежат Державину, помеченные буквами — публикатору.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Г. Р. Державин

Продолжение о лирической поэзии

Часть 4-я

Вот все известные доныне произведения новейших времян лиры. Они если не чада истой природы, то не что иное суть, как подражательные отростки древних, с некоторыми только переменами в их составе и мере, от игры воображения, свойств и страстей поэтов происшедшие. Высокие и глубокомысленные, какого бы названия ни были, то же, что гимны и оды; пламенные и исступленные — дифирамбы; трогательные и умилительные — пеаны; приятные и забавные — схолии. По разнообразию их в выражениях и по оттенке в чувствах, как эстетики говорят,* суть бесчисленны, подобно на древах листьям, начав от многолиственного твердого дуба до нежно благоуханной розы и даже до жесткого и сухого иссопа. Между высокопарным Пиндаром и забавно рассудительным Горацием, шутливым Анакреоном и страстновлюбленною Сафою, мрачным Оссияном и тупоумным камчадалом бесконечная есть разность. Но при всем том новейшие словесники** разделяют оду на четыре главные статьи.

Французы:

I на духовную.
II — героическую.
III — философическую.
IV — общежительную.

Немцы:

I на размыслительную, или философическую.
II — на фантастическую (вообразительную) или описательную.

---

* Зюльцер и Гецель.
** ГГ. Батё, Зюльцер и Гецель.

III — чувственную, или чувства одни изъявляющую.
IV — смешанную, или те и другие свойства содержащую; но г-н Гецель к оным прибавляет и V-ю, так называемую амбеическую, или перекликную.

В *духовной* оде удивляется поэт премудрости создателя, в видимом им в сем великолепном мире чувствами, а в невидимом — духом веры усматриваемой; хвалит провидение, славословит благость и силу его; исповедует пред ним свое ничтожество и согрешение. — Все же таковые понятия изъявляет простым, чистым, *сокрушенным сердцем или пламенным восторгом, даже иногда* как бы во исступлении, из бренной плоти исторгаясь, воскрыляется душою в лик ангелов. Таковых множество гимнов и од в Ветхом завете, в Псалтире у Давида и у прочих пророков, а в христианстве у Дамаскина и у других церковных песнописцев. Заметить должно, что в первых господствует более чувственное воображение: там прыгают горы, как овны; реки вспять возвращаются; одевается бог светом, как ризою; ходит на крылех ветренних и тому подобное. Во вторых царствует духовное парение или отвлеченные непостижимые понятия таинств о воплощении сына божия. — Слово плоть бысть; сый триипостасное сияние отчее; по рождестве дева и по смерти жива и проч. Приведем здесь тому и другому примеры:

В ч у в с т в е н н о м.

1) Облак и мрак окрест его, правда и судьба исправление престола его. Огнь пред ним предыдет, и попалит окрест враги его. Осветит молния его вселенную, виде и подвижеся земля. Горы яко воск растаяша от лица господня, от лица господа всея земли.

Псал. 96.

2) Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом как перо огне,
Так я в сей бездне углублен
Теряюсь, мысльми утомлен!

Г. Ломон. Ода II. *О величестве божием.*

3) Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от тебя родятся;
Как в мразный ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют, —
Так звезды в безднах под тобой.

Часть 1-я. Ода Бог.

В о т в л е ч е н н о м.

1) Вонми небо, и возглаголю, яко слово отчее волею сниде на землю, преклонив небеса, и бысть человек да человека спасет, яко человеколюбец.

Дамаск. Глас 1-й. Песнь 2-я.

2) Светило дневное блистает
Лишь только на поверхность тел;

Но взор твой в бездну проницает,
Не зная никаких предел.
От светлости твоих очей
Лиется радость твари всей.

Г. Ломон. Ода 10-я.

3) Хаоса бытность довременну
Из бездн ты вечности воззвал;
А вечность, прежде всех рожденну,
В себе самом ты основал:
Себя собою составляя,
Собою из себя сияя,
Ты свет, откуда свет истек,
Создавый все единым словом,
В твореньи простираясь новом,
Ты был, ты есть, ты будешь в век!

Часть 1-я, Ода Бог.

В *героической* оде восхищенный лирик удивляется или сорадуется душевным и телесным качествам прославляемого им героя или героини или своего народа; одобряет и хвалит их заслуги, поощряя и впредь к добродетелям; превозносит великодушие, мужество и благость в действиях, смелость и благоразумие в предприятиях. Правилы сей оды те же самые, что и в богочтительной; но по не столь важному предмету наполняется она не столь высокими мыслями. Примечено сие и у других славных художников, как-то: у живописцев, музыкантов и каменосечцев, что при изображении ими божественных предметов возвышаются их таланты и даже сами себя превосходят. — У греков в героических песнях всех был блистательнее Пиндар. Он воспевал отличившихся на Олимпийских и других играх конским ристанием, бегом, борьбою и прочими ратоборными подвигами. — В Риме, подражая ему, Гораций воспевал Августа, у нас Ломоносов Петра и Елисавету, а Петров Екатерину II-ю, которые в кругу наших лириков, писавших похвальные оды, предстательствуют и поныне. — Вот примеры:

1) Когда бы древни веки знали
Твою щедроту с красотой,
Тогда бы жертвой почитали
Прекрасный в храме образ твой.

Г. Ломон. Ода 2-я.

2) В тебе прекрасный дом создали
Душе великой небеса: . .

Его же Ода 7-я.

3) Великое светило миру,
Блистая с вечной высоты
На бисер, злато и порфиру,
На все земные красоты,
Во все страны свой взор возводит;
Но краше в свете не находит
Елисаветы и тебя.
Ты кроме той всего превыше,

Душа ея зефира тише
И зрак прекраснее рая.

Его же Ода 8-я.

4) Что Марс кровавый не дерзает
Руки своей простерти к нам?
Твои он силы почитает
И власть подобну небесам.

Его же Ода 9-я.

5) Проснись злата, проснися лира!
Уж твой высоко Феб восток;
Уже восчувствован от мира
Прекрасный им рожденный век.
Взгляни, как в плод оделись лозы
И развернулись нежны розы,
Содейство Феба ощутя!
Как блещет нивы он златя!
Цветут, ухают* рощи злачны;
Шумят, журчат ключи прозрачны;
Не страшен Флоре вихрь, ни мгла, ни град;
Феб — вождь красот; Феб — сильный царь отрад;
Кто счастье смертных строит,
Того, о лира, петь достоит;
Греми его хвалы!

Ода г. Петрова кн. Потемкину. Часть 1.

6) Он сведеньем Улисс, геройством Ахиллес.

Его же Ода гр. Румянцеву. Часть 1.

7) О стоик посреди великолепий трона!
Которого душа со счастием равна!

Его же Ода гр. Орлову. Часть 1.

8) Так, — мужеству ль его дивиться? —
Он твердостью изгнал врагов;
Великодушию ль чудиться? —
Он местью их не пролия кровь!
Красе ль, щедроте ль поклоняться? —
Се пленны им благотворятся
Безмездно царствы и цари!
Иль обожать его смиренье? —
Он богу только в прославленье
Творил добро, смирял царств при.

Ода импер. Александру I-му
на возвращение из армии. Часть V.

9) О росс! о добльственный народ!
Единственный, великодушный,
Великий, сильный, славой звучный,
Изящностью твоих доброт. —
По мышцам — ты неутомимый;
По духу — ты непобедимый;
По сердцу — прост; по чувству — добр;
Ты в счастьи — тих; в несчастьи — бодр;
Царю — радушен, благороден,
В терпеньи — лишь себе подобен.

Часть V. Гимн на прогнание французов.

* льют запах.

10) Сражаясь веры со врагами
И небо поддержав плечами,
Дерзай! великий богом муж.

Часть II.
Ода на переход Альпийских гор.

Философическая ода должна быть содержания нравоучительного. — В ней плененный стихотворец красотою добродетели или пораженный гнусностию порока изъявляет благорасположение свое к первой и отвращение от другой. Вот примеры:

1) Проснись, о смертный человек!
И сделайся полезным свету;
Последуй истины совету;
В беспечности не трать свой век.
Летит не возвращаясь время;
Спеши пороков свергнуть бремя. —
Заутра смерть тебя ссечет.

Г. Петрова перевод с Томаса. Часть I.

2) В бедах утеха и отрада,
От злых защитник мне, отрада,
О сладость сердца моего!
Возлюбленная добродетель!
Душа моя тому свидетель,
Что ты любезнее всего.

Г. Хераскова Часть VII.
Утешенная добродетель.

3) Восторги мыслей и забава
Трудов не стоит таковых;
И многих умирает слава
Гораздо прежде смерти их.

Его же Часть VII. К музам

4) Не перлы персские на вас
И не бразильски звезды ясны,
Для возлюбивших правду глас
Лишь добродетели прекрасны. —
Они суть смертных похвала.
Калигула! твой конь в Сенате
Не мог сиять, сияя в злате, —
Сияют добрые дела.

Часть 1-я. Вельможа.

5) Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами.

Там же.

6) Оставя скиптр свой и чертог,
Быв странником в пыли и поте,
Великий Петр, как некий бог,
Блистал величеством в работе. —
Почтен и в рубище герой!
Екатерина в низкой доле

И не на царском бы престоле
Была великою женой.

Там же.

Общежительные оды могут быть различного содержания: веселые, роскошные, задумчивые и печальные. — В них стихотворец, роскошествуя в лоне удовольствий, воспевает младость, радость, пиры, игры и смехи, как Анакреон; или, утопая в пучине горести, оплакивает, как Юнг, потерю своих родных и прочее. Гораций умел совмещать в них стоическую философию Зенона с приятностию земных наслаждений Эпикура, чем и приобрел себе как от своих *единовременников*, так и от *потомков* бессмертную славу. — Столь-то средина, как стезя премудрости, всегда и всем нравится! Вот примеры:

Веселой.

1) Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В крафинах вина, пунш, блистая
Тот льдом, те искрами, манят;
С курильниц благовонья льются,
Плоды среди корзин смеются,
Не смеют слуги и дохнуть,
Тебя стола вкруг ожидая;
Хозяйка статная, младая
Готова руку протянуть.

Часть 1. Приглашение к обеду.

Задумчивой.

2) Слыхал, слыхал я тайну эту,
Что иногда грустит и царь;
Ни ночь, ни день покоя нету,
Хотя им вся покойна тварь.
Хотя он громкой славой знатен,
Но, ах! — и трон всегда ль приятен
Тому, кто век свой в хлопотах?
Тут зрит обман, там зрит упадок:
Как бедный часовой тот жалок,
Который вечно на часах!

Там же.

3) Блаженство не в лучах порфир,
Не в вкусе яств, не в неге слуха;
Но в здравьи и в спокойстве духа, —
Умеренность есть лучший пир.

Там же.

4) Блажен, кто поутру проснется
Так счастливым, как был вчера!

Часть 1-я. К первому соседу.

5) Придут, придут часы те скучны,
Когда твои ланиты тучны
Престанут грации трепать.

Там же.

Роскошной.

6) Гремит музыка, слышны хоры
Вкруг лакомых твоих столов;
Сластей и ананасов горы
И множество других плодов
Прельщают чувствы и питают;
Младые девы угощают,
Подносят вина чередой,
И алиатико с шампанским,
И пиво русское с британским,
И мозель с зельцерской водой.

Там же.

Печальной.

7) Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает,
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает!
Едва увидел я сей свет,
Уже зубами смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет,
И дни мои, как злак, сечет.

Глядит на всех, — и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и сребре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны
И точит лезвее косы.

Часть 1. На смерть кн. Мещерского.

8) Бессмертная прямая слава
Есть цепь цветущих вечно благ. —
Что ж хвалишься во злобе, сильный
Внутрь беззаконием и вне,
Коль ты чрез слезы крокодильны,
Чрез токи крови на войне,
Чрез вероломствы, бунты, яды,
Чрез святотатну неба честь
Поверг престолы, храмы, грады
И мог царей всех выше сесть?

9) Возьмем же в противоположность
Тирану доброго царя,
Всю истощившего возможность,
Блаженство подданных творя:
Не зрим ли гения в нем неба,
Блестяща радуги лучом,
В том — мрачна демона Эреба?
Тот сыплет свет, — сей вержет гром.

Часть V. Из оды Слава.

Касательно *размыслительной* оды, Зюльцером и Гецелем упоминаемой, то она есть та же самая, что и философическая, или моральная; но поелику сии эстетики ничего не говорят о духовной,

всеми филологами принимаемой, то и нужно кажется допустить в нее не токмо философические, но и богословские мысли. — В таковых владычествует более всего дух и ум, нежели воображение и чувствы; а потому картины в них редки или совсем не вместны. Они наполняются паче глубокомыслием, или отвлеченными понятиями. Перлы их суть краткие изречении разума и истины: я есмь, есть и ты. — Душа их — нравоучение, выразительно, приятно, а иногда и забавно сказанное, как говорит Гораций, неподражаемый в сем роде искусник:

Впрок вин не запасай других,
Обрезывай крыле надежды
По краткости ты дней твоих.

Вот примеры размыслительных од из строгих нравоучительных од:

1) А ты, вторый Сарданапал!
К чему стремишь всех мыслей беги?
На то ль, чтоб век твой протекал
Средь игр, средь праздности и неги?

Часть 1. Вельможа.

2) Доколе, счастье, ты венцами
Злодеев будешь украшать?
Доколе ложными лучами
Наш разум хочешь ослеплять?
Доколе, истукан прелестной,
Мы станем жертвой, нам бесчестной,
Твой тщетной почитать олтарь?
Доколе будем строить храмы,
Твои чтить замыслы упрямы,
Прельщенная словесна тварь?

3) Без брани хищной и насильной
Не можно разве устроять?
Не можно божеству земному
Без ударяющего грому
Своим величеством блистать?

4) Вам будет царь в нем несравненный,
Правдивой, кротостью почтенный,
Достойныи олтаря во век;
Тогда страшилище Евфрата
Против венчанного Сократа
Последней будет человек.

Ода на счастие г Руссо,
перевод г Ломоносова.

5) Доколь владычество и славу,
Коварство! будешь присвоять;
Весы, кадило, меч, державу
В руках злодейских обращать?
Доколь ловитвой ухищренной
Ярем накладывать вселенной
Тебе чрез наглость и чрез лесть?
За святотатственны обманы
Доколе стяжут власть тираны,
Кумиры — божескую честь?

6) Когда смеешься ты, — сирена;
Когда ты плачешь, — крокодил;
Когда молчишь, — тогда геенна
Кипит в тебе всех адских сил.

7) Не трон, — но духа благородство
Дает велики имена.

Часть 1. Ода на коварство.

Фантазтическая ода описывает природу. — Ее достоинство — живость и блестящие картины. — Вот примеры:

1) На темно-голубом эфире
Златая плавала луна;
В серебряной своей порфире
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой освещала
И палевым своим лучом
Златые стекла рисовала
На лаковом полу моем.
Сон томною своей рукою
Мечты различны рассыпал,
Кропя забвения росою,
Моих домашних усыплял;
Вокруг вся область почивала,
Петрополь с башнями дремал,
Нева из урны чуть мелькала,
Чуть Бельт в брегах своих сверкал.

Часть 1. Ода Видение мурзы.

2) Седящ, увенчан осокою,
В тени развесистых древес,
На урну облегшись рукою,
Являющий лице небес
Прекрасный вижу я источник.

3) Источник шумный и прозрачный,
Текущий с горной высоты,
Луга поящий, долы злачны,
Кропящий перлами цветы,
О, коль ты мне приятен зришься!

4) Ты чист, — и восхищаешь взоры,
Ты быстр, — и утешаешь слух. —
Как серна, скачуща на горы,
Так мой к тебе стремится дух.

Там же. Ода Ключ.

5) Алмазна сыплется гора
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит.

Там же. Ода Водопад.

6) На холме, сквозь зеленой рощи,
При блеске светлого ручья,

Под кровом тихой майской нощи,
Вдали я слышу соловья.
По ветрам легким, благовонным
То свист его, то звон летит;
То, шумом заглушаем водным,
Вздыханьем сладостным томит.

Там же. Ода Соловей.

Чувственная ода изливает нежные, трогательные чувствы. — Вот примеры:

1) Щедрот источник, ангел мира,
Богиня радостных сердец,
На коей как заря порфира,
Как солнце тихих дней венец;
О, мыслей наших рай прекрасный,
Небес безмрачных образ ясный,
Где видим кроткую весну
В лице, в устах, в очах и нраве!
Возможно ль при твоеи державе
В Европе страшну зреть войну?

Ода 15 г. Ломоносова.

2) Не бряцай, печальна лира,
Громкой песни ты сей час,
Благодетельница мира
Удалилася от нас.
Муз богиня удалилась,
Из Петрополя сокрылась
Матерь от своих детей:
Солнцу красному подобно,
Счастье, кажется, народно
Укатилося за ней.

Часть I-я.
Ода на отсутствие имп
Екатерины II-я в Белоруссию.

3) Стран чуждых хвально знать искусство
И их любя благотворить;
Но росса сердце, сына чувство,
Отец! чем можешь заменить?

Часть II-я.
Глас Санктпетербургского общества.

4) Уж двадцать лет, как украшаешь
Ты росска трона вышину;
Уж двадцать лет изображаешь
Щедроту, кротость, тишину. —
Кто зрел лице твое сурово?
Кому рекла обидно слово?
Виною чьих была ты слез?
Во храме ль ты, — благочестива;
В чертогах ли, — ласкоречива;
Твой светлый взгляд — есть взгляд небес.

Часть V. На отъезд имп. Елисаветы Алексеевны.

Перекличную, или амбеическую оду, в которой поэт, представляя два лица, заставляет их перекликаться, спорить или говорить между собою, вводит г-н Гецель, ссылаясь на евреев, что у них

таковые были в употреблении, показав их в псалмах 15, 24 и 46-м, а по русской Псалтири в 14, 23 и 45. Песни Песней Соломоновых показывают таковые же перекличные оды. Стихиры греческой церкви, передаваемые с крылоса на крылос, то же. У Горация — в книге III под числом IX «К Лиде»; у индейского брамина шри Бгарота Чондро Рай — в книге Бидде Шундор (Красота учености); у господина Дмитриева — в 1-й части «Ермак»; у меня — в III части «Пьяной и трезвой философы». — Но оставим новейшие, покажем для любопытства в отрывках переводов древних восточных лириков.

В кафисме 2-й в 14-м псалме.

(Одно лице вопрошает:) Господи, кто обитает в жилище твоем? или кто вселится в святую гору твою?

(Другое лице ответствует): Ходяй непорочен, и делаяй правду, глаголяй истину в сердце своем.

В кафисме 3-й в 23-м псалме.

Вопрос: Кто взыдет на гору господню? или кто станет на месте святом его?

Ответ: Неповинен руками и чист сердцем. . .

Вопрос: Кто есть царь славы?

Ответ: Господь сил, той есть царь славы.

В Песнях Песней.

Суламита

Скажи, о друг души моей!
Под коей миртой ты витаешь?
Какой забавит соловей?
Где кедр, под коим почиваешь?

Соломон

Когда не знаешь ты сего,
Пастушка милая, овечек
Гони ты стада твоего
На двор, что в роще между речек.[1]

Из индейского брамина шри Бгарот Чондро Рая.*

Князь

Дщерь сына времени я вижу
Или богиню красоты?
Какая прелесть несравненна
Видна во всех ее чертах!
Лице — цветов весны нежнее,
А взор — как луч блестящих звезд.
Счастлив, тебя кто часто видит;
Счастлив, кто близь тебя живет; —
Богов счастливее тот будет,
Тобою будет кто любим.

---

* Перевод сообщил г-н Лебедев, переводчик Иностранной коллегии, живший в Индии 14 лет, искусный в шамскрито-бенгальском индейском языке.

Смотря на прелести небесны,
Мужчины млеют пред тобой. —
В восторг приводит несказанный
Единый взор твоих очей.
Трепещут жилы, сердце бьется
От прикасания руки. —
Как камню твердому быть должно,
Тебя чтоб видя, не любить.

Княжна

Как кокос (норель) средь дерев индийских,
Так ты среди других мужчин. —
Твой стан и вид твой благородный
Являет выступь белого слона;*
Как лев пред прочими зверями,
Так пред людьми отличен ты.

Князь

Когда я взор твой ни встречаю,
Вся кровь волнуется во мне;
Себя и все позабываю,
Когда твой слышу разговор. —
С тобой в восторгах утопаю,
Тоскую, мучусь без тебя.

Княжна

Я с равнодушием смотрела
Всегда доселе на мужчин.
Любовной страсти я не знала,
Когда не видела тебя. —
С тех пор совсем переменилась,
Сама не знаю от чего, —
И чувства сделались живее,
И в жилах горячее кровь,
И грудь вздымается скорее, —
Я чувствую к тебе любовь.[2]

Из Ермака.

Старец

Шуми, Иртыш! реви ты с нами
И вторь плачевным голосам!
Навек отвержены богами!
О, горе нам!

Младый

О, горе нам!
О, страшная для нас невзгода!

Старец

О ты, которыя венец
Поддерживали три народа,**
Гремевши мира по конец!

---

* Индийское выражение для означения предмета величественного или прекрасного.

** Татары, остяки и вогуличи.

О, сильна древняя держава!
О, матерь нескольких племен!
Прошла твоя, исчезла слава!
Сибирь! и ты познала плен.

Младый

Твои народы расточенны,
Как вихрем возмятенный прах,
И сам Кучум,* гроза вселенны,
Твой царь погиб в чужих песках.

Ода *смешенная* — та же самая и *общежительная*, о коей говорено выше. — Поелику же оба вышеименованные противусмысленные филологи ее допускают, то, кажется, и все разделы прочих едва ли не напрасны потому, что в ней одной стихотворец может говорить обо всем. — Похваляя героя, прославлять бога; описывая природу, проповедывать нравоучение и проч. Разность предметов производит разнообразие и рождает изобилие, оказывает остроту ума как молнию, от одного края неба до другого мгновенно устремляющуюся, что возбуждает удивление; но только тут весьма нужно здравомыслие, или логика. Поелику ж в таковых смешенных одах удобно помещаются похвалы иносказательные и намеками, которые, подобно тонкому благоуханию или тихой гармонии, издалече со стороны приносимыя, увеселяют более сердца чувствительные и благородные, нежели близкое и грубое громогласие, или густый фимиама дым, прямо в лице куримый, то они и нравятся лучше людям, вкус имеющим. Внезапное же совокупление всех далеких и близких лучей, или околичностей, к одной точке есть верх искусства. Оно-то, потрясая душу, называется изящным или высоким. — Вот примеры:

Аллегории, или иносказания.

1) Богоподобная царевна
Киргиз-Кайсацкия орды!
Которой мудрость несравненна
Открыла верные следы
Царевичу младому Хлору
Взойти на ту высоку гору,
Где роза без шипов растет,
Где добродетель обитает, —
Она мой дух и ум пленяет,
Подай, найти ее, совет.

Часть 1-я. Ода XII-я.[3]

2) Рафаэль! живописец славный,
Творец искусством естества!
Рафаэль чудный, бесприкладный
Изобразитель божества!
Умел ты кистию свободной
Непостижимость написать, —
Умей моей богоподобной
Царевны образ начертать.

[3]Там же, ода XX.[4]

* Кучум из царства своего ушел к калмыкам и убит ими.

Отверницы,[5] обиняки или намеки.

Между лентяем и брюзгой,
Между тщеславья и пороком
Нашел кто разве ненароком
Путь добродетели прямой.

Часть 1. Ода Фелице.

Всяк думает, что я Чупятов
В мароккских лентах и звездах.

Там же, ода Вельможа.

Внезапное совокупление околичностей.

По следам Анакреона
Я хотел воспеть харит —
Феб во гневе с Геликона
Мне предстал и говорит:
«Как! и ты уже небесных
Дев желаешь воспевать? —
Столько прелестей бессмертных
Хочет смертный описать!
Но бывал ли на высоком
Ты Олимпе у богов?
Обнимал ли бренным оком
Ты веселье их пиров?
Видел ли харит пред ними,
Как под звук приятных лир
Плясками они своими
Восхищают горний мир;
Как с протяжным тихим тоном
Важно павами плывут;
Как с веселым быстрым звоном
Голубками воздух вьют;
Как вокруг они спокойно
Величавый мещут взгляд;
Как их все движенья стройно
Взору, сердцу говорят?
Как хитоны их эфирны,
Льну подобные власы,
Очи светлые, сафирны
Помрачают всех красы?
Как богини всем собором
Признают: им равных нет —
И Минерва важным взором
Улыбается им вслед?
Словом: видел ли картины,
Непостижные уму?» —
«Видел внук Екатерины», —
Я ответствовал ему.
Бог Парнаса усмехнулся,
Дав мне лиру, отлетел, —
Я струнам ее коснулся
И младых харит воспел.

Часть III. Ода V. Хариты.

Словом, ежели похвалы, под аллегорическими именами наполненные разнообразием, в общежительных одах бывают не отвра-

тительны не токмо героям, которым они воспеты, но нравятся и посторонним людям по своим приятным околичностям, то, кажется, уже излишны образцы, господами учеными преподаваемые. Они те песни называют: [6]

Генетлиатическою [7] — или на день рождения.

Эпиталамическою — на брачное сочетание.

Апобатерическою — на отъезд в путь.

Эпибатерическою — на возвращение из пути.

Пропемптическою — доброжелательною при проводах.

Синхаристическою — поздравительною[a] возвратившимся в отечество.

Эпиникическою — торжественною.

Сотерическою — на выздоровление.

Эпидиктическою — панегирическою, т. е. похвальною.

Эвхаристическою — благодарственною.

Эоническою — вековою.

Схолостическою, или симпосиастическою, т. е. пир описывающею.

Просевтическою — просительною у бога, у государя или вельмож.

Апологическою — басельною.

О которых о всех находится достаточное изъяснение у г-на Тредьяковского в Способе к сложению стихов, им выданном в 1735 году.[8] Но я скажу: ежели названии не придают вещам уважения без прямых достоинств, то должно со мною согласиться, что таковые разделении не что иное, как школярный вздор, который напрасно только отягощает память юношества. — Установя оду на путешествие, на возвращение, можно уже и на все действии человеческие, — на сидение, на лежание. Вот нелепица! — Но когда раздел непременно нужен, то можно бы оный установить не по содержаниям вещей в песнях, но по свойствам или именам славных песнопевцев, для того что не токмо стихотворство, но и другие художества суть слепок творческого духа с природы, или подражание оной; но у всякого гения есть своя собственность, или печать его дара, которым он от других отличается. — Мишель Анжелло узнал по одной черте кисти Рафаела. — Всякой в поэзии знаток по могуществу, перелагающему горы в сердца людские, познает вперенного святым духом Давида; по историческим околичностям и извивистым оборотам, стремящимся быстро из мысли в мысль к одному прославляемому подвижнику, — чудесного Пиндара; по глубокомыслию, соединенному с приятностию роскоши и любомудрия в кратких и тонких изречениях, — неподражаемого Горация; по сильному и быстропробегающему пламеню, которое, как молния, пробегая сердце, поражает и мертвит, — несчастновлюбленную, нежную Сафу; по чувственному удовольствию, неге и забавам — сладостного Анакреона; по мрачному описанию природы, кровавым битвам, теням героев, в облаках

---

[a] *Далее вписано* на, *однако следующее слово не исправлено.*

летающим, и по унынию, от слепоты и старости происходящему, — трогательного Оссияна. — Всякой, говорю, искусстник узнает в живописи Рафаела и Корреджия по изобильному воображению, простоте и благородству в фигурах и особливо первого по правильному рисунку, а второго по прелестному колориту; по легкости и плавности кисти, нежности в лицах и значительности характеров — Гвидореня; [9] по изобилию в мыслях и живости в выражениях — Рубенса; по смелости и силе — Аннибала Караччи; по живому воображению, богатству и свежести в колоритах, наипаче женских лиц — Павла Веронеза и проч. — Музыкантов: по силе, благородству, привлекательности, чудному везде, ясному и всем вразумительному согласию — Палестрино; по благородству, высокости и соединенной богатой гармонии — Лео; по простоте и нежности, прямо идущей к сердцу, — Порпори; по силе и богатству — Александра Скарлато; по живому и веселому воображению — Анфосия; по чувствительности и глубокой меланхолии — Парголезия. Таким образом распознаются зодчие и ваятели по их характерам, привычкам и вкусам, — то для чего бы, кажется, не различить и не распределить и лирических поэм по именам их славных мастеров, не говоря о их содержаниях или не ограничивая их, о чем бы они ни были? — Например, оставя духовные неприкосновенными, для чего бы не назвать героической, или похвальной оды — *пиндарическою*? философической, или размыслительной — *горацианскою*? страстной, или пламеннолюбовной — *сафическою*? роскошной или веселошутливой — *анакреонтическою*? меланхолической или военноунылой — *оссиянскою*? — применяясь к почерку, или вкусу их, как выше они написаны. Ломоносов более отменен частыми радостными, почти одинакими восторгами, величественными картинами и благозвучием, нежели беспрерывным парением и глубокими мыслями.[10]

Состав, форму, или наружный распорядок од еврейских можно видеть в Псалтире, на немецкой язык переведенной славным Мендельсоном, напечатанной 1783 года в Берлине. — Греческие же, до нас дошедшие пиндарические оды заключаются в трех отделениях, которые называются: 1-я — строфою, 2-я — антистрофою, 3-я — эподом или хором. За предшествовавшею строфою последовала антистрофа, а за нею уже эпод. Потом в таковом же порядке они вновь начинались, переменялись и продолжались. Песнопение сих куплетов в роде и числе разнообразных стихов оживлялось пляскою. Танцовщики во время пения строфы обращались и вертелись в одну сторону, во время антистрофы — в другую; во время же эпода, который был весьма краток, стоя на одном месте, ни туды ни сюды не двигаясь, только покачивались или приплясывали, — не знаю я, отсюда ли взял покойный князь Потемкин-Таврический при торжестве его о взятии Измаила пляску, учрежденную им из кадрили 24-х знаменитейших особ, которая под музыкою и пением хоров, для того случая нарочно сочиненных. переменяя контроданс с польским, приводили в восхищение зрителей. — Вот пример формы пиндарической оды:

Строфа.

Полунощи царица,
Народов многих мать!
Владычия пространству
Душа твоя равна.
Ты черплешь дары с неба;
Мы черплем от тебя.
Ты трону честь Петрову,
Нам счастие и жизнь.

Антистрофа.

О, Павел и Мария,
Утехи наших дум!
О, орле и орлица,
Родившие птенцов,
Имущих воспарити
Превыше облаков!
Уже в броне и шлеме
Играет Александр.

Эподос.

Как благовонный израстает
На поле цветоносном крин,
Подобной красотой блистает
Во колыбели Константин.
Богинины растите внуки,
И хвал ее продлите звуки.
Как кедр Петров умножься дом
И богати весь свет плодом!

Часть 1-я Соч. г. Петрова
петой в доме его на Островках.

Присовокупляю здесь для любопытных знать древних музыку, или мелодию, одной Пиндаровой оды и гимна ко Немезисе.[6]

Подобные пиндарические формы можно видеть и еще у г. Петрова; а также и у меня II-й части Ода XXI, LXXVI,[11] в IV-й части — в Описании праздника князя Потемкина-Таврического,[12] в V-й — на освящение Казанския церкви.[13] — Таковым составом и все были писаны оды Пиндаром, и большая часть Софокловых драматических хоров; но Алцей, Сафо и другие лирики, до Пиндара жившие, имели всякой собственные, в которых они разные роды стихов, мер и падений размещали по своему благоизобретению. — Не случилось мне, однако, видеть Алцеевых, и уцелели ли они от времени, не знаю; а сафической вот пример:

Счастлив! и в счастии богам тот равен,
Сидит напротив и внемлет кто уст
Сладчайших твой глас и милую очес
Улыбку к себе.

Гораций в разностишных своих одах едва ли не все собрал греческие формы и показал им образцы, которым при конце сего рассуждения приложена таблица трудов А. Котельницкого.

[6] Здесь оставить довольное пространство для нот (*на полях после этой фразы. — В. З.*).

В Германии, в новейшие времена, Клопшток первый ему в том последовал, а после его и многих уже видим немецких стихотворцев, пишущих свои оды разнородными формами и разномерными стихами с рифмами и без рифм, каковы и у нас ныне появляются. Тредьяковский давно уже о них говорил в Способе своем о сложении российских стихов, изданном им в 1735 году. — Там он показал многие примеры не токмо разномерных стихов,[14] но и разносчетных куплетов, сказав, что будто не бывает более десятистрочных;[15] но, напротив, в Пиндаре видим не токмо в строфах и антистрофах, но и в некоторых эподах более, нежели по 14-ти стихов. Клопштокову оду для примера прилагаю.[в]

Поелику ж египтяне, евреи, индейцы, персы и прочие восточные народы не могут не почесться древнейшими греков и латинян, от коих в средние века, как многие писатели уверяют, на западе барды, а на севере скальды принесли образцы песен к цельтам, германам, англосаксам, исландам, каледонянам и скандинавам, то и скажу я нечто для любопытных о формах индейских браминов, аравлян, персов, грузин и скандинавских скальдов.

У индейцев стихи на шамскрито-индейском языке бывают разностопные. — От одной стопы простираются иногда и до 15-ти, но более шестистопные. — Вот пример оных, взятый из их вышеупомянутого стихотворца мага шри Бгарота Чондро Рай, переведенный на русской язык г-м надворным советником Лебедевым:

Престань алкать богатств, о бренный человек!
Но душу украшай ты добрыми делами,
Учись вкушать плоды от собственных трудов, —
Вот средства погасить желанья похотливы. . .
Что жизнь твоя? Она есть капелька воды,
Которая дрожит на розовом листочке. . .[17]

Г-н Лебедев, ссылаясь на 200 страницу грамматики Натанаила Брассея Галгета, показывает примеры индейских стихов из книги Бидде-Шундор (Красота учености). Основывая весь их состав на *пересечениях* или *расстановках* (цезурах), *ознаменованных* знаками: (), ()) и точками (:), которые имеют особые названии, как-то: *есс-дарьи*, *тотом-чондо*, *дди поди*, или *дуй поди* и прочие, по коим они приспособлены к музыке и, отличая в пении одним, двумя и тремя щелчками перстов, сопровождаются разными инструментами, как-то: гобоями, или дудками, гудками, балалайками, железными треугольниками и раковинами, из коих последние почитаются божественным инструментом. — При таковых оркестрах в богомольных домах народные певцы, налагая себе на ноги железные цепи и положа на плечи один другого руки, переходят из стороны в сторону, производя звуком, голосами и инструментами страшный шум, подобный буре.[18]

Арабские и персидские лирические произведения, с небольшою между собою разницею, называемые *газель*, *кита* и *касыде*, не упо-

[в] *На поле пометка рукой Державина*: Тут на 102 строки оставить место.[16]

миная эпических, именуемых *месцеви*, пишутся: *газели* пятью, шестью и девятью стихами, в коих в начальных двуполустишиях рифмы, а в прочих не бывает, только в последнем слоге. — *Кита*, или двустишная песня, в коей также только в первых двухстишиях рифма наблюдается. — *Касыде*, или похвальный гимн богу и знаменитым людям, пишется продолговатыми стихами. — Из коих в *газеле* и в *ките* всякой стих имеет особой свой смысл, не имея никакой с прочими связи, а в *касыде* связывается смысл одного стиха с другим. — Все они бывают четырехстопные, трехстопные и двухстопные, из коих длинные составляются из пяти и из четырех слогов, а короткие из двух слогов. — Пример самой длинной стопы:

Моретифилатун,

самой короткой:

Феул.

А из сего видно, что счет слогов, а не тоническое ударение составляет их стихосложение.[19]

Грузинских форма некоторых стихов отличается от всех вышеписанных частыми рифмами; ибо у них бывают не токмо такие стихи, которые в каждой строке на конце имеют рифму, но и такие, в которых помещаются в каждой строке по четыре рифмы, например:

Тамар цкнари, шесацинари, хмарнари, пирмцинари,
Мзе-мциннари, сачинари, цкалимкнари, момдинари.

Бывают и двадцатисложные с четырьмя и с двумя сряду рифмами.[20]

Что ж касается до скандинавской поэзии, то скальды, по образцам их Эдды,* составляли свои песни удивительно и почти непонятно.[21] — Они ставили себе за особенную честь и славу быть в коротких словах многозначительными, а необыкновенными переставками слов не токмо для простого народа, но и для разумеющих читать, хотя они смысл слов и понимали, непостижимыми, или таинственными, чтоб никто к ним подделаться не мог, полагая верх своего в том искусства. — Не распространяясь, впрочем, как сюды о непринадлежащем, богатстве их языка, силе, разнообразии, извитиях, красотах и блесках выражений и о неисчислимом множестве благозвучных слов и рифм, приятностию своею увеселяющих ухо, скажу об одном составе песен. — Они составляют их между слогов трех и девяти, в каковых сильнее жар изливается. — Бывают четырехстопные и пятистопные, а иногда и до четырнадцатисложных, или до экзаметров простираются. — Строфы разнообразны и в количестве слогов, и в падениях, между коими иногда для украшения, для избежания единозвучия или для возвышения новым духом содержания бывают хоры, или эподы, повторении, рефрены, или припевы. — Словом, скальды были весьма прилежны и затейливы в изобретении разнородных форм их поэм, коих у них счи-

* Эдда — книга, содержащая в себе скандинавское баснословие.

тается до 136-ти. — В древних не примечается рифм; но у новейших весьма видны. — Главное же основание скандинавской пиитики состоит в трех правилах, которые они строго соблюдают, а именно: 1-е) три одинакие буквы, 2-е) ровной счет слогов, 3-е) краткость и долгота ударений; а также в древнейших оказывается и определенная, прекрасная, весьма утонченная переставка слов, как для сокрытия понятий, так и для благозвучия. — Чрез нее бывает, с одной стороны, в одной строфе два или более смысла, так тесно и искусно между собою переплетенные, что незнатокам Эдды кажется гордиянским узлом, которого они разрешить не в силах; а с другой — от возвращения или повторения сказанного трех букв — такая гармония, которая их пленяла. — Но скажем понятнее: те однозвучные вышесказанные три буквы или слова, начинающиеся с одной и той же буквы, односложные они или неодносложные, должны быть в каждом двустишии так размещены, чтоб в первом стихе было б их непременно по две, а во втором одна; однако бы не сплошь одна за другою следовали, но между другими словами. — Равно и возвратных слогов должно быть в каждом стихе по два одинакого произношения или звука, ежели они только хотя сходственно созвучны; а ежели полной звук издают, то тем гармония совершеннее. — При всем том сия сходственная созвучность терпима только была в первом стихе, а во втором должна быть непременно полный звук издающая. — Из таковых-то переставок слов и букв и распоряжения слогов, как уверяют знатоки северных творений скальдов, выходило таковое очаровательное согласие, загадочная острота мыслей и игривость воображения, что из описания их понять неудобно, а разве несколько из примеров. — Вот они:

Строфа, в которой перепутан и скрыт смысл переставкою слов.

6 2 3 4 5	6 2 3 4 5
Laetur fa er Hakon hietur	Facit ille qui Haquinus vocatur
14 15 16 7	14 15 16 7
Han vaekir lid bannat	Iile populum regit prohibere
13 11 12 20	13 11 12 20
Iord kan frelfa furdum	Patriam poteft defendere provincias
8 1 9	8 1 9
Frid-rofz Kongur ofza	Pacis-rupturae rex infolentiam
22 18 23 17 25	22 18 23 17 25
Sialfur raedr alt och Elfar	Ipfemet administrat omnia /u/ Gothalbim
19 21 24	19 21 24
Eirn ftillir a-milli	Solus regit inter
29 30 26 31	29 30 26 31
Gramur ofgift ad fremri	Prex valde-virtuosus /u/ prae aliis
27 10 28	27 10 28
Gandwikz Iofur landi.	Gandvicum terrae Dominus provinciam.

Перевод по-русски:

Король, называемый Гакон, прогоняя дерзновенного нарушителя мира, возмогает защитить свое отечество; управляя народом, предстоит один многим областям, господствуя всем тем, что лежит между Елфером и между Гандвихом; и он тот есть, которому в добродетелях нет равного.

Строфа, в которой по размещению одинаких букв и обращению их выходит приятная гармония.

Einn buggi ek *S*tod *S*teina
*S*tafn rums atals hrafni
Erad of *Th*egn aa *Th*ilium
*Th*raung by ek a mar ranga
*B*um er *B*audvitum *B*etra
*B*rimdyri kna ek Stira
*L*ofa mun that med *L*ofdum
*L*engr enn illt of gengi.

Перевод по-русски:

Один на холме, в корабле я живу, нет никого со мною вольнорожденного. — Это меня очень оскорбляет. — Но как герой в уединении бывает довольнее, чем со спутником худым, то и буду я кормщиком, чтоб долее помнили меня люди.

Строфы, в которых по переставке одних и тех же слов содержится два смысла.

Haki Kraki hoddum broddum
Saerdi naerdi feggi leggi
Veiter neiter Vella pella
Bali stali beittift heittift.

Haki Kraki hamde framde
Geirum eirum gotna slotna
Hreiter neiter hodda brodda
Breidift endift bale stale.

Haki broddum faerdi leggi.
Kraki hoddum naerdi feggi.
Veiter pella bali heittift,
Neiter vella stali beittift.

Haki hamde geirum gotna,
Kraki framde eirum slotna.
Neiter brodda endift stale,
Hreiter hodda brendift bale.

Перевод по-русски:

Гак копием члены поразил,
Крак деньгами ублажил мужа,
Корчмарь с персей содрал шелковую одежду,
Государь блаженный сталь умертвил.

Гак оружие усмирил войною,
Крак корабельщиков купил златом,
Копьеносец пал железом,
Златорасточитель огнем.

Сколько ни трудна скандинавская поэзия, но китайская для меня совсем непонятна относительно форм их песен; ибо образ их письма совсем отличен от прочих известных народов и язык их весь

состоит из слов односложных, выражаемых четырьмя ударами голоса возвышенного, скорого, ровного и сокращенного, из коих возвышенный и ровный состоят в мере долгой (longam), а скорый и сокращенный в краткой (brevem), и стихи их пишутся чоткою и нечоткою букв. Хореическая стопа господствует в писанных чоткою; а в нечоточных примешивается дактилическая. Сие разумеется о стихах правильных; но они большею частию у них суть неправильные или без всякого наблюдения правил, в коих представляются пиитические вымыслы; которые все состоят в мелких строфах, или звеньях, и разделяются на три рода, как приложенной при сем образец показывает:

№ 1. Фу				№ 2й. Син		№ 3й. Би
вень	ди	вей	бень	джань	сэ	бо
ван	мин	вей	джи	би	си	фын
дзай	бу	вень	бо	ци	сянь	ци
шан	ши	ван	ши	юй	си	лян
у	вень	лин	фань	лу	хо	юй
джад	ван	вын	джеу	джу	си	сюей
юй	джи	бу	джи	и	чуань	ци
тинь	дзян	и	ши	и	си	пан
						уй
джеу	вай	чень	бу	ю	ю	
суй	ди	си	сянь	фэй	фэй	ель
дзю	дзо	дзай	и	дзюнь	дзюнь	хао
бон	ю	джеу	ши	дзюй	дзы	во
ци	фу	хеу		жу	джун	си
мин	е	вень		це	бу	шеу
вей		ван		жу	кэ	тун
синь		сунь		цо	хуань	хан
ю		дзы		жу	си	ци
джеу		вень		джо	син	сюй
бу		вань		жу	е	ци
сянь		сунь		лю		сюй
		дзы				дзи
						дзи
						джи
						дзей
						би
						е

Стих под № 1-м, называемый *фу*, описывает какое-либо важное происшествие и что-либо нравоучительное; под № 2-м, именуемый *син*, — что-либо уподобительное, а под № 3-м, именующийся *би*, — что-либо аллегорическое или иносказательное. Вот примеры на русском языке, мне сообщенные от господ переводчиков Иностранной коллегии Каменского и Липовцова, бывших для изучения китайского языка по нескольку лет в Пекине.[22]

№ 1-й. Ф у.

«Вень Ван * сокрылся от взоров наших: бессмертная душа его преселилась в небесные обители. Там, о! неизреченное торжество добродетели! там в полном блеске велелепия соприсутствует царю царей. — Торжествуй, древностию и славою знаменитый дом Джеуский! ** Высокие добродетели Вень Вана вознесли тебя на верх величия, поставили на чреду управляти вселенною. Вот сила добродетели! Вот награда небесного царя! О добродетель! ты да будешь единственным достоянием Джеуского дома; а присутствующая на небе душа Вень Вана не престанет пещися о ниспослании на оный благословения от царя небесного.

О Вень Ван! величие дел твоих, твое неутомимое мужество на поприще добродетелей проявляют высокость твоего духа. Вселенная громко проповедует имя твое; Джеуский дом настоящим величием обязан преславным подвигам твоим. Владыка небес, преклоненный твоим благочестием, утвердил потомство твое на престоле преславныя империи и подкрепит оное из рода в род. Мужи, посвятившие себя на служение тебе и наследникам твоим, достойно участвуют в славе твоей, будучи украшены знаменитыми титлами почестей, которые простутся на все их потомство».

№ 2-й. С и н.

«Как бамбуевые трости, покрывающие берега Ция, прямотою стеблей и яркою зеленостию листьев, венчающих младые их ветви, представляют картину самую пленительную, — так муж, одаренный высокими качествами, восхищает сердца наши. — Душа его, украшенная истинным просвещением, как слоновая кость, отертая и углаженная под рукою искусного художника, или как драгоценный камень, очищенный от коры и выполированный с неутомимым рачением, разливает блеск свой повсюду. О! как он возвышен и непостижим во всех деяниях своих! Какое непобедимое мужество на пути чести и славы! О, муж несравненный! добродетели твои соделали тебя бессмертным».

№ 3-й. Б и.

«Когда восстанет жестокой Борей,*** сопровождаемый холодным дождем и тучами снега, тогда поселянин, ухватив за руки милых сердцу своему, бежит с полей удовольствия и ищет укрыться в местах, могущих защитить их».

---

* Вень Ван — просвещенный царь.

** Джеуский дом был удельное княжество, а сын его сделался уже императором.

*** Здесь под словом Борей означает междоусобные брани, возникшие между васалами и императором; а под именем поселянина — целый народ, подверженный всей лютости войны, производимой честолюбием.

Весьма предосудительно бы было, ежели б, говоря о формах песен иностранных, не сказал я ничего о российских. Г-н Тредьяковский в способе нашего стихосложения на странице 170-й изъясняется, что у идолопоклонниче́ских жрецов наших были стихи без рифм; а односложные почитались общими; хотя он им и не показал примеров, но по найдении их в недавнем времени мы приложили их в образце песни Одиновой и ответах новогородских жрецов, в сем нашем рассуждении уже показанном.[23] — По оным, которые видим в песельниках, о коих мы уже говорили, и по народным песням видно, что стихосложение наше большею частию основывается на пяти родах стихов, как-то 1) *ямбе*, 2) *хорее*, 3) *пиррихии*, 4) *дактиле* и 5) *анапесте*. — *Ямб* состоит из двух слогов, из коих ударяет голос на последнем слоге: *лю̀/бо̀вь*. — *Хорей* также состоит из двух слогов, из коих ударяет голос на первом: *вѐ/ра̀*. — *Пиррихий* состоит из двух кратких слогов, иногда на первой, а иногда на второй ударяющих, от чего стихи не весьма гладки или текущи бывают. — *Дактиль* состоит из трех слогов, которого ударение на первом слоге: *то̀м/ны̀й/я̀*. — *Анапест*, который весьма редко употребляется, противоположен дактилю, имеет ударение на последнем слоге: *чѐ/ло̀/вѐк*. — Здесь приметить должно, что греки и римляне употребляли *спондей*, который противоположен пиррихию и состоит из двух долгих слогов; но как наш язык долгих совмещать не может и, где сила или ударение бывает,[г] там делается долгой слог, то напрасно некоторые стараются, чтоб чистым греческим падением наши экзаметры писать было можно, который требует на конце спондея.[24] — На сих стопах почиет российская поэзия. — Вот примеры лирические:[д]

Хорей.[д]

Отста	вала	лебедь	бела	я
Как от	стада	лебе	дино	за.

Хорей с дактилем.

У ко	лодезя	у сту	денова
Доброй	мо́лодец	сам ко	ня поил
Кра́сна	де́вица	воду	черпала

Дактиль.

Ярка не	я́рка ба	ран не ба		ран
Ста́ра о	вечка не	я́рино		чка.

Ямб.

Дале́	че ох	дале́	че во	чистом	поле
Не трав	ка не	мурав	ка за	шата	лася.

г *В рукописи перед запятой пробел примерно в одно слово.*

д *Против всей нижеследующей таблицы размеров на поле рукой Державина*: Сию страницу оставить белою.

Ямб с анапестом.

Не шуми	мати	зелé	на дубро	ва
Не мешай	цвести	лазо	реву цвé	ту.

Анапест.

Ой ты по	люшко по	люшко чи	стое
Ничево	мне ты по	ле не рó	дило
Ох ты ро	дило толь	ко роки	тов куст.[25]

Можно о сем читать и у господина Ломоносова в 1-й части предисловие о пользе книг церковных.[26]

Касательно же мер стихов, количества их в строфах, или куплетах, то они суть в том и в другом различны в песнях лирических. — Сие можно видеть в подробности у господина Тредьяковского в помянутом способе стихосложения на странице 132, 133, 134 и 135. — Но как я не вижу в них такого образца, который мне встретился в одном манускрипте, писанном на русском языке в Китае, с которого список напечатан в 1811 году у господина Шишкова в «Разговоре» его о российской словесности (на стр. 154), который мне показался тем отличным, что с окончательного слова предыдущей строфы начинается вторая, коих слияние производит, как у скальдов, весьма приятную гармонию, то и прилагаю тому пример из того «Разговора», а другой новейшей.

. . .тако Гипенфила
Обманула, хоть Язона и любила.
Поехал Язон, оставил любую;
Но не такую.
Но не такую застал, как мысль была.
И Ариадна мало ли бранила
За то Фисея, что спознался,
Да зле расстался.
Да зле расстался, слезит Ариадна.
Ах мне, коль твоя любовь беспощадна.
Столько неверно меня покидает,
Сам уплывает.
Сам уплывает на быстрые воды и прочая.[e]

Наконец, сюды же относятся *акростиши*, или как у нас в церковных книгах называются, *краегрании* (краестишии), в которых заглавные каждого стиха буквы содержат в себе имя, в честь коего стихи писаны, или какое-нибудь значительное слово, коего поэт открыто для всех сказать не хотел. Примеры тому видим древнейшие в еврейской поэзии, а именно некоторые псалмы Давыдовы акростишными, как-то: 24 — К тебе господи воздвигох; 33 — Благословлю господа; 36 — Не ревнуй лукавствующим; 110 — Исповемся тебе господи; 111 — Блажен муж бояйся господа; 118 — Блажени непорочнии; 144 — Вознесу тя боже мой, — потому

[e] *Далее в большом пробеле, имеющемся в рукописи на этой странице, вписано Державиным*: Здесь оставить место на 6 куплетов 4 строчных или более.

что в них каждый стих либо полустишие начинается по еврейскому азбучному порядку буквою азбуки.

Но вот пример русского акростиша в честь князя Кутузова:

Когда в виду ты всей вселенны
Наполеона посрамил,
Языки одолел сгущенны,
Защитником полсвета был;
Когда тебе судьбы превечны
Ум дали — троны царств сберечь,
Трофеи заслужить сердечны,
Усилить Александров меч;
Злодеев истребить враждебных,
Обресть бессмертный лавр побед,
В вратах Европы растворенных
Смыть кровью злобы дерзкий след;
Москву освободить попранну,
Отечество спасти от зол,
Лезть дале путь пресечь тирану,
Един основывать престол; —
Не умолчит потомств глагол!
Се мать твоя, Россия, — зри:
Ко гробу руки простирает,
Ожившая тобой, рыдает,
И плачут о тебе цари! [27]

Примечания

[1] Фрагмент из «кантаты» Державина «Соломон и Суламита» (Ч. III, № CIV).

[2] Отрывок из поэмы «Прославление Онноды» бенгальского поэта XVIII в. Бхаротчондро Рая (Бхарат-Чандра Роя) о тайной любви принцессы Бидде и принца Шундора. Отрывки из поэмы и перевод были предоставлены Державину в начале 1815 г. чиновником Азиатского департамента Министерства иностранных дел Г. С. Лебедевым. В этих материалах поэма «славнейшего в Индии пииты шри Бгарот Чондро Рая, инаково именуемого Бгарот Криштьо Чондро», названа «Бидде Шундор» с объяснением: «значит „Учености красота“» (см.: ИРЛИ, ф. 96, оп. 1, № 37, л. 65).

[3] Из оды «Фелица».

[4] Из оды «Изображение Фелицы».

[5] Отверница — «простонаречное» обозначение иносказания, обиняка, экивока (см.: Гр. 7.563; Гр. 3.626).

[6] До переделки по совету Евгения этот абзац имел такой вид: «Словом, ежели похвалы, под аллегорическими именами наполненные разнообразием, в общежительных одах не кажутся отвратительными не токмо героям, которым они воспеты, но нравятся и посторонним людям, по своим приятным околичностям, то удивительны мне кажутся те господа ученые, которые каждому случаю, или происшествию, чают особые оды, именуя их. . .» — Под «господами учеными» Державин имеет в виду прежде всего профессора Дерптского университета Г. Ф. фон Гецеля (в ранней редакции полемика была направлена персонально против него, о чем см.: XVIII век. Сб. 15. С. 243), «поэзии учителя» Московской славяно-греко-латинской академии Аполлоса Байбакова (его «Правила пиитические. . .» в 1774—1795 гг. вышли пятью изданиями), «профессора элоквенции российския и латинския» Академии наук В. К. Тредиаковского и др.

[7] Точнее следует: генетлиаческою.

[8] Ошибка Державина. В «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» (Спб., 1735) подобной классификации нет. Она была введена Тредиаковским в полностью переработанный текст трактата, опубликованный в ч. 1-й его «Сочинений и переводов» (СПб., 1752).

[9] Гвидореня — т. е. Гвидо Рени.

[10] Следующий за «школярным разделением» абзац Державин пытался переделывать многократно. По-видимому, поначалу набросана карандашом мысль, полемичная по отношению к словам Евгения, что критикуемое Державиным «разделение» — «коренное греческое» (вторая половина текста почти стерлась и связному прочтению пока не поддается): «Хотя выше ‹о› сем разделении и сказано, что греки имели на все случаи оды или песни, но это не значит, чтоб они ‹стали› правилами, а были случайно сочинены. . .»

Потом Державин попытался вписать сходный по мысли текст между строк: «. . .но я скажу, что ежели названии не придают вещам уважения без прямого достоинства, то должно со мною согласиться, что таковое разделение есть более ученое [тщеславие] чванство, нежели прямая надобность. Как выше сказано, что греки имели на многие случаи оды или песни, но это не то, чтоб в них заводить правилы или ‹нрзб.› на всякие происшествии, которые суть бесчисленны. . .» (все зачеркнуто).

Куда-то автор собирался вставить выноску на полях: «Касательно обрядов при пении песен, особенно же застольных, или схолиев, которые хорами, которые поодиночке, с ветвями и без ветвей певались, то однажды пред сим в примечании хотя кратко, но довольно уже сказано» (зачеркнуто; см.: Гр. 7. 581—582).

В последней по времени редакции фраза о Тредиаковском вычеркнута, далее следует: «Но я скажу, что ежели названии не придают вещам уважения без прямого их достоинства, то должно со мною согласиться, что они, то есть те наименовании, или особые отделы песен, более есть умничество, или чванство петагогов в познании их древности, нежели прямая надобность; ибо, говоря в них об одной материи, можно с приличностию помянуть и о другой, о войне и мире, о путешествии и пиршестве и прочая. Под каким названием какие сочинения были, под тем и передались потомству. Форм им или правил для них по многочисленности случаев быть не может».

Видимо, ранее Державин что-то вписывал карандашом и чернилами между строк первоначального текста; эта правка охватывает строки в рукописи до слов «. . .не по содержаниям вещей в песнях. . .»; затем по отдельным строкам горизонтально и вся дополнительная правка вертикально зачеркнута чернилами. От слов же «. . .но по свойствам или именам славных песнопевцев. . .» до конца абзаца зачеркнуто только карандашом вертикально.

[11] Т. е. «Афинейскому витязю» и «Пиндарова олимпическая первая песнь».

[12] Имеются в виду стихи: «Не так ли лира восхищенна. . .»

[13] Точное название — «На освящение храма Казанския богородицы, в С.-Петербурге».

[14] В трактате 1735 г. этого положения нет; наоборот, здесь Тредиаковский категорически отрицал возможность трехсложных стоп в русском стихе. Закономерность употребления дактиля и анапеста, а также «смешанных» («разномерных») стихов — ямбо-анапестических и дактило-хореических — обосновал в 1739 г. Ломоносов в «Письме о правилах российского стихотворства», которое стараниями Тредиаковского не увидело света. В переработанном «Способе» 1752 г. Тредиаковский изложил ломоносовские идеи от своего имени, чем и обусловлена ошибка Державина и ряда стиховедов (вплоть до настоящего времени), которые приписывают введение трехсложных и «разномерных» размеров Тредиаковскому.

[15] Этому посвящена глава V переработанного трактата Тредиаковского 1752 г.; в издании «Способа» 1735 г. об этом речи нет.

[16] В ГПБ (ф. 247, № 4, л. 268—271) хранится писарская копия с поправками Державина перевода оды Клопштока 1758 г. «Присутствие божие», сделанного «разномерными» (смешанными) стопами:

С смертью боролся когда,
С смертию ты,
Крепчае молился того,
Как твой пот, да и кровь
Низливаясь на землю текли. —

Ты в первый тут час
Истину сделал большую известной. —
Истинна будет
Та оболочка, поколь бессмертной души
Есть прах. —
Восстав же ты рек
К почивающим:
Дух ваш бодр; а плоть
Немощна.
Жребий смертности сей,
Тяжесть земную сию
И душа ощущает моя,
К богу, к богу когда
Она бесконечну
Взнесть возжелает. —
Отче! упадши в прах, благоговею, —
Смертного глас, моленье внемли
И душу мою огнем окрести,
Чтобы к тебе она возносилась *и т. д.*

Однако в этом переводе 211 стихов, а не 102, как указано Державиным.

[17] Державин цитирует первое четверостишие и начало четвертого по корректурному оттиску брошюры «Шлоке мога мудгаро» — «Стихи нравоучительные» (ГПБ, ф. 247, № 31, л. 153—156). На четных страницах брошюры размещены параллельно бенгальский текст и его транскрипция русскими литерами, *на нечетных — стихотворный перевод; всего здесь 13 четверостиший* (строф). Рукопись Лебедева хранится в фонде А. С. Шишкова в ЦГИА (см.: Народы Азии и Африки. 1963. № 4. С. 128).

[18] Здесь использованы «выписка» Г. С. Лебедева «Стиха, или стихов, стопы у индийцов. . .» (датирована 21 марта 1815 г.) и более подробная справка «О стихосложении индийцов», а также сведения из записки, озаглавленной «Имена отличнейших индийских песнопевцов, той света страны, где еще находятся следы древней мудрости и добродетелей» (ИРЛИ, ф. 96, оп. 1, № 37, л. 58—68). «Грамматика <. . .> Галгета» — *Halhed N. B.* A Grammar of the Bengal Language. Hoogly, 1778.

[19] Выписка об арабском и персидском стихосложении хранится в бумагах Державина (ИРЛИ, ф. 96, оп. 1, № 37, л. 57); ряд заметок сделан им при чтении «Корифея» Галинковского и других источников (см.: ГПБ, ф. 247, № 5, л. 46, 195 и др.).

[20] Державин лапидарно изложил подробную справку «Роды стихов на грузинском языке» (ГПБ, ф. 247, № 39, л. 131—132), где охарактеризованы пять «родов» стиха. «Первый род, самый древний и употребительный пред прочими, называется „шаири“. Он состоит из четырех строк, имеющих в конце одинаковую рифму. Такой род стихотворения употребил древний грузинский пиит Руставел в сочинении весьма пространной поэмы, названной „Вепхистхаосани“, из которой взяты мною следующие четыре стиха (приведены стихи на грузинском языке в русской транскрипции с подстрочным переводом. — *В. З.*). Второй род также состоит из четырех стихов, имеющих в каждой строке четыре одинакие рифмы, и называется „чахрухаули“ от имени Чахрухадзе, древнего изобретателя такого стихотворения, равно и сочинителя поэмы, именуемой „Тамариани“. В пример два стиха, взятые из оной поэмы (приведены стихи, процитированные в тексте „Рассуждения“. — *В. З.*).

Перевод сих стихов:

Тамар кроткая, приятная, сладкогласная, осклабноличная,
Как солнце блистательная, важная, тиховодная, реке полной
подобная.

Третий род, называемый „пистикаури“, в котором каждая строка состоит из двадцати слогов; иногда поставляются две рифмы сряду, а иногда четыре <. . .> Четвертый род, называемый „таени“, состоит из одной строки

и употребляется в дружеских разговорах <. . .> Пятый род, составленный мною с подражанием стихосложению, во французских песнях употребляемому. . .»

[21] В бумагах Державина есть ряд выписок о скандинавских скальдах (см., например: ГПБ, ф. 247, № 5, л. 188).

[22] Здесь в переработанном виде использована соответствующая часть составленного Павлом Каменским и Степаном Липовцовым «Примечания» о китайских поэтах и стихосложении (ГПБ, ф. 247, № 5, л. 203—206).

[23] Эти образцы «рунной» поэзии включены в текст 2-й части (см.: Гр. 7. 585—587), однако с оговорками, свидетельствующими о сомнениях Державина в их подлинности (того же мнения придерживался и Евгений). Собираясь ввести в отдельное издание «Рассуждения» полный текст этих «памятников», Державин подчеркивал, что сделает это не под своим именем, а от имени владельца рукописей — А. И. Сулакадзева (см.: Гр. 6. 339). Сомнения были оправданными, так как оказалось, что «рунические рукописи на пергамине» были подделками Сулакадзева. На «Способ» Тредиаковского Державин указывает ошибочно, ибо имеет в виду он примечание из «Мнения о начале поэзии»: «. . .вероятно по всему, что и наши поганскии жрецы были первыми у нас стихотворцами. И хотя нет ни одного оставшегося у нас образчика языческия нашея поэзии, однако видно и ныне по мужицким песням, что древнейшие стихи наши, бывшие в употреблении у жрецов наших, состояли стопами, были без рифм и имели тоническое количество слогов, да и односложные слова почитались по вольности общими» (*Тредиаковский В. К.* Сочинения. СПб., 1849. Т. 1. С. 194).

[24] Имеется в виду полемика о гекзаметрах, первоначально развернувшаяся в «Беседе», а затем вышедшая за ее пределы. Сторонниками гекзаметра были Н. И. Гнедич, С. С. Уваров, А. Х. Востоков, А. Ф. Воейков и др., причем в пылу полемики обосновывалась не только ударность служебных слов (например, союзов «но», «и» и т. п.), но и наличие якобы двух ударений в словах типа «бездна», «взмахнул», «привет», «вступил» и др. и даже трех — «пре́дво́звеща́ет». В. В. Капнист же доказывал искусственность для русского языка «правильных» гекзаметров, в которых, согласно правилам, шестая стопа обязательно должна быть спондеем. В начале полемики Державин занял нейтральную позицию, ответив Капнисту: «. . .не метры те или другие дают славу истинную поэтам, а гений, их одушевляющий» (Гр. 6. 279), однако позднее, в связи с надуманными доводами сторонников гекзаметра, решил высказаться определенно.

[25] В приводимой Державиным системе метров нет амфибрахия, потому что Державин здесь идет за Тредиаковским, а Тредиаковский заимствовал систему у Ломоносова (без указания авторства). Ломоносов же не ввел амфибрахий в связи с концепцией эмоционально-выразительных свойств «восходящих» и «нисходящих» стоп, куда этот метр не умещался. В систему русской силлабо-тоники амфибрахий был введен Сумароковым, однако Державин, по-видимому, не обратил внимания на его статью «О стопосложении», хотя сочинения Сумарокова читал внимательно. На практике же Державин обращался к амфибрахию около десяти раз — чаще, чем кто-либо из его современников (кроме Сумарокова).

[26] Очевидная ошибка памяти Державина: в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» дано филологическое обоснование теории трех «штилей»; о метрах и размерах речь идет в ломоносовском «Письме о правилах российского стихотворства».

[27] Опубликовано: *Державин Г. Р.* Стихотворения. Л., 1957. С. 358.

О. Б. КАФАНОВА

БИБЛИОГРАФИЯ ПЕРЕВОДОВ Н. М. КАРАМЗИНА (1783—1800 гг.)

В данную библиографию включены переводы Н. М. Карамзина,[1] появившиеся в последние два десятилетия XVIII в. (по 1800 г. включительно).[2] Переводы сгруппированы по следующим разделам: отдельные издания, журнальные публикации, сборники; внутри разделов расположение материала хронологическое. Не учитываются некоторые мелкие статьи и отрывочные цитаты без ссылок на источники из отдела «Смесь» (в «Московском журнале» и «Московских ведомостях»).

В каждой библиографической записи приводятся: 1) автор и русское название перевода. Подстрочные примечания, указывающие источник, даются в общем ряду с заглавием после звездочки. Если удалось установить фамилию и инициалы автора, отсутствующие или искаженные в подписи, эти сведения приводятся в начале записи в квадратных скобках; 2) выходные данные книги (год, том и страницы) или журнала (год, том, номер, месяц и страницы). Перепечатки указываются в скобках вслед за выходными данными.

В аннотации указываются автор, название оригинала и место публикации.[3] Книги описываются по первому изданию. Здесь же отмечаются отступления перевода от оригинала.

Библиография снабжена именным указателем иностранных авторов со ссылками на номера библиографических записей и списком просмотренных французских, немецких и английских журналов.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ВЕ — Вестник Европы. М., 1802—1803.
ДЧ 2 — Детское чтение для сердца и разума. 2-е изд. М., 1799—1804.
ДЧ 3 — Детское чтение для сердца и разума. 2-е [3-е] изд. М., 1819.
МБ 1 — Мои безделки. М., 1794.

---

[1] О деятельности Карамзина как переводчика см.: *Кафанова О. Б.* Н. М. Карамзин — переводчик: Автореф. дис. . . . . канд. филол. наук. Томск, 1981. 19 с.

[2] В библиографию не вошли переводы, опубликованные в «Вестнике Европы» (1802—1803), помещенные в «Письмах русского путешественника» (1797—1801. Ч. 1—6) и в сборниках переводов.

[3] Сведения об источниках переводов из И. В. Андреэ (№ 45, 46) и Ф. Бутервека (№ 82) взяты из кн.: *Goedeke K.* Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung. 3-e Auflage. Dresden, 1916. Bd 4. Abt. 1. S. 286, 1013.

МБ 2 — Мои безделки. 2-е изд. М., 1797.
МВ — Московские ведомости. М., 1795.
МЖ 1 — Московский журнал. М., 1791—1792.
МЖ 2 — Московский журнал. 2-е изд. М., 1801—1803.
НМ — Новые Мармонтелевы повести, изданные Н. Карамзиным / Пер. с фр. М., 1794; 1798. Ч. 1—2.
П — Переводы Н. М. Карамзина. СПб., 1835. Т. 1—9.
Пнт 1 — Пантеон иностранной словесности. М., 1798. Кн. 1—3.
Пнт 2 — Пантеон иностранной словесности. 2-е изд. М., 1818. Ч. 1—3.
РП — Разные повести, переведенные Н. Карамзиным. М., 1816. Ч. 1—2.
С 1 — Сочинения Карамзина. М., 1803.
С 2 — Сочинения Карамзина. 2-е изд. М., 1814.
С 3 — Сочинения Карамзина. 3-е изд. М., 1820.
ADB — Allgemeine Deutsche Bibliothek.
BB — Bibliothèque Britannique.
D — Décade.
DM — Deutsche Monatsschrift.
ME — Magasin Encyclopédique.
MF — Mercure de France.
NTM — Der Neue Teutsche Merkur.
SN — Spectateur du Nord.
V — *Genlis S. F.* Les Veillées du Château, ou Cours de morale. 1784. T. 1—4.

ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

1. *Геснер С.* Деревянная нога, швейцарская идиллия гос. Геснера / Пер. с нем. Никол. Карамз. Спб., 1783. 18 с.
   Gessner S. Das Hölzerne Bein, eine Schweizer-Idille. 1772.
2. *Галлер А.* О происхождении зла, поэма великого Галлера (в 3-х песнях) / Пер. с нем. М., 1786. 78 с.
   Haller A. Über den Ursprung des Übels. 1734.
3. [*Штурм К. Х.*] Беседы с богом, или Размышления в утренние часы, на каждый день года; издание периодическое / Пер. с нем. М., 1787—1789. Ч. 1—4. 323, 304, 295, 294 с.
   Sturm Ch. Ch. Unterhaltungen mit Gott in den Morgenstunden, auf jeden Tag des Jahres. Bd 1—2. 1768. Об участии Карамзина в переводе этого издания (а также № 4, 5) см.: *Сиповский В. В.* Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899. [Приложения. С. 49—50]; Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800. М., 1966. Т. 4. С. 121.
4. [*Штурм К. Х.*] Размышления о делах божиих в царстве натуры и провидения на каждый день года; издание периодическое / Пер. с нем. М., 1787—1788. Ч. 1—4. 337, 336, 349, 345 с.
   Sturm Ch. Ch. Betrachtungen über die Werke Gottes im Reiche der Natur und der Vorsehung auf alles Tage Jahres. 1772. См. аннотацию к № 3.
5. [*Тиде И. Ф.*] Беседы с богом, или Размышления в вечерние часы, на каждый день года; издание периодическое / Пер. с нем. М., 1787—1789. Ч. 1—4. 324, 312, 334, 322 с.
   Tiede J. F. Unterhaltungen mit Gott in den Abendstunden, auf jeden Tag des Jahres. 1771. См. аннотацию к № 3.
6. [*Шекспир В.*] Юлий Цезарь, трагедия Виллиама Шекеспира. М., 1787. 136 с.
   Shakespeare W. Julius Caesar. 1599. Перевод с немецкого перевода: William Shakespear's Schauspiele. Neue Ausgabe von Jon. Joach. Eschen-

burg. Zürich, 1777. Bd 9. S. 323—442. В предисловии использована статья К. М. Виланда «Der Geist Shakespeares» // Der Teutsche Merkur. 1773. Bd 3. S. 185—186.

7. *Лессинг Г. Э.* Эмилия Галотти, трагедия в пяти действиях, сочиненная г. Лессингом / Пер. с нем. М., 1788. 142 с.
Lessing G. E. Emilia Galotti: Ein Trauerspiel in fünf Aufzüge. 1772.

8. [*Сталь А. Л. Ж.*] Мелина / Пер. с фр. М., 1796. 72 с. (То же. 2-е изд. М., 1798; То же. 3-е изд. М., 1802; РП. Ч. 1. С. 89—119; П. Т. 5. С. 60—79).
Staël A. L. J. Zulma, fragment d'un ouvrage // Recueil de morceaux détachés, par Mad. la B^me^ Staël de Holstein. Seconde éd. Paris, l'an IV [1796]. P. 15—42.

ЖУРНАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Детское чтение для сердца и разума. М., 1785—1789. Ч. 1—20. 2-е изд. М., 1799—1804. Ч. 1—20. 2-е [3-е] изд. М., 1819. Ч. 1—20.

9. [*Жанлис С. Ф.*] Деревенские вечера: Вступление; Дельфина, или Счастливое излечение // 1787. Ч. 9. С. 3—101. (ДЧ 2. Ч. 9. С. 3—81. 2-я ред.; ДЧ 3. Ч. 9. С. 7—122. 1-я ред.).
Genlis S. F. Delphine, ou L'Heureuse guérison // V. T. 1.

10. [*Жанлис С. Ф.*] Медник, или Взаимная благодарность // 1787. Ч. 9. С. 101—143. (ДЧ 2. Ч. 9. С. 81—114. 2-я ред.; ДЧ 3. Ч. 9. С. 123—173. 1-я ред.).
Genlis S. F. Le Chaudronnier, ou La Reconnaissance réciproque // V. T. 1.

11. [*Жанлис С. Ф.*] Великодушие дружбы // 1787. Ч. 9. С. 144—194. (ДЧ 2. Ч. 9. С. 114—153. 2-я ред.; ДЧ 3. Ч. 9. С. 173—233. 1-я ред.).
Genlis S. F. Histoire de m-me S. // V. T. 1.

12. [*Томсон Дж.*] Весна // 1787. Ч. 9. С. 195—205.
Thomson J. The Seasons: Spring. 1729. Сокращенный прозаический перевод. См. аннотацию к № 19.

13. [*Жанлис С. Ф.*] Деревенские вечера: Исправленная леность // 1787. Ч. 10. С. 3—70. (ДЧ 2. Ч. 10. С. 3—55. 2-я ред.; ДЧ 3. Ч. 10. С. 9—87. 1-я ред.).
Genlis S. F. Eglantine, ou L'Indolence corrigée // V. T. 1.

14. [*Жанлис С. Ф.*] История господина Чудина // 1787. Ч. 10. С. 71—168. (ДЧ 2. Ч. 10. С. 55—130. 2-я ред.; ДЧ 3. Ч. 10. С. 38—204. 1-я ред.).
Genlis S. F. Histoire de M. de La Palinière // V. T. 1.

15. [*Жанлис С. Ф.*] Евгения и Леонс // 1787. Ч. 10. С. 168—192. (ДЧ 2. Ч. 10. С. 130—148. 2-я ред.; ДЧ 3. Ч. 10. С. 205—229. 1-я ред.).
Genlis S. F. Eugénie et Léonce, ou L'Habit de bal // V. T. 2.

16. [*Томсон Дж.*] Лето // 1787. Ч. 10. С. 193—207.
Thomson J. The Seasons: Summer. 1728. Сокращенный прозаический перевод. См. аннотацию к № 19.

17. [*Жанлис С. Ф.*] Деревенские вечера: Альфонс и Далинда, или Волшебство искусства и натуры, нравоучительная сказка // 1787. Ч. 11. С. 3—192; Ч. 12. С. 3—192. (ДЧ 2. Ч. 11. С. 3—126; Ч. 12. С. 3—130. 2-я ред.; ДЧ 3. Ч. 10. С. 230—287; Ч. 11. С. 1—155; Ч. 12. С. 3—195. 1-я ред.).

Genlis S. F. Alphonce et Dalinde, ou La Féerie de la nature, conte moral // V. T. 2.

18. [*Томсон Дж.*] Осень // 1787. Ч. 11. С. 193—207.

Thomson J. The Seasons: Autumn. 1730. Сокращенный прозаический перевод. См. аннотацию к № 19.

19. [*Томсон Дж.*] Зима // 1787. Ч. 12. С. 193—206. (ДЧ 2. Ч. 12. С. 130—143; № 12, 16, 18, 19 под названием «Четыре времени года» // Сокращенная библиотека в пользу воспитанникам первого Кадетского корпуса. СПб., 1802. Ч. 1. С. 339—414).

Thomson J. The Seasons: Winter. 1726. Сокращенный прозаический перевод.

20. [*Жанлис С. Ф.*] Деревенские вечера: Невольники, или Сила благодеяния // 1788. Ч. 13. С. 3—81. (ДЧ 2. Ч. 13. С. 3—65. 2-я ред.; ДЧ 3. Ч. 12. С. 196—248; Ч. 13. С. 1—35. 1-я ред.).

Genlis S. F. Les Esclaves, ou Le Pouvoir des bienfaits // V. T. 3.

21. [*Жанлис С. Ф.*] Памела // 1788. Ч. 13. С. 82—135. (ДЧ 2. Ч. 13. С. 65—109. 2-я ред.; ДЧ 3. Ч. 13. С. 36—97. 1-я ред.).

Genlis S. F. Paméla, ou L'Heureuse adoption // V. T. 3.

22. [*Жанлис С. Ф.*] Олимпия и Теофиль // 1788. Ч. 13. С. 136—207; Ч. 14. С. 3—56. (ДЧ 2. Ч. 13. С. 109—173; Ч. 14. С. 3—45. 2-я ред.; ДЧ 3. Ч. 13. С. 98—240. 1-я ред.).

Genlis S. F. Olimpe et Théophile, ou Les Hermites // V. T. 3.

23. [*Жанлис С. Ф.*] Пустынники в Нормандии // 1788. Ч. 14. С. 56—84. (ДЧ 3. Ч. 14. С. 1—33).

Genlis S. F. Les Solitaires de Normandie // V. T. 3.

24. [*Жанлис С. Ф.*] Дафнис и Пандроза // 1788. Ч. 14. С. 85—144. (ДЧ 2. Ч. 14. С. 45—82. 2-я ред.; ДЧ 3. Ч. 14. С. 34—100. 1-я ред.).

Genlis S. F. Daphnis et Pandrose, ou Les Oréades // V. T. 4.

25. [*Жанлис С. Ф.*] История герцогини Ч*** // 1788. Ч. 14. С. 145—207; Ч. 15. С. 3—27. (ДЧ 2. Ч. 14. С. 82—131; Ч. 15. С. 3—22. 2-я ред.; ДЧ 3. Ч. 14. С. 101—197, 1-я ред.).

Histoire de la comptesse C*** // *Genlis S. F.* Adèle et Théodore, ou Lettres sur l'éducation. 1783. T. 2.

26. Пустынник // 1788. Ч. 15. С. 27—94. (ДЧ 2. Ч. 15. С. 22—77; ДЧ 3. Ч. 15. С. 1—75).

27. Благодеяние // 1788. Ч. 15. С. 94—96. (ДЧ 3. Ч. 15. С. 75—78).

28. [*Бонне Ш.*] Статьи из Contemplation de la nature. Боннетова сочинения // 1789. Ч. 18. С. 3—53. (ДЧ 2. Ч. 18. С. 3—46; ДЧ 3. Ч. 18. С. 35—88).

‹Содерж.:› О боге и вселенной вообще: Введение; Глава I. Первая причина; Глава II. Творение; Глава III. Единство и доброта вселенной; Глава IV. Рассмотрение вселенной в главных ее частях; Глава V. Множество миров; Глава VI. Всеобщее разделение существ; Глава VII. Всеобщая связь, или Гармония вселенной.

Bonnet Ch. Contemplation de la nature. 1764. Pt. 1. De dieu et de l'univers en général: Introduction; Ch. I. La cause première; Ch. II. La création; Ch. III. Unité. Bonté de l'univers; Ch. IV. L'univers considéré dans ses grandes parties; Ch. V. Pluralité des mondes; Ch. VI. Division générale des êtres; Ch. VII. Enchainement universel, ou L'Harmonie de l'univers.

29. [*Вейсе Х. Ф.*] Аркадский памятник: Сельская драма с песнями в одном действии // 1789. Ч. 18. С. 65—79, 81—92, 97—107,

113—140, 145—150. (ДЧ 2. Ч. 18. С. 57—111; Детский театр для образования сердца и разума. М., 1819. Ч. 2. С. 25—92).

Weisse Ch. F. Kinderfreund.

30. *Томсон Дж.* Гимн / Пер. с англ. *Сим гимном заключает Томсон свою поэму Seasons // 1789. Ч. 18. С. 151—158. (ДЧ 2. Ч. 18. С. 125—131; ДЧ 3. Ч. 18. С. 115—158).

Thomson J. The Seasons: A Hymn. 1726—1730.

31. [*Бонне Ш.*] Статьи из Contemplation de la nature, Боннетова сочинения // 1789. Ч. 19. С. 165—205. (ДЧ 2. Ч. 19. С. 136—168; ДЧ 3. Ч. 18. С. 180—222).

<Содерж.:> Человек, рассматриваемый как существо телесное: Человек, одаренный разумом, упражняющийся в науках и художествах; Человек в общежитии; Человек в общении с богом через религию; Постепенности человечества. Разные отношения земных существ: Предварительное рассуждение; Соединение душ с телами организованными; Представления и ощущения; Страсти; Темперамент; Память и воображение; Сновидения; Рассуждение; Зрение.

Bonnet Ch. Contemplation de la nature. 1764. Pt. 4. Suite de la progression graduelle des êtres: Ch. VI. L'homme considéré comme être corporel; Ch. VII. L'homme doué de raison; cultivant les siences et les arts; Ch. VIII. L'homme en société; Ch. IX. L'homme en commerce avec dieu par la religion; Ch. X. Gradations de l'humanité. Pt. 5. De divers rapports des êtres terrestres: Ch. I. Réflexions préliminaires; Ch. II. L'union des âmes à des corps organisés; Ch. III. Les perceptions et les sensations; Ch. IV. Les passions; Ch. V. Le tempérament; Ch. VI. La mémoire et l'imagination; Ch. VII. Les songes; Ch. VIII. Réflexion: Ch. IX. La vue.

Московский журнал. М., 1791—1792. Ч. 1—8. 2-е изд. М., 1801—1803. Ч. 1—8.

32. *Шанфор* [*Шамфор С. Р.*]. Voyage de Mr Le Vaillant dans l'intérieur de l'Afrique par le Cap de Bonne Espérance, dans les années 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 et 1785. 2 vol. A Paris То есть: Путешествие г. Вальяна во внутренность Африки через мыс Доброй Надежды в 1782, 83, 84 и 85 году. . . .*Сия рецензия взята из Mercure de France // 1791. Ч. 1, кн. 1. январь. С. 101—135. (МЖ 2. Ч. 1. С. 106—142).

Chamfort S. R. Voyage de Mr Le Vaillant. . . // MF. 1790. N 12, 20 mars. P. 57—81.

33. Парижские спектакли от июня до половины августа прошедшего года. (Королевская академия музыки. или Большая опера. Театр национальный. Итальянский театр. Театр графа Прованского). *. . .известия сии, переводимые из Mercure de France. . . // 1791. Ч. 1, кн. 2, февраль. С. 207—223. (МЖ 2. Ч. 1. С. 215—231).

Spectacles. L'Académie Royale de Musique. Théâtre de la Nation. Théâtre Italien. Théâtre de Monsieur // MF. 1790. N 26, 26 juin. P. 153—163; № 33, 14 août. P. 79—80.

34. Ueber die Vergleichung der alten, besonders griechischen mit der deutschen und neuern Litteratur, von Gottfr. Ernst Groddek. То есть: О сравнении древней, а особливо греческой с немецкою и новейшею литературою; сочинение Гроддека, доктора философии. *Из Allgemeiner deutscher Bibliothek,

второй части 91-го тома // 1791. Ч. 1, кн. 2, февраль. С. 248—256. (МЖ 2. Ч. 1. С. 257—266).

Fk. Ueber die Vergleichung. . . // ADB. 1790. Bd 91, St. 2. S. 410—424.

35. *Мармонтель Ж. Ф.* Вечера. *Сии пиесы. . . переводятся из Mercure de France. Повесть первая — . . .осьмая // 1791. Ч. 1, кн. 3, март. С. 281—292; Ч. 2, кн. 2, май. С. 190—202; Ч. 3, кн. 3, сентябрь. С. 241—277; Ч. 4, кн. 1, октябрь. С. 32—45; Кн. 2, ноябрь. С. 128—167; 1792. Ч. 5, кн. 1, январь. С. 86—122; Кн. 2, февраль. С. 178—203. (МЖ 2. Ч. 1. С. 282—293; Ч. 2. С. 197—210; Ч. 3. С. 249—286; Ч. 4. С. 37—51, 140—179; Ч. 5. С. 90—129, 174—200; НМ. Ч. 1. 89—295; П. Т. 1. С. 62—202).

Marmontel J. F. La Veillée // MF. 1790. N 2, 9 janvier. P. 52—59; N 6, 6 février. P. 8—16; N 10, 6 mars. P. 4—13; N 14, 3 avril. P. 9—22. N 18, 1 mai. P. 7—16; N 23, 5 juin. P. 6—31; N 27, 3 juillet. P. 6—29; N 32, 7 août. P. 7—22. 9-я повесть цикла в МЖ отсутствует; появилась впоследствии в отдельном издании (НМ).

36. Arthur, or the Northern enchantement. A poetical romance. In seven books. London 1790. То есть: Артур, или Северное очарование. Пиитическая повесть. В семи книгах. Из Critical Review // 1791. Ч. 1, кн. 3, март. С. 365—366. (МЖ 2. Ч. 1. С. 369—370).

The Critical Review.

37. *Стерн Л.* Мария / Пер. с англ. *Отрывок из Тристрама Шанди, сочинения англичанина Стерна // 1791. Ч. 2, кн. 1, апрель. С. 51—56. (МЖ 2. Ч. 2. С. 56—61; РП. Ч. 2. С. 45—49; П. Т. 6. С. 35—38).

Stern L. The Life and opinions of Tristram Shandy gentleman. 1760—1767. (Book 9, ch. 24. The Invocation).

38. Смесь. «Известия, публикованные о любопытном опыте доктора Гарвуда. . .» Из British Mercury, № 1, 1791 // 1791. Ч. 2, кн. 1, апрель. С. 56—59. (МЖ 2. Ч. 2. С. 61—65).

The British Mercury. 1791. N 1, jan. 1.

39. Смесь. «Некоторые молодые госпожи, бывшие в гостях. . .» Из British Mercury, jan., 1791 // 1791. Ч. 2, кн. 1, апрель. С. 62—63. (МЖ 2. Ч. 2. С. 67—69).

The British Mercury. 1791. N 1, jan. 1.

40. [*Фрамери Н. Э.*] Парижские спектакли. От августа до конца 1790 года. (Королевская академия музыки. Театр национальный. Театр итальянский.) // 1791. Ч. 2, кн. 1, апрель. С. 65—77. (МЖ 2. Ч. 2. С. 71—88).

Framery N. E. Spectacles. (Académie Royale de la Musique. Théâtre de la Nation. Théâtre Italien) // MF. 1790. N 47, 20 novembre. P. 110—113; N 52, 25 décembre. P. 159—160; N 48, 27 novembre. P. 145—150.

41. Lebensgeschichte und natürliche Abenteuer eines armen Mannes von Tockenburg. Herausgegeben von Füssli, Zürich, 1789. То есть: Жизнь и похождения бедного человека из Токкенбурга. Из A. D. Bibliothek 92-го тома второй части // 1791. Ч. 2, кн. 1, апрель. С. 85—95. (МЖ 2. Ч. 2. С. 91—102).

Tm. Lebensgeschichte und natürliche Abenteuer. . . // ADB. 1790. Bd 92, St. 1 (sic!). S. 270—274.

42. [*Макферсон Дж.*] Картон, поэма барда Оссиана / Пер. с англ. // 1791. Ч. 2, кн. 2, май. С. 120—147. (МЖ 2. Ч. 2. С. 124—152; РП. Ч. 1. С. 1—33; П. Т. 5. С. 3—22).
Macpherson J. The poems of Ossian: Carthon. 1762.

43. *Стерн Л.* Мария (Отрывок из Стернова Путешествия) / Пер. с англ. // 1791. Ч. 2, кн. 2, май. С. 179—189. (МЖ 2. Ч. 2. С. 185—196).
Maria. Moulines. — The Bourbonnois // *Stern L.* A Sentimental Journey through France and Italy. 1768.

44. Romantische Gemälde der Vorwelt. Leipzig, 1789. То есть: Романтические картины прошедших времен. (Из немецкой библиотеки) // 1791. Ч. 2, кн. 2, май. С. 205—206. (МЖ 2. Ч. 2. С. 212—214).
Romantische Gemälde. . . // ADB. Bd 90, St. 2. S. 446—447. Сокращенный перевод.

45. [*Андреэ И. В.*] Антиподы. *Сия пиеса и следующая переведены из сочинений Иоан. Вал. Андрея, автора шестогонадесять века // 1791. Ч. 2, кн. 3, июнь. С. 277—278. (МЖ 2. Ч. 2. С. 260—261).

46. [*Андреэ И. В.*] Погребенная истина // 1791. Ч. 2, кн. 3, июнь. С. 279—280. (МЖ 2. Ч. 2. С. 262—263).
Andreae J. V. Die begrabene Wahrheit // Sammlungen zu einem christlichen Magazin. Zürich u. Winterthur, 1781. Bd 1, H. 2. S. 150—152.

47. [*Фрамери Н. Э.*] Парижские спектакли. *Окончание той статьи, которая перервана была в апреле месяце. (Театр в Пале-Рояль) // 1791. Ч. 2, кн. 3, июнь. С. 315—319. (МЖ 2. Ч. 2. С. 301—305).
Framery N. E. Spectacles. Palais Royal // MF. 1790. N 52, 25 décembre. P. 160—164.

48. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire. 7 vol. То есть: Путешествие младого Анахарсиса по Греции, в средине четвертого века перед рождеством Христовым. 7 томов. (Переведено, с некоторыми переменами, из Енских ученых ведомостей) // 1791. Ч. 3, кн. 1, июль. С. 97—113; Кн. 2, август. С. 201—217; Кн. 3, сентябрь. С. 333—341. (МЖ 2. Ч. 3. С. 106—123; 209—225; 345—353).
Voyage du jeune Anacharsis. . . // Allgemeine Litteratur-Zeitung. 1789. N 196, 3 Julius. Sp. 17—24; N 197, 4 Julius. Sp. 25—32.

49. [*Макферсон Дж.*] Сельмские песни. Из творений Оссиановых // 1791. Ч. 3, кн. 2, август. С. 134—149. (МЖ 2. Ч. 3. С. 138—154; РП. Ч. 1. С. 34—49; П. Т. 5. С. 23—33).
Macpherson J. The poems of Ossian: The songs of Selma. 1762.

50. [*Эберхард И. А.*] Бель к Шафтсбури. *Сие и следующее письмо переведены из Lettres choisies de Mr Bayle. Т. III // 1791. Ч. 3, кн. 2, август. С. 150—155. (МЖ 2. Ч. 3. С. 155—160; Пнт 2. Ч. 2. С. 68—72; П. Т. 8. С. 49—52).
Eberhard J. A. Bayle/Shaftesbury // Engel J. J. Der Philosoph für die Welt, 1787. Атрибуция: *Rothe H.* N. M. Karamzins europäische Reise: Der Beginn des russischen Romans. Berlin; Zürich, 1968. S. 123.

51. [*Эберхард И. А.*] Шафтсбури к Белю // 1791. Ч. 3, кн. 2, август. С. 155—164. (МЖ 2. Ч. 3. С. 160—170; Пнт 2. Ч. 2. С. 73—82; П. Т. 8. С. 53—59).

Eberhard J. A. Shaftesbury/Bayle // Engel J. J. Der Philosoph für die Welt, 1787. Атрибуция: см. № 50.

52. [*Фрамери Н. Э.*] Парижские спектакли, или О новых драматических пиесах, представленных на парижских театрах в нынешнем году. (Театр национальный. Итальянский театр) // 1791. Ч. 3, кн. 3, сентябрь. С. 326—333. (МЖ 2. Ч. 3. С. 338—345).

Framery N. E. Spectacles. Théâtre de la Nation. Théâtre Italien // MF. 1791. N 3, 15 janvier. P. 111; N 12, 19 mars. P. 109—110; N 3. P. 112; N 6, 5 février. P. 44—45; N 8. P. 112—114.

53. [*Коцебу А. Ф. Ф.*] Мария Сальмон, или Торжество добродетели / Пер. с нем. // 1791. Ч. 4, кн. 1, октябрь. С. 13—32. (МЖ 2. Ч. 4. С. 16—36; РП. Ч. 2. С. 62—79; П. Т. 6. С. 47—59).

Kotzebue A. F. F. Maria Francisca Victoria Salmon, oder Triumph der Unschuld // Für Geist und Herz, eine Monatsschrift für die nordischen Gegenden. Reval, 1787. Bd 3, St. 7. S. 30—45.

54. Раиса, древняя баллада // 1791. Ч. 4, кн. 2, ноябрь. С. 118—122. (МБ 1. Ч. 2. С. 144—149; МБ 2. Ч. 2. С. 40—45; МЖ 2. Ч. 4. С. 128—132; С 1. Т. 1. С. 27—30; С 2. Т. 1. С. 27—30; С 3. Т. 1. С. 22—25).

Bürger G. A. Des Pfarrers Tochter von Taubenhein. 1781. Атрибуция: *Nebel H. M.* N. M. Karamzin — a Russian Sentimentalist. The Hague; Paris, 1967. P. 106—107. Вольное подражание.

55. Жизнь и дела Иосифа Бальзамо, так называемого графа Калиостро. Предуведомление немецкого переводчика // 1791. Ч. 4, кн. 2, ноябрь. С. 209—235; Кн. 3, декабрь. С. 325—342; 1792. Ч. 5, кн. 1, январь. С. 57—83; Кн. 2, февраль. С. 234—271. (МЖ 2. Ч. 4. С. 197—229; 323—340; Ч. 5. С. 59—87, 232—271).

Leben und Thaten Josephs Balsamo, des so genannten Grafen Cagliostro, gezogen aus dem wider ihn zu Rom im Jahr 1790 angestellten Prozess; worin zugleich auch Nachrichten von den Freymäureren gegeben werden. Aus dem Italienischen übersetzt von C. J. J. // NTM. 1791, Bd II. St. 6, Junius, S. 181—219; St. 7, Julius, S. 225—317; St. 8, August, S. 337—385.

56. [*Фрамери Н. Э.*] Парижские спектакли, или О новых драматических пиесах, представленных на парижских театрах в нынешнем году. (Театр национальный. Театр графа Прованского. Итальянский театр) // 1791. Ч. 4, кн. 3, декабрь. С. 342—354. (МЖ 2. Ч. 4. С. 341—354).

Framery N. E. Spectacles. Théâtre de la Nation. Théâtre de Monsieur. Théâtre Italien // MF. 1791. N 16, 16 avril. P. 121—128; N 22, 28 mai. P. 144—146; N 22. P. 146—147.

57. Mémoires de la vie privée de Benjamin Franklin, écrits par luimême et adressés à son fils. 1791. То есть: Жизнь Вениамина Франклина, им самим описанная для сына его // 1791. Ч. 4, кн. 3, декабрь. С. 355. (МЖ 2. Ч. 4. С. 355).

«Mémoires de la vie privée. . .» Сокращенный перевод предисловия к французскому изданию произведения.

58. *Лихтвер М. Г.* Странные люди: Подражание Лихтверу // 1792. Ч. 5, кн. 1, январь. С. 12—15. (МЖ 2. Ч. 5. С. 12—15).
Lichtwer M. G. Die Seltsamen Menschen. 1773.

59. *Архенгольц И. В.* Кораблекрушение в Южном море, в 1790 году: Отрывок из четвертой книги Британских летописей, сочиняемых г-м Архенгольцом // 1792. Ч. 5, кн. 1, январь. С. 123—135. (МЖ 2. Ч. 5. С. 128—141).
Schiffbruchszenen im Südmeer, im Jahr 1790. Von Hrn Hauptmann von Archenholz: (Ein Fragment aus dem jetzt unter der Presse befindlichen vierten Bande der Brittischen Annalen des Hrn Hauptmann von Archenholz) // DM. 1790. Bd 1, Februar. S. 181—188.

60. Песнь мира // 1792. Ч. 5, кн. 2, февраль. С. 153—157. (МБ 1. Ч. 2. С. 159—163; МБ 2. Ч. 2. С. 55—59; МЖ 2. Ч. 5. С. 147—151; С 1. Т. 1. С. 39—42; С 2. Т. 1. С. 39—42; С 3. Т. 1. С. 31—33).
Schiller F. Lied an die Freude (1789). Атрибуция: *Neumann F. W.* Karamzins Verhältnis zu Schiller // Zeitschrift für slavische Philologie. 1932. N 9. S. 366—367. Вольное подражание.

61. Последний час Иакова II (С немецкого) // 1792. Ч. 5, кн. 3, март. С. 390—393. (МЖ 2. Ч. 5. С. 369—372).
K. Letzte Stunden König Jakobs des Zweyten von England // DM. 1790. Bd 1, März. S. 310—312.

62. [*Фрамери Н. Э.*] Парижские спектакли. (В конце 1791 года. Итальянский театр. Национальный театр) // 1792. Ч. 5, кн. 3, март. С. 397—401. (МЖ 2. Ч. 5. С. 377—380).
Framery N. E. Spectacles. Théâtre Italien. Théâtre de la Nation // MF. 1792. N 3, 21 janvier. P. 79—81; N 2, 14 janvier. P. 56—68.

63. [*Мейстер Л.*] Жизнь Клопштока. *Из Meisters Charakteristik // 1792. Ч. 6, кн. 1, апрель. С. 74—98. (МЖ 2. Ч. 6. С. 67—93; Пнт 2. Ч. 2. С. 134—156; П. Т. 8. С. 98—113).
Klopstock // Meister L. Charakteristik deutscher Dichter. Bd 2. St. Gallen u. Leipzig, 1789. S. 312—338.

64. [*Калидаса.*] Сцены из Саконталы, индейской драмы // 1792. Ч. 6, кн. 2, май. С. 125—156; Кн 3, июнь. С. 294—323. (МЖ 2. Ч. 6. С. 114—144, 280—309; Пнт. 2. Ч. 1. С. 128—182; П. Т. 7. С. 95—133).
Sacontala, oder Der Entscheidende Ring, ein indisches Schauspiel von Kalidas. Aus den Ursprachen Sanskrit und Praktit ins Englische und aus diesem ins Deutsche übersetzt, mit Erläuterungen von Georg Forster. Mainz u. Leipzig, 1791. Выборочный перевод.

65. *Гарве Х.* О досуге: Сочинение философа Гарве. *Переведено из Deutscher Monatsschrift, февраля месяца 1792 года // 1792. Ч. 6, кн. 2, май. С. 167—176. (МЖ 2. Ч. 6. С. 155—165; Пнт 2. Ч. 2. С. 126—133; П. Т. 8. С. 92—97).
Über die Musse. Von Hrn Prof. Garve // DM. 1792. Bd 1, Februar. S. 93—98.

66. [*Фрамери Н. Э.*] Парижские спектакли в 1792 году // 1792, Ч. 6, кн. 2, май. С. 208—212. (МЖ 2. Ч. 6. С. 197—201).
Framery N. F. Spectacles// MF. 1792. N 12, 24 mars. P. 104—107.

67. Граф Гваринос. Древняя гишпанская историческая песня // 1792. Ч. 6, кн. 3, июнь. С. 219—226. (МБ 2. Ч. 2. С. 222—230; МЖ 2. Ч. 6. С. 207—213; С 1. Т. 1. С. 147—153; С 2. Т. 1. С. 148—154; С 3. Т. 1. С. 115—120).

Romanze von Grafen Guarinos// Magazin der Spanischen und Portugiesischen Literatur. 1780. Bd 1. S. 5—11. Атрибуция: *АлексеевМ. П.* К литературной истории одного из романсов в «Дон Кихоте» // Сервантес: Статьи и материалы. Л., 1948. С. 96—123.

68. *Мориц К. Ф.* Нечто о мифологии. (Перевод из Морицовой Götterlehre) // 1792. Ч. 6, кн. 3, июнь. С. 277—285. (МЖ 2. Ч. 6. С. 264—271).

Gesichtspunkt für die mythologischen Dichtungen // *Moritz K. Ph.* Götterlehre, oder Mythologische Dichtungen der Alten. Berlin, 1791. S. 1—9.

69. [*Мейстер Л.*] Соломон Геснер. *Meisters Charakteristik // 1792. Ч. 6, кн. 3, июнь. С. 285—294. (МЖ 2. Ч. 6. С. 271—280; Пнт 2. Ч. 2. С. 117—125; П. Т. 8. С. 85—91).

S. Gessner // *Meister L.* Charakteristik deutscher Dichter. St. Gallen u. Leipzig, 1789. Bd 2. S. 371—388.

70. [*Энгельшаль И. Ф.*] Корделия. (Из Виландова журнала) // 1792. Ч. 7, кн. 1, июль. С. 68—99. (МЖ 2. Ч. 7. С. 69—99).

Engelschall J. F. Kordelia // NTM. 1791. Bd 2, St. 5, May, S. 3—29.

71. Шотландская баллада. (Перевод из Etrennes sentimentales) // 1792. Ч. 7, кн. 1, июль. С. 99—101. (МЖ 2. Ч. 7. С. 99—102).

72. [*Лагарп Ж. Ф.*] Nouvelles nouvelles, par Mr de Florian. A Paris. 1792. То есть: Новые сказки, сочиненные Флорианом // 1792. Ч. 7, кн. 1, июль. С. 104. (МЖ 2. Ч. 7. С. 104—105).

Laharpe J. F. Nouvelles nouvelles. . . // MF. 1792. N 20, 19 mai. P. 66—79. Перевод начала рецензии.

73. [*Козегартен Л. Т.*] Могила // 1792. Ч. 7, кн. 2, август. С. 109—111. (МБ 1. Ч. 2. С. 137—139; МБ 2. Ч. 2. С. 28—31; МЖ 2. Ч. 7. С. 109—111; С 1. Т. 1. С. 21—22; С 2. Т. 1. С. 21—22; С 3. Т. 1. С. 18—19).

Des Grabes Furchtbarkeit und Lieblichkeit // Rhapsodien von L. T. Kosegarten. Leipzig, 1790. S. 125—130. Вольное подражание.

74. [*Губер Л. Ф.*] Юлиана, Шиллерова драма // 1792. Ч. 7, кн. 2, август. С. 122—155. (МЖ 2. Ч. 7. С. 123—156).

Huber L. F. Juliane // Thalia. 1791. Bd 3, H. 9. Перевод I акта. Атрибуция: *Данилевский Р. Ю.* Шиллер и становление русского романтизма // Ранние романтические веяния. Л., 1972. С. 30—32.

75. Английский анекдот. (Из Mercure Français, N 30, 28 juillet 1792) // 1792. Ч. 7, кн. 2, август. С. 155—159. (МЖ 2. Ч. 7. С. 157—161).

Anecdote traduite d'un papier anglais // MF. 1792. N 30. P. 104—107.

76. Белые арабы // 1792. Ч. 7, кн. 2, август. С. 252—254. (МЖ 2. Ч. 7. С. 256—258).

77. *Флориан Ж. П. К.* Валерия, итальянская повесть. (Из Флориановых Nouvelles nouvelles) // 1792. Ч. 7, кн. 3, сентябрь. С. 282—321. (МЖ 2. Ч. 7. С. 284—300 [323]; РП. Ч. 1. С. 50—88; П. Т. 5. С. 34—59).

Florian J. P. C. Valérie, nouvelle italienne // Nouvelles nouvelles, par M. de Florian. Paris, 1792. P. 165—198.

78. *Энгель И. Я.* Гилас и Филоноус. (Из Энгелева Светского философа) // 1792. Ч. 7, кн. 3, сентябрь. С. 321—328. (МЖ 2.

Ч. 7. С. 300 [323]—307 [330]; Пнт 2. Ч. 2. С. 95—101; П. Т. 8. С. 69—73).

Hylas und Phylonaus. Ein Gespräch über die Immaterialität der Seele // Der Philosoph für die Welt. Hrsg. von J. J. Engel. Thl. 2. Leipzig, 1777. St. 24. S. 172—180. Сокращенный перевод.

79. *Энгель И. Я.* Галилеево сновидение. (Из Энгелева Светского философа) // 1792. Ч. 7, кн. 3, сентябрь. С. 328—343. (МЖ 2. Ч. 7. С. 307 [330]—322 [345]; Пнт 2. Ч. 2. С. 102—116; П. Т. 8. С. 74—84).

Traum des Galilei // Der Philosoph für die Welt. Hrsg. von J. J. Engel. Thl. 2. Leipzig, 1777. St. 14. S. 1—17.

80. *Энгель И. Я.* Богини. (С немецкого) // 1792. Ч. 7, кн. 3, сентябрь. С. 360—376. (МЖ 2. Ч. 7. С. 335 [356]—352 [375]).

Die Göttinnen // Der Philosoph für die Welt. Hrsg. von J. J. Engel. Thl. 1. 1775. St. 1. S. 1—19.

81. [*Мерсье Л. С.*] Исторический анекдот. (Из древней немецкой хроники. Перевод с французского) // 1792. Ч. 8, октябрь—ноябрь. С. 70—76. (МЖ 2. Ч. 8. С. 74—80; РП. Ч. 2. С. 80—85; П. Т. 6. С. 60—64).

Anecdote historique, tirée d'une ancienne chronique d'Allemagne // Fictions morales. Par M. Mercier. Paris, 1792. T. 1. P. 58—63. Сокращенный перевод.

82. [*Бутервек Ф.*] *Боутервек.* Аполлон. Изъяснение древней аллегории // 1792. Ч. 8, октябрь—ноябрь. С. 118—131. (МЖ 2. Ч. 8. С. 128—135; Пнт 2. Ч. 2. С. 83—94; П. Т. 8. С. 60—68).

Bouterwek F. Apollo. Eine Deutung // Akademie der schönen Redekünste. Hrsg. von G. A. Bürger. Berlin, 1790. Bd 1, St. 1. S. 7—22.

83. [*Бернарден де Сен-Пьер Ж. А.*] Кофейный дом. Из нового азиатского путешествия / Пер. с нем. // 1792. Ч. 8, октябрь—ноябрь. С. 138—153. (МЖ 2. Ч. 8. С. 142—155; РП. Ч. 2. С. 86—98; П. Т. 6. С. 65—74).

Bernardin de Saint Pierre J. H. Le café de Surate. 1791.

84. *Мориц К. Ф.* Письмо из Рима. Ноября 8, 1786 // 1792. Ч. 8, октябрь—ноябрь. С. 154—158.

Der Pabst. Rom, den 8. November. Rom, den 20. November // Reisen eines Deutschen in Italien in den Jahren 1786—1788. In Briefen von K. Ph. Moritz. Thl. 1. Berlin, 1792. S. 130—136, 148. Контаминация сокращенного перевода письма от 8 ноября и начала письма от 20 ноября.

85. Geheime Geschichte des Philosophen Peregrinus Proteus. Von C. M. Wieland. Zwey Theile. То есть: Тайная история философа Перегринуса Протеуса, сочиненная Виландом // 1792. Ч. 8, октябрь—ноябрь. С. 159—161. (МЖ 2. Ч. 8. С. 161—162).

Cr. Geheime Geschichte. . . // ADB. 1792. Bd 3, St. 1. S. 137—139. Сокращенный перевод.

86. [*Бартелеми Ж. Ж.*] Платон, или О происхождении мира. (Перевод из Анахарсиса) // 1792. Ч. 8, декабрь. С. 175—192. (МЖ 2. Ч. 8. С. 176—194; Пнт 2. Ч. 1. С. 41—57; П. Т. 7. С. 31—42).

Discours de Platon sur la formation du monde // *Barthélemy J. J.* Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du quatrième siècle

avant l'ère vulgaire. Paris, 1788. T. 3, Ch. LIX. P. 210—221. Сокращенный перевод фрагмента главы.

87. Надежда. (С немецкого) // 1792. Ч. 8, декабрь. С. 206—208. (МЖ 2. Ч. 8. С. 208—210).

88. *Мейстер Л.* Виланд // 1792. Ч. 8, декабрь. С. 211—232. (МЖ 2. Ч. 8. С. 212—233; Пнт 2. Ч. 2. С. 157—176; П. Т. 8. С. 114—127).

Wieland // *Meister L.* Charakteristik deutscher Dichter. Биография взята в одном из изданий книги 1790—1792 гг. См.: *Данилевский Р. Ю.* Виланд в русской литературе // От классицизма к романтизму. Л., 1970. С. 343—344.

89. *Мармонтель Ж. Ф.* Ларчик, нравоучительная сказка // 1792. Ч. 8, декабрь. С. 278—285. (МЖ 2. Ч. 8. С. 279—297; НМ. Ч. 2. С. 68—110; П. Т. 2. С. 49—78).

Marmontel J. F. La Cassette, conte moral. Pt. 1 // MF. 1792. N 44, 3 novembre. P. 6—19. Перевод 1-й части повести. Полный перевод № 160.

Московские ведомости. 1795.

90. История Алькандера и Септимия, извлеченная из Византийских летописей // 1795. № 1. С. 9.

Alcandre et Septimius: Anecdote extraite de l'histoire Bysantine // Journal des dames et des modes. N 39. P. 337—342.

91. Следующий анекдот взят из франц. Меркурия, 1777, сентября месяца // 1795. № 5. С. 100.

Fait singulier // MF. 1777. T. 3, septembre. P. 200—201.

92. [*Ларошфуко Ф.*] Некоторые из Рошфукольдовых мыслей // 1795. № 9. С. 212.

Rochefoucauld F., de la. Réflexions, ou Sentences et maximes morales. 1665. Перевод отдельных афоризмов.

93. [*Сенфуа Ж. Ф.*] Диана де Пуатье // 1795. № 10. С. 240.

Saintfoix J. F. Essais historiques de Paris. 4-e éd. Paris, 1768. T. 1. P. 257—260.

94. [*Вариллас А.*] Франциск I, король французский, любил видеть сражение зверей, особливо львов. . . // 1795. № 12. С. 292.

Varillas A. Histoire de François premier. 1685.

95. [*Сенфуа Ж. Ф.*] Обриева собака // 1795. № 14. С. 336.

Saintfoix J. F. Essais historiques de Paris. 4-e éd. Paris, 1768.

96. Дамон и Питиас нашего времени. (Из Ваткинсонова путешествия, напечатанного в Лондоне в 1793 году) // 1795. № 24. С. 596.

97. [*Бернарден де Сен-Пьер Ж. А.*] О чувстве меланхолии: Из Etudes de la nature, par J. H. B. de Saint-Pierre // 1795. № 25. С. 619—620.

Bernardin de Saint-Pierre J. H. B. Etudes de la nature. 1784. T. 4. Du sentiment de la mélancolie.

98. *Форстер И. Р.* Отагити. *Сии известия писаны Форстером, который был в Отагити с Куком // 1795. № 27. С. 657—659; № 28. С. 674—675; № 29. С. 687—688; № 30. С. 704.

Forster J. R. Observations during a voyage round the world. London, 1778.

99. *Страбон.* Исторический патриотизм. (Анекдот из Страбона) // 1795. № 31. С. 724.

100. [*Ларошфуко Ф.*] Рошфукольдовы мысли // 1795. № 31. С. 724.
Rochefoucauld F. de la. Réflexions, ou Sentences et maximes morales. 1665. Перевод отдельных афоризмов.

101. *Руссо Ж. Ж.* Чувство // 1795. № 33. С. 766.
Sentiment // Les pensées de J. J. Rousseau, citoyen de Genève. 1773. Т. 1.

102. *Вариллас А.* Вариллас в истории короля Франциска I рассказывает след. анекдот о Карле V. . . // 1795. № 36. С. 822.
Varillas A. Histoire de François premier. 1685. Livre XIII. Comparaison de ce prince avec l'empereur Charles-Quint. Перевод фрагмента.

103. [*Бэкон Ф.*] Баконовы мысли // 1795. № 40. С. 894.

104. *Мориц К. Ф.* О памяти. (Из Морицова Психологического магазина) // 1795. № 47. С. 1010.
Magazin zur Erfahrungsseelenkunde.

105. *Герц М.* О влиянии души на тело. Из книги профессора Герца // 1795. № 49. С. 1042.
Herz M. Versuch über den Schwindel. 1791.

106. *Мориц К. Ф.* Поэт во сне. (Из Морицова Психологического магазина) // 1795. № 51. С. 1074.
Moritz K. Ph. Ein Dichter im Schlaf // Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. 1785. Bd 3, St. 1. S. 88—89.

107. *Бюффон Ж. Л. Л.* Об олене и звериной ловле. (Перевод из Бюффона) // 1795. № 54. С. 1115.
Le cerf // *Buffon G. L. L.* Histoire naturelle générale et particulière. 1756. Т. 6.

108. [*Соссюр О. Б.*] О Боннете // 1795. № 57. С. 1164—1165.
Saussure H. B. Eloge historique de Charles Bonnet. 1787.

109. [*Орбессан А. М.*] Письмо из Венеции. (Из Voyage d'Italie par Mr le Marquis d'Orbessan) // 1795. № 62. С. 1242.
Orbessan A. M. Voyage d'Italie. 1768. «Le 28 mai j'assistai à l'une des audiences tenues au palais ducal. . .».

110. [*Соссюр О. Б.*] Анализ Боннетовых сочинений // 1795. № 64. С. 1273—1274; № 65. С. 1288—1289.
Saussure H. B. Eloge historique de Charles Bonnet. 1787.

111. О стыдливости. Перевод из одной старинной франц. книги // 1795. № 68. С. 1337.

112. Магистр Реман сочинил на нем. языке книгу о превосходстве немецких ученых и художников. . . См. Journ. des savants, avril 1711, стран. 459—460 // 1795. № 69. С. 1350.
Journal des savants. 1711, avril. P. 459—460.

113. Отрывок из Меллерова путешествия // 1795. № 73. С. 1404—1405.

114. На берегах Гинеи кочуют разные дикие народы, из которых каждый имеет своего царя или Касика. . . (Из одного немецк. журнала)// 1795. № 82. С. 1548—1549.

115. Перевод из Библиотеки светских людей. «Я был недавно в гостях у одного автора, поэта, сентименталиста. . .» // 1795. № 99. С. 1876.

Муза. СПб., 1796.

116. [*Валь А.*] Анекдот. Переведено из Bagatellen von Anton Wall // 1796. Ч. 1, март. С. 258—259.

Eine Anekdote // *Wall A.* Bagatellen. Leipzig, 1786. Bd 1. S. 257—258.

117. *Коцебу А. Ф. Ф.* Кто бы сему поверил? Несчастное приключение, случившееся женатому человеку. Переведено из книги: Die jüngsten Kinder meiner Laune von A. v. Kotzebue // 1796. Ч. 2, апрель. С. 78—97.

Wer hätte das geglaubt? Eine unglückliche Begebenheit, welche einem Ehemanne wiederfuhr // *Kotzebue A. F. F.* Die jüngsten Kinder meiner Laune. Bd 2.

118. *Валь А.* Преосвященник закона правды. Восточная повесть (с немецкого). *Из сочинений г. Валла // 1796. Ч. 2, июнь. С. 184—191.

Der Oberpriester des Gesetzes der Wahrheit. Ein Märchen aus dem Morgenlande // *Wall A.* Bagatellen. Leipzig, 1786. Bd 2. S. 250—258.

Аониды, или Собрание разных новых стихотворений. М., 1796—1799.

119. [*Гомер.*] Гектор и Андромаха. Перевод из шестой книги Илиады // 1796. Кн. 1. С. 105—116.

Homer. Ilias. Вольное подражание.

120. [*Вольтер Ф. М.*] Опытная Соломонова мудрость, или Мысли, выбранные из Экклезиаста // 1797. Кн. 2. С. 173—191. (МБ 2. Ч. 2. С. 3—20; С 1. Т. 1. С. 1—12; С 2. Т. 1. С. 1—12; С 3. Т. 1. С. 3—10).

Voltaire F. M. Précis de l'ecclésiaste. 1759. Вольное подражание.

Пантеон иностранной словесности. М., 1798.

121. *Цицерон М. Т.* Цицерон о боге. Мысли, выбранные по большей части из его книги о Натуре богов // 1798. Кн. 1. С. 1—17. (Пнт 2. Ч. 1. С. 1—10; П. Т. 7. С. 3—9).

Cicero M. T. De nature deorum, 45 г. до н. э. Перевод отдельных фрагментов.

122. [*Энгель И. Я.*] Восторг Лас-Казаса, или Источник душевного мира // 1798. Кн. 1. С. 18—41. (РП. Ч. 2. С. 279—292; П. Т. 6. С. 208—218).

Engel J. J. Entzückung des Las-Casas, oder Quellen der Seelenruhe // Die Horen, eine Monatsschrift Hrsg. von Schiller. 1795. Bd 1, St. 3. S. 70—79. Источник указан В. Д. Раком.

123. [*Саади М.*] Последние слова Козроэса-Парвиса, сказанные им сыну своему. Перевод из Персидской книги *Бостана*, сочиненной поэтом Сади // 1798. Кн. 1. С. 42—46. (Пнт 2. Ч. 1. С. 125—127; П. Т. 7. С. 92—94).

Саади М. Бустан. 1257 (авторское название «Саади-наме»).

124. [*Саади М.*] Мысли об уединении, переведенные из той же Садиевой книги // 1798. Кн. 1. С. 47—50. (Пнт. 2. Ч. 2. С. 302—303; П. Ч. 8. С. 217—218).

Саади М. Бустан. 1257.

125. *Эро де Сешель Ж. М.* Бюффон перед концом жизни. Из записок Эро-Сешеля // 1798. Кн. 1. С. 51—128. (Пнт 2. Ч. 2. С. 255—301; П. Т. 8. С. 135—216).

Anecdotes sur Buffon, extraites d'un voyage fait à Monbart en 1785 par Hérault de Séchelles // D. an V [1796]. T. 11, N 7, 10 frimaire. P. 405—412; N 8, 20 frimaire. P. 461—466.

126. Письмо из Лондона // 1798. Кн. 1. С. 129—132.

127. [*Бланкар-Сет-Фонтен Л. М.*] Дервиш в глубокомыслии.

Восточный анекдот // 1798. Кн. 1. С. 133—135. (Пнт 2. Ч. 2. С. 304—305; П. Т. 8. С. 219—220).

Le Derviche en observation, anecdote orientale; par L. M. Blanquart-Sept-Fontaines // ME. 1795. T. 4. P. 123—124.

128. Просвещение // 1798. Кн. 1. С. 136—138. (Пнт 2. Ч. 2. С. 306—307; П. Т. 8. С. 221—222).

129. [*Шабанон М. П. Г.*] Шабанон. . . .Следующую статью ‹. . .› перевел я из Энциклопедического магазина // 1798. Кн. 1. С. 139—156. (Пнт 2. Ч. 2. С. 308—318; П. Т. 8. С. 223—230).

Chabanon M. P. G. Tableau de quelques circonstances de ma vie. Précis de ma liaison avec mon frère Maugris // ME. 1795. T. 4. P. 489—499. Перевод отрывка из воспоминаний Шабанона, помещенного в рецензии на его книгу.

130. Ленвиль и Фанни // 1798. Кн. 1. С. 157—199. (РП. Ч. 1. С. 120—146; П. Т. 5. С. 80—97).

Linville et Fanny, nouvelle. Par la cit. J. // ME. 1795. T. 2. P. 390—408.

131. [*Фонтан Л.?*] Оссиан // 1798. Кн. 1. С. 200—222. (Пнт 2. Ч. 2. С. 319—332; П. Т. 8. С. 231—240).

Fontanes L.? Poèmes d'Ossian et de quelques autres bardes, pour servir de suite à l'Ossian de Le Tourneur // ME. 1795. T. 5. P. 112—128. Вольный перевод рецензии на французский перевод гэльских поэм, изданных Д. Смитом.

132. *Буфлер С.* О заблуждении. *Сочинение Буфлера. . . // 1798. Кн. 1. С. 223—228. (Пнт 2. Ч. 2. С. 333—336; П. Т. 8. С. 251—253).

Sur l'erreur, par Boufflers // ME. 1795. T. 3. P. 256—258.

133. *Тассо Т.* Армидин сад: Перевод из Тассова Освобожденного Иерусалима // 1798. Кн. 1. С. 229—252. (Пнт 2. Ч. 1. С. 111—124; П. Т. 7. С. 82—91).

Tasso T. La Gerusalemme Liberata. 1580—1581. Прозаический перевод отрывков из XV и XVI песен.

134. *Эро де Сешель Ж. М.* Мысли и анекдоты: Из записок Эро-Сешеля // 1798. Кн. 1. С. 253—263. (Пнт 2. Ч. 2. С. 337—343; П. Т. 8. С. 254—258).

Pensées et anecdotes tirées d'un manuscrit d'Hérault-Séchelles // ME. 1795. T. 2. P. 118—124.

135. [*Мэкензи Г.*] История Ла-Роша, переведенная из английского журнала The Mirror // 1798. Кн. 2. С. 1—32. (РП. Ч. 1. С. 147—166; П. Т. 5. С. 98—111).

Mackenzie H. Histoire de la Roche, tirée de l'ouvrage périodique, intitulé The Mirror // BB. 1798. T. 7. P. 199—215. Первая публикация в журнале «The Mirror» (1779. N 42—44).

136. Две арабские оды // 1798. Кн. 2. С. 33—37. (Пнт 2. Ч. 1. С. 195—197; П. Т. 7. С. 143—145).

137. *Бюффон Ж. Л. Л.* Идеи первого человека при развитии его чувств // 1798. Кн. 2. С. 38—53. (Пнт 2. Ч. 1. С. 58—66; П. Т. 7. С. 43—49).

Histoire naturelle de l'homme. Des sens en générale // *Buffon G. L. L.* Histoire naturelle générale et particulière. 1749. T. 3.

138. *Бюффон Ж. Л. Л.* Homo duplex // 1798. Кн. 2. С. 54—69. (Пнт 2. Ч. 1. С. 67—76; П. Т. 7. С. 50—56).

Histoire naturelle de l'homme. Des sens en général // *Buffon G. L. L.* Histoire naturelle générale et particulière. 1749. T. 3.

139. *Бюффон Ж. Л. Л.* Описание аравийской пустыни // 1798. Кн. 2. С. 70—72. (Пнт 2. Ч. 1. С. 77—78; П. Т. 7. С. 57—58).

Histoire du chameau // *Buffon G. L. L.* Histoire naturelle générale et particulière. T. 6.

140. [*Бейдж Р.*] Отрывок, переведенный из нового английского романа: Man as he is // 1798. Кн. 2. С. 73—92. (РП. Ч. 1. С. 167—179; П. Т. 5. С. 112—120).

Bage R. Fragment tiré de Man as he is. Roman // BB. 1798. T. 7. P. 357—366.

141. [*Бартелеми Ж. Ж.*] Сократ: (Перевод из Анахарсиса) // 1798. Кн. 2. С. 93—198. (Пнт 2. Ч. 1. С. 237—299; П. Т. 7. С. 174—218).

Socrate // *Barthélemy J. J.* Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire. Paris, 1788. T. 3. Ch. LXVII.

142. *Ривароль А.* О дружбе // 1798. Кн. 2. С. 199—227. (Пнт 2. Ч. 2. С. 7—23; П. Т. 8. С. 3—15).

Essai sur l'amitié, par Mr de Rivarol // SN. 1797. T. 2, avril. P. 1—15.

143. Новейшее известие о Персии, из путешествия г-на Бошана, Вавилонского генерал-викария // 1798. Кн. 2. С. 228—288. (Пнт 2. Ч. 2. С. 24—59; П. Т. 8. С. 16—41).

144. [*Гизеке Л.*] Галеб // 1798. Кн. 2. С. 289—298. (РП. Ч. 2. С. 1—6; П. Т. 6. С. 3—6).

Giseke L. Haleb, eine Erzählung // NTM, 1790. Bd 2, May. S. 110—116.

145. [*Монтескье Ш. Л. де Секонда*] // 1798. Кн. 2. С. 299—304. (Пнт 2. Ч. 2. С. 60—63; П. Т. 8. С. 42—44).

Oeuvres posthumes de Montesquieu. Paris, 1797 // SN. 1798. T. 5, janvier. P. 55—60. Перевод отдельных афоризмов, взятых из рецензии на посмертное издание сочинений писателя.

146. [*Перес А.*] Мысли Антония Переца, гишпанского писателя. Из книги: Relaciones de Ant. Perez Secretario de estado, que fue del Rey de Espanna Don Phelippe II. deste Nombre. En Paris, 1624 // 1798. Кн. 2. С. 305—307. (Пнт 2. Ч. 2. С. 64—65; П. Т. 8. С. 45—46).

Perez A. Zerstreute Gedanken. Aus dem spanischen des Antonio Perez.* Von Herrn Ludwig Kuhn // DM. 1793. Bd 2, August. S. 332—334. Перевод фрагментов из книги, впервые изданной в 1595 г.

147. Мысли восточных мудрецов // 1798. Кн. 2. С. 308—310. (Пнт 2. Ч. 2. С. 66—67; П. Т. 8. С. 47—48).

148. *Лукан М. А.* Катон в Ливии: Перевод из Лукановой Фарсалии // 1798. Кн. 3. С. 1—23. (Пнт 2. Ч. 1. С. 79—92; П. Т. 7. С. 47—48).

Lucanus. De bello civili Pharsalia. 1469. Кн. 9. Строфы 379—604. Сокращенный прозаический перевод.

149. *Плутарх.* Правила для супругов: (Перевод из Плутарха). К Поллиану и Эвридике // 1798. Кн. 3. С. 24—53. (Пнт 2. Ч. 1. С. 93—110; П. Т. 7. С. 69—81).

Plutarchos. Moralia. I в. н. э.

150. *Годвин У.* Нравственные опыты. Английского доктора Годвина. . . I. Об удовольствиях; II. О славе после смерти; III. О науке // 1798. Кн. 3. С. 54—61; 62—72; 73—86. (Пнт 2. Ч. 2. С. 177—197; П. Т. 8. С. 128—131, 132—136, 137—142).

The Enqurer ou Réflexions sur l'éducation, les moeurs et la littérature, par Mr Godwin. VI-e essai. Du renoncement aux plaisirs; VIII-e essai. De la réputation posthume; XI-e essai. De la science // BB. 1798. T. 7. P. 389—394; 404—408; T. 8. P. 19—25. Первая публикация: Reflections on Education, Manners and Literature. London, 1797. См.: *Алексеев М. П.* Из истории английской литературы. М.; Л., 1960. С. 288.

151. *Руссо Ж. Ж.* Письма Ж. Ж. Руссо к Мальзербу. Письмо I. Монморанси, 4 генв. 1762; Письмо II; Письмо III. Монморанси, 26 генв. 1762; Письмо IV. 27 генв. 1762 // 1798. Кн. 3. С. 87—100, 101—118, 119—136, 137—154. (Пнт 2. Ч. 2. С. 213—254; П. Т. 8. С. 155—184).

Rousseau J. J. Les Lettres à Malesherbes.

152. *Мориц К. Ф.* Письма из Италии. Верона, 3 окт. 1786; Верона, 3 окт.; Амфитеатр; Мантуя, 5 окт., 6 окт., Виргилиев грот // 1798. Кн. 3. С. 155—160, 160—163, 163—165, 165—168.

Reisen eines Deutschen in Italien in den Jahren 1786 bis 1788. In Briefen von K. Ph. Moritz. Thl. I. Berlin, 1792. (Verona, den 2. Oktober 1786. S. 1—4; Verona, den 2. Oktober 1786; Das Amphitheater. S. 5—6; Mantua, den 4. Oktober. S. 7—8; Mantua, den 4. Oktober. Virgilis Grotte. S. 9—10).

153. Аделаида и Монвиль: Истинный анекдот // 1798. Кн. 3. С. 168—220. (РП. Ч. 1. С. 180—212; П. Т. 5. С. 121—142).

154. *Франклин В.* Челобитная левой руки. Франклиново сочинение // 1798. Кн. 3. С. 221—224. (Пнт 2. Ч. 2. С. 198—200; П. Т. 8. С. 143—144).

Pétition de la main gauche à ceux qui sont chargés d'élever des enfants // Vie de Benjamin Franklin, écrite par lui-même, suivie de ses oeuvres morales, politiques et littéraires, dont la plus grande partie n'avait pas encore été publiée. Traduit de l'anglais, avec des notes, par J. Castéra. Paris, an VI. T. 1. P. 321—324.

155. *Франклин В.* Нога хорошая и дурная // 1798. Кн. 3. С. 225—230. (Пнт 2. Ч. 2. С. 201—204; П. Т. 8. С. 145—147).

La belle jambe et la jambe difforme // Vie de Benjamin Franclin. . . Paris, an IV. T. 1. P. 324—329.

156. *Франклин В.* Свисток, невымышленная история // 1798. Кн. 3. С. 231—235. (Пнт 2. Ч. 2. С. 205—207; П. Т. 8. С. 148—150).

Le sifflet, histoire véritable, adressée par Franclin à son neveu // Vie de Benjamin Franclin. . . Paris, an VI. T. 1. P. 317—320.

157. [*Саллюстий Г. К.*] Катон и Цесарь. Перевод из Саллустия // 1798. Кн. 3. С. 236—240. (Пнт 2. Ч. 1. С. 183—185; П. Т. 7. С. 134—135).

Gaius Sallustius Crispus. De Catilinae conjuratione, 41 г. до н. э. Гл. LIII—LIV.

158. *Голдсмит О.* Как незавидно величие людей! (Из Голдсмита) // 1798. Кн. 3. С. 241—248. (Пнт 2. Ч. 2. С. 208—212; П. Т. 8. С. 151—154).

On human grandeur. Sur les grandeurs humaines. (Tiré de Goldsmith) // ВВ. 1798. Т. 8. Р. 539—542. Первая публикация в журнале: The Bee. 1759. N 6.

159. *Тацит П. К.* Перевод из Тацита. I. Речь Галгака, вождя британского, к своим воинам, перед сражением с римлянами; II. Речь Агриколы, вождя римского, к своему воинству, перед сражением с британцами // 1798. Кн. 3. С. 249—258, 259—263. (Пнт 2. Ч. 1. С. 186—191, 192—194; П. Т. 7. С. 136—140, 141—142).

Publius Cornelius Tacitus. De vita et moribus Julii Agricolae. 98.

СБОРНИКИ ПЕРЕВОДОВ

160. *Мармонтель Ж. Ф.* Новые Мармонтелевы повести, изданные Н. Карамзиным / Пер. с фр. М., 1794; 1798. Ч. 1—2. 341 с., 378 с. (2-е изд. М., 1815. Ч. 1—2. 355 с., 396 с.; 3-е изд. М., 1822. Ч. 1—2. 249 с., 274 с.; П. Т. 1—2. 233 с., 262 с.).

Ч. 1: Деревенские завтраки: Завтрак первый. Окно (с. 3—27); Второй завтрак. Монастырь и лесок (с. 27—57); Завтрак третий. Священник и гошпиталь (с. 57—88). Приятный вечер: Повесть первая (с. 89—99); Повесть вторая (с. 99—111); Повесть третья (с. 111—125); Повесть четвертая (с. 126—146); Повесть пятая (с. 146—159); Повесть шестая (с. 159—194); Повесть седьмая (с. 194—228); Повесть осьмая (с. 229—251); Повесть девятая (с. 251—295). Так должно было (с. 296—341).

Ч. 2: Безонские рыбаки (с. 1—67); Ларчик (с. 68—110); Совместники самих себя (с. 111—183); Школа дружбы (с. 184—273); Пустынники (с. 274—378).

Marmontel J. F. Les déjeunés du village, ou Les aventures de l'innoncence: Premier déjeuné. La fenêtre (MF. 1790. № 49, 4 décembre. P. 9—36); II-e déjeuné. Le couvent et le petit bois (MF. 1791. N 1, 1 janvier. P. 9—16); III-e déjeuné. Le presbytère et l'hopital (MF. N 6, 5 février. P. 11—33); La Veillée (см. № 35); 9-e histoire (MF. 1790. N 36, 4 septembre. P. 6—37); Il le fallait, conte moral (MF. 1792. N 13, 31 mars; N 14, 7 avril. P. 6—21); Les bateliers de Besons, conte moral (MF. N 18, 5 mai. P. 5—21; N 22, 2 juin, P. 4—20; N 27, 7 juillet. P. 4—23); La cassette, conte moral (см. № 89; MF. N 48, 1 décembre. P. 5—24); Les Rivaux d'eux-mêmes, conte moral (MF. N 31, 4 août. P. 6—21; N 36, 8 septembre. P. 5—23; N 40, 6 octobre. P. 8—29); L'école de l'amitié, conte moral (MF. 1791. N 40, 1 octobre. P. 6—28; N 45, 5 novembre. P. 4—28; N 49, 3 décembre. P. 5—26); Les Solitaires de Murcie, conte moral (MF. 1791. N 23, 2 juillet. P. 6—28; N 32, 6 août. P. 5—34; N 36, 3 septembre. P. 4—34).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ИНОСТРАННЫХ АВТОРОВ

Andreae J. V. (1587—1654) 45, 46
Archenholz J. W. (1734—1812) 59
Bacon F. (1561—1626) 103
Bage R. (1728—1801) 140
Barthélemy J. J. (1716—1795) 86, 141
Beauchamp A. (1787—1832) 143
Bernardin de Saint-Pierre (1737—1814) 83, 97
Blanquart-Sept-Fontaines 127
Bonnet Ch. (1720—1793) 28, 31
Boufflers S. (1737—1815) 132
Bouterwek F. (1765—1828) 82
Buffon G. L. L. (1707—1788) 107, 137, 138, 139
Chabanon M. P. G. (1730—1729) 129
Chamfort S. R. (1741—1794) 32
Cicero M. T. (106—43 до н. э.) 121
Eberhard J. A. (1739—1809) 50, 51
Engel J. J. (1741—1802) 78, 79, 80, 122
Engelschall J. F. (?—1797) 70
Florian J. P. C. (1755—1794) 77
Fontanes L. (1757—1821) 131

Forster J. R. (1729—1798) 98
Framery N. E. (1745—1810) 40, 47, 52, 56, 62, 66
Franklin B. (1706—1790) 154, 155, 156
Garve Ch. (1742—1798) 65
Genlis C. S. F. D. (1746—1830) 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Gessner S. (1740—1788) 1, 69
Gieseke L. 144
Godwin W. (1756—1836) 150
Goldsmith O. (1728—1774) 158
Haller A. (1708—1777) 2
Hérault de Séchelles M. J. (1760—1794) 125, 134
Herz M. (1747—1803) 105
Homer 119
Huber L. F. (1764—1804) 74
Kosegarten L. T. (1758—1818) 73
Kotzebue A. F. F. (1761—1819) 53, 117
Laharpe J. F. (1739—1803) 72
Lessing G. E. (1729—1781) 7
Lichtwer M. G. (1719—1783) 58
Lucanus M. A. (39—65) 148
Mackenzie H. (1745—1835) 135
Macpherson J. (1736—1796) 42, 49
Marmontel J. F. (1723—1799) 35, 89, 160
Meister L. (1741—1811) 63, 69, 88
Meller 113
Mercier L. S. (1740—1814) 81
Montesquieu Ch. L. (1689—1755) 145
Moritz K. Ph. (1757—1793) 68, 84, 104, 106, 152
Orbessan A. M. (1709—1801) 109
Perez A. (1539—1611) 146
Plutarchos (46—127) 149
Rivarol A. (1753—1801) 142
Rochefoucauld F. de la (1613—1680) 92, 100
Rousseau J. J. (1712—1778) 101, 151
Saintfoix J. F. 93, 95
Sallustius G. C. (85—35 до н. э.) 157
Saussure H. B. (1740—1799) 108, 110
Shakespeare W. (1564—1616) 6
Staël A. L. J. (1766—1817) 8
Stern L. (1713—1768) 37, 43
Strabo (63 до н. э.—20 н. э.) 99
Sturm Ch. Ch. (1740—1786) 3, 4
Tacitus P. C. (58—117) 159
Tasso T. (1544—1595) 133
Tiede J. F. (1732—1795) 5
Thomson J. (1700—1748) 12, 16, 18, 19, 30
Varillas A. (1624—1696) 102
Voltaire F. M. (1694—1778) 120
Wall A. 116, 118
Weisse Ch. (1726—1804) 29
Wieland C. M. (1733—1813) 6, 85, 88
Калидаса (4—5 вв.) 64
Саади М. (1210-е—1291) 123, 124

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

1. Allgemeine Deutsche Bibliothek (Berlin u. Stettin, 1765—1792);
2. Allgemeine Litteratur-Zeitung (Jena, 1785—1848);
3. Bibliothèque Britannique (Genève, 1796—1815);
4. The British Mercury (Hamburg, 1787—1791);
5. The Critical Review;
6. La Décade philosophique, littéraire et politique (Paris, 10 floréal an 11—21 sept. 1807);
7. Deutsche Monatsschrift (Berlin, 1790—1799);
8. Für Geist und Herz, eine Monatsschrift für die nordischen Gegenden (Reval, 1786—1787);
9. Die Horen (Tübingen, 1795—1797);
10. Journal des savants;
11. Magasin encyclopédique, ou Journal des sciences, des lettres et des arts (Paris, 1795—1816);
12. Magazin der spanischen und portugiesischen Literatur;
13. Magazin zur Erfahrungsseelenkunde als ein Lesebuch für Gelehrte und Ungelehrte (Berlin, 1783—1793);
14. Mercure de France (Paris, 1724—1820);
15. Der Neue Teutsche Merkur (Weimar, 1773—1810);
16. Le Spectateur du Nord, journal politique, littéraire et moral (Hamburg, 1797—1802);
17. Die Thalia (Leipzig, 1787—1791).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абеляр П. 36
Аблесимов А. О. 116
Аввакум (Петров), протопоп 8, 189
Август II, пол. король 197
Август Октавиан, рим. имп. 65, 292
Авраамий (Палицын) 203—205, 238
Аврамов М. П. 198
Агрикола 336
Адриан, митрополит 238
Адриан, патриарх моск. 15, 50
Александр I, имп. (вел. кн. Александр Павлович) 56, 107, 109, 113, 135, 145, 276, 278, 280, 293, 306, 315
Алексеев М. П. 328
Алексеев П. А. 243
Алексей Михайлович, царь 205
Алешина Л. С. 198
Алкей 306
Альстед И. Г. 220
Альтшуллер М. Г. 159
Амвросий (Зертис-Каменский А. С.) 237
Анакреон 144, 290, 295, 303, 304
Анахарсис 329
Андреев А. И. 200, 202, 204, 206
Андреэ И.-В. (Andreae J. V.) 319, 325
Андронников Ф. 208
Аничков Д. С. 243, 245
Анна Иоанновна, имп. 60, 221, 279
Анфосий см. Анфосси П.
Анфосси П. 305
Аполлос, архимандрит 47
Аполлос (Байбаков А.) 67, 315
Ареццо Г. д' 219
Аржанс Ж.-Б. д' 265, 267
Аристотель 35
Аристофан 169, 174, 175
Арсений (Мацеевич А.) 245
Арсеньев, автор сатир 117, 128
Архенгольц И.-В. (Archenholz J. W.) 327
Астраханский В. С. 200
Афанасий (Иванов А.) 62
Афанасьев А. Н. 76

Бабкин Д. С. 4
Баггер Х. 5
Бакмейстер Г.-Л. Х. 215, 218
Бакунин А. М. 69
Бакунин М. В. 257
Бакунин П. В. 257
Бакунин П. В. (Меньшой) 257, 258
Бакунины 69, 258
Балицкий Г. В. 184
Бальзамо Дж. (Калиостро) 326
Банин А. А. 230
Бантыш-Каменский Д. Н. 45
Бантыш-Каменский Н. Н. 237, 247
Бараг Л. В. 248
Баратынский Е. А. 74
Барклай Дж. 14, 60
Барков И. С. 112, 238, 242, 243
Бароцци да Виньола Дж. 180—183
Бартелеми Ж.-Ж. (Barthélemy J. J.) 34, 329, 330, 334
Бартенев П. И. 57, 106, 235
Баскакова Е. 83
Басманов П. Ф. 203, 210
Бастидон М. (Державина) 155
Баталина А. Г. 93
Батё см. Баттё Ш.
Баттё Ш. 290
Батый, хан 135
Батюшков К. Н. 18
Бах И.-С. 227

Бахтин И. И. 128
Башилов С. С. 216, 238
Бегунов Ю. К. 282
Беда Достопочтенный 219
Безбородко А. А. 258
Бейдж Р. (Bage R.) 334
Бейль П. (Bayle P.) 13, 16, 325, 326
Бекетов П. П. 142, 148, 170
Беклешов А. А. 151
Белинский В. Г. 17, 18, 43, 240, 250
Белокуров С. А. 12
Белосельский-Белозерский А. М. 45
Бель см. Бейль П.
Бельгард Ж.-Б. 66, 67
Бельский Б. Я. 210
Белявский Я. 62
Беляев М. Д. 256
Беляев О. П. 113
Бенитцкий А. И. 43
Бенкендорф С. И. 162
Березайский В. С. 101
Берков П. Н. 4, 27, 29, 78—81, 83—87, 90, 91, 98, 102, 103, 112, 128, 184, 186, 192, 234, 240, 241, *243*, *246*, *249*, 254, *271*
Бернар К. 263, 264
Бернарден де Сен-Пьер Ж.-А. (Bernardin de Saint Pierre J. H.) 329, 330
Бернулли И. I (Bernoulli J. I) 222
Берында И. 51
Бестужев А. 74
Бешенковский Е. Б. 142
Бидлоо Н. 25
Бион Смирнский 33
Благой Д. Д. 19, 20, 22, 102
Бланк Б. К. 159, 177
Бланкар-Сет-Фонтен Л.-М. (Blanquart-Sept-Fontaines L. M.) 333
Блудов Д. Н. 160, 166, 176, 260
Бобров Е. И. 183
Бобров С. С. 147
Богданов А. И. 47, 238
Богданович И. Ф. 31, 40, 49, 128
Боголюбов В. А. 234
Богомолов Ф. 101
Боккалини Т. 154
Болотников И. И. 213
Болховская А. 154
Бонне Ш. (Bonnet Ch.) 131, 322, 323, 331
Борис Годунов, царь 202—205, 208—211, 213
Бочарников К. 83
Брайко Г. Л. 240
Брайловский С. С. 111, 112, 116
Бранг П. 34, 38
Братищев В. Ф. 243, 244
Брюс Я. В. 182
Буало Н. 26, 27, 30, 178, 264
Буганов В. И. 205, 209
Булавин К. 9
Булгарин Ф. В. 171
Булич Н. Н. 76, 246
Булувна А. (Bułówna A.) 188
Буслаев П. 242
Бутервек Ф. (Bouterwek F.) 319, 329
Буфлер С. (Boufflers S.) 333
Буш Х.-Р. 223, 225, 232, 233
Буше Г. 152
Бхаротчандро Рай (Бхарат-Чандра Рой) 300, 307
Быкова Т. А. 184, 215, 216
Бычков А. Ф. 114, 116, 117
Бэкон Ф. 331
Бюффон Ж.-Л.-Л. (Buffon G. L. L.) 331—334
Бюхер К. 188

В. М. 78
Вайзе Х. 62
Валь А. (Wall A.) 332
Варенцов В. 50
Вариллас А. (Varillas A.) 330, 331
Василий III, вел. кн. 104
Василий Шуйский, царь 203, 205, 206, 208—213
Вассиан (Топорков) 204
Вахтмейстер, адмирал 111
Вацуро В. Э. 139, 258
Вейсе Х. Ф. (Weisse Ch. F.) 37, 323
Венгеров С. А. 52
Веневитинов Д. В. 176
Веницеев С. В. 248
Вергилий 33, 65, 246
Верещагин И. 239
Вернадский Г. В. 234
Веронезе П. 305
Верхольцт Ф. К. см. Ферельцт С. К.
Вершницкий А. 249
Веселовский А. Н. 18
Веселовский С. Б. 6
Вигель Ф. Ф. 66
Виланд К. М. (Wieland C. M.) 34, 35, 321, 329, 330
Вильгельм III Оранский 16
Владимир Игоревич, рус. кн. 109
Владислав, пол. царевич 207
Владыкин И. 117
Воейков А. В. 160, 173
Воейков А. Ф. 318
Вознесенский А. В. 215
Волков Ф. Г. 128, 238, 242
Волчков С. С. 66, 109, 110, 117
Вольтер Ф.-М.-А. (Voltaire F. M. A.) 27, 67, 110, 116, 118, 119, 122—124, 128, 162, 261, 332
Волынский А. П. 14
Воронов С. 34
Воронцов А. Р. 258, 276, 279, 280

Воронцов М. С. 74
Воскресенский Н. А. 15
Востоков А. Х. 318
Всеволод Святославич, рус. кн. 109
Вяземский А. А. 57, 70
Вяземский П. А. 110, 114, 135, 142, 159, 160, 162, 171, 174, 176, 178, 179

Габсбурги 194
Гавриил (Петров, Шапошников П. П.) 243
Галахов А. Д. 18, 22, 110, 249
Галгет Н. Б. (Halhed N. B.) 307, 317
Галенковский (Галинковский) Я. А. 153—155, 158, 178, 317
Галилей Г. 329
Галлер А. (Haller A.) 37, 320
Гарбузов Н. А. 230
Гарве Х. (Garve) 327
Гарвуд, доктор 324
Гаррик Д. 97
Гегель Г. В. Ф. 22
Гедеон (Криновский) 237
Геллерт Х. Ф. 37, 264
Гельмгольц Г. 231, 232
Гемстергюи Ф. 35
Гендриковы 6
Геннин В. И. 238
Георгиевский В. 50
Гераклит 80, 100
Герман, монах 47, 54
Гермоген, патриарх 211—213
Геродот 264
Герц М. (Herz M.) 331
Геснер С. (Gessner S.) 37, 320, 328
Гете И. В. 37, 69
Гецель Г.-Ф. 290, 291, 296, 299, 315
Гиббон Э. 133
Гизеке Л. (Giseke L.) 334
Гиллельсон М. И. 135, 153, 174, 252
Гинзбург Л. Я. 41, 59, 62
Гиппиус Ф. 148, 158
Глинка А. И. 42
Глинка С. И. 42, 161
Глумов А. 261, 264
Гнедич Н. И. 74, 318
Гоголи 251
Гоголь В. А. 252
Гоголь Мария 252
Гоголь М. И. 251, 252
Гоголь Н. В. 43, 252—255
Годвин У. (Godwin W.) 335
Годунова И. 209, 210, 212
Годунова К. 206
Годуновы 203
Гозенпуд А. А. 153
Голдсмит О. (Goldsmith O.) 335, 336
Голенищев-Кутузов И. Н. 187
Голенищев-Кутузов П. И. 139, 141, 142, 144, 147, 149—153, 155—161, 166, 168—174, 177, 178
Голиков И. И. 6, 15, 183, 197
Голикова Н. Б. 5
Голицын А. Н. 107—109
Голицын В. В. 205, 210
Голицын Д. М. 14
Голицын Н. М. 129
Голицын С. Ф. 66
Голицыны 126, 209
Головин Ф. А. 197
Гольдбах Х. 228, 231
Гомбо Ж.-О. 88
Гомер 44, 156, 332
Гончаров С. А. 253
Гораций 59, 65, 144, 161, 168, 181, 264, 290, 292, 297, 300, 304
Горчаков Д. П. 110—117, 122, 123, 125—129, 139, 143, 153, 166
Горчакова Е. С. 110, 111
Гостомысл 145
Грасхоф Х. 32
Грачевский И. 239
Грешищев И. 239
Гроддек Э. (Groddek E.) 323
Грот Я. К. 56, 57, 260, 289
Гроций Г. 14
Грязной В. Г. 6
Губер Л. Ф. (Huber L. F.) 328
Гудзий Н. К. 47, 99, 244
Гуковский Г. А. 3, 26, 27, 46, 66, 102, 114
Гуревич М. М. 184
Гуссейн 278
Густав III, швед. король 62
Гюйгенс К. 228
Гюйссен Ф. 181

Д. К. 87, 89, 91, 94, 95, 99
Д. П. 90, 92, 93, 95, 96
Давыдов И. И. 176
Данилевский Р. Ю. 34, 37, 271, 328, 330
Дашков Д. В. 174, 175
Декарт Р. 16, 220
Дементьев А. Г. 85
Демидов, домовладелец 108
Демин А. С. 10, 201
Демокрит 80, 100, 234
Денбовцев П. 63, 239
Дербов Л. А. 234
Державин Г. Р. 56, 59, 69—74, 115, 128, 143—150, 153, 155, 156, 161, 164—167, 171, 239, 257, 260, 277, 279, 290, 307, 313—318
Десницкий В. А. 90
Джонсон С. 44, 45, 51
Димитрий Ростовский (Тупталенко Д. С.) 11, 49, 50
Димсдейл Т. 86

Диоген Лаэртский 34
Дмитревский Д. И. 62, 284
Дмитревский И. А. 97, 237, 258
Дмитриев И. И. 29, 30, 42, 45, 51, 53, 56, 68, 74, 128, 132, 138—179
Дмитриев М. А. 141, 142, 162, 167, 171, 174, 176, 240
Дмитриев-Мамонов Ф. И. 31, 59, 62, 63
Дмитрий, царевич 206, 209
Добролюбов Н. А. 56
Долгорукий С. Н. 143
Долгоруков (Долгорукий) В. М. 45, 48
Долгоруков И. М. 43, 111, 112, 283
Долгоруков П. 45
Долгоруковы 45
Домашнев С. Г. 235
Досифей, игумен 10
Достоевский Ф. М. 22, 24, 43
Дробова Н. П. см. Морозова Н. П.
Дубровский А. И. 52
Дьякова Е. А. 256, 258
Дьякова М. А. 258, 259
Дьяковы 258

Евгений (Болховитинов Е. А.) 76, 237, 290, 315, 316, 318
Евгеньев-Максимов В. Е. 281
Евфимий Чудовский 7, 8
Екатерина I, имп. 6, 195
Екатерина II, имп. 31, 60—62, 71, 72, 86, 104, 106, 108, 112, 135, 235, 236, 244, 245, 247, 258, 280, 292, 299, 303
Елагин И. П. 42, 104—109, 115, 237
Елеонская А. С. 189
Елизавета Алексеевна, имп. 299
Елизавета Петровна, имп. 60, 72, 104, 292
Ельницкая Т. М. 98
Епифаний (Славинецкий) 7, 8
Еремин И. П. 187
Ермак (Аленин В. Т.) 300, 301
Ермакова-Битнер Г. В. 112, 113, 115, 116, 118
Ермолаев Н. 257
Ермолаев П. 257
Ермонская В. В. 54
Есин Б. И. 192
Ефремов П. А. 235

Жанлис С.-Ф. (Genlis S. F.) 37, 151, 320—322
Железников П. 61
Жирмунский В. М. 37
Жихарев С. П. 148, 151
Жуков П. 239
Жуковский В. А. 18, 25, 43, 74, 130—138, 156, 157, 159, 160, 163, 173—176

Заборов П. Р. 37, 261
Завадский К. 188, 189, 193
Западов А. В. 29, 78, 85, 143, 184, 192, 234, 244
Западов В. А. 56, 57, 234, 289
Захаров И. С. 61
Зеленников И. 251
Зеньковский С. А. 9, 10
Зимин А. А. 204
Зоил 119, 169
Золтаи Д. 219
Зорин А. 40
Зорич С. Г. 62, 68
Зощенко М. 252
Зубов В. А. 144
Зубов П. А. 62
Зульцер И. Г. 290, 296
Зюльцер см. Зульцер И. Г.

Иван III, вел. кн. 104, 105, 107, 135, 136
Иван IV Грозный, царь 6, 104, 145, 146, 202—204, 207, 210
Иваненко А. 239
Иванов А. И. 51
Иванов М. В. 271
Игнатий Грек, патриарх моск. 212, 213
Игнатий, соловецкий дьякон 9
Игорь Святославич, кн. Северский 109
Измайлов В. В. 35, 43, 143, 145, 148
Илларион, митрополит сузд. 50
Илличевский А. Д. 46
Ильин Н. 143
Ильинский И. 239, 242
Ильинский Л. К. 45
Иоаким (Савелов И.) 9
Иоанн Дамаскин 291
Иоанн (Кослович) 236
Иоанн Милостивый 58
Иов, I-й патриарх моск. 202, 204—206, 208—214
Иоганн, дат. королевич 205, 208
Ионин Г. Н. 289
Иосиф Волоцкий (Санин) 238
Иосиф, монах 202—214
Исидор, митрополит новгород. 212
Истомин К. 238

Казадаев А. В. 106—109
Кайперт Х. 34
Кайсаров А. С. 141, 142, 151, 157
Калайдович К. Ф. 105

Калидаса 327
Каллаш В. В. 162, 184
Калязин П. 83
Камедина Л. В. 59
Каменская А. П. 286
Каменский П. 311
Каминский В. И. 32, 38
Кампе И. Г. 37
Кантемир А. Д. 17, 20, 25—27, 30, 49, 143, 243
Канунова Ф. З. 32, 37, 38, 130, 131
Капнист В. В. 28, 34, 43, 64, 117, 128, 140, 166, 257, 259, 260
Карамзин Н. М. 3, 4, 28, 29, 33—36, 39, 40, 42, 43, 49—51, 59, 68, 74, 104, 106—109, 116, 130—138, 140—145, 148, 150, 151, 153, 157, 161, 165—167, 170, 171, 177, 253, 254, 271—280, 319, 320, 326, 327, 336
Караччи А. 305
Караччоли Л. А. 86
Карин Ф. Г. 117, 123, 129, 248
Карион (Истомин) 50
Карл XII, швед. король 25, 197
Катон 335
Катулл 264
Кафанова О. Б. 37, 319
Качеповский М. Т. 148, 154, 166, 167, 175, 176, 178
Квинт Курций 181
Кеневич В. Ф. 163, 164, 167, 218
Кеплер И. 220
Кеппен П. И. 237
Кибальник С. А. 33
Кирилл Белозерский 238
Кирилл (Ляшевецкий) 250
Кирнбергер И. (Kirnberger J. Ph.) 228, 229
Кирхер А. 220
Клейст Э. Х. 37
Клопшток Ф. Г. 307, 316, 327
Клосс Б. М. 205
Княжнин Я. Б. 64, 116, 127, 129
Кобержицкий С. 211
Кобыла А. И. 6
Ковалев А. 47
Кожевников А. П. 260
Кожевников В. А. 35
Кожинов В. В. 188
Козегартен Л. Т. (Kosegarten L. T.) 328
Козельский Ф. Я. 242, 243
Козицкий Г. В. 86
Козлов В. П. 105, 106, 109
Козьма Прутков 54
Козьмина Б. П. 192
Кокорев А. В. 257, 281
Кологривова Н. 83
Колычев В. П. 48, 117
Комаров М. 59, 62
Кондильяк Э.-Б. 131
Константин Павлович, вел. кн. 306
Копанев Н. А. 82, 180
Копиевич (Копиевский) И. Ф. 25, 181, 182
Коплан Б. И. 256
Копнин С. Л. 81
Копьев А. Д. 112
Корецкий В. И. 200—213
Корнель Т. 263, 264
Корреджо А. А. 304
Костар Ж.-П. 78
Костров Е. И. 74
Костровицкий А. 248
Котельников М. 238
Котельницкий А. 286, 306
Котков С. И. 190
Коцебу А. Ф. Ф. (Kotzebue A. F. F.) 326, 332
Кочеткова Н. Д. 36
Кочубей В. П. 279
Кошка Ф. А. 6
Кпарр М. 232
Кравцов А. С. 287
Крашенинников С. П. 250
Кребб Дж. 75
Крекшин П. 238
Крижанич Ю. Г. 238
Кросс Э. 34, 37
Круглов А. 79, 80
Круделли Т. 264
Крузе Э. 204
Крутень М. 242
Крылов И. А. 18, 43, 66, 74, 162–167, 282
Ксенофонт (Троепольский) 236
Кук Дж. 330
Кулакова Л. И. 29, 32, 33, 256, 289
Кулибин И. П. 250
Кулябко Е. С. 142
Куник А. А. 18
Купреянова Е. Н. 32, 38
Куракин А. Б. 60
Куракин Б. И. 6, 196
Куракин Ф. А. 6
Курбский А. М. 104, 204
Кутузов М. И. 315
Кучум, сибир. хан 213
Кушева Е. Н. 206

Лабрюйер Ж. (La Bruyère J.) 100
Лависс Е. 274
Лагарп Ж.-Ф. (Laharpe J. F.) 328
Лагарп Ф.-Ц. 277
Лагочев В. М. 252
Лазарчук Р. М. 41
Ламот А.-Г. (Lamotte A. H.) 264
Лаппо-Данилевский К. Ю. 256
Ларошфуко Ф. (Rochefoucauld F. de la) 264, 330, 331

Лаура 262
Лафатер И. 37
Лафонтен Ж. 124, 125, 148, 151—153, 163, 177, 264
Лебедев Г. С. 300, 307, 315, 317
Лебрен П.-Д.-Э. 128
Ле Брюн см. Лебрен П.-Д.-Э.
Левин Ю. Д. 37
Левицкий Д. Г. 258, 259
Лейбниц Г. В. 228
Лекен (Кен А. Л.) 97
Лео (Ди Лео Л. О. С.) 305
Леонид (Кавелин Л. А.) 47
Леонтович С. 242
Лепехин М. П. 59, 62, 106, 234
Лермонтов М. Ю. 43
Лесиа, генерал-лейтенант 196
Лессинг Г. Э. (Lessing G. E.) 321
Лефорт Ф. 15
Лехтблау Л. Б. 98, 99
Лжедмитрий I (Отрепьев Г.) 203—206, 208, 210, 212
Лжедмитрий II 206, 211, 213
Липовцев С. 311
Лихачев Д. С. 33, 36, 43, 186, 187, 191, 193, 214
Лихтвер М. Г. (Lichtwer M. G.) 327
Лич, ученик И. А. Крылова 66
Лобанов М. Е. 162
Локк Дж. 13—16
Ломоносов М. В. 17, 18, 22, 26—28, 30, 48, 49, 53, 58, 60, 62, 72, 74, 75, 115, 134, 142, 149, 161, 215—218, 237, 238, 243—246, 249, 250, 292, 297, 299, 305, 314, 316, 318
Лонгин Дионисий Кассий 264
Лонгинов М. Н. 175, 176, 250
Лопе де Вега Ф. 264
Лопухин П. В. 69
Лотман Ю. М. 29, 34, 37, 153, 271, 276, 280
Лубяновский Ф. П. 61
Лудольп см. Лудольф Г. М.
Лудольф Г. М. 213
Лузин Н. 223
Лукан 334
Лукашевич Е. 83
Лукашевич С. В. 251
Лукин В. И. 62, 77, 93, 98, 242, 243
Лунина Н. (Епишева) 287
Луппов С. П. 12
Лызлов А. 238
Лычков А. 78—80
Львов Н. А. 69, 70, 145, 149, 256, 267
Львов П. Ю. 145—147, 150
Львов С. М. 158
Львов Ф. П. 145, 257
Люблинский П. И. 216
Людовик XIV 11—13
Ляпунов П. П. 205, 206
Мабли Г.-Б. 29
Магницкий М. А. 165
Мазепа-Колединский И. С. 8
Майков А. А. 112
Майков В. И. 140
Майков Л. Н. 77, 114
Макаров М. Н. 143, 160
Макаров П. И. 36, 43, 148, 151
Макогоненко Г. П. 19, 20, 29, 77, 234, 235, 244, 245, 249, 271, 282
Максим Грек 51
Макферсон Дж. (Macpherson J.) 37, 290, 304, 325
Мальзерб К. Г. (Malesherbes) 334
Малюта Скуратов (Скуратов-Бельский Г. Л.) 6
Марешаль П. С. 284
Марин С. Н. 110
Мария II, королева-соправительница 16
Мария Федоровна, имп. 306
Маркелл (Родышевский Н. Р.) 250
Маркиш С. 90
Маркушевич А. И. 190
Мармонтель Ж.-Ф. (Marmontel J. F.) 37, 257, 264, 320, 324, 336
Мартынов И. И. 140, 154
Мартынов И. Ф. 234, 236, 240, 246
Матвеев А. А. 16
Матвеев А. С. 7, 12
Медушевский В. В. 226
Мезьер А. В. 251
Мейстер Л. (Meister L.) 327, 328, 330
Меллер 331
Мендельсон М. 305
Менестрие К.-Ф. 54
Меншиков А. Д. 6
Мерзляков А. Ф. 45, 46, 157, 166, 167, 176
Мерсенн М. 220
Мерсье Л.-С. (Mercier L. S.) 329
Метастазио П. 264
Меценат 65
Мещерский А. И. 296
Микеланджело Буонарроти 304
Микулин Н. П. 124, 128
Миллер Г. Ф. 47, 133, 203, 217, 237
Миллер К. В. 80
Милонов М. В. 110
Минин (Захарьев-Сухорукий К. М.) 145, 146, 205
Михаил Павлович, вел. кн. 5
Михаил Федорович, царь 202, 205, 206, 211
Михайлов М. И. 235
Михайловский У. 239
Мицлер Л. 223
Мнишек М. 208, 211
Мобер де Гуве Ж.-А. 67
Могилянский А. П. 163, 284, 285
Модзалевский В. Л. 251

Моисеева Г. Н. 104, 105, 108, 238
Молдавский Д. М. 101
Мольер Ж.-Б. 264
Монтень М. 36
Монтескье Ш.-Л. (Montesquieu Ch. L.) 265—268, 271, 334
Монье А. (Monnier A.) 234, 245
Мордовченко Н. И. 141, 150
Мориц К. Ф. (Moritz K. Ph.) 37, 328, 329, 331, 335
Морозов А. А. 26, 187
Морозова Н. П. 251, 253
Мосальский В. Ф. 210, 213
Мосх 33
Мотт Г. де ла см. Ламот А.-Г.
Мстиславский Ф. И. 209
Муравьев М. Н. 29, 31, 33, 68, 125, 128, 142, 257, 264
Мусин-Пушкин А. А. 156
Мусин-Пушкин А. И. 104—108
Мусин-Пушкин И. А. 183
Мэкензи Г. (Mackenzie H.) 333

Нагая М. Ф. 210
Надаржинский Т. В. 51
Назаров В. Д. 210
Назарьев А. 239
Названов Н. 283
Наполеон Бонапарт 272, 273
Нартов А. А. 243
Нарышкины 6
Наталья Кирилловна Нарышкина, царица 6, 12
Незеленов А. И. 234, 240
Нелединский-Мелецкий Ю. А. 43, 45, 140
Немировский И. В. 271
Нестор (Нестер), летописец 137, 236
Неустроев А. Н. 239, 249
Нечкина М. В. 112
Никита Добрынин-Пустосвят 9
Николаев С. И. 14, 44
Николев Н. П. 115, 117—119, 123, 126—129, 139, 143, 166
Никольский П. А. 43, 45
Никон, патриарх 7, 47
Нилов К. 83
Нилов П. 83
Новиков Н. И. 4, 7, 34—36, 41, 47, 48, 76—79, 81, 85—87, 94, 95, 98—100, 102, 103, 234—250, 284
Новосильцев Н. Н. 277, 279

Оболенский А. П. 285
Овидий 172
Овчинников Г. Д. 281
Озеров В. А. 174, 175
Оксенштерна Ю. Т. 100
Оленин А. Н. 108
Орлов А. 46, 49, 50
Орлов А. Г. 245, 293
Орлов А. С. 3, 61
Орлов В. Н. 114, 282
Орлов Г. Г. 93
Орлов П. А. 29, 32, 38, 40, 145, 271
Осипов Н. П. 257
Оссиан см. Макферсон Дж.
Оссовский А. В. 219
Остолопов Н. 49, 51, 56

Павел Коломенский 9
Павел I, имп. 31, 46, 66, 72, 112, 288, 306
Павлов-Сильванский Н. П. 276
Палестрина Д. П. 305
Палиссо Ш. 116, 175
Панкратий (Чарнусский?) 250
Панченко А. М. 5, 12, 36
Парголези см. Перголези (Драги) Д. Б.
Пассек В. 47
Патри П. 82, 89, 100
Патрикс см. Патри П.
Пекарский П. П. 15, 104, 181—183, 200, 205
Перголези (Драги) Д. Б. 305
Перепечин А. 239, 247, 249
Перес А. (Perez A.) 334
Перетц В. Н. 18, 49, 50
Пермский М. И. 248
Персиц М. М. 112, 113, 116
Песков А. М. 152
Пестов С. С. 52
Петр I 4—12, 14—16, 18, 20, 22, 24, 25, 30, 51, 135, 146, 180—184, 187, 191, 195—198, 236, 292, 294, 306
Петр (Гребнецкий) 250
Петрарка Ф. 261, 262, 267
Петрей де Ерлезунда П. 203, 204, 212, 213
Петров В. П. 38, 65, 77—79, 140, 235, 236, 239, 242, 245—249
Петров Я. В. 247
Петрова Е. 247, 248
Петровский Н. М. 34, 110
Петроний 159
Петухов М. 231
Пештич С. Л. 206, 216—218
Пигарев К. 53
Пиксанов Н. К. 18
Пиндар 144, 147, 149—151, 156, 161, 168—171, 173, 177, 290, 292, 304, 306, 307, 316
Писарев А. А. 148, 150, 151
Пифагор 219, 220
Платон 35, 329
Платон (Левшин П. Е.) 237
Плетнев П. А. 160, 162—164, 252

Плотников М. И. 244
Плутарх 35, 334
Подшивалов В. С. 43
Пожарский Д. М. 145, 146, 205
Покровский А. А. 184
Полевой Н. А. 134—138, 175, 176
Поликарпов Ф. 183
Полиссо Ш. 264
Полторацкий А. 252
Полторацкий М. Ф. 258
Поль Б. ван дер 232
Пономарев С. И. 274
Попов В. М. 106, 108
Попов И. В. 251
Попов М. Г. 50
Попов М. И. 62
Попов Н. 50, 205
Порпора Н. А. Д. 305
Порталис Ж. Э. 280
Посошков И. Т. 25
Поссевино А. 202, 204, 207
Потемкин Г. А. 46, 64, 65, 72, 245, 293, 305, 306
Поуп А. 264
Прадон Н. 263, 264
Прево д'Экзиль А.-Ф. 108
Приклонский В. 209
Прозоровский А. 47
Прокопович-Антонский А. А. 41
Прокудин М. 239
Протопопов В. 62
Пуатье Д. 330
Пугачев Е. 9
Пумпянский Л. В. 53, 59, 60, 62
Пустовойтов В. 248
Пуфендорф С. 14, 213
Пухов В. В. 86, 87, 98, 99, 102, 162
Пушкин А. С. 5, 17, 19, 29, 43, 51, 74, 75, 110, 111, 138, 147, 171, 174, 176, 178, 254
Пушкин В. Л. 43, 116, 142, 143, 147, 157, 158, 168
Пушкин Г. А. 6
Пушкины 6
Пыпин А. Н. 18
Пясецкий Я. 211, 213

Радищев А. Н. 3, 4, 29, 38, 40, 41, 65, 72, 276, 279—282
Раздеришин Н. В. 238
Разумовский А. К. 141, 176, 178
Разумовский К. Г. 60
Рак В. Д. 76, 82, 246
Рамбо А. 274
Рамо Ж.-Ф. 226, 231
Расин Ж. 33, 118, 119, 129, 178, 263
Рассохин И. 238
Ратша 6
Рафаэль (Санти) 305
Рединг А. 273—275
Рейсер С. А. 184
Рейхель И. Г. 243
Реман, магистр 331
Рени Г. 305, 316
Рецов 106
Ривароль А. (Rivarol A.) 334
Риман Г. 222, 230, 232
Ричардсон С. 40
Ришелье А. Ж. дю Плесси 60
Робертсон У. 133
Рогинский М. Г. 204
Рогожин В. Н. 288
Рожалин К. 242
Рождественский Т. С. 50
Роллен Ш. 100, 243
Романов В. 239
Романов И. 211
Романов Ф. Н. 206
Романова К. И. (Марфа) 211
Романовы 6, 209, 211
Романус А. И. 83
Роме Н.-А. (Romet N. A.) 262
Рот Х. Н. 37, 326
Рубан В. Г. 47, 51, 59, 62, 64, 68, 80, 242, 249
Рубенс П. П. 305
Рудаков И. 238, 245
Румовский С. Я. 243
Румянцев П. А. 293
Румянцев С. П. 277
Руссо Ж.-Б. 263
Руссо Ж.-Ж. (Rousseau J. J.) 36, 37, 41, 131, 161, 259, 264, 267, 297, 331, 335
Руставели Ш. 317
Рыстенко А. В. 46
Рычков П. И. 243
Рычкова Г. П. 89
Рюрик, кн. 135, 217

Саади М. 332
Саитов В. И. 129
Саллюстий 107, 335
Салтыков Г. С. 141, 158
Самарин Ю. Ф. 12
Самойлов А. 232
Сандунов Н. Н. 156
Санковский В. Д. 249
Сапожников Д. И. 9
Сапфо см. Сафо
Сарданапал 297
Сафо 259, 264, 290, 304, 306
Сахаров Л. М. 184
Свиньин П. 45
Свистунов П. С. 84—99
Святополк, кн. 135
Святослав Олегович, кн. 109
Севастьянов А. Н. 235
Сегюр Л. Ф. 259

Седельников М. 80
Селецкий И. 239
Селивановский С. И. 281
Селим, султан 278
Семевский В. И. 276, 277, 280
Семевский М. И. 114
Семенников В. П. 77—81, 83, 85, 86, 98, 99, 102, 276
Сен-Фуа Ж.-Ф. 264, 330
Сенека 35
Сенфуа Ж.-Ф. см. Сен-Фуа Ж.-Ф.
Серапион (Лятушевич, Лятошевич С.) 49
Серман И. З. 20
Серр Ж.-А. (Serre J. A.) 226
Сидоров Н. П. 281
Сильвестр (Медведев С.) 7, 8, 12, 47
Симеон Полоцкий (Ситнианович-Петровский С. Е.) 7, 8, 10—12, 47, 189
Симмонс Д.-С.-Г. 44
Симон (Тодорский) 238
Синовский В. В. 271, 320
Сичкарев Л. И. 84—87, 98
Скавронские 6
Скарлато А. см. Скарлатти А.
Скарлатти А. 305
Скопин-Шуйский М. В. 206—208
Скрынников Р. Г. 204
Слатвинский И. 248
Смирнова Е. А. 254
Смит Д. 333
Смолянов И. Д. 281
Снегирев М. М. 45
Собакин М. Г. 237
Соболев В. П. 192
Соболевский А. И. 187, 188
Соймонов М. Ф. 257
Соймонов Ф. И. 243
Соймонов Ю. Ф. 257
Соколов Д. М. 46
Соколов П. 47
Сократ 35, 169, 175, 297
Соловьев В. С. 12
Солодкин Я. Г. 200, 202
Солнцев В. Ф. 77, 82, 102
Соссюр О.-Б. (Saussure H. B.) 331
Софокл 33, 175, 264, 306
Софроний (Лихуд) 52
Софронова Л. А. 54, 55
Софья, царевна 6, 8, 9, 12
Спиридова И. М. 143
Сталь А.-Л.-Ж. (Staël A. L. J.) 321
Станько А. И. 192
Стахиев А. 83
Стенник Ю. В. 17, 38
Степанов В. П. 46, 48, 59, 67, 92, 110, 147, 158
Степанов Н. Л. 153
Стерн Л. (Stern L.) 37, 40, 42, 149, 151, 153, 155, 324, 325
Стефан Яворский 11, 50, 191, 197
Стефанович И. 239
Страбон 331
Страхов П. 284, 285
Строганов П. А. 277, 279
Строгановы 203, 213
Струйский Н. Е. 179
Суворов А. В. 115, 150, 158
Суворов Н. 49
Сулакадзев А. И. 318
Сумароков А. П. 3, 26—28, 30, 48, 50, 52, 67, 76, 78, 114, 115, 118, 127, 128, 237, 249, 250, 267, 318
Сумароков П. 50, 152
Сумарокова М. П. 66
Сурат И. З. 152
Сухомлинов М. И. 146, 234, 237, 239

Такиуллина И. Ф. 38
Тальман П. 26
Тананаева Л. И. 54
Тартини Дж. 228
Тассо Т. (Tasso T.) 264, 333
Татаринова Л. Е. 85
Татаркевич В. 220
Татарский И. А. 47
Татищев В. Н. 104, 107, 109, 200—214
Татищев М. И. 209, 212
Татищев М. Ю. 212
Таубе И. 204
Тацит 336
Теокрит см. Феокрит
Терещенко А. 197
Террасон Ж. 243
Тетелевская И. (Tetelowska I.) 193, 197
Тетени М. 32, 37
Тиде И. Ф. (Tiede J. F.) 320
Тимковский И. 242
Тимофеев И. 201, 207, 209, 212
Тимофеев Л. И. 61
Тиньков А. 239
Тит Ливий 107
Титов В. 7
Тихонравов Н. С. 18, 234, 235, 256
Тихорский Ф. 242
Толстой Л. Н. 22, 24, 43, 138
Томас см. Тома А.-Л.
Тома А.-Л. 294
Томашевский Б. В. 90, 111
Томсинский С. М. 184, 192
Томсон Дж. (Thomson J.) 23, 37, 321—323
Тонкова Р. М. 78, 103
Тощев А. И. 184
Травников С. Н. 48

Транквиллин, ректор новгор. семинарии 239
Трегубов М. 284
Тредиаковский В. К. 14, 21, 26, 30, 60—62, 64, 67, 237, 239, 243, 244, 249, 250, 289, 304, 307, 313—316, 318
Громонин К. 47
Тронская М. Л. 42
Трохимовский М. 242
Трюбле Н.-Ш.-Ж. 154
Туманов М. 276
Тураев С. В. 40
Тургенев А. И. 69, 114, 132, 133, 141, 142, 151, 157, 160, 171, 175, 176, 179
Тургенев И. П. 141
Тургенев И. С. 43
Тургеневы 133, 142, 151, 157
Турчин В. С. 54
Тюличев Д. В. 215, 216

Уваров С. С. 318
Угрюмов М. 63, 64
Унковский И. 238
Урываев А. И. 284
Успенскии Б. А. 5
Устрялов Н. Г. 134—137
Ушаков Ф. В. 41

Фаш К. 229
Федор Алексеевич, царь 6, 7
Федор Иванович, царь 202, 205, 206, 210, 211
Федоров В. И. 61, 85
Фенелон Ф. 61, 80, 82, 100, 102, 253, 264
Феокрит 33, 167, 173
Феофан Прокопович 25, 52, 189, 236, 237
Ферельцт С. К. 281—288
Фетис Ф. Ж. 222, 227
Фиалковский С. 242
Филарет (Гумилевский Д. Г.) 50
Филин Ф. П. 187
Филипп (Колычев Ф. С.) 202, 204
Флориан Ж.-П.-К. (Florian J. P. C.) 328
Флоридов А. А. 140
Флоровскии Г. В. 11
Фогель М. 225, 229, 232, 233
Фоглер, аббат 229
Фоккер А. Д. 229
Фома Аквинскии 11
Фонвизин Д. И. 19, 28, 38, 41, 111, 116—118, 122, 124, 128, 243, 282
Фонвизин П. И. 243, 249
Фонтан Л. (Fontanes L.) 333
Фонтана Дж. М. 183
Фонтанна см. Фонтана Дж. М.
Фонтенель Б. 26, 263
Формей Ж.-А.-С. 80, 100
Форстер И. Р. (Forster J. R.) 330
Фрамери Н.-Э. (Framery N. E.) 324—327
Франклин Б. (Franklin B.) 326, 335
Франциск I, франц. король 330
Фридрих II, прус. король 128, 221
Фризман Л. Г. 148
Фрязиновский А. 58, 59, 62, 64

Ханыков В. В. 68, 69
Харитоновский Ф. 239
Харламов Е. 67
Харлампович К. В. 248
Хатчесон Ф. 39
Хауэр Й. 227
Хвостов А. С. 117, 260
Хвостов Д. И. 113, 115, 118, 119, 122, 125, 127—129, 141, 143, 144, 147, 149—153, 155—161, 163, 164, 166—171, 173—179, 260
Хексельшнаидер Э. 37
Хемницер И. И. 256—258, 260, 264
Херасков М. М. 26, 31, 141, 149, 153, 166, 243, 247, 251, 253, 255, 267, 294
Хилков М. Я. 116
Хлопов Н. 83
Хованскии Г. А. 128
Холопов В. Н. 226
Хоментовскии, пол. посол 196
Хомяков А. С. 12
Храповицкий А. В. 71—73
Хрущев А. Ф. 14

Цветаев, директор гимназии 285
Цезарь 320, 335
Церлюк-Аскадская С. С. 219
Цивилл Ф. 102
Цицерон 35, 332
Цыклер И. 15

Чарторыжский А. 277—279
Черепахов М. С. 85, 184
Черепнин Л. В. 203
Чернышев З. Г. 48
Чернышева Т. П. 249
Чертков В. 239
Чистов К. В. 5, 10
Чулицкий В. 141
Чулков М. 59, 62, 78, 79, 91—93, 96
Чупятов В. А. 303

Шабанон М.-П.-Г. (Chabanon M. P. G.) 333

Шакловитый Ф. Л. 6
Шаликов П. И. 154, 156, 158, 159, 161—163, 167, 170, 171, 173, 174, 177, 178
Шамрай Д. Д. 215, 235
Шамфор С.-Р. (Chamfort S. R.) 323
Шапп д'Отерош Ж. (Chappe d'Auterouche J.) 235
Шарыкин Д. М. 187
Шатров Н. М. 139
Шафиров М. 182
Шафиров П. П. 6, 25, 197, 205, 211
Шафонский А. 242
Шаховской А. А. 149, 151, 153, 174, 175
Шевалье Л. 227
Шевырев С. П. 176
Шеин А. С. 238
Шекспир В. (Shakespeare W.) 27, 320
Шенберг А. 227
Шереметев Б. П. 48
Шереметев Н. П. 146
Шестериков С. П. 112, 113, 116
Шефтсбери А.-Э.-К. (Shaftesbury A. A. C.) 325, 326
Шиллер Ф. 166, 328
Шипов Г. И. 115—117, 119, 123, 125, 127, 128
Ширинский-Шихматов С. А. 147
Шихматов см. Ширинский-Шихматов С. А.
Шишкин И. И. 237
Шишков А. М. 114
Шишков А. С. 130, 131, 139—141, 143, 144, 147, 148, 150, 151, 153, 170, 314, 317
Шишков В. 238
Шишков М. А. 143
Шишонко В. Н. 211
Шлаттер И. А. 238, 243
Шлецер А. Л. 133—136, 216—218
Шляпкин И. А. 245, 247
Шмидт С. О. 204
Шоффен Д.-Э. 82, 83, 88, 100—103
Штедтке Х. 38
Штелин Я. Я. 60, 215
Шторн Г. П. 289
Штранге М. М. 85
Штурм К. Х. 320
Шубинский С. Н. 45, 47, 50
Шувалов И. И. 56—59, 64
Шуйские 208, 209
Шумахер И. Д. 202, 204

Щербатов М. М. 238

Эберхард И. А. (Eberhard J. A.) 325, 326
Эверс И. Ф. Г. 134
Эврипид 33, 175, 264
Эзоп 25, 151, 173
Эйду М. 215
Эйлер Л. 219—232
Элоиза 36
Эмин Ф. А. 42, 78, 79, 81—83, 85, 87, 92, 98—100, 238, 243, 244
Энгель И. Я. 326, 329, 332
Энгельшаль И. Ф. (Engelschall J. F.) 328
Эро де Сешель Ж.-М. (Hérault de Séchelles J. M.) 332, 333
Эразм Роттердамский 16, 36, 91
Эрлах Р. 272—275, 280
Эсхил 175
Эттинген А. 232
Эффен Ю. ван 86

Ювенал 110, 159
Юдин Ф. 239
Юм Д. 264
Юнг Э. 37, 295
Юнкер Г. Ф. 60
Юхт А. И. 204

Языков Д. И. 140, 141, 143, 145, 147, 148, 151, 152, 154, 158, 159, 161, 169, 171, 172, 216
Яков Алексеевич, кн. 122, 128
Яков II Стюарт, англ. король 12, 16
Яковлев М. 45, 53
Якушкин В. Е. 111, 184
Ярослав I Мудрый, кн. 135, 137, 217
Яснопольский А. 111

Auerbach F. 232

Bakounine T. 104
Baroschia de Vignola, Barossi de Vignoles J. см. Бароцци да Виньола Дж.
Barthelemy см. Бартелеми Ж.-Ж.
Bayle см. Бейль П.
Bernard K. см. Бернар К.
Bernoulli J. I см. Бернулли И. I
Bulówna A. см. Булувна А.
Busch H. R. см. Буш Х. Р.
Bürger G. A. 326

Callières F. 101
Castéra J. 335
Chappe d'Auteroche J. см. Шапп д'Отерош Ж.

Choffin D. см. Шоффен Д.-Э.
Chrościcki J. 54
Civille F. см. Цивилл Ф.
Costard J.-P. см. Костар Ж.-П.
Cross A. G. см. Кросс Э.
Czarnowski S. 184

Dettingen A. J. 232

Eneström G. 222
Erämetsa E. 40
Eulero L., Euler L. см. Эйлер Л.

Fabricius A. 184
Fénelon F. см. Фенелон Ф.
Feofan Prokopovič см. Феофан Прокопович
Fetis F. J. см. Фетис Ф. Ж.
Fokker A. D. см. Фоккер А. Д.
Forkel J. N. 222
Forster G. 327

Górski S. 188
Goedeke K. 319
Goldbach C. см. Гольдбах Х.
Gombauld J. O. см. Гомбо Ж.-О.
Groddek E. см. Гроддек Э.

Halhed N. B. см. Галгет Н. Б.
Helmholtz H. см. Гельмгольц Г.

Kaleta R. 188, 189
Karamzin N. M. см. Карамзин Н. М.
Keipert H. см. Кайперт Х.
Kętrzyński W. 188
Kirnberger J. Ph. см. Кирнбергер И. Ф.
Kortcholt Ch. G. W. 228
Krüger R. 42
Kuhn L. 334

La Bruyère см. Лабрюйер Ж.
Lankau J. 190
Łojek J. 188

Meinong A. 226
Menestrier C. F. см. Менестрие К.-Ф.
Misson F. M. 102
Mizler L. см. Мицлер Л.
Młynarski Z. 188
Monnier A. см. Монье А.

N. N. 90
Nebel H. M. 326
Neumann F. W. 327
Nolte H. H. 12

Octtingen A. J. 232
Ogonowski Z. 13
Ostrowski T. 188, 189
Oxenstierna см. Оксенштерна Ю. Т.

Patrix P. см. Патри П.
Pétrarque F. см. Петрарка Ф.
Pol B. van der см. Поль Б. ван дер
Poniatowsky 101
Pradon N. см. Прадон Н.

Raeff M. 6
Rameau см. Рамо Ж.-Ф.
Reimer E. 219
Riemann H. см. Риман Г.
Rollin Ch. см. Роллен Ш.
Romet N. A. см. Роме Н.-А.
Rothe H. N. см. Рот Х.-Н.

Schiller F. 327
Serre J. A. см. Серр Ж.-А.
Sparrow J. 54
Szczepaniec J. 188

Tartini G. см. Тартини Дж.
Tatarkiewicz W. см. Татаркевич В.

Vogel M. см. Фогель М.

Wisser M. 40
Witasek S. 226
Woltner M. 34

Zawadzki K. см. Завадский К.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции 3

Статьи

А. М. Панченко. Начало Петровской реформы: идейная подоплека. 5
Ю. В. Стенник. Проблема периодизации русской литературы XVIII века 17
Н. Д. Кочеткова. Проблемы изучения литературы русского сентиментализма. 32
С. И. Николаев. Проблемы изучения малых стихотворных жанров (Эпитафия) 44
В. А. Западов. Проблема литературного сервилизма и дилетантизма и поэтическая позиция Г. Р. Державина 56
В. Д. Рак. Гипотезы об издателе журнала «Смесь» 76
Г. Н. Моисеева. «Опыт повествования о России» И. П. Елагина в оценке Н. М. Карамзина 104
В. П. Степанов. Неизданные произведения Д. П. Горчакова 110
Ф. З. Канунова. Карамзин и Жуковский (Некоторые вопросы изучения русской истории по материалам библиотеки В. А. Жуковского) 130
В. Э. Вацуро. И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века 139

Материалы и сообщения

Н. А. Копанев. Петр I — переводчик 180
А. И. Тощев. Петровские «Ведомости» как тип издания 184
Я. Г. Солодкин. Летопись «О разорении русском» в трудах В. Н. Татищева (К изучению творчества В. Н. Татищева как писателя русской истории) 200
А. В. Вознесенский. Неизвестный вариант издания «Древней российской истории» М. В. Ломоносова 215
С. С. Церлюк-Аскадская. Леонард Эйлер как теоретик музыки (Суждения и оценки) 219
М. П. Лепехин. «Опыт исторического словаря о Российских писателях» Н. И. Новикова (Некоторые проблемы изучения) 234
Н. П. Морозова. Книга из библиотеки Гоголей (К вопросу об употреблении термина *поэма* в русской литературе) 251
К. Ю. Лаппо-Данилевский. К вопросу о творческом становлении Н. А. Львова (По материалам черновой тетради) 256

И. В. Немировский. Швейцарская тема в «Вестнике Европы» Н. М. Карамзина 271
Г. Д. Овчинников. Савелий Ферельцт — автор «Путешествия критики». 281
В. А. Западов. Последняя часть «Рассуждения о лирической поэзии» Г. Р. Державина 289
Приложение. Г. Р. Державин. Продолжение о лирической поэзии. Часть 4-я 290
О. Б. Кафанова. Библиография переводов Н. М. Карамзина (1783—1800 гг.) 319
Указатель имен (сост. *А. В. Островская*) 338